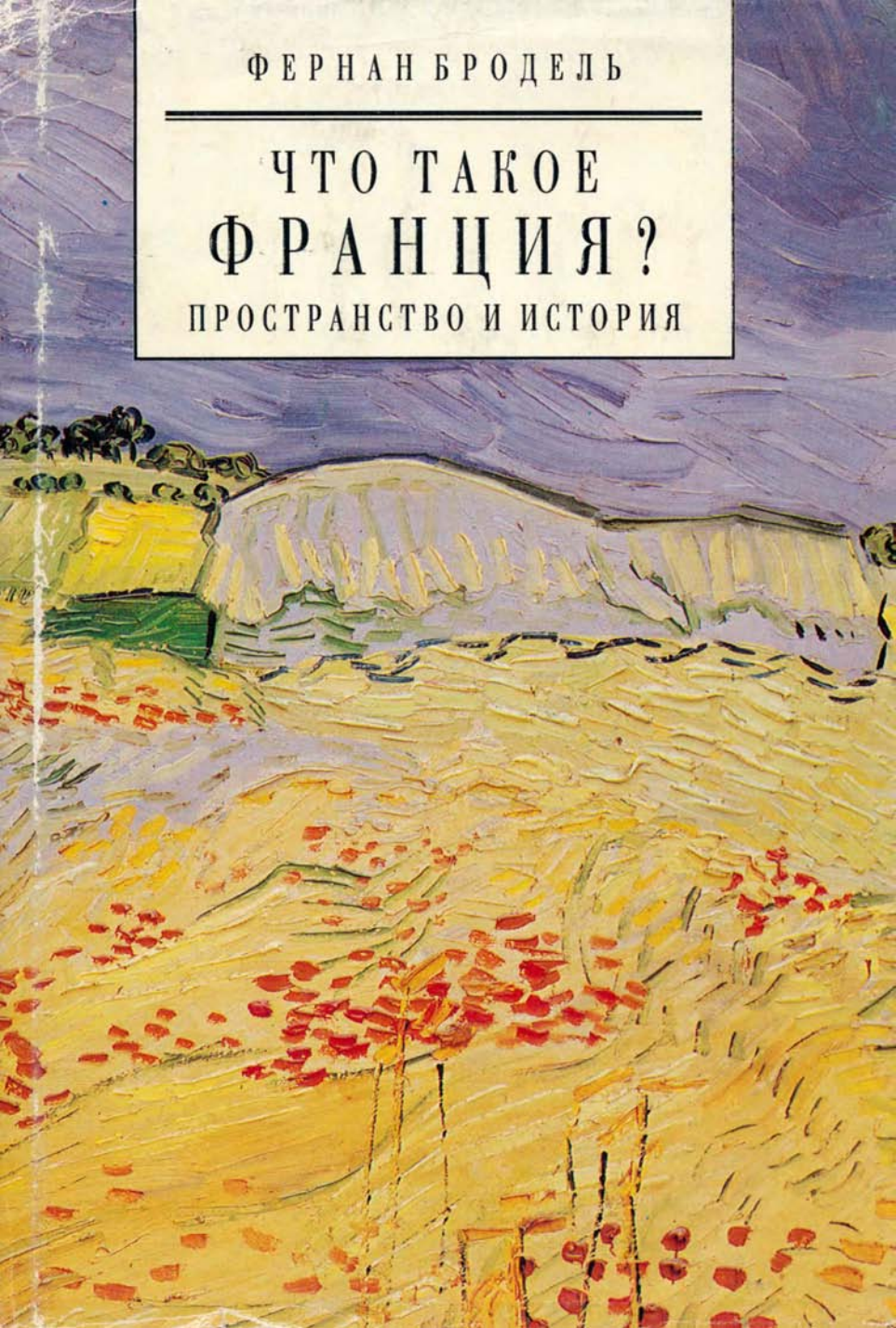
ФЕРНАН БРОДЕЛЬ

ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦИЯ?

ПРОСТРАНСТВО И ИСТОРИЯ



ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦИЯ?

FERNAND BRAUDEL

L'IDENTITÉ DE LA FRANCE

ESPACE ET HISTOIRE

ARTHAUD-FLAMMARION

ФЕРНАН БРОДЕЛЬ

ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦИЯ?

ПРОСТРАНСТВО И ИСТОРИЯ

Москва
Издательство
имени Сабашниковых

ББК 63.3(4 Фр.)
Б88

Перевод с французского
Веры Мильчиной (глава первая; глава вторая, I и II)
Сергея Зенкина (глава вторая, III; глава третья)
под общей редакцией
Веры Мильчиной

Художник
Виктор Крючков

В оформлении книги использована репродукция
с картины Винсента Ван Гога «Виноградники в Арле»

Издание подготовлено и осуществлено
при поддержке Министерства иностранных дел Франции
и французского посольства в Москве

Б $\frac{0503030000\text{-}007}{Б94(03)\text{-}1994}$ Без объявл.

ISBN 5-8242-0016-5

© Les Editions Arthaud, 1986
© Издательство им. Сабашниковых
© Перевод на русский язык С. Н. Зенкин, В. А. Мильчина, 1994
© Оформление В. А. Крючков, 1994

Моей бабушке Эмилии Корно —
свету, озарившему мое детство.

ВВЕДЕНИЕ

История творится безотчетно.
Жан Поль Сартр [1]

Заявляю это раз и навсегда: я люблю Францию той же страстной, требовательной и непростой любовью, какой любил ее Жюль Мишле. Люблю, не делая различия между ее достоинствами и недостатками, между тем, что мне нравится, и тем, с чем я соглашаюсь скрепя сердце. Однако страсть эта никак не выскажется на страницах моей книги. Я буду изо всех сил стараться ее сдерживать. Конечно, может случиться так, что она перехитрит меня, но я сделаю все для того, чтобы этого не произошло. Я намерен, честно предупреждая читателей обо всех своих слабостях, говорить о Франции так, как если бы это была чужая страна, чужое отечество, чужая нация. «Взглянуть на Францию, словно ты не француз»,— как сказал Шарль Пеги [2]. Вдобавок, с каждым днем ремесло историка все настоятельнее требует от нас, чтобы мы изъяснялись сухо и остерегались сердечных излияний. В противном случае история, слишком охотно тянущаяся к другим наукам о человечестве, не сумеет подражать им в стремлении сделаться пусть весьма несовершенной, но все-таки наукой.

Историк, обязанный оставаться как можно более бесстрастным «наблюдателем», не должен давать волю своим чувствам. Тут мне, быть может, пригодятся мои прежние работы. В исследованиях о Средиземноморье или о капитализме [3] я смотрел на Францию издалека, иногда очень издалека, как на страну, занимающую свое место в ряду других стран, но ничем существенным от них не отличающуюся. Таким образом, к тому, что лежит поблизости, я обратился поздно, но, разумеется, с огромным удовольствием: в самом деле, историк может быть накоротке только с историей собственной страны, чьи повороты и изгибы, странности и слабости он понимает едва ли не инстинктивно. Как бы блестяще ни был образован историк, он всегда будет проигрывать, исследуя не ту страну, где родился и вырос. Иными словами, я начал с черного хлеба, а белый приберег и принялся за него на старости лет.

Итак, речь идет о том, чтобы обуздать страсти, порожденные нашим характером, нашим общественным положением, нашим опытом, взрывами нашего негодования или приступами нашего восторга, нашим

«частным» видением мира, самим течением нашей личной жизни и многообразными вторжениями в нее современной эпохи,— иными словами, сделать то, что не удалось (хотя сам он был уверен в обратном) Ипполиту Тэну в «Происхождении современной Франции», и увидеть, как куколка превращается в бабочку [4]. Пожалуй, в большей степени преуспел на этом поприще Алексис Токвиль, автор великолепной книги «Старый порядок и Французская революция» [5]. Что до меня, то я надеюсь, что сумею достойно справиться с этой задачей.

Разумно ли, однако, намерение умножить бесконечный ряд историй Франции — «Сокровищницу историй Франции», как Ж. Коррозе озаглавил свой труд, опубликованный в 1615 году, спустя тридцать два года после его смерти и, вообще говоря, удручающе бездарный? Уже в конце XV столетия Робер Гоген дал своему сборнику название «Море хроник и историческое зерцало Франции»! Нынче море стало океаном! Причем все эти истории легкодоступны и хороши, иногда даже очень хороши. Та, что принадлежит перу Мишле [6], не имеет себе равных. Та, которую издал Лависс [7] и которую нынче переиздают [8],— незаменима. Та, которой мы обязаны Роберу Филиппу [9],— превосходный справочник. Даже краткие наброски обладают, на мой взгляд, большой ценностью. Я часто и не без пользы в них заглядываю. Такова «История Франции» Жака Мадоля [10], пленяющая меня своей уравновешенностью; таковы эссе Люсьена Ромье [11], Никола Йорга [12], Эрнста Курциуса [13], Эжена Кавеньяка [14]; таков «Набросок истории французов, рассмотренной в свете их стремления к созданию нации» Жюльена Бенда (1932), такова *пропавшая* книга Люсьена Февра «Честь и родина», созданная на основе лекций, прочитанных им в Коллеж де Франс в 1946—1947 годах,— книга, законченную рукопись которой я держал в руках в марте 1956 года. К счастью, я знаю ее содержание. Я уж не говорю о невообразимом множестве диссертаций, книг, исследований и статей, которые за последние десять лет расширили и без того немалые познания ученых, изучающих прошлое нашей страны.

В своей работе я пользовался и многими другими книгами, куда более сомнительными в смысле точности,— по большей части то были эссе, которые хороши тем, что позволяют пренебречь бесконечной чередой «событий» и взглянуть на ход истории с птичьего полета. Больше того,— надеюсь, мне простят это увлечение, эту слабость,— я заглядывал даже в памфлеты, книги лживые, но принуждающие нас отказываться от предвзятых мнений и привычных суждений, вызывающие нас на спор, рождающие в нашей груди плодотворные сомнения и меняющие — частично, а подчас и полностью — наши представления о мире.

Однако вернемся к вопросу, который был задан выше: стоило ли вписывать еще одно заглавие в бесконечный перечень книг о Франции? По правде говоря, я думаю, что предприятие это, несмотря на все связанные с ним трудности, пленило меня по тем же самым причинам, какие три десятка лет назад побудили Люсьена Февра начать работу над «Историей Франции» — работу, к которой он, к несчастью, не успел приступить вплотную; ремесло историка претерпело за последние полвека столь глубокие изменения, что образ прошлого и поднимаемые этим прошлым проблемы также решительно переменились. Совсем исчезнуть проблемы не могут, но формулируются они теперь иначе: следовательно, полезно было бы выяснить, к чему мы в конечном счете пришли. Тем более что, поскольку прошлое играет существенную роль в нашей жизни и в нашем образовании, понять прошлое Франции — значит помочь французам разобраться в их нынешней жизни. «Необходимо,— пишет мне один из моих друзей-историков,— помочь нашей истории выйти из тех стен — я бы даже сказал крепостных стен,— которыми окружили ее многие наши предшественники» [15].

Эта революция в исторической науке, чаще всего заключающаяся в резком пересмотре всех общепринятых точек зрения, вызвана в первую голову вторжением в открытое пространство истории многочисленных наук о человеке: географии, политической экономии, демографии, политологии, антропологии, этнологии, социальной психологии, социологии и исследований культуры... Все они бросают на историю свой отблеск, все задают прошлому новые вопросы. Трудность (в которой историки не всегда отдают себе отчет) заключается в том, что ни один из этих вопросов не следует оставлять без ответа. Даже если на практике никто из нас не способен на этот подвиг, все мы обязаны хотя бы стремиться изучать историю в ее целостности, подводить «исторические итоги» [16], сознавать, что «единственная правдивая история — история всеобщая» [17], что, как писал еще Мишле, «все связано со всем, все со всем перемешано» [18].

Но если историк решится рассматривать прошлое Франции в свете различных наук о человеке, ему придется начать изыскания, которыми он прежде пренебрегал. Исследование проблем, которыми он никогда не занимался или занимался весьма поверхностно, завлечет его Бог знает куда, результаты же этих исследований, пожалуй, поразят, огорчат или даже шокируют людей с традиционными взглядами. Так, по нашему убеждению, Франция становится единой не при Жанне д'Арк и даже не во время Французской революции, но только после запоздалого — и по тем временам поистине чудесного — возникновения

в стране сети железных дорог и повсеместного распространения начального образования; увы, этот вывод, брошенный в лицо публике, не столько убедит, сколько разозлит ее. И тем не менее! Понятие отечества в *современном* значении возникает не раньше XVI века; нация впервые осознает себя таковой с началом Революции; словом *национализм* мы обязаны Бальзаку...[19] Но и в его время ничто еще не определилось окончательно.

Очевидно, что нация, находящаяся в процессе становления или изменения, не является действующим лицом, «личностью», как поэтически писал Мишле [20]. Она — сложное переплетение реальностей и живых существ, переплетение, о котором хронологическая история, рассказывающая о том, что происходило день за днем, неделю за неделей, год за годом, дает лишь весьма отдаленное представление. Повествовательная история, или, как выразился Жак Блок-Моранж, «история Франции в фельетонах» [21], страницы которой все мы в детстве не без волнения учили наизусть по незабываемой книге Мале и Исаака [22], грешит милым недостатком: она ограничивается изложением кратких, отрывочных эпизодов. Между тем взрослым людям нужна другая история, оперирующая отрезками куда большей протяженности (longue durée) и открывающая взору самые невероятные сочетания и сплавы, самые поразительные повторения уже свершившихся событий, пласты времени, исполненные громадного смысла, фантастическую массу, содержащую вечно живое и по большей части не внятное сознанию наследие, которое глубинная история обнажает подобно тому, как в недавнем прошлом психоанализ обнажил нам потоки человеческого бессознательного. Конечно, Арнольд Тойнби преувеличивал, когда писал: «Четыре или пять столетий ⟨прошедших после Колумба и Васко де Гамы⟩ пролетают, как одно мгновение» [23]. Да, он преувеличивал, но зато решительно порывал при этом с абсурдно мелким членением исторического времени. Поэтому я безоговорочно поддерживаю сегодняшних историков, которые, не обинуясь, раздвигают хронологические рамки и вглядываются в «те стороны человеческой жизни, что считаются, так сказать, неофициальными и непризнанными» (слова Малиновского [24]), которых, как Пьера Бонно, влечет к себе «тяжесть истоков». Но для того, чтобы преуспеть в подобных исследованиях, необходимо располагать богатым исходным материалом, избытком человеческого опыта. *Большая протяженность* истории налагает большие обязательства.

Я только что упомянул о «Происхождении современной Франции» Ипполита Тэна и «Старом порядке и Французской революции» Алексиса де Токвиля. Их врожденный порок — если позволительно мне

говорить так о книгах, приводящих меня в восхищение,— состоит в том, что их авторы со спокойным сердцем исходят из убеждения, будто Франция родилась в XVIII веке вместе с эпохой Просвещения, будто она явилась плодом драматических испытаний, которым подвергла нашу землю Французская Революция — Революция, чье имя пишется с заглавной буквы, ибо еще вчера все мы, подмастерья исторического цеха, сами не всегда это осознавая, видели в ней род Библии, идеологический залог и ориентир. Разумеется, я возражаю против этого поклонения революции, как против всякого поклонения или ретроспективной идеализации. Но еще сильнее я возражаю против вытекающего из него сужения хронологических рамок: ведь Старый порядок, Французская революция — вещи недавние, почти современные... До них рукой подать. Нам же необходимо исследовать прошлое Франции во всем его объеме — от завоевания Галлии римлянами до наших дней. Без сомнения, даже Франция Людовика XVI отстоит от нас очень далеко. Поэтому, кстати сказать, нельзя не пожалеть о том, что превосходная, обстоятельная книга Теодора Зельдина «История французских страстей» [25] начинается с 1848 года. Неужели мы так молоды? Неужели и мы, и наши страсти только что родились на свет? Невозможно согласиться и с таким умным социологом и экономистом, как Робер Фоссаэр, когда он сжимает прошлое Франции, словно меха аккордеона: «Галлия, мистический агнец, почти ничем не связана с *нашей страной*, которая не всплыла откуда-то из глубины веков, но явилась плотью от плоти самой истории» [26]. Как будто история не уходит в глубину веков, как будто доисторическое и историческое времена не сливаются воедино, как будто наши деревни не укоренились в нашей почве еще в III тысячелетии до Рождества Христова, как будто Галлия не очертила заранее тот круг, где впоследствии взросла Франция, как будто переход через Рейн, который совершили в V веке германские племена — маленькие группки людей, неподвластные колдовским чарам Галлии и потому сохранившие свой собственный язык,— не остается и поныне, много столетий спустя, живым фактом современности (вспомним хотя бы Бельгию с ее двумя языками), как будто в нашей крови, в нашей жизни ретроспективная гематология [27] не различает следов, оставленных всеми «нашествиями варваров», вплоть до самых древних, как будто верования наши, точно так же как и языки, не восходят к смутным эпохам далекого прошлого... Меня прежде всего интересует именно эта история — подспудная, темная, неподатливая.

Сходным образом нынешняя французская территория — «шестиугольник» — не единственная возможная единица измерения; она

включает в себя инфраструктуры: области, провинции, «края» (pays),— долгое время сохранявшие и сохраняющие по сей день некоторую самостоятельность, а сама является частью Европы и всего земного шара. Марк Блок утверждал: «Истории Франции не существует; существует лишь история Европы» [28], однако, вспомнив другой его тезис: «Единственная подлинная история — это история всемирная» [29], можно было бы добавить: «Истории Европы не существует, существует лишь история всего мира!» «Я не могу вообразить себе шестиугольник иначе, как вписанным в сферу»,— говорил Поль Моран [30].

Европа и весь мир в самом деле играли большую роль в нашем прошлом: они напирали на нас, а порой даже подавляли. Но так ли уж невинны мы по отношению к ним? Слова Эдгара Кине: «Великая заслуга современных народов заключается в том, что они придумали всемирную историю» [31], успели с 1827 года, когда были написаны, исполниться немалой двусмысленности. Впрочем, ни одна нация, ведя неизбежный и все более и более напряженный диалог с миром, не лишается от этого собственной истории. Происходит смешение, но не растворение. «Не является ли самой резкой переменой, происшедшей с Францией,— спрашивает Т. Зельдин,— утрата французами власти над собственной участью?» [32]. Конечно, не является. Тот факт, что история Франции — если не всей страны, то по крайней мере ее части,— переплетена с судьбами мира и Европы, поначалу сильно смущал меня. Однако волноваться не стоило. Напротив, в процессе работы я заметил, что история Франции помогает пролить свет не только на становление нашей страны, но и на развитие Европы и всего мира.

Итак, большая временна́я протяженность (это — самое главное), шестиугольник, Европа, мир — вот временные и пространственные координаты моего исследования. Благодаря этому я могу отыскивать в пространстве и во времени необходимые объекты сравнения и ставить по своему усмотрению разнообразные *опыты*, превращая все прошлое Франции в своего рода полигон для «межпространственных и межвременных» [33] сопоставлений, призванных помочь уловить связи, тенденции (я не говорю «законы») и повторы, которые делают эту глубинную историю ретроспективной социологией, необходимым подспорьем всех наук о человеке. Жан Поль Сартр не колеблясь утверждал, что «именно в истории человеческая диалектика и *практика* достигают своего высшего развития. Сама социология — не что иное, как ступень на пути к историческому обобщению» [34], а Эмиль Дюркгейм предсказывал, что «придет день, когда история и социология будут отличаться одна от другой лишь незначительными деталями» [35]. Пока этот день еще

не наступил. Но путь к подобному слиянию лишь один — *сравнительная* история, история, занятая поисками *сходства,* без чего, впрочем, не может существовать ни одна общественная наука.

Таким образом, на протяжении всей книги я пытался рассматривать историю Франции в свете различных наук о человеке. Перечислим их еще раз: география, антропология, демография, политическая экономия, политология, или политическая наука, исследования культур и ментальностей (нельзя ли назвать это культурологией?), социология, межгосударственные отношения (Франция за пределами своей территории)...

Разумеется, подобный подход — дело отнюдь не простое; я иду на немалый риск. У каждой науки о человеке свой предмет, свой набор истолкований. И тем не менее каждая из них предполагает наличие целой системы социальных явлений, представляющей собою субстанцию всех без исключения наук о человеке. Каждая из них зависит не только от себя самой, но и от смежных дисциплин; область, на которую она проливает свет, соприкасается с соседними областями. С последнего этажа башни Монпарнас и с вершины собора Парижской богоматери Париж выглядит по-разному, но в обоих случаях нам открывается панорама города в его целостности. По сути говоря, всякий настойчивый поиск — поиск реальности — ведет к обобщению, ибо, по словам Робера Фоссаэра, исходит из того, что социальные явления образуют целостную систему [36]. Значит, в конечном счете всякая социальная наука занята обобщениями. Как же в таком случае не предположить, что к истории сказанное относится в еще большей степени, нежели к любой другой науке,— ведь те вопросы, которые все социальные науки *в целом* задают настоящему, история задает прошлому.

По этой причине мое предприятие грозит мне большими опасностями, но одновременно сулит большие выгоды. В самом деле, стараясь всякий раз рассматривать историю Франции во всем ее объеме, мы теряем возможность оставаться в заранее очерченных пределах. Отсюда — неизбежные повторы, возвращения к тому, что уже было сказано в предыдущих главах, хотя абсолютно точных повторений, пусть даже речь идет об одних и тех же явлениях, вы в этой книге не найдете. В конечном счете свой долг я видел просто-напросто в том, чтобы объяснить, что́ я вижу и как понимаю то, что вижу. Как же в таком случае мог я, говоря, например, о географии, не касаться экономики и общества, или политики, или антропологии, и так далее и так далее? Все, что предстает нашему взору, образует единую массу, которую следует освещать постепенно, не теряя терпения, снова и снова

зажигая гаснущий фонарь. Итак, я решился наблюдать и сопровождать свои наблюдения комментарием, не слишком заботясь о том, насколько укладываются мои рассуждения в жесткие рамки научных категорий — категорий, которые, что ни говори, мы же сами и создали.

Другая трудность — впрочем, встающая прежде всего перед читателем,— заключается в том, что я постоянно смешиваю давнее и не очень давнее прошлое, а также прошлое и настоящее. Дело в том, что хотя прошлое и отделено от настоящего преградами, холмами, горами, трещинами, разломами, оно тем не менее входит, просачивается в нашу жизнь; неведомое, но настойчивое, оно омывает нас, и мы, сами того не зная, погружаемся в него все глубже. Прошлое, как пишет один социолог, «окатывает нас своими волнами, так что нет явления, которое можно было бы исследовать, не беря прошлое в расчет» [37]. Именно эти волны, катящиеся к нам из прошлого Франции, я стараюсь обнаружить, их путь стремлюсь проследить, чтобы постичь, каким образом вливаются они в современность, подобно тому как реки впадают в море.

Заглавие книги всегда исполнено особого смысла. Я недаром назвал свой труд «Что такое Франция?». Этот вопрос уже давно завораживает и мучит меня. Прямо или косвенно он подразумевает все только что перечисленные проблемы и прибавляет к ним многие другие. Он многозначен; он — задача со многими неизвестными, число которых без конца увеличивается.

Что же такое Франция? Дать ответ на этот вопрос — значит уловить самую суть проблемы, понять Францию с ее собственной помощью, увидеть, как рождается она из тех бесчисленных напластований, которые слой за слоем терпеливо откладывало ее прошлое, подобно тому как мощная земная кора образовывалась из еле заметных морских осадков, накапливавшихся в течение многих веков. Одним словом, исследовать отстой, сплав, сочетания и смеси. Вникнуть в процесс, в нескончаемую борьбу страны с самой собой. Не будь этой борьбы, все бы рухнуло. Нация может *существовать*, лишь если она бесконечно ищет самое себя, лишь если она постоянно эволюционирует, лишь если она неустанно противопоставляет себя другим и стремится соответствовать лучшему, главному, что в ней скрыто, тому, что воплощено в идеальных образах и заветных словах, известных только посвященным (будь то элита или все население страны — последнее случается не так уж часто), стремится обрести свое лицо, разбираясь в тысяче тестов, верований, речей, оправданий — в безбрежном море бессознательного, смутных совпадений, идеологий, мифов, фантазмов... Вдобавок, ответить на вопрос, что такое нация, можно, лишь если нация эта обладает

определенным единством, которое является условием ее существования, отражает и преображает ее бытие.

Из этих предварительных замечаний следует, что историку необходимо остерегаться излишней простоты: нечего и думать свести историю Франции к одному способу описания, к одному определению, одной формуле, одному образу, одному мифу, как сделал, например, в своей удручающей книге Рэмон Рудорф, сказавший о нашей стране много дурного, но мало верного [38].

Будем откровенны: кто из нас, французов, не задумывался о судьбах нашей страны? Мы тревожились о них всегда, но особенно сильно в те трагические часы, которые беспрестанно выпадали на нашу долю. Катастрофы образуют в истории страны зияющие провалы, похожие на те разрывы между облаками, те светлые колодцы, в которых взорам человека, летящего в самолете, внезапно открывается земля. Катастроф и бездонных пропастей в нашей истории довольно: назовем хотя бы, чтобы не погружаться чересчур глубоко в толщу времен, годы 1815, 1871, 1914... и 1940-й, когда — второй раз в нашей истории — раздался похоронный звон под Седаном, когда немыслимый хаос отступления завершился драмой Дюнкерка... Конечно, со временем эти чудовищные раны затягиваются, заживают, забываются — таков непререкаемый закон всякого коллективного существования, а ведь нация — не индивид, не «личность», но коллектив.

Мне, как и многим другим, довелось пережить трагедию 1940 года. Я помню тогдашнее лето: по иронии судьбы оно было роскошным, солнечным, оно изобиловало цветами, дышало радостью... Мы, побежденные, по воле несправедливой судьбы внезапно лишившиеся свободы, воплощали потерянную Францию, мы были подобны пыли, вздымаемой ветром над кучей песка. Истинная, запасная, глубинная Франция пребывала за нашей спиной, она старалась выжить и выжила. И если завтра люди не пустят в ход дьявольские средства разрушения, она будет жить и впредь, несмотря на все наши тревоги и невзгоды, несмотря на нашу историю, до предела насыщенную драматическими событиями, историю грозную, постоянно пляшущую перед нашими глазами, словно языки пламени, сверкающую, томительную, но в свой черед уходящую в прошлое... С той, уже довольно давней, поры я всегда стараюсь думать о Франции как о стране, прячущейся глубоко внутри самой себя, тонущей меж берегов собственной многовековой истории и обреченной жить дальше во что бы то ни стало. Плодом этих размышлений и явилось смутное название, к которому я понемногу привык.

Все эти годы в памяти моей жил один пример. Испания (читателю,

возможно, известно, как много она значила в моей жизни) также пережила немало трагедий, ей также предъявлялись страшные ультиматумы. Несправедливая война 1898 года против Соединенных Штатов нанесла Испании огромный урон: она разом лишила ее всех остатков старого имперского сознания, отняла у нее ощущение собственного величия, алиби, щит. Это обстоятельство потрясло интеллектуалов, принадлежавших к так называемому «поколению 1898 года», и заставило их задуматься о судьбах своей страны. Мигель де Унамуно написал книгу «Сущность Испании» [39], Анхель Ганивет укрылся в башне из слоновой кости, которую ему заменила его «Идеология» [40], а Ортега-и-Гассет много позже под влиянием событий 1898 года назвал Испанию «бесхребетной» — печальный, нестерпимый образ [41].

Меня всегда увлекала мысль встать в один ряд с этими прославленными людьми, разделить их боль. Но выводы их мне чужды. Повторяю, я не верю в наличие у Франции (как, впрочем, и у Испании) одной-единственной «сущности»; я вообще не верю в простые формулы. Не верю я также и в осмысленность слова и понятия «упадок». Свою задачу я вижу только в том, чтобы исследовать историю Франции методично, без всякой предвзятости, глядя на нее под разными углами зрения, дабы понять, каким образом долгая эта история вырастает из глубины веков, повинуясь собственным теченияm и теченияm истории мировой. Я постараюсь при этом сохранять хладнокровие...

Книга «Что такое Франция?» делится на четыре большие книги *: I. Пространство и История (под знаком географии); II. Люди и Вещи (демография и политическая экономия); III. Государство, Культура, Общество (с использованием данных политологии, культурологии, социологии); IV. Франция вне Франции (эта книга, выходящая за рамки обычной истории межнациональных отношений, послужит заключением всего труда).

Не стоит искать в этом расположении книг слишком строгой логики. С другой стороны, план всякого сочинения в такой же степени исполнен смысла, как и его название. Разве можно безнаказанно переставлять части и главы, словно слагаемые, от перемены мест которых не меняется сумма? Жорж Гурвич полагал, что всякое исследование идет — или должно идти — от легкого, того, что можно усвоить без особого труда, к тому, что открывается лишь постепенно и усваивается ценою гораздо

* Автор завершил только две из них, которые мы публикуем в нашем трехтомнике. *(Примеч. издательства Арто-Фламмарион.)*

больших усилий [42]. Иначе говоря, следует идти от простого к сложному, от поверхностного к глубинному...

Быть может, стараясь найти ответ на вопрос «Что такое Франция?», я бессознательно действовал именно таким образом? География — конкретнейшая из наук: открыть глаза пошире, поразмышлять о том, что видишь, о том, что может увидеть каждый,— это все же не Бог весть что. Демография — наука новая, занятая сама собой, но тоже вполне доступная. Экономика, самая научная из всех наук о человеке, представляет собою свод правил, которые всякий толковый историк в состоянии выучить. Хуже обстоят дела с Государством, еще хуже — с цивилизацией, повсюду проникающей и везде растворяющейся. Самое же трудное — общество: мы, гуманитарии, не умеем дать ему определение, а следовательно, не умеем с ним справиться. Но уж последняя-то часть, «Франция вне Франции», наверняка возвратит меня на твердую почву? Разве представители традиционной истории не перепевали эту тему на все лады? Разумеется, но сегодня мы смотрим на вещи другими глазами. Больше того, мало-помалу я пришел к убеждению, что Франция — одна из тех стран, где решаются судьбы всего мира, причем не только сегодня, когда, хотим мы этого или нет, мировые силы сгущаются вокруг нас и берут нас в плен! Таким же образом обстояло дело и в прошлом: вспомните завоевание Галлии Римом — «величайшую из катастроф нашей истории», по словам Фердинанда Лота [43]; вспомните Францию, поднявшую вместе со всей Европой знамя крестовых походов, Францию, завоеванную, преобразованную, униженную капиталистической экономикой, начало которой восходит в Европе к XVI веку, Францию, плывущую по зыбким и бурным волнам нашего времени...

Итак, прошлое и настоящее связаны неразрывной, дьявольской связью. Не следует забывать и о будущем: «История,— пишет Жюльен Грак,— сделалась *по сути* [подчеркнуто мною.— *Ф. Б.*] требованием, которое Будущее предъявляет Современности» [44]. Жан Поль Сартр выразил ту же мысль по-своему: «Действительность не может быть диалектичной, если не диалектично время, иначе говоря, если мы не осознаем некоторые проявления будущего в качестве таковых» [45]. Говоря короче, наше сегодня имеет смысл, лишь если оно ведет в завтра, если мы «выходим за его порог» [46].

Истории, следовательно, предлагается променять безмятежность науки, глядящей назад, на тревоги науки, смотрящей вперед. Разве, однако, не естественно для историка переходить, по выражению Жозефа Шаппе, «от истории достоверной, но поверхностной, к истории достоверной, но тайной» [47], или, иными словами, к той истории, которая еще

впереди? Разве, всматриваясь в толщу нашего прошедшего и задаваясь вопросом, что же это такое — Франция, я пекусь прежде всего не о будущем этой страны, разве не им интересуюсь в первую очередь? Силы вчерашней и сегодняшней эпох, сцепляясь и споря, образуют одну глубинную историю и определяют лицо Франции. От них зависит ее жизнь, а быть может, и смерть, ни истинных причин, ни точного часа которой нам знать не дано.

К счастью, тома, которые еще не написаны,— Рождение Франции и Судьба Франции — не потребуют от меня стольких предварительных объяснений и оправданий. В них я, следуя хронологии, поведу речь о тех проблемах, которые уже были рассмотрены до меня многими историками; впрочем, мой взгляд на вещи нередко будет отличаться от взглядов моих предшественников. Но ведь это совершенно естественно, не правда ли? Как бы там ни было, эти тома дадут мне возможность прибегнуть к «сокровищнице» историй Франции, написанных до меня. Уплатить долги. Выполнить главную задачу, какую я ставил перед собой при создании этой книги. Ибо если, ответив на вопрос, что такое Франция, мы сможем — хотя бы в какой-то мере — объяснить, в чем заключается судьба Франции, на чем она зиждется,— я буду считать, что цель достигнута и что усилия мои не были напрасны.

Ле Понтье (Верхняя Савойя), 2 октября 1981 года

Судя по всему, раз начав вводить своего будущего читателя в курс дела, автор решительно неспособен поставить точку. Быть может, ему просто-напросто хочется подольше не расставаться с книгой? Отвечая во время пространного телевизионного интервью (в августе 1984 года) на дружеские и настойчивые вопросы Жана Клода Бренгье, я вынужден был признаться, что приступил к работе над этой «Историей Франции» не только по всем вышеназванным причинам, но и потому, что хотел убедиться в доступности отстаиваемой мною формы исторического труда для широкой публики. Мало высказать правильные или хотя бы правдоподобные идеи, следует поверить их фактами. Молодой историк выразил сходное убеждение другими словами, но я очень хорошо его понимаю. «Систематика,— сказал он,— уступает место эмпирике» [48]. Быть может, мне удастся в этой книге разом пролить свет на два предмета: на общую теоретическую историю и на историю Франции; сердцу моему дороги обе.

Тайе, 11 июля 1985 года

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРОСТРАНСТВО И ИСТОРИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале этой первой книги, три главы которой по сути составляют единое целое, я должен предупредить читателя о принципе, положенном в ее основу. Дело в том, что я пытаюсь выявить многоликие, перепутанные, трудноуловимые узы, связующие историю Франции с территорией, которая сплачивает эту страну, служит ей основанием и определенным образом (хотя, разумеется, и далеко не полностью) ее объясняет.

Разумеется, географию можно использовать по-разному. Можно уделять преимущественное внимание ей самой, ее собственным проблемам и тем проблемам, которые она решает сообща с другими науками о человеке и науками о природе. Именно так поступают географы, которых прежде всего интересует современность. Но для нас география станет способом по-новому прочесть, оценить, истолковать прошлое Франции в соответствии, разумеется, с нашими собственными научными интересами. Впрочем, географии это ничуть не противопоказано. Ведь пространство — реальность не только сегодняшняя, но и — в очень большой степени — вчерашняя. За современными пейзажами вырисовываются, воскресают горизонты минувшего: земля, подобно человеческой коже, обречена хранить следы старых ран.

Вдобавок стоит только вглядеться повнимательнее или замечтаться, и сегодняшняя жизнь окрасится в цвета вчерашние, особенно если перед вами — прекрасно сохранившиеся городки вроде Везле или Отена, либо бесчисленные сельские местности, которых еще не коснулось в полной мере влияние современности,— такие, например, как Форез [1], Бигорр [2], Руэрг [3], пуатевенский край Гатин [4], Бар-сюр-Сен («секванский Бар») [5] и сотня других «краев», где прошлое отказывается умирать... Представьте себе на мгновение, что Рейн и Рона — не те прирученные,

укрощенные реки, какими они являются сегодня, но реки дикие, по которым бесстрашные лодочники плавают, преодолевая тысячу опасностей,— и воображение перенесет вас в прошлое...

Впрочем, главное в этих воображаемых путешествиях во времени — не только отправляться в глубь истории, но и возвращаться назад, в современность. В том-то и состоит ценность географии, что благодаря ей действительность предстает перед нами во всей своей густоте и протяженности, во всем многообразии составляющих ее явлений, которые следует мысленно разъединить, но лишь для того, чтобы еще лучше понять, насколько тесно они связаны. География, занятая разом и настоящим, и прошлым, освещает и объясняет как то, так и другое. *Земля, среда, окружение, экосистема* — все эти термины обозначают ее вклад в науку, ее уроки, ничуть не менее поучительные, чем ценнейшие архивные документы.

Все эти проблемы мы рассмотрим в трех главах первой части.

Вначале мы исследуем нашу страну как разнообразный, «множественный» конгломерат автономных «краев», разноцветных камешков той мозаики, которая, собственно, и зовется Францией. Эту «множественность» я стараюсь сделать «осязаемой» в первой главе: «Имя Франции — разнообразие» [6].

Однако камешки склеены крепким цементом: края и области, деревни и городки, городки и города связаны взаимными обязательствами; рознясь, они дополняют друг друга, а торговля и дороги пропивают всю страну насквозь, скрепляя ее еще прочнее. Вторая глава: «Населенные пункты: деревни, городки и города» — посвящена выявлению тех связей, которые превращают сельские и городские территории в более или менее обширные и упорядоченные структуры.

Структуры, без которых не возникла бы французская нация. Ибо в конце концов именно из них родилась, выросла, устроилась и зажила своею жизнью единая Франция... Этому способствовало ее пространство, сама природа этого пространства. Франция сформировалась у себя дома, в определенной точке Европы и земного шара. Отсюда — тема последней главы: «Франция — дитя географии?»

Такова, как говаривали педагоги во времена моей далекой юности, путеводная нить, помогающая разобраться в этих трех главах, где сталкиваются пространство, люди и история. Да простят мне читатели, если я не всегда точно следовал за этой нитью и позволял себе по дороге немало отступлений. Меня увлекал поиск примеров, мною двигало желание создать симфонию, в которой все ноты звучали бы разом.

Кто смог бы устоять перед подобным искушением?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИМЯ ФРАНЦИИ — РАЗНООБРАЗИЕ

Для начала легче всего представить вещи такими, какими их видишь, какими они кажутся, так сказать, на первый взгляд. Этот первоначальный осмотр тотчас убеждает, что единая Франция — неуловимый призрак. Давным-давно, вчера и сегодня существовало и существует сто, тысяча Франций. Будем исходить из этого непреложного факта, который не сулит нам никаких неприятностей и даже, пожалуй, не грозит особенными опасностями.

I
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОПИСАТЬ, УВИДЕТЬ, ИЗОБРАЗИТЬ

Конечно, нет ничего оригинального в утверждении, что Франция до абсурда разнообразна, или, иными словами, что пространство ее «пестро, как мало в какой другой стране» [1], что Франция — удивительная страна «проселочных дорог» [2], «не имеющая себе равных мозаика пейзажей» [3]. «Даже пешеходу очевидно, что пейзаж во Франции изменяется постоянно» [4]. Каждая деревня, каждая долина, а fortiori * каждый «край» (pays — слово, происходящее от галльского pagus), вроде Бре или Ко, каждый город, каждая область, каждая провинция обладают собственным лицом. Дело не только в явственном различии рукотворных и нерукотворных пейзажей; дело в образе жизни, в том, «как люди живут и умирают, в сумме правил, определяющих характер отношений между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами, между друзьями и соседями» [5]. Все эти различия были еще более очевидны в недавнем прошлом, когда повсюду царили местные привилегии, местные наречия, народные легенды, традиционные постройки (из камней, лавы, кирпичей, самана, дерева) и костюмы. А система мер, с нашей точки зрения крайне причудливая, отличалась таким разнообразием, что, по свидетельству Лавуазье (1787), только в одном небольшом Перонне были в ходу «семнадцать видов *арпана*, в каждый из которых входило разное число першей, причем перши эти тоже были разной величины» [6].

Эта поразительная пестрота мер приводила в ужас государственных чиновников. Нельзя ли устроить так, чтобы все винные бочки вмещали одинаковое количество вина? — спрашивают интенданта Пуату в 1684 году. Пустое дело,— отвечает он и тотчас перечисляет потрясающее множество деревень, в каждой из которых «бочка» именуется по-разному и вмещает разное количество вина; все эти меры употребляются вперемешку, а ведь кроме них на пуатевенских рынках представлены также бочки беррийские, лимузенские и бордоские. Привести все это к одному знаменателю было не легче, чем отыскать квадратуру круга [7].

Судите сами, насколько сложна была старинная система мер: ведь только для того, чтобы узнать цены на зерно в данной области, нужно было вначале выяснить, сколько весит мера пшеницы, ржи или овса в каждом городе или городке, а затем перевести полученные цифры

* Тем более *(лат.)*.

в «марки» — единственную всеобщую единицу измерения. В архивах хранятся некоторые из этих «отчетов о ценах на зерно» — загодя отпечатанные таблицы, куда каждые две недели вносились новые данные.

Так же многообразны были и наряды: например, бретонцы в Корнуа̀йе предпочитали красный цвет, в Леоне синий, в Трегоре — фиолетовый [8]. В 1878 году (всего сто лет назад) жительницы Морвана хранили верность вековечной традиции: «Все женщины, и молодые, и старые, ходили в юбках из шерстяной ткани в широкую полоску, в белых шерстяных чулках и деревянных башмаках... плечи они покрывали овчинной накидкой, а голову — стеганым ситцевым чепцом, из-под которого сзади виднелся большой шиньон» [9].

Дома также строились в разных местах по-разному: в департаменте Юра, как говорили в давние времена и говорят до сих пор, «у каждой горы свой *особняк*», иными словами, своя форма дома [10].

Конечно, сегодня многое из этого изменилось или изменяется, многое искажается, но ничто не исчезает целиком. «Стоило мне сказать,— сообщает монсеньор Люстиже (ныне архиепископ Парижский, а прежде епископ Орлеанский),— «Орлеанская епархия» (иначе говоря, департамент Луаре), как люди из Гатинэ возражали: мы не орлеанские!» [11]

Люсьен Февр повторял, и нам следует повторить вслед за ним, что «имя Франции — разнообразие» [12]. Я, пожалуй, предпочел бы сказать, хотя это и куда более тривиально, что «*суть* Франции — разнообразие», ибо речь тут идет не о видимости, не о наименовании, но о конкретной реальности, о блистательной победе множественности, разнородности, исключительности, неповторимости. Если присмотреться к Англии и Германии, Италии и Испании, станет ясно, что и их имя — разнообразие, однако нет никакого сомнения, что это разнообразие не так богато и не так очевидно. Иностранный историк, изучавший Францию на рубеже XIX и XX веков, замечает, что она рассыпается в руках исследователей на множество отдельных Франций, готовых со спокойной душой разъединиться и забыть друг о друге [13].

Казалось бы, все эти противоречия, живущие, как сорняки, должны были исчезнуть или хотя бы сгладиться в единой и неделимой [14] якобинской Франции, у которой за плечами уже два столетия (и каких столетия!) существования, свободного от монархической, патерналистской власти, тоже, впрочем, стремившейся к централизации, хотя и соблюдавшей при этом немалую осторожность. Больше того, если принять во внимание совершенствование средств сообщения и повсеместное распространение французского языка — того языка провинции Иль-де-

Франс, что с тысячного года завоевывает Францию,— промышленный подъем XIX века и неслыханное, изумительное процветание 1945—1975 годов — «трех славных десятилетий» [15],— если принять во внимание все эти могущественные факторы, то логично будет предположить, что благодаря им мозаика, состоявшая из сотен и тысяч цветных стеклышек, покрылась толстым слоем однотонной краски. Между тем можно с уверенностью сказать, что ничего подобного не произошло. «Индустриальное общество,— справедливо замечают Эрве Ле Бра и Эмманюэль Тодд в книге 1981 года,— не уничтожило разнообразия жизни во Франции. Свидетельство тому — картографический анализ ⟨которым и занимаются, причем занимаются блестяще, оба автора⟩ нескольких сотен *показателей*, от структуры семьи до числа самоубийств, от частоты рождаемости побочных детей до количества разводов, от среднего возраста вступления в брак до числа алкоголиков» [16] и даже до распространенности душевных болезней. Другие *показатели* и даже самые обычные описания убеждают в том же самом: множественное поглощает, затопляет единичное. Как пишет Ив Флоренн, Франция — страна «единая и *делимая*» [17]. Поверим на слово Жану Жионо, утверждавшему, что он неспособен описать своих земляков-крестьян, не описав их родных пейзажей, ибо крестьяне составляют с этими пейзажами, каждый из которых неповторим, единое целое. Куда ни посмотри, на высокогорное провансальское плато или на плоскую камаргскую равнину, всюду мы увидим людей, «чья жизнь (и любовь) протекает в согласии с деревьями и дикими пчелами, с песчаными холмами, быками, овцами и конями...» [18]. Следовательно, те, кто высказывают предположения — на первый взгляд, весьма правдоподобные — о неминуемом движении французского общества к единообразию, ошибаются так же, как ошибается Стендаль, утверждавший еще в 1838 году: «Во Франции оттенки становятся с каждым днем все менее заметны. Возможно, через пятьдесят лет у нас уже не будет ни провансальцев, ни провансальского языка» [19]. В этом случае Стендаль оказался неправ.

Однако, признав с восторгом чревоугодников, что Франция отличается поразительным разнообразием, географы, историки, экономисты, социологи, эссеисты, антропологи, политологи тотчас подают назад и продолжают исследовать Францию как единый организм, делая вид, что жертвуют второстепенным или примитивным ради главного, главным же они считают не действительное, но желаемое, не разнообразие, но единство, не силы, враждебные или чуждые Парижу, но историю Франции, сведенную к одному-единственному направлению. Два моло-

дых историка шутят: «Наша страна славится пестротой: всем известно, что Франция на удивление богата пейзажами, умами, расами, крышами и сырами» [20]. Сказано неплохо, хотя список далеко не полон. Но, раз упомянув о неслыханном богатстве, никто больше о нем даже не заговаривает, и нам преподносится очередная история Франции, движущаяся по накатанным рельсам. Нашелся даже эссеист, прославляющий Францию как «родину единую и неделимую, ибо разнообразную и переливающуюся всеми цветами радуги ⟨так!⟩; родину, которая вот уже много столетий каким-то чудом ухитряется переплавлять в своем горниле самые разнородные элементы, так что они сливаются воедино, сохраняя, однако, свою оригинальность» [21]. Я ничего не имею против родины, желающей быть единой и добивающейся этого. Однако среди тех, кто сопротивляются подобному воссоединению,— не только иностранные иммигранты, которые, приехав сюда, попадают, как попали бы в любой другой стране, в некий общий котел; среди них — разные Франции, искони чуждавшиеся друг друга, но обреченные существовать бок о бок. «Сливаются воедино»? Как бы не так!

Что ни говори, цельной Франции противостоит Франция многоликая, и мы не вправе изучать только первую, игнорируя вторую. Не признав за нашей родиной многоликости, мы никогда не сможем разобраться в нашем национальном прошлом, сущность которого — подспудное отторжение одной области от другой, противоречия, непонимание или взаимопомощь (случалось и такое!),— но также и ссоры, ненависть, насмешки. Пожар может вспыхнуть в любую минуту: хладнокровный историк Марк Ферро утверждает даже, что призвание французов состоит *исключительно* в том, чтобы воевать друг с другом.

Провинции как совокупности областей и «краев». Какой француз, однако, не испытывает удовольствия, видя Францию разнородную, неожиданную, где через каждые двадцать, тридцать или сорок километров тебе предстают иные пейзажи, иной образ жизни, иные краски и по-иному устроенные населенные пункты? Тем более что каждый из нас ощущает себя уроженцем не только определенной провинции, которую в глубине души предпочитает всем остальным, но и определенного уголка этой провинции... Во всяком случае, место, где мы родились и выросли, в немалой степени обусловливает нашу индивидуальность. Вытекает ли отсюда, что те, кто не помнят своих корней и предпочитают растворяться в парижской анонимности, достойны жалости? Отнюдь не обязательно. Причем не только потому, что старый Париж с его квар-

талами и предместьями представлял собою сплав деревень и городков, следы которых не стерлись окончательно и в наши дни. Но и потому, что парижане, будь то рабочие, интеллектуалы или буржуа, имеют собственные традиции. Когда Даниель Рош в книге под названием «Народ Парижа» пишет: «Я парижанин в пятом поколении» [22], он поступает как самый закоренелый провинциал.

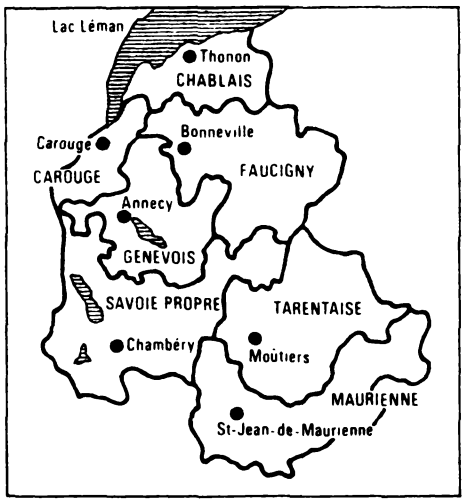
Точно так же мыслит большая часть жителей нашей страны по сей день, ибо каждая микрообщность людей стремится к тому, чтобы оставаться *другой*, не смешиваться с соседней малой родиной. Это — еще *один сюрприз*, который готовит нам современная география: дело в том, что прогресс, хотя он движется семимильными шагами повсюду, изменяет один «край» сильнее, или иначе, чем другой, соседний, и это усугубляет расслоение между ними. Впрочем, истоки этого расслоения уходят в далекое прошлое. Когда я вижу или вспоминаю «края», которые знаю лучше других: Орнуа в департаменте Мез, Фосиньи в Савойе, Валлеспир в Руссийоне, Северный Эльзас между Виссенбургом и священным лесом Хагенау, Heiliger Forst, с его реками, которые безмолвно струятся по пескам, и величественными водами Рейна на востоке, я, кажется, каким-то чудом прозреваю прошлое. Ибо в этих краях сегодняшний день превращается в некое *всеобъемлющее* настоящее, где смешиваются все виды деятельности, где горизонты близки и обозримы и позволяют увидеть все или почти все, понять все или почти все. Но эти же картины открывают многое не только в сегодняшнем дне, но и в днях вчерашних, помогают восстановить ушедшие связи, наполняют смыслом описания путешественников (как прославленных, так и безвестных), которые побывали в этих местах прежде нас и видели почти то же самое, что и мы,— именно эти «почти», эти отличия, подчас едва заметные, снова погружают нас в ту жизнь, что текла здесь когда-то.

Итак, всякая «честная» история Франции должна открываться пестрым, цветным изображением этой страны. Как ни старается *единая* Франция подавить, оттеснить Францию многоликую, затушевать стремление ее областей и «краев» к самобытности, обманом сосредоточить внимание и расположение традиционной истории на себе одной, ей это не удается. *Единой* Франции не существует; говорить следует о многих Франциях. Более того, не существует и единой Бретани, перед нами — несколько Бретаней, несколько Провансов (в чем и уверял нас Жионо), несколько Бургундий, Лотарингий, Франш-Конте и Эльзасов...

Я полагаю, что неплохо знаю Франш-Конте. В 1926 году я впервые пересек эту провинцию пешком и на велосипеде в обществе трех однополчан, один из которых, ныне покойный, был географом [23]. Мы начали

ПРОВИНЦИЯ И ЕЕ «КРАЯ»: САВОЙЯ В XVIII СТОЛЕТИИ

Всякая провинция состоит из более или менее прочных образований, *по большей части* доживших до наших дней.



В карте использованы материалы книги: Guichonnet P. Histoire de la Savoie. 1973. P. 313. Воспроизводится по книге: Braudel F. Civilisation *matérielle* économie et capitalisme. T. III. P. 242 (Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. М., 1992. Т. III. С. 287).

путешествие в Вальдаоне, городке к юго-востоку от Безансона, известном своим военным лагерем. Побывав в Орнане — родном городке Гранвеля,— мы пересекли изумительную долину реки Лу, по длинному ущелью (cluse) Нантюа добрались до Вальзерины и Бельгарда, где в ту пору можно было увидеть чудесное зрелище Роны, исчезающей под камнями, затем долго странствовали по великому Жексу, который — высший из комплиментов! — показался нам таким же красивым, как Эльзас, и наконец не спеша поднялись к перевалу Фосий, вознаградившему нас видом на Женеву, раскинувшуюся вдали.

Впоследствии каждый или почти каждый год я отправлялся в горы Юра и всякий раз испытывал волнение и восторг, оказываясь в Арбуа и Шато-Шалоне, в Понтарлье и Сен-Клоде, Сент-Амуре и Руссах, на озере Сен-Пуэн и на крошечном озерце Силан... Мне даже кажется, что я узнал бы эти горы по одному только цвету их травы, где к густой, яркой, даже едкой, зелени примешивается легкая голубизна, тогда как поблизости, в Альпах, травы отливают желтизной... Разумеется, географическая карта, на которую нанесены долина Соны и плоскогорья Юра на западе, а также хребты Юра с их лесистыми склонами и лугами в ущельях на востоке (вспомните роскошную долину реки Эн),— карта эта дает лишь самое общее представление о тамошних «краях» и ничего не сообщает о чрезвычайном разнообразии их почв и климата, сельскохозяйственных культур и населенных пунктов. Возьмем, например,

О-Ду и верховья Эна: долина Ромей непохожа на долину Мижу, а та — на долину Мьеж, но все эти крохотные «края» дополняют один другой и поневоле поддерживают более или менее тесные контакты [24].

Сходным образом нет никаких оснований толковать о *едином* и неделимом Провансе. Ни малейших оснований! Конечно, у Прованса свой климат, свое небо, свои деревья и травы, привыкшие к жаре, свои просторные и безлюдные пустоши (herms) — все это общеизвестно! Однако тройственное влияние Средиземного моря, Роны и могучей громады Альп, которые занимают едва ли не всю северную часть Прованса, лишает его монолитности.

Во внутренних районах Прованса мы повсюду встречаем одну и ту же картину: песчаные гряды и известняковые плато (известняк здесь твердый и залегает толстыми слоями), старые, еще не совсем размытые скалы, неширокие долины и равнины, а также низины вроде той, что окружает два древних массива — Мор и Эстерель. Однако причудливый, то и дело меняющийся рельеф заставляет забыть о повторяемости этих элементов провансальского пейзажа. В общем, самом общем виде о Провансе можно сказать следующее: с одной стороны — районы высокогорные и бесплодные, с другой — долины и их уголки, бассейны и берега рек, где, естественно, развивается земледелие.

Высокогорные районы — это первобытные дубовые и сосновые леса, маки и гариги *, девственные или возделанные человеком, причем возделанные рано или поздно приходят в упадок, «уступают место невзрачным ландам, где заросли молочая и асфоделей заглушают последние остатки злаков» [25]. Тем не менее и высокогорные районы сыграли немаловажную роль в экономике древнего Прованса, о чем свидетельствует даже само их нынешнее прискорбное состояние. Еще в 1938 году один географ описывал «расположенные на севере горного хребта Сент-Виктуар густые заросли вечнозеленых дубов и дубов белых (chênes blancs de Sambuc), оживающих каждую весну; в этих уединенных местах все чаще появляются бригады наемных рабочих. У каждого свое дело: дровосеки рубят лес, обжигальщики извести собирают хворост для печей, где печется хлеб и обжигается известь, женщины, вооруженные деревянными молотками, обивают с веток кору, угольщики распиливают эти голые ветки, возчики доставляют кору на жонкские или пейрольские дубильные мельницы» [26]. Этот рассказ о ста-

* Гарига — сообщества низкорослых вечнозеленых кустарников, полукустарников и многолетних трав на сухих каменистых склонах нижнего пояса гор Средиземноморья. *(Ред.)*

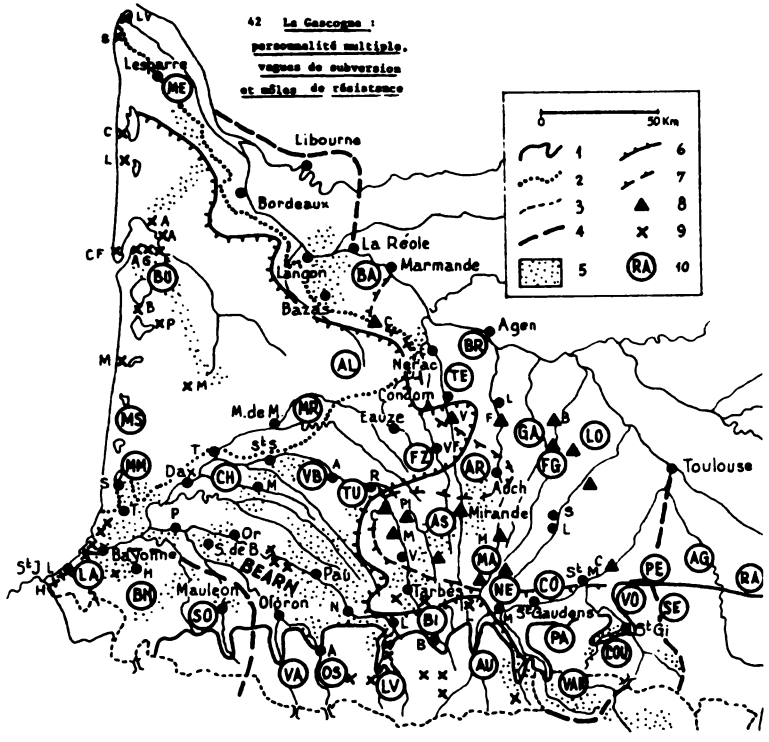
ринных провансальских ремеслах, ныне почти совершенно вышедших из употребления, позволяет понять, отчего деревни в Провансе прилепляются к склонам гор, а не строятся на их гребнях; все дело в том, говорит Пьер Гуру, что люди селятся на полпути между пашнями, раскинувшимися внизу, и лесами, растущими наверху [27]. Когда лес перестает приносить пользу, деревня начинает смещаться, «сползать» вниз. Есть и такие деревни, которые примостились на склоне между стремящимся вверх виноградником и злаками, произрастающими внизу [28].

Издревле в основании экономики Прованса, как и всего Средиземноморья, лежали три вещи: во-первых, хлебопашество, во-вторых, виноградарство, а также выращивание оливков и миндаля, в-третьих, разведение мелкого рогатого скота, прежде всего овцеводство. Низкорослым деревьям нужен каменистый, сухой грунт; пшенице идут на пользу весенние дожди, осенние же дожди благоприятствуют росту злаков в гаригах и ландах, где «находит себе корм мелкий рогатый скот» [29]. В конечном счете каждый «край» имел возможность существовать самостоятельно, как того и требовала древняя разобщенность Прованса.

Однако в XVIII веке перегородки между «краями» начали рушиться, что позволило каждому из них сосредоточиться на каком-то одном роде деятельности, так, в бассейне реки Арк выращивали хлеб, в окрестностях Арля разводили скот, от Касси до Тулона растянулись виноградники.

Возьмем, например, окрестности Лараня — высокогорный край в провансальских Альпах, между Систероном и горой Ванту в горной цепи Люр — странный край, который любил, знал и воспевал Жан Жионо. Современность дает себя знать и здесь, проявляясь в специализации. «Кому-то может показаться удивительным,— пишет Жионо,— что крестьяне в этих местах не идут за плугом; все дело в том, что здешние крестьяне — по преимуществу пастухи. Благодаря этому они стоят в стороне от технического прогресса (и выше его). Никто еще не изобрел машину, умеющую пасти овец... Землю здесь пашут лишь те, кто выращивает пшеницу, ячмень, картошку и овощи для себя и для своей семьи; по этой причине многие крестьяне и живут в одиночестве: одному человеку нужно так мало, что он может ковыряться в земле не больше месяца в году» [30]. Овцеводство — типичная для древних «краев» форма связи с окружающим миром.

Сходным образом не существует *единой* Нормандии; Нормандий по меньшей мере две: Верхняя Нормандия, доминанты которой — Руан и море, и Нижняя, чей центр — Кан и его плодородные окрестности.



МНОГОЛИКАЯ ГАСКОНЬ

Пример географического и исторического, этнического и топонимического объяснения, даваемого происхождению «краев». Воспроизводится по книге: Bonnaud P. Terres et langages. T. II. P. 364.

Важен также контраст — контраст чрезвычайно яркий — между «богатыми лугами края Ож, лесами, окаймляющими излучины Сены, бокажами *, тянущимися по берегам рек Орн и Вир, ландами Котантена, пшеничными полями краев Ко и Вексен» [31]. Я привел слова Фредерика Госсена из его рецензии на прекрасную книгу Армана Фремона «Нормандские крестьяне» (1981). Процитированное перечисление далеко не полно; мы с ходу можем продолжить список: Пти-Ко, Бре, Бовези,

* Бокаж — культурный ландшафт с чередованием небольших полей и лугов с лесными и кустарниковыми полосами. *(Ред.)*

Надпись на карте сверху: Многоликая Гасконь — подрывные влияния и оплоты традиций.

Условные обозначения на карте: 1. Предгорья Пиренеев. *2.* Граница лесистых ландов. *3.* Государственная граница. *4.* Граница распространения гасконского наречия в тех местах, где она не совпадает с государственной границей и течением Гаронны. *5.* Основные сферы бытования топонимических окончаний «ос» и «айн». *6.* Граница широкого распространения топонимических окончаний «ак» и «ан». *7.* Граница территории, где сохранились бастиды, небольшие замки (castelnaus) и прочие феодальные постройки начала раннего средневековья. *8.* Бастиды, небольшие замки и проч., включенные в сеть обслуживания туристов. *9.* Города, городки, различные центры (промышленные, туристические и проч.), развивающиеся в рамках общенациональной системы. *10.* Названия «краев» (список сокращений): AG — Аганагес, AL — Альбре, AR — Арманьяк, AS — Астарак, AU — Ор (долина Ор), BA — Базадэ, BI — Бигор, BN — Нижняя Наварра, BR — Брюилуа, BU — Бюш, CH — Шалос, CO — Комменж, COU — Кузран, FG — Фезансаге, FZ — Фезансак, GA — Гор, LA — Лабур, LO — Ломань, LV — Лаведан, MA — Маньоак, ME — Медок, MM — Мареннн, MR — Марсан, MS — Марансен, NE — Небузан, OS — Долина Оссо, PA — Асп, ПЕ — Педагес, RA — Разес, SE — Серунес, SO — Суль, TE — Тенарез, TU — Турсан, VA — Долина Асп, VAR — Долина Аран, VB — Вик Биль, VO — Вольвестр.

Ценность этой сложной карты, включающей в себя тридцать семь гасконских «краев» (тех, кто желает вникнуть в нее более подробно, отсылаем к книге П. Бонно),— в самой ее сложности; карта, составленная Бонно, отражает не только географические различия местностей (горы, рассеченные глубокими лощинами, связь между которыми крайне затруднена; ланды, перерезающие побережье моря, во многих отношениях выгодное для проживания; равнины Аквитании), но также этнические и лингвистические различия — следы, оставленные историей; дело в том, что «сугубо индивидуализированный аквитанский этнический субстрат» претерпел целый ряд «северных и восточных влияний», начиная с проникновения в Гасконь галлов, завоевания ее римлянами и притока иберийских беженцев и кончая усилиями по «окультуриванию феодального общества», которые предпринимали в средние века жители Тулузы, а также позднейшими «экономическими влияниями Франции». Так устанавливается связь Гаскони с ее далекой предысторией, со «сложным переплетением внутренних и внешних причин дробления территории».

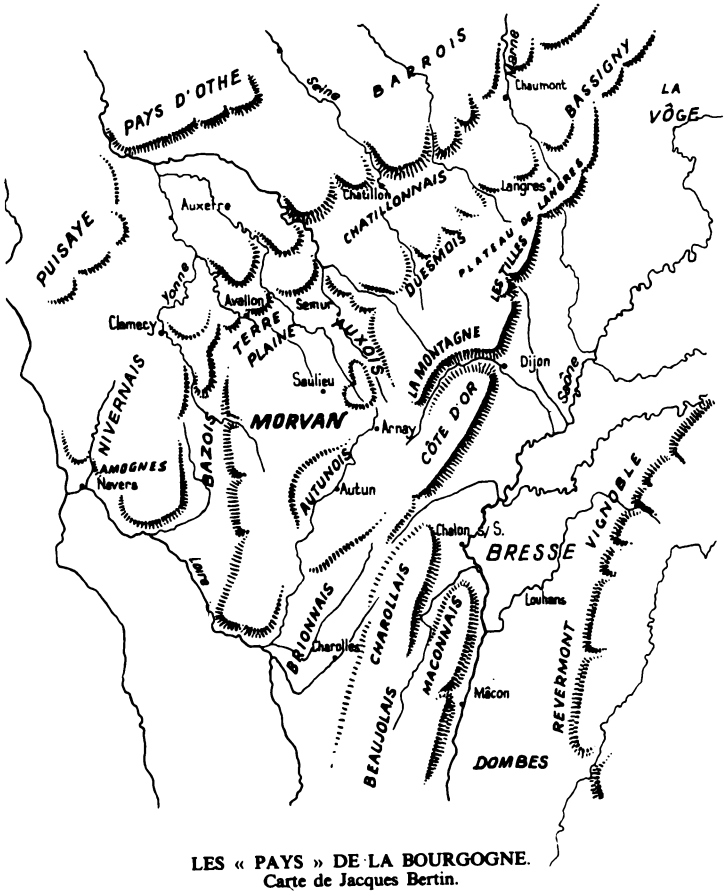
Мадри, Небур, Румуа, Уш, Бессен, Ульм, Сеуа, окрестности Алансона, окрестности Фалеза, Иемуа, Пассе, канская равнина, Авраншен, Ботуа, Корлуа... Фредерик Госсен совершенно прав: «Каждый „край“ ⟨в Нормандии⟩ порождает определенный тип человека и определенный образ жизни. Край неотделим от своей истории» [32]. Впрочем, верно и обратное: история каждой местности порождает определенный тип человека, определенный пейзаж, скрепляет «край», сообщая ему устойчивость. Разумеется, безудержная, стремительная урбанизация смазывает некоторые из древних различий, но зачастую действие ее остается сугубо поверхностным.

Если задаться целью определить, какая из наших провинций наиболее богата «краями», первое место займет Гасконь (см. карту на с. 30), а второе — Шампань. Гасконь — целая колония «краев»-полипов, общим числом не меньше тридцати. Как пишет Эрве Филипетти: «Если некоторые из них сохраняют старинное название и признанные всеми границы (назовем такие края, как Порсьен, Пертуа, Ремуа, Сенонэ или Бассиньи), то другие уже не воспринимаются в качестве живых и самобытных общностей: кто ныне вспоминает о краях Арсезэ, Бриенуа или Атенуа» [33], а также о краях Провинэ или Валлаж?.. Быть может, наряду с брошенными деревнями существуют и брошенные «края»? Края, чьи территории и границы следовало бы восстановить путем обстоятельных и, главное, незамедлительных изысканий?

А разве самые маленькие территориальные единицы не делятся в свою очередь на участки еще меньшие? Лаведан — бассейн горной речки По, протекающей в Пиренеях и их предгорьях, состоит из семи «краев», которые зовутся долина Бареж, долина Котре, долина Азен, Эстрем де Саль, Басюргер, Давантег, Кастеллубон... [34]

Так что поостережемся соглашаться с торопливыми авторами, уверенными, что наши старинные провинции ныне составляют единое целое.

К примеру, Анри Фосийон, исследуя романское искусство, пришел к выводу, что Бургундия «в течение полутора веков ее существования состояла из трех различных частей, оставаясь, впрочем, единой» [35]. Если заниматься только романскими церквями, Бургундию в самом деле можно назвать состоящей из трех частей, если же обратиться к ее истории и географии, утверждение это следует признать ложным. Как показывает карта, сделанная на основе исследований Анри Венсено [36] (с. 33), Бургундия — конгломерат множества различных «краев». О «единстве» ее позволительно говорить лишь постольку, поскольку позволительно говорить о единстве всей Франции. И та, и другая



LES « PAYS » DE LA BOURGOGNE.
Carte de Jacques Bertin.

«КРАЯ» БУРГУНДИИ
Карта Жака Бертена.

существуют одновременно на нескольких уровнях; обе — своего рода пирамиды, вершиной которых является единичное, в основании же покоится множественное.

Итак, я считаю важным и полезным повторить еще раз, как можно более настойчиво: «Не забывайте, что Франция — это разнообразие»,— так Андре Зигфрид неустанно твердил своим ученикам: «Не забывайте, что Англия — это остров».

Пуститься в дорогу и собственными глазами увидеть, что такое — разнообразие. Однако какой толк рассуждать о разнообразии Франции — его следует увидеть, увидеть собственными глазами, насладиться его красками, запахами, потрогать его своими руками, больше того, узнать, каково оно на вкус, поев и выпив в местном кабачке. Мишле, если говорить языком Ролана Барта [37], уплетает за обе щеки не только историю Франции, но и саму Францию; кажется, он никогда не переставал по ней путешествовать и ею кормиться. Той же страстью был охвачен Люсьен Февр. Не чужд ей и я.

Не стану говорить о самолетах: с некоторых пор они взмывают слишком высоко, но автомобили сегодня сильно облегчают дело нам, любителям путешествий; главное — не слишком доверять горным дорогам, хотя и среди них есть великолепные, например, та, что ведет из Женевы в Анмас и Бонвиль через Фосиньи, а затем, поддерживаемая гигантскими опорами, вьется над пропастью до самого Шамони и Монбланского туннеля... Самые лучшие, самые красивые — проселочные дороги: они проложены так замечательно, что следуют за всеми неровностями местности и дают исчерпывающее представление о ее рельефе. Останавливайтесь почаще. И — если, конечно, вы разделяете мои личные пристрастия,— обращайте особенное внимание на стыки, пограничные зоны. Замечайте, например, в каком месте меняется форма крыш или материал, из которого они сделаны, в каком месте колодцы — эти бесценные свидетели, к которым, увы, мало кто прислушивается,— начинают выглядеть по-иному; присматривайтесь к амулетам, защищающим — как в Эльзасе, где они встречаются на каждом шагу,— дома от сглаза; задавайтесь вопросом, отчего в Шампани причудливыми флюгерами увенчаны все крыши без исключения, а в Лотарингии флюгер — верный знак того, что перед тобою — помещичья усадьба или дом зажиточного крестьянина (в моей родной деревне флюгер украшал один-единственный дом). Быть может, шампанские крестьяне и ремесленники стремятся таким образом взять запоздалый реванш, провозгласить социальное равенство, а заодно объявить всему миру о роде своих занятий? Однако почему же тогда мы не встречаемся с этим явлением нигде, кроме Шампани?

Итак, вот мой совет: ищите расхождения, контрасты, сломы, границы. Ибо если нам «понятие границы между мелкими „краями“ кажется устаревшим и искусственным... то деревенские жители считают его само собой разумеющимся. Земледельцы постоянно сталкиваются с ним в своей повседневной практике: соседний „край“ начинается на другом берегу ручья, за лесом, под горой» [38]. Я заимствовал эти строки из книги

Эрве Филипетти, посвященной крестьянским домам,— прекраснейшей книги (я говорю и об иллюстрациях, и о тексте) из всех, какие можно прочесть о старинной Франции; автор ее ведет речь о тех границах, или, лучше сказать, о тех футлярах, внутри которых сохранились до наших дней деревенские формы бытия; он рассматривает дом в его связи с окружающим пейзажем, почвой, климатом, подручными строительными материалами, социальным устройством деревни, родом сельскохозяйственных культур, в этой деревне выращиваемых. Он поистине воскрешает прежнюю жизнь.

Вообразите себе, что вы прощаетесь с темными елями, идущими под уклон лугами и вьющимися меж обрывистых склонов дорогами Юра и внезапно выезжаете на низкую и плоскую Бресскую равнину, поросшую травой, усеянную водоемами, прошитую стройными рядами деревьев,— тотчас просторные, массивные, приземистые дома с высокими каменными стенами и сараи с широкими полукруглыми козырьками над входом, характерные для департамента Юра, уступают место бресским кирпичным фермам с деревянными стойками и черепичными крышами, с которых свисают рыжими гирляндами початки кукурузы. В мгновение ока вы попадаете в другой мир.

Или, например, вы едете из Парижа в Орлеан; за Этампом вы покидаете зеленеющую долину реки Жюин (некогда судоходной и окаймленной мельницами); подождите немного — и глазам вашим предстанет плоскогорье Бос с его широкими горизонтами, нескончаемыми полями пшеницы, колосящейся ровными рядами, и лугами, заросшими пунцовым клевером. Назовем ли мы его самым прекрасным плоскогорьем в мире? Пожалуй; однако босские деревни, «обнесенные оградами, угрюмые, опустевшие (сегодня)» [39], где дома жмутся к колокольне, безусловно не назовешь самыми прекрасными деревнями в мире.

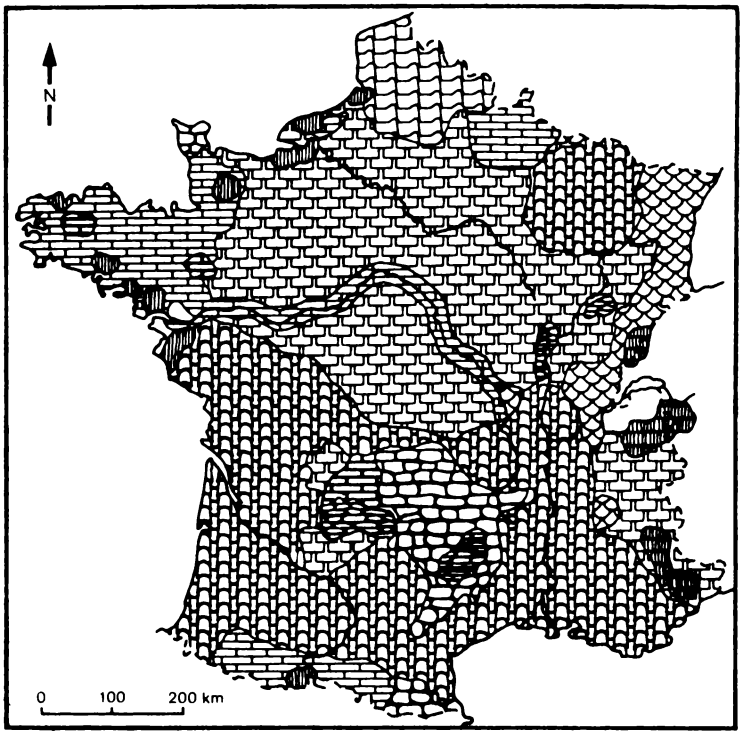
Иной раз достаточно проехать в машине четверть часа — и все меняется стремительно, словно в театре за время антракта. Быть может, вам довелось служить в армии, и вы знаете, причем знаете даже слишком хорошо, большой военный лагерь Майи, находящийся в так называемой «бесплодной Шампани». Вам случалось шлепать по той молочной жиже, в которую дождливой порой превращается не прикрытый перегноем мел, случалось увязать в ней. Я как сейчас вижу белесые следы наших старых солдатских башмаков... Еще в XVIII веке путешественники, побывавшие в этой местности, которую некогда называли Верхнею Шампанью [40], отмечали, что здесь совсем нет деревьев, редко встречаются водоемы, а поля простираются, «насколько хватает глаз». Пожалуй, эта «меловая пустыня» [41] даже сегодня ошеломляет путешест-

венника, особенно если он попадает сюда из шампанских виноградников, произрастающих на западе, на краю скалы под названием Иль-де-Франс. Однако и среди этой бесплодной Шампани встречаются несколько долин, где на берегу реки или озера, на зыбкой наносной почве, в окружении соседних безлюдных меловых плато, поросших травами (des savarts), стоят деревни — однообразные ряды угрюмых домов, обшитых деревом или обмазанных землей. В старину жить здесь было нелегко; впрочем, отыщем ли мы в старинной Франции такие места, где жизнь казалась медом? Лесов поблизости нет, поэтому крестьяне «топили печи, где пекли хлеб, соломой, подобранной на пшеничных и ржаных полях (в ту пору и пшеницу, и рожь жали серпом); в Бри или в каком-нибудь бокаже они покупали двадцать пять, от силы тридцать вязанок дров, стараясь потратить как можно меньше денег; самым бедным приходилось топить печь сухой листвой, корешками люцерны, чертополохом, гречишной соломой, ботвой сурепки... Старые люди еще помнят времена, когда им приходилось укрываться от холода в винных погребах или стойлах» [42]. Еще вчера бесплодные меловые земли (des savarts) пребывали в запустении, но сегодня, избавленные от низкорослых сосен (посаженных в XIX и XX веках), неустанными стараниями превращенные в пахотную землю, они становятся, благодаря удобрениям и современным сельскохозяйственным орудиям, превосходными пшеничными полями [43].

Однако, поскольку Шампань все еще остается областью разительных контрастов, достаточно сделать несколько шагов на восток, чтобы из однообразной меловой пустыни перенестись в Шампань влажную, глинистую, которая оправдывает свое название *, ибо изобилует луговой зеленью, лесами, реками, никогда не высыхающими до конца болотцами и домами, которые, страдая от постоянных дождей, зябко кутаются в дранку или причудливую деревянную чешую. Если же вы не остановитесь и тут, очень скоро взору вашему предстанут Аргоннские холмы — мрачные лесистые громады, где деревни прячутся глубоко в чаще; Аргонны кажутся надежной крепостной стеной, но только на первый взгляд: сегодня не существует таких Фермопил, которые могли бы сберечь Францию!

Меж тем, если вам еще не надоели резкие перемены декораций, поезжайте на север, в сторону Арденн, или на юг, в сторону Отского леса, или же отправляйтесь в Париж, стоящий на краю плоскогорья Бри (представляющего собою часть той скалы Иль-де-Франс, о которой

* От слова champ — поле. *(Ред.)*



ТИПЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ФРАНЦИИ

По книгам: Pitte J.-R. Histoire du paysage français. T. I; A la découverte des villages de France.

Условные обозначения на карте. Левая колонка (сверху вниз): Желобчатая черепица. Балочная черепица. Плоская квадратная черепица. Плоская чешуйчатая черепица. Дранка. *Правая колонка (сверху вниз):* Солома, камыш, дрок. Тонкий шифер. Толстый шифер. Сланцевое покрытие. Известняковое покрытие.

я уже упоминал) — Бри с его прославленными виноградниками и каменными домами, теснящимися среди кудрявой зелени.

Но сюрпризы не кончатся и на этом; с пикардийских меловых плато, как нельзя более пустынных (разве что кое-где на горизонте мелькнет одинокое дерево) спуститесь в долины, которые много веков назад облюбовали для своих стоянок первобытные люди; здесь вы найдете море зелени, раскидистые кущи, спящие воды; долгое время по этим заболоченным берегам Соммы проходила граница Франции,— граница, увы, весьма непрочная! В 1557 году, несмотря на мужественное сопротивление Колиньи, испанцы завладевают Сен-Кантеном; в 1596 году они захватывают Амьен, который не без труда отбивает у них год спустя Генрих IV; в 1636 году, на втором году очередной войны, испанцы доходят до Корби, и весь Париж, вспыхнув, словно бочка пороха от искры, берется за оружие... [44] Конечно, крепости тут стояли скверные; довольно было пушечной канонады, пробоины в стене, решительного приступа, чтобы сломить сопротивление их защитников; ядра долетали до центральной площади. По сути дела, крепости эти играли роль часовых, способных продержаться от силы несколько дней. От них ждали одного — сигнала тревоги.

Недавно я совершил поездку из Бона в Везле через Отен, а затем не спеша пересек Морванский национальный парк. Бонские виноградники — прекраснейшие в мире — не только радуют глаз, но и служат источниками множества других удовольствий. Но вот городок Ноле (старинный рынок, церковь, дома XVI века) — это Центральный массив, то есть совсем другой мир, где виноградники редки, где на просторных лугах, пересеченных рядами деревьев или изгородями, пасутся стада белоснежных шаролеских быков. Здесь мы словно переносимся в прошлое. В Отене с его тихими старинными улочками это ощущается еще сильнее. Однако если в Отене и его окрестностях путешественник испытывает чувство довольства и безопасности, то, приближаясь к озеру Сеттон перед плотиной в долине реки Кюр, по которой в недавнем прошлом сплавляли лес в Париж, он мрачнеет... Даже ясным октябрьским днем Морванский национальный парк выглядит темным; перед вами стеной встает лиственный лес, на который то тут, то там наступают полки хвойных деревьев... Эти безмолвные леса, пересеченные пустынными тропами, вдоль которых растут папоротники, уже в сентябре не зеленые, а бурые, кажется, не приносят человеку совсем никакой пользы. Рядом с высоченными штабелями дров я не заметил ни одного рабочего; единственный механизм был выключен. Время от времени между холмами попадаются открытые пространства, занятые пахот-

ными землями (des ouches). Посреди каждого такого участка виднеется деревушка, состоящая из трех-четырех домов, причем чем дальше на север, тем чаще оказывается, что дома эти крыты не черепицей, а шифером. Небогатые здешние деревни окружены редкими пшеничными, ржаными, картофельными полями, чаще же всего — бесконечными лугами, вдоль которых тянутся изгороди из кустарника, а иногда и ряды деревьев,— одним словом, мы видим здесь бокажи, подобные тысяче других бокажей Западной Франции, орошаемой атлантическими дождями. Здесь нет больших городов, способных сдвинуть жизнь с мертвой точки. Те, которые могли бы сыграть эту роль,— Отен, Аваллон, имеют, по правде говоря, более тесные связи с областями вне Морвана, чем с ним самим. Неужели, спрашивает Жаклин Боннамур [45], написавшая об этой далеко не благословенной местности превосходную диссертацию, Морван следует считать «проклятым краем»? Поскольку больше чем за полвека до того, как Жаклин Боннамур создала свой труд, Морван стал предметом другой диссертации, также весьма замечательной [46], мы имеем возможность сравнить его состояние в две разные эпохи и проследить за *недавним* вырождением этого района: население его уменьшилось больше чем вполовину, и сегодня полноправной хозяйкой здесь сделалась природа. Видаль де ла Блаш утверждал, что Морван можно понять, лишь взглянув на него с вершины холма Везле, одного из тех известняковых холмов, что возвышаются на подступах к Морвану. С этой обзорной площадки Морван напоминает гору, каковой на самом деле не является (его максимальная высота всего 902 метра). Однако еще в конце зимы, когда в Везле и Отене уже зацветают фруктовые деревья, он еще дремлет под покровом снега и льда.

Разумеется, изумленные возгласы, которым я отдал в этой главе щедрую дань, не способны заменить географических наблюдений. Однако они помогают напрячь внимание и до глубины души проникнуться убеждением, что территория наша по природе своей глубоко разнообразна. Этой идее, этому наваждению не остался чужд даже Эрнест Ренан, отнюдь не географ по призванию. В сентябре 1852 года, оставив Сет с его суровым средиземноморским климатом, он добирается до Тулузы и Гаронны. «Кругом все зеленеет,— пишет он,— оливковых деревьев не видно, вместо провансальских горных потоков, пересыхающих летом, я вижу полноводные реки, орошающие окрестные поля, вместо провансальских виноградников, сплошь усыпанных гроздьями, виноградные лозы, похожие на те, что растут у нас на севере» [47].

О двух самых сильных своих потрясениях я расскажу совсем коротко. Первое я испытал в прошлом году, когда ехал по долине реки Тет,

текущей в Руссийоне, в крае Конфлан: после растянувшихся на многие километры виноградников, разбитых в сухой средиземноморской почве, посреди каменистых гариг, я внезапно обнаружил за поворотом дороги пейзаж Верхней Савойи с ее лугами и тесными громадами высоких хвойных лесов... Другим потрясением я обязан прочитанной книге. Жан Жионо посвятил несколько поразительных страниц, посвященных югу Камарги, ее дикой части, которую тем, кто едет на машине через Арль, как все обычно и поступают, трудно и даже почти невозможно рассмотреть как следует. Этот край изобилует насекомыми, птицами, слетающимися сюда со всех концов света, ящерицами и змеями; здесь повсюду струятся реки, здесь ноги вязнут в песке, здесь живут дикие животные — быки и лошади, и дикие, по крайней мере на первый взгляд, люди, которые строят себе белые домики-кубы, похожие на «кусочки рафинада» [48]. Такая Камарга возбуждает мое любопытство куда сильнее, чем недавно разбитые здесь бахчи или сине-зеленые рисовые поля, пребывающие в запустении и подвергающиеся нападению тучи розовых фламинго.

Впрочем, довольно; конечно, я описал далеко не всю Францию — куда там! — ведь я не сказал ни слова ни о Бретани, ни о берегах Луары, ни о Пуату, ни о Гийенне, однако это дело поправимое, тем более что у всякого читателя наверняка имеется своя кладовая образов и потрясений, всякий хранит в душе свои воспоминания, не совпадающие с моими, но их подкрепляющие. Я хотел лишь очертить общие контуры проблемы. Удалось ли мне задуманное?

II
ОСТАВАЯСЬ В ПРЕДЕЛАХ ВОЗМОЖНОГО: ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬ РАЗНООБРАЗИЕ

Осталось объяснить, в чем причина разнообразия: сломов — резких и не очень,— разрывов, упорных размежеваний... Задача нелегкая, потому что дать эти объяснения можно, лишь прибегнув к помощи различных наук: должны сказать свое слово география (которая и сама по себе — сумма многих наук), экономика, политика (точнее, ее история), культурология... Между тем хотя все гуманитарные науки охватывают сразу несколько уровней реальности, каждая из них лучше всего умеет объяснить лишь один аспект этой реальности. Как бы там ни было, в этой главе мы предпримем не более чем первую попытку

объяснения: наметим основные проблемы, предложим самые общие их решения, те, что разумеются сами собой. Исчерпывающие ответы — если их удастся отыскать — мы дадим позже, когда работа над этой книгой подойдет к концу.

Разнообразная Европа, разнообразная Франция. Французское пространство — не что иное, как кусок пространства европейского. Европа окружает Францию, вторгается в нее, находит в ней свое продолжение, так что на этой оконечности континента, в месте его сужения, сходятся и поражают разительным контрастом те противоположности, которые теряются среди широких просторов Центральной и Восточной Европы, раскинувшейся от Северного моря до берегов морей Средиземного и Черного.

Так, старые европейские горные массивы переходят в наши Арденны, Вогезы, Центральный массив, в низкие арморикансние плоскогорья, разворачивающие перед наблюдателем целый веер платформ, хребтов, огромных плоских пространств. Некогда очень высокие, массивы эти, многие миллионы лет разрушавшиеся водой и ветром, «пенепланировались» *, превращались в равнины, по большей части неплодородные, бедные. Впоследствии мощные процессы складкообразования, происходившие в третичный период, «омолодили» их: отсюда многочисленные трещины, обвалы и утесы, появление высоких скал и прячущихся между ними долин, накопления наносной плодородной почвы, вулканические извержения в Оверни и Веле: «В целом Центральный массив можно назвать детищем огня» [49], а Веле еще около 580 года до н. э. был действующим вулканом. Богатые почвы залегают в широких провалах, где накапливаются мощные толщи осадков: типичным примером является Парижский бассейн, занимающий площадь в 140 000 км², что само по себе составляет более четверти всей французской территории.

Самый значительный из этих старых массивов — Центральный массив (общей площадью 85 000 км²), «крепость, возвышающаяся в самой середине страны» [50], центр, откуда расходятся в разные стороны реки, дороги и люди. Быть может, историкам следовало бы чаще присматриваться к нему, ибо он дал Франции жизнь и служит ей защитой. Его толща разделяет разные Франции, но одновременно и соединяет их, отправляя во все концы страны своих уроженцев; эмиран-

* Пенепланироваться — превращаться в пенеплен, выровненный участок суши, образовавшийся в результате длительных процессов разрушения горных пород и переноса продуктов разрушения в пониженные участки. *(Ред.)*

ты из Центрального массива — самые многочисленные из всех. «Да, в этом замке было полно людей,— восклицает Жан Англад,— и люди эти покидали его всеми возможными способами: верхом на ослах и мулах, в повозках, в построенных из елового дерева кораблях (sapinières), спускавшихся вниз по Алье и Луаре, в плоскодонках, плававших по реке Ло... Главное же, пешком, на своих двоих...» [51] В конечном счете Франция обязана этим центральным возвышенностям гораздо больше, чем обычно считается: они предопределили и ее раздробленность, и ее единство, они заслонили ее от врагов [52]. Вспомним хотя бы, чтобы не ходить далеко за примерами, последний период Столетней войны — отчаянную эпоху «буржского короля» Карла VII, очень вовремя нашедшего себе в этих краях отважных защитников.

Разрушив и переменив строение наших древних массивов, складкообразование третичной эпохи (затронувшее всю Европу) воздвигло на рубежах нашей страны горы Юра, Альпы, Пиренеи — устремленные ввысь крепостные стены, которые, однако, сами собой наполнились населенными пунктами и нимало не помешали жителям разных областей страны общаться меж собой. Ибо горы эти вовсе не были пугалом, областью, непригодной для обитания,— за исключением, быть может, суровых и неприветливых Апеннинских гор, тянущихся вдоль итальянского полуострова,— впрочем, это уже не Франция. Сомнений быть не может, наши третичные горы — самые очеловеченные из всех гор на земном шаре. В первую очередь это относится к Альпам с их санями на снегу, вьючными животными и селениями, расположенными вдоль торговых путей и не затрудняющими, но облегчающими сообщение между различными областями. Мне четырежды довелось пересечь Анды на уровне Сантьяго — один раз в поезде и три раза в самолете; я видел их покрытые вечными снегами вершины, любовался фарелонскими лыжниками, но воспоминание об этих черно-белых пустынях, где нет ни деревьев, ни селений, ни людей, наполняет мою душу тоской; разве можно сравнить эти горы с прирученными человеком Альпами?

Итак, во Франции существуют три вида рельефа: во-первых, древние массивы, где более выровненные, где более приподнятые; во-вторых, осадочные равнины; в-третьих, высокие горные цепи типа альпийской. Впрочем, эта классификация, носящая самый общий характер, лишь усложняет стоящую перед нами задачу. Деления на три разряда явно недостаточно.

Дополнительные разграничения вносит климат: континентальный, близкий к немецкому, на востоке; океанический, близкий к английскому, у берегов Атлантики; средиземноморский на загражденном горами юго-

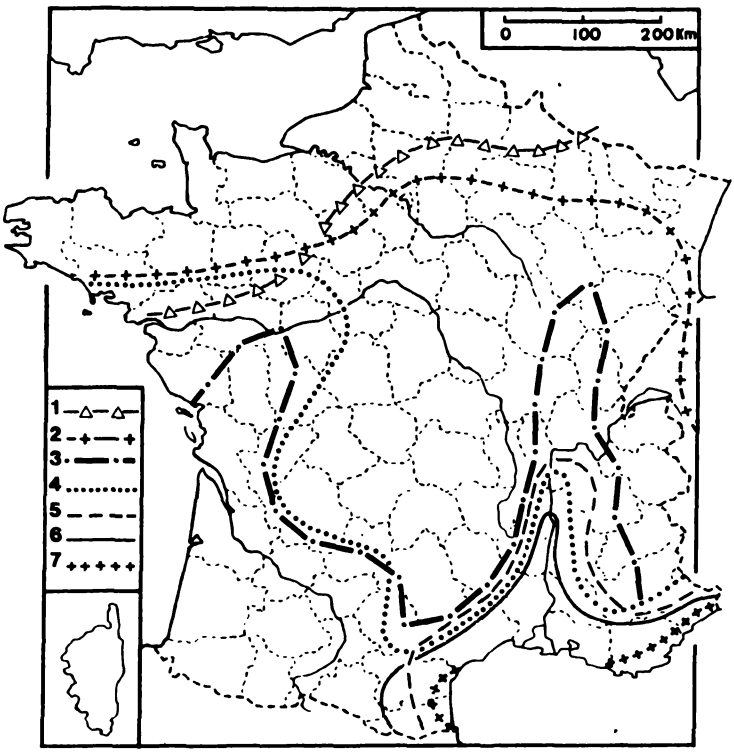
востоке. Отсюда — многочисленные и весьма сложные комбинации; подумайте о том, как много определяет соотношение климата, почвы и рельефа,— от него зависят такие важнейшие вещи, как характер земледелия, тип жилища, еда, образ жизни, средства передвижения, источники энергии. Франция, по изящному выражению Пьера Дефонтена, представляет собою «плод битвы климата с растительностью» [53]. Следовало бы сказать (если бы этому не препятствовал строй фразы): битвы рельефов, почв и, в довершение всего, битвы прошедших эпох, нажитого в течение столетий опыта.

Когда речь заходит о климате, всякий француз прежде всего вспоминает главное разграничение — разграничение между севером и югом, о котором неопровержимо свидетельствует хотя бы северная граница распространения южных растений: винограда, оливковых, каштановых и фиговых деревьев, а также кукурузы, сравнительно поздно завезенной к нам из Америки. Пшеница, выращиваемая у нас с доисторических времен, не в счет: она успела прижиться повсюду.

Начав свой путь в Нарбонезе — одной из провинций римской Галлии, завоеванной римлянами в 120—100 годах до нашей эры, виноградная лоза воистину чудом распространилась на севере Франции, дойдя даже до берегов Соммы: этому способствовали жажда, мучащая всех смертных, тяга богачей к роскоши, поощрительное отношение со стороны высшего духовенства и, в не меньшей степени, потребность в церковном вине [54]. Римские купцы, приравнивавшие стоимость полной амфоры к стоимости раба, очень рано приохотили галлов к вину. Один историк говорит даже,— конечно, полушутя,— что римским легионерам путь в Галлию открыло вино. Точно таким же образом много веков спустя англичане и французы с помощью водки и рома [55] подчинили себе американских индейцев.

Другие южные растения не так легко прижились на неуютном севере. Ни одно из них (кроме современной гибридной кукурузы) не сумело распространиться по всей нашей стране. Но это, пожалуй, к лучшему. Зато направляясь в сторону Средиземноморья, всякий уроженец севера с радостью замечает на юге Валанса, на берегах Роны [56], в какой-нибудь альпийской долине первое оливковое дерево — добрый знак, предвещающий появление полей, огороженных низкими каменными заборами, душистых трав, белых домиков с плоскими крышами, залитых потоками света! Меня эти вестники всегда радовали несказанно.

Впрочем, даже сегодня северянин далеко не сразу привыкает к южной природе, так непохожей на ту, к какой он привык; что же говорить о прошлом? Прославленный английский путешественник Артур Юнг,



СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЮЖНЫХ РАСТЕНИЙ

По книге: Pinchemel P. La France. Milieux naturels, populaires, politiques.

Условные обозначения на карте: 1. Виноградники. 2. Каштаны. 3. Кукуруза (до выведения гибридов). 4. Средиземноморский дуб. 5. Тутовое дерево. 6. Оливковые деревья. 7. Цитрусовые.

побывавший в мае 1787 года в Монтелимаре, рассказывает, что здесь рядом с оливковым деревом «вы впервые увидите гранат, иудино дерево, *чижник*, фиговые деревья, вечнозеленые дубы, а также отвратительных тварей — комаров. Перебравшись через горы Оверни, Веле и Виварэ, я обнаружил между Праделем и Тюэтом разом и тутовые деревья, и мошкару. Под мошкарой разумею я те мириады насекомых, что составляют неотъемлемую и крайне неприятную принадлежность юж-

ных стран. В Испании, в Италии и в тех областях Франции, где произрастают оливки, насекомые эти причиняют путешественникам самые страшные мучения. Мало того, что они жалят, кусают и ранят, они еще жужжат, ни на секунду не оставляя вас в покое; они залетают в рот, в глаза, в уши и в нос; они кишат в еде и питье, покрывают густым слоем сахар и фрукты; они так назойливы, что если специально нанятый слуга не будет их отгонять, вы не сумеете даже поднести ложку ко рту» [57]. Столетие спустя ничуть не лучше чувствовал себя Жан Расин, дожидавшийся в Юзесе, вдали от родного Валуа, бенефиция, которого, кстати, так и не получил. Конечно, лангедокские девушки пригожи, но не испортит ли он свой письменный слог и даже устную речь, слушая их «иностранные» разговоры, ничуть не более «французские», чем нижнебретонский язык? А как вынести ужасную летнюю жару? «Видели бы вы этих жнецов, жарящихся на солнце; они трудятся, как черти, а выбившись из сил, бросаются наземь и, вздремнув самую малость прямо на солнцепеке, снова принимаются за работу. Что до меня, то я смотрю на все это из окна, поскольку на улице не выдержал бы и минуты — воздух здесь раскален, как в печке, и жара не спадает даже ночью» [58]. Расин всему удивляется, не в силах привыкнуть ни к зною, ни к цикадам, ни даже к «учтивости этих обожженных на солнце мужланов в сабо, которые молотят хлеб на току и отвешивают приезжему господину поклоны, словно танцуя» [59].

Микроклимат, микросреда. Деление на крупные климатические зоны слишком общо, чтобы дать понятие о реальности во всем ее многообразии. Сказать, что вы живете в Альпах или в Центральном массиве, не пояснив, о какой именно их части идет речь,— значит не сказать почти ничего. После трудов Максимильена Сорра, утверждавшего, что «одно из наиболее полезных и реалистических понятий» — микроклимат, наши географы нередко прибегают к этому понятию. «Климат в каждой точке земного шара,— объясняет Максимильен Сорр,— совершенно своеобразен и зачастую вовсе не похож ни на один другой климат в мире. Легкое изменение высоты над уровнем моря, переход с одной стороны холма на другую или с холма на плато, продолжительность инсоляции, перемещения воздушных масс, колебания температуры, количество осадков — все меняет климат. А вместе с ним — характер растительности и реакцию нашего организма... Местный климат — основа основ, единственный надежный источник для любых климатологических исследований» [60].

На этот счет каждому есть что вспомнить. Возьмем хотя бы края, прекрасно известные лично мне: альпийский край О-Фосиньи, иначе говоря, долину Монжуа, раскинувшуюся напротив гор Миаж и Арбуа и омываемую водами Боннана; долина эта — своего рода приподнятая чаша, которую почти замкнутым кольцом окружают горы. К чему это приводит? К тому, что, в отличие от западных предгорий Альп, где постоянно идут дожди, здесь воздух по преимуществу сухой. На этом небольшом участке земли почва удивительно быстро избавляется от дождевой воды, «движется», а дороги стремительно высыхают после дождя. Другой пример микроклимата, также очень благодатного,— террасы Аспр в Валлеспире, в виду Сере и Пиренеев. Если судить по карте, здесь дует трамонтана, которая, как известно, плачет и воет на крышах, беспокойно колотится в стены, взбирается вверх по стволам дубов, обрывая с них последние порыжевшие осенние листья, ломает хрупкие ветки каменных дубов... Однако ни подле моего дома, ни в соседнем городке Серé ничего подобного не происходит; трамонтана долетает до нас утихомирившаяся, выбившаяся из сил и даже считается в здешних краях предвестницей хорошей погоды.

Сходным образом в Провансе край холма, неглубокая впадина защищают деревню или участок побережья от мистраля, который совсем рядом, за поворотом дороги, дует так же сильно, как трамонтана, а может быть, и еще сильнее. Еще пример: в Северном Эльзасе весна — и какая восхитительная весна! — наступает гораздо раньше, чем по соседству, что и привело некогда в изумление франкфуртца Гете [61].

Одним словом, остается только пожалеть о том, что географы так редко «учитывали значение микроклимата и все его последствия». Больше того, жаль, что никто не попытался истолковать понятие микроклимата расширительно и с его помощью расчленить пространство на множество участков, каждый со своей микросредой, создав таким образом целую микробиологию земли, где мы живем.

Ибо земля — тоже живое существо. Ибо даже самые узкие полоски земли являют нам изумительное многообразие почв и подпочв. Когда на поверхности лежат пласты известняка (случай, весьма частый в Парижском бассейне), верхний слой земли, рыхлимый плугом или киркой, постоянно осушается подпочвой; после дождя вода просачивается вглубь и не препятствует труду землепашцев. А в сухую погоду, напротив, вода благодаря капиллярности почвы поднимается наверх и питает растения. До чего же непохоже все это на те районы, где царствует глина — вязкая, непокорная; плуг застревает в ней, вечные лужи преграждают ему дорогу. Вообразите, что вы находитесь на меловой

равнине Ко: несколько шагов к северу, и перед вами предстанет Бре — а точнее, если воспользоваться выражением географов, «бутоньерка» края Бре, царство глины, водоемов, ручьев, буйной растительности, яблонь и груш, которые каждую весну покрываются шапкой белых цветов [62].

Так мозаика почв, подпочв и микроклиматов способствует дроблению французского пейзажа. Конечно, все эти сады, поля, деревни, непохожие одна на другую,— дело рук человека. Он в этом спектакле — актер и режиссер, но спектакль не был бы поставлен, если бы природа не вдохновляла человека и не облегчала ему его труд.

По контрасту я вспоминаю однообразные пейзажи Северной Европы, скованные вечным ледяным панцирем. Думаю я и о красных сыпучих латеритных почвах Мадагаскара или Бразилии; пейзаж там самый скудный, деревья редки; одежда, лицо, волосы путешественника, оказавшегося там, тоже краснеют. А в аргентинской пампе поезд несет вас по ровному, без единого поворота пути, и много-много часов подряд вы видите за окном один и тот же пейзаж... Так что не говорите мне, что география — во всяком случае, если речь идет о Франции,— не влияет на жизнь страны.

Обособленные хозяйства, или Каким образом сохраняется французское разнообразие. До начала промышленной революции каждый участок французской территории стремился жить самостоятельно и замкнуто. Поэтому региональное разнообразие дополняется разнообразием экономическим; второе подчеркивает первое, а в определенной мере приспосабливается к нему и его объясняет.

Разумеется, французское пространство в целом — совокупность общих экономических обстоятельств, то возникающих внезапно, подобно наводнению, то остающихся неизменными в течение некоторого отрезка времени. Именно этим поверхностным слоем и предпочитают заниматься историки, чей излюбленный предмет — глобальные закономерности. Что же до меня, то я в этой главе хотел бы остановиться только на самых примитивных местных хозяйствах (économies locales), имеющих малый радиус влияния и тяготеющих к самодостаточности. Каждое из них обслуживает, худо ли, хорошо ли, определенную группу населения, численность которой то ползет вверх, то падает вниз, в зависимости от природных богатств и колебаний урожаев и цен.

Дело в том, что существует уровень жизни (это касается и пищи, и жилья, и одежды), ниже которого человека ждет гибель. И этот-то

уровень, который следует поддерживать во что бы то ни стало, в недавнем прошлом был примерно одинаковым во всей Франции, если не брать в расчет нескольких — крайне редких — блестящих исключений. Если необходимое равновесие поддерживается постоянно, а будучи нарушенным, более или менее быстро восстанавливается,— тогда маленький уголок земли сохраняет свое население, сберегает свои привычки и традиции. Если же над заведенным порядком вещей нависает серьезная угроза, понуждающая к решительным действиям, то действия эти могут быть весьма различны. Предположим, что в деревне увеличилось число жителей,— в этом случае следует распахивать новые земли, продуманно увеличивать посевные площади или же вводить в обиход новые культуры (гречиху, кукурузу, картошку), что позволяет улучшить качество производимой продукции и, следовательно, прокормить большее число едоков; возможно также обращение к культурам более прибыльным, вроде виноградников, которые, несмотря на официальные запреты, занимают повсюду все больше и больше места, или красильных растений; прибыльным может быть и разведение некоторых пород скота. Все это выходы, так сказать, *естественные*. Наряду с ними существуют и пути *искусственные:* обмен, перевозки, развитие промышленности... Обмен совершается иной раз по необходимости, иной раз ради получения выгоды; в последнем случае он приводит к образованию излишков. Перевозки подчас превращают крестьянина, развозящего свой товар, в бродячего торговца. Особенно частый выход — развитие промышленности, ибо это на руку близлежащим городам. О чем бы ни шла речь — о зачаточной промышленности или об изготовлении примитивных ремесленных поделок, о севере — например, о расположенной среди нормандских бокажей деревеньке Вильдье-ле-Пуаль, с давних времен ставшей центром изготовления металлической посуды [63], или о юге, например, о Жеводане, где в самом сердце Центрального массива, труднодоступном для приезжих, изготовляют очень дешевые грубые сукна (cadis) [64],— всюду к развитию так называемой сельской промышленности людей побуждает нищета. Примеров можно привести тысячи, ибо шумный и упорный труд ремесленников спас от вымирания тысячи маленьких «краев». Существует и другой способ борьбы с тяжкими условиями: народ увеличивает свои шансы выжить, регулируя рождаемость посредством поздних браков.

Все названные исходы спасают, сберегают старинные мелкие хозяйства, а с ними — стойкое разнообразие наших «краев». Края эти никогда без нужды не раскрывают своих границ во всю ширь; они берут у внешнего мира лишь самое необходимое, дорожа своей особостью.

Замкнутость их тем более характерна, что вообще-то все, кто ведет обособленное хозяйство, в поисках спасения от продолжительного или часто повторяющегося кризиса либо от перенаселения прибегают, напротив, к эмиграции — бессрочной или временной, а иногда регулярной, сезонной. Начинается с маленьких ручейков, которые постепенно превращаются в речушки, а те в полноводные реки. Целая «гидрографическая» система такого рода пронизывает Францию вот уже много веков: мы застаем ее окончательно сложившейся к концу средневековья, но нет сомнения, что она существовала и раньше. Во всяком случае, чем ближе к нашему времени, тем сильнее она укрепляется, разрастается, охватывает всю территорию страны. «Паводок» приходится на XIX век, ибо в этом веке, как до, так и после появления железных дорог, подвижность населения сделалась особенно велика. Лишь во второй половине нашего столетия, на рубеже 1970-х и 1980-х годов этот людской кругооборот замедлился, захирел, утратил почву, лишился прежней упорядоченности.

Некогда условия игры диктовались нуждой, бедностью. Наибольшее число людей уезжало из Центрального массива, затем шли Альпы, Пиренеи, Юра, окраины Парижского бассейна,— одним словом, районы, которые мы и сегодня вправе назвать «бедной Францией».

Разумеется, нет ничего легче, чем восстановить путь этих эмигрантов, приводивший их либо на городские стройки, либо в богатые сельскохозяйственные районы, где в период жатвы, сбора винограда, молотьбы или перевозки урожая так остро необходимы рабочие руки... Но нас интересуют не столько маршруты эмигрантов или конечные точки их движения, сколько влияние, которое этот людской круговорот оказывает на экономику крохотных уголков Франции, откуда их обитатели уезжают и куда с непостижимым упорством возвращаются, подтверждая правоту поговорки: «На Рождество домой вернись, на Пасху снова в путь пустись». Отъезды и возвращения искателей счастья служат их родным деревням кислородными подушками: отъезды — потому, что они уменьшают число душ, требующих прокорма, возвращения — потому, что те, кто ушли на заработки, приносят домой сэкономленные деньги, необходимые для уплаты налогов, для совершения неотложных покупок, для создания крохотных сельскохозяйственных предприятий.

Эта система далеко не всегда увенчивалась успехом, она знавала полупобеды, иногда к ней прибегали, что называется, за неимением лучшего. Настоящего успеха добились, на мой взгляд, в столице Верхней Оверни — городе Орийяк, уроженцы которого испокон веков от-

правлялись на заработки в Испанию. Факт этот легко объясним: горные селения больше открыты миру, гораздо больше преуспевают в сношениях с ним, нежели деревни Нижней Оверни, где, однако, природные условия куда более благоприятны [65]. Примерно так же обстоят дела в Верхней Савойе, особенно в долине Монжуа (Фосиньи). Жители трех коммун: Сен-Жерве, Сен-Никола-де-Верос и Контамин — еще в XIV веке стали переселяться в Эльзас и Южную Германию. Они и впоследствии не забывали об этих католических странах; более того, иные савояры составили себе там сказочные состояния. Начиная с эпохи Регентства (1715—1723) они тесно сплоченными рядами покоряют Париж, выступая на сей раз в качестве грузчиков, носильщиков, полотеров, трубочистов, лакеев,— все как один работящие, держащиеся друг за друга, чертовски прижимистые. Эти нищие эмигранты приносили родному краю кругленькие суммы — например, в 1758 году 15 250 золотых франков [66].

Переселенцы из других районов не всегда оказывались столь же удачливы. В Юсселе, на границе Лимузена и Оверни, в краю, «изрезанном ущельями [по которым протекают горные реки] и покрытом бесконечными ландами» *, жизнь нелегка. Лишь около 1830 года здесь пролегла дорога из Лиона в Бордо, «проезжая и прибыльная...» [67]. Отъезд — навсегда или на время (от дня Святого Михаила до Иванова дня) — «парней, отправляющихся на лесопильни или на стройки», отнюдь не всегда приносил большие барыши [68]. Судя по наказам 1789 года, те, кто оставались в родных краях, «ели суп да хлеб» [69]. Так же нелегко, если верить отчету, присланному в 1762 году крестьянами деревни Сен-Парду-Ла-Круазий их интенданту Тюрго, приходилось жителям лимузенских горных районов. «Толпы людей, гонимых голодом и нищетой,— пишут они,— покидают всякий год наши края, чтобы стать наемными солдатами в богатых странах, например, в Испании. Другие нанимаются каменщиками, кровельщиками, пильщиками в различных провинциях нашего королевства. Но, скажут нам, они возвращаются домой, немного поправив свои дела; увы, на поверку выходит, что из десяти работников или странников с деньгами возвращаются от силы двое; болезни, дорога, распутство пожирают все заработанное, а те крохи, которые в конце концов достаются нашей провинции, не в силах возместить ущерб, причиняемый земледелию отсутствием лишних рабочих рук» [70].

* Ланды — низменные песчаные равнины, лишенные какой бы то ни было растительности, кроме некоторых кустарников. *(Ред.)*

Поистине, проблема миграций оборачивается разными гранями. Вдобавок довольно часто переселения из эпизодической меры, к которой люди прибегают только для борьбы с нищетой, превращается в привычку, почти ремесло. Савойяр из Маглана надолго покидает родные края и отправляется в Южную Германию торговать часами исключительно оттого, что отец его и дед всю жизнь поступали точно так же [71]. Однако, какова бы ни была природа миграций, их причины и маршруты, несомненно, что они способствуют сохранению французского многообразия, регулируют его.

Разумеется, в прошедшие века все эти процессы происходили в согласии с экономикой всей страны, пусть даже она не всегда брала их в расчет. Не так ли, *mutatis mutandis* *, обстоит дело и сегодня? Эмигранты, на сей раз из других стран, хлынули во Францию густым потоком, они заполняют все щели в нашей экономике: североафриканцы, португальцы, испанцы, африканские негры (которых мы встречаем на каждом шагу) нанимаются на работу в нашей стране лишь в той мере, в какой наше общество им это прощает и, более того, их к этому поощряет. То же самое происходило и вчера: миграции были следствием определенных общих условий; в начале нашего столетия условия эти исчезли, вследствие чего старинный кругооборот людей должен был прекратиться — и в самом деле прекратился.

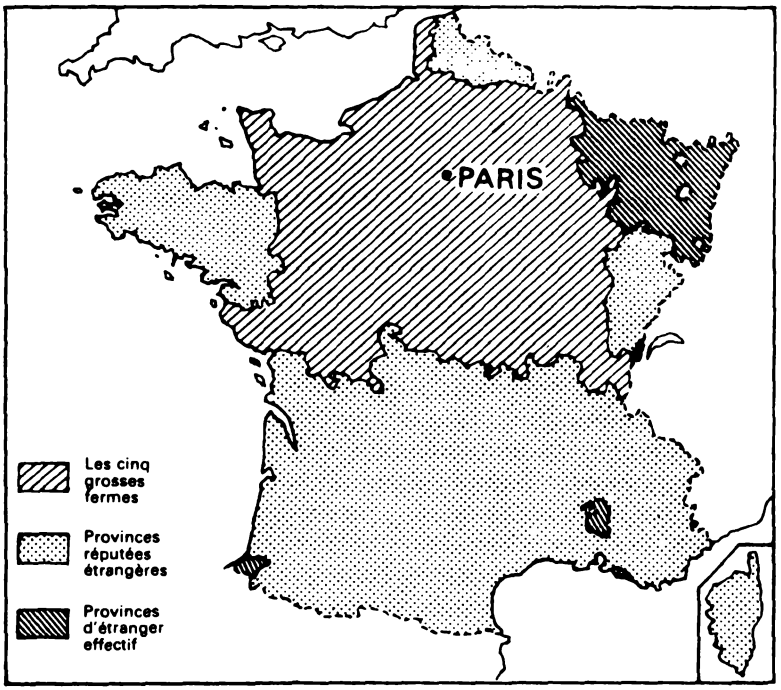
Но прекратился он отнюдь не полностью. Возникли новые потребности; прежде всего города, довольно быстро разраставшиеся и до 1850 года, затем стали расти настолько стремительно, что в буквальном смысле слова опустошили французские деревни. Дошло до того, что в 1970-е годы сделалось привычным говорить о Париже и французской пустыне вокруг, «о Туре и турской пустыне... о Клермон-Ферране и овернской пустыне» [72] и проч. Города довольно рано начали высасывать все соки из многих наших деревень; можно назвать не один удивительный пример этой — впрочем, довольно беспорядочной — городской агрессии... Ей подвергались «бургундские деревни, расположенные вокруг Крезо; лотарингские деревни, расположенные вокруг металлургических заводов, шампанские деревни, расположенные вокруг Труа... Но ни один город не простирал свои щупальца так далеко, как Париж. В Париже живут выходцы из всех французских провинций: с середины XIX столетия две трети парижан не являются уроженцами столицы» [73]. С тех пор города забрали над деревнями еще большую власть: они много требуют, ничего не давая взамен.

* с соответствующими изменениями *(лат.)*.

И тем не менее, как ни странно, весь этот ураган не уничтожил исконного многообразия нашей страны. Напротив, те, кто не трогались с насиженных мест, извлекли из своей малочисленности немалую пользу: они разделили между собой и новоселами — если таковые имелись — оставшееся добро, а кое-где даже сумели довольно быстро его преумножить. В баскской деревне Эспелет в 1981 году «в то время, как население сельскохозяйственных районов резко пошло на убыль, сельскохозяйственное пространство расширилось, а качество производимой продукции повысилось, отчего существенно возросла и доходность крестьянского труда»: было распахано триста с лишним гектаров ландов, площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась на 40 процентов. Разумеется, все это стало возможным благодаря покупке тракторов [74]. Напротив, вокруг больших городов, чьи предместья постоянно разрастаются вширь, а также в районах, где трудно или невозможно обрабатывать землю машинами, сельское хозяйство отмирает; прекращается также разведение скота в высокогорных районах. Одним словом, хотя современная экономика существенно преобразила древнюю мозаику французских деревень, в целом мозаика эта сохранила свою прежнюю пестроту — пестроту едва ли не вызывающую.

Разнообразие и смута сохраняются с благословения государства и общества. Единообразия не способны добиться даже те, от кого оно, казалось бы, зависит в первую очередь; мы имеем в виду «власти». Никакие упорядочивающие действия власть имущих не приводят к стиранию различий, живущих словно сорная трава. Их выпалывают, но они произрастают вновь: ни политическим, ни социальным, ни культурным установлениям не удается навязать обществу подлинное, а не мнимое единообразие.

В последние века своего существования французская монархия, стремясь завершить создание единого государства, укрепляла и утяжеляла свой политический и административный аппарат. Однако сколько трудностей, сколько препятствий встретила она на этом пути, сколько раз натолкнулась на пассивное сопротивление и деятельный протест! Монархия пожинала плоды своей собственной политики. Она получила в наследство от многих поколений предков смуту, неорганизованность, беспорядок, многообразие установлений, административную непоследовательность, а иной раз и беспомощность. Французское общество при старом порядке подчинялось государству отнюдь не безоговорочно. Никто не мог бы назвать его слугою, «глядящим в рот своему хозя-



ТЕРРИТОРИЯ ПЯТИ ГЛАВНЫХ ОТКУПОВ

До революции Франция была перерезана внутренними таможенными границами повсюду, кроме территории так называемых пяти главных откупов, где по инициативе Кольбера был образован в 1664 году таможенный союз.

Условные обозначения на карте. Редкая косая штриховка: Пять главных откупов. *Точечная штриховка:* Провинции, считавшиеся заграницей. *Частая косая штриховка:* Провинции, в самом деле лежавшие по ту сторону границы.

ину» [75], как назвал Ален Турен наше общество, которое, впрочем, тоже не во всем столь раболепно. Мы и по сей день еще не создали общества «глобального» [76] (если воспользоваться выражением другого исследователя, Жоржа Гурвича), единого, сплоченного, управляемого одними и теми же законами, подчиняющегося одним и тем же обычаям и установлениям или по крайней мере стремящегося им подчиняться. Чтобы страна начала двигаться к единству, должна была возникнуть

французская нация,— а она возникла сравнительно недавно и до сих пор обладает для нас прелестью новизны.

Итак, перед нами не общество, но целый ряд обществ: более привычно рассматривать их «по вертикали», но возможно и рассмотрение «по горизонтали»; именно оно позволяет осознать исконную разнородность рассматриваемых объектов. Несколько сгустив краски, можно было бы сказать, что еще вчера всякое территориальное деление было делением социальным — в той мере, в какой оно отвечало потребностям общества переменной величины, но, как правило, небольшого, общества, находившего в этом делении разом и свои пределы и источники своего существования, общества, жившего прежде всего за счет собственных внутренних связей. Единицами этого территориального деления были деревни, городки, города и провинции. Самое важное и красноречивое — иерархия этих обществ. Ведь ни одно общество в мире не строится из равновеликих единиц, всякое имеет форму пирамиды, вершина которой — местный господствующий класс, а основание — те, кто этот класс поддерживают, формируют и сами формируются.

Самый элементарный тип общества — деревня; она занимает меньше всего места в пространстве, а возникает в незапамятные времена, раньше Церкви и феодальной системы. Деревня располагает своей территорией, своей коллективной собственностью — *общинными* угодьями (les communaux), которые жители каждой коммуны ревниво охраняют и отстаивают. Ее отличает почти полная экономическая автаркия. У нее есть собственные обычаи, праздники, песни, говор, далеко не всегда совпадающий с говором соседней деревни. У нее есть собственное народное собрание, свои избранники, именующиеся везде по-разному (мэры, синдики, консулы), собственное юридическое лицо. Ретиф де ла Бретонн говорит о своем родном приходе Саси, в Бургундии, что он «управляется как одна большая семья» [77]. Подчиняется деревня также власти помещика и стоящего гораздо ближе к деревенским жителям сельского священника. «Мы вправе предположить,— пишет Ипполит Тэн,— что в дореволюционной Франции на каждое квадратное лье и на каждую тысячу жителей приходилось одно помещичье семейство, проживающее в доме, увенчанном флюгером, на каждую деревню — церковь с живущим при ней кюре, на каждые шесть или семь лье — мужская или женская община» [78].

Деревня подчинялась не только помещику, чью власть было подчас не так-то легко сносить, но и собственному внутреннему распорядку, организующему ее жизнь в течение дня или определенного времени года; в деревне имелась своя иерархия: рядом с зажиточными крестьянами,

в чьем хозяйстве иной раз водился даже «приходской петух» [79], существовали крестьяне бедные. Накануне 1789 года самые благополучные сельские жители звались *хлебопашцами* в Парижском бассейне и на востоке Франции, *хозяевами* в Провансе, а кое-где, по иронии языка, их величали *буржуа*. Эти баловни судьбы, среди которых не было ни одного издольщика, а арендаторы если и встречались, то непременно состояли на службе у «богатого семейства или могущественной религиозной общины»,— владели, как правило, «несколькими упряжками лошадей или быков, не меньше чем десятком коров, по крайней мере полусотней овец; в их распоряжении были также большие колесные плуги, бороны, телеги с железными осями», а также слуги и служанки; вдобавок, по словам историка — быть может, чересчур щедрого,— им принадлежали десять, а то и двадцать с лишним гектаров земли [80]. Подле богачей трудились мелкие фермеры, которые располагали лишь клочком земли и, не имея ни упряжек, ни телег, ни плугов, при необходимости брали все это в долг у *хлебопашца;* взамен они обязывались работать на него во время сенокоса, жатвы или сбора винограда. Подобные тандемы бедных и богатых крестьян существовали в Восточной Франции еще в 1914 году; нечто подобное встречалось в моей родной деревне, и я до сих пор помню, какое это вызывало раздражение. Значение таких тандемов очевидно: соотношение работников и хлебопашцев позволяет безошибочно определить, насколько сильны противоречия, пронизывающие деревенское общество; если на одного работника приходится один хлебопашец, этот последний, можно сказать, имеет в лице работника постоянного компаньона и помощника (так, например, обстояло дело в департаменте Мез в 1790 году [81]). Если же на одного хлебопашца приходится целых два работника, как это было в окрестностях Меца [82] в 1768 году, такое соотношение наводит на мысль, что в этом краю, безусловно более богатом, чем департамент Мез, собственность скапливалась в одних руках, а значит, росла социальная напряженность [83].

Впрочем, не следует чересчур упрощать дело: во Франции тысячи и тысячи деревень, среди которых не отыщешь двух абсолютно одинаковых. Их расцвет или запустение, благоденствие или бедствия зависят и от эпохи, и от местоположения. Много значит и гнет помещичьей власти, которая особенно долго цепляется за свои права в бедных краях. Так, в Жеводане епископ Мандский выступает в роли сеньора-сюзерена, «едва ли не короля» [84]. Впрочем, все это не мешает существованию деревенских общин, которые совещаются и принимают решения. Напротив, края чересчур развитые, чересчур богатые, а также расположенные

чересчур близко к большим городам — такие края, как Бос или Бри,— очень рано подпадают под влияние входящего в силу капитализма. Не забудем также о юриспруденции (писаных законах на юге, обычном праве на севере), разной в различных провинциях, и, наконец, о многообразии хозяйственной деятельности...

С городами дело обстоит сложнее, но по существу точно так же.

Города — согласно официальному перечню 1787 года, их, очень разных по величине и значимости, насчитывалось во Франции больше тысячи, а точнее, одна тысяча девяносто девять,— были в большей или меньшей степени свободны от власти сеньоров, подчинивших себе в XI—XII веках всю территорию страны. Освобождение городов явилось частью *движения коммун*, затронувшего всю Европу, движения, развивавшегося сложно и прихотливо как в пространстве, так и во времени. Даже города, преуспевшие в этой борьбе, такие, как Кан и Аррас, долгое время не могли освободиться от власти сеньоров окончательно, ибо были слишком слабы и слишком оторваны от окружающего мира.

Говорить о том, что осталось в жизни городов от эпохи «коммун», существования под властью сеньора,— дело чересчур легкое и, пожалуй, не очень интересное. Ибо следы этого существования — подчас весьма стесненного — были заметны повсюду: так, жители Роанна страдали от требований их сеньора герцога де ла Фейяда, а несменяемый мэр Лаваля и сменяемые члены тамошнего муниципалитета долгое время вынуждены были повиноваться сеньору Лаваля герцогу де Ла Тремуйю. В 1722 году город потребовал для городского совета права избирать мэра — привилегию, которая по обычному или дарованному свыше праву имелась у многих других городов,— но королевский совет семь лет спустя отказал ему в этом. И только тогда сеньор, не признававший за лавальцами права на самостоятельность, милостиво даровал им такую возможность... [85] Что не помешало ему считать некоторые кварталы города своими фьефами *: их жители обязаны были платить ему оброк деньгами или продуктами, выплачивать сборы за сделки по отчуждению имущества, печь хлеб, который замесили у себя дома, в одной из коммунальных печей, сдаваемых в аренду булочникам, и проч. [86].

Впрочем, ускользнуть из-под власти сеньора в конце концов не представляло большого труда. Другое дело — власть короля. Король

* Фьеф, или феод — наследственное земельное владение, пожалованное сеньором своему вассалу на условии несения службы. *(Ред.)*

осаждал города податями, требовал их выплаты, призывал граждан к порядку. Постоянно нуждаясь в деньгах, правительство не могло спокойно смотреть на городские богатства. Один пример из тысячи — декларация от 21 декабря 1647 года, в которой власти извещают об увеличении вдвое городской ввозной пошлины, причем излишки, настаивают они, должны поступать в государственную казну; напомним и о том, как в 1771 году король повелел продавать муниципальные должности и тем принудил города, желающие свободно избирать своих эшевенов *, эти должности выкупать. Тем не менее иногда королевской власти приходилось смиряться с привилегиями сеньоров. Так, короли всегда боролись против умножения дорожных пошлин — но боролись безуспешно. Еще в 1437 году Карл VII отменил лишние, иными словами, открытые без разрешения, пошлинные заставы. Однако в 1669, 1677, 1789 годах перед королевскими чиновниками неизменно встает одна и та же проблема: как добиться от владельцев застав предъявления соответствующих документов. Борьба особенно обостряется оттого, что, как объясняет одна записка 1789 года, «право взимать дорожную пошлину намного увеличивает ценность фьефа». Спор идет из-за собственности сеньоров [87]. Еще одна безуспешная борьба: весной 1683 года интендант Пуату Ламуаньон де Бавиль готовится ввести в городе Пуатье «налог на дома». Глядя в податную роспись, он радуется грядущей прибыли; это более 7000 ливров в год, «сумма немалая, которая, однако, была бы куда значительнее», не составляй, увы, половину города «фьефы Сент-Илер, Монстьернеф и Ангитар, а также прочие мелкие фьефы, границы которых четко определены и испокон веков уважались королевскими офицерами». А фьефы податями не облагаются! [88] Еще забавнее ситуация, сложившаяся в 1695 году в Ангулеме: тут спорят не о том, кому получать деньги, а о том, кому выкладывать их из своего кармана. Городской замок обветшал. Он нуждается в скором ремонте, но «неизвестно, кто за это отвечает: король или госпожа де Гиз...» [89]

Сколько городов, столько и социальных формул. Приведенные примеры дают некоторое представление о положении городов. Находясь под контролем интендантов, владельцев фьефов, сборщиков податей, королевского правосудия и сеньориальных судов, города становятся ареной борьбы нескольких властей: власти сеньоров, близящейся к закату, но

* Эшевен — в городе феодальной Франции должностное лицо с административными и судебными функциями. *(Ред.)*

подкрепляемой многочисленными привилегиями; власти короля, находящейся на подъеме, но вынужденной считаться с древними традициями, обычаями и льготами; власти коммун, то отступающей, то одерживающей победы,— власти, опирающейся на разбогатевшую и почти всегда могущественную буржуазию. Разумеется, в городах происходят выборы, но лишь для отвода глаз. Судьбами Марселя, Лиона и едва ли не всякого французского города вершат несколько семейств, тесно связанных между собой. Церемония выборов в Париже, о подробностях которой невозможно слышать без смеха, происходит по заранее подготовленному сценарию, так что одни и те же лица неизменно остаются на прежних местах. Повсюду над массами работников без определенной специальности, над цехами ремесленников вздымается социальная пирамида, вершину которой составляет местная элита, из кого бы она ни складывалась.

А если элита существует, то она несомненно обладает властью, подчиняет своему контролю повседневную жизнь города. В Лавале начиная с царствования Людовика XV купцы и богатые домовладельцы тратят большие деньги на перестройку своих домов: изменяют фасады, прорубают окна. Между тем даже столь незначительные работы горожане вправе производить лишь с дозволения местных властей. Мы жалуемся — и не без причины,— что нам приходится слишком долго хлопотать о разрешениях на строительство: утешимся мыслью о том, что много лет и даже веков назад французы сталкивались точно с такими же трудностями [90]. Я не преувеличиваю. 1 ноября 1689 года — в письме, которое может быть названо самым удручающим свидетельством о нравах аристократии, правившей городом Лионом,— интендант де Берюль сообщает: «Давеча получена жалоба от некоего буржуа: случилось ему укрепить у себя дома дверной косяк, пошатнувшийся, когда он сию дверь затворял, вследствие чего посланы были к дому люди, дабы оный косяк свалить, поскольку хозяин дома не испросил дозволения на починку у городских властей». Бедняге не помогло даже заступничество интенданта! [91]

Встречаются города, похожие друг на друга, но, как правило, каждый город живет по собственному распорядку, по собственной «социальной формуле». В Монтобане, городе шерсти, первенствуют французские негоцианты (протестантского происхождения): они владеют роскошными особняками, устраивают блестящие литературные вечера, выезжают в загородные резиденции и на охоту, покровительствуют местным художникам. Ренн — город чиновный и парламентский, провинциальная столица. Тулуза — также административный центр, но ее,

равно как и Кан, окружают богатые сельскохозяйственные районы, поэтому здесь благоденствуют в основном земледельцы. Огромные портовые города: Руан, Нант, Бордо, Марсель, где полным ходом идет торговля, живут за счет моря и меньше других связаны с центральной властью. Дюнкерк пользуется завидными привилегиями свободного порта: жители его не платят ни податей в казну, ни налога на соль (gabelle), ни гербовой пошлины; тон здесь задает десяток семейств [92]. Что же говорить о Париже или о другой столице, которую Париж стесняет и подавляет издали,— о Лионе? Какой город ни возьми, всюду увидишь иное социальное устройство со своими оригинальными чертами, своей судьбой, своей особостью.

Особость провинций. На своеобразие городов накладывается ярко выраженное своеобразие провинций. По ходу долгого построения единого королевства — плода многочисленных завоеваний, браков, наследств и тяжб — королевская власть, хотела она того или нет, заключала с жителями новых территорий целый ряд сделок — «исторических компромиссов», подчас официальных, а подчас и нет. Следственно, присоединившиеся провинции жили вовсе не по тем законам, что провинции, входившие в состав Франции с более давних времен. Каждой удалось добиться оставления за нею собственных привилегий, традиций, «свобод» (иначе говоря, способов самозащиты), а также и собственного беспорядка — наследия ее прошлого.

Результат такого положения дел очевиден: монархия не сгладила различий между провинциями, она лишь приспособилась к ним и постаралась использовать их себе на благо при решении собственных задач, в число которых входили охрана общественного порядка, отправление правосудия, обеспечение поставок зерна, сбор податей, который производился повсюду, но повсюду же наталкивался на упорное сопротивление, и, наконец, нескончаемое учреждение — и продажа — государственных должностей. Монархия взяла себе за правило (и исключения это правило лишь подтверждают) — уважать по мере сил исключительные права, старинные привилегии, требования традиций и систем, вредоносность которых для самой монархии и для жителей провинций правительственные чиновники сознавали по крайней мере со времен Кольбера, а может быть, и раньше. Однако бередить рану было рискованно и отнюдь не всегда выгодно; гораздо легче оказывалось сохранять все ветхие провинциальные установления в неприкосновенности и дожидаться, чтобы они умерли собственной смертью, как это случилось

с Нормандскими (1655) или Овернскими (1651) штатами. Вдобавок в провинциях изобретались многочисленные и подчас весьма изощренные способы борьбы с центральной властью. Признаюсь, например, что некоторые уловки дольской счетной палаты или безансонского парламента покорили меня своей юридической хитростью и ловкостью...

Итак, каждая провинция представляет собою клубок противоречий между разными властями: некоторые сохраняют собственные штаты (в которых представлены все три сословия), наделенные финансовыми полномочиями и правом взимать и перераспределять налоги: это позволяет им оказывать давление и на налогоплательщиков, и на короля, дает возможность торговаться с той и с другой стороной. Парламенты, куда более воинственные, неизменно встают на защиту провинций. Не забудьте также о густой поросли древних установлений, полуотмерших, но способных в любую минуту ожить и начать борьбу с себе подобными; всякая провинция буквально кишит выборными сборщиками податей, прево, бальи, сенешалями, членами президиального суда, не говоря уже о множестве мелких чиновников. Королевская власть теряется среди этих узких группок должностных лиц, которые от нее почти полностью независимы, ибо купили свои должности, руководствуясь исключительно собственным корыстолюбием и тщеславием.

В XVII столетии монархия отвечала на это направлением в непокорные провинции интендантов, своих уполномоченных, которых наделяла практически неограниченными правами; недаром ведь официально они именовались «интендантами судейскими, полицейскими и финансовыми»! Лоу утверждал даже, что в его время Францией управляли тридцать интендантов: «У вас нет ни парламента, ни штатов, ни наместников, я бы даже сказал, что у вас нет ни короля, ни министров: счастье или несчастье провинций, их благоденствие или нищета зависят от трех десятков докладчиков, ведающих теми или иными провинциями» [93]. Впрочем, как правило, интенданты верно служили государству и приносили куда больше пользы, чем иногда считается. Тем удивительнее, что после 1750 года, в эпоху, когда экономическое процветание подвигает всю Францию на широкую политическую модернизацию и многочисленные социальные реформы, интенданты все больше и больше отождествляют себя с собственными провинциями и принимаются отстаивать их права от диктата Версаля. Впрочем, могли ли они вести себя иначе? Еще в 1703 году интендант Бретани Бешамей де Нуантель восклицал: учтите, «в этой провинции людьми следует управлять не так, как в других» [94],— и обвинял в близорукости маршала д'Эстре, который яростно преследовал двух дворян — членов Бретонских штатов,— упорно от-

вергавших все требования правительства. Сходным образом интендант Меца в 1708 году спешил объяснить королевским чиновникам, что жители Меца «помнят о былой независимости, утраченной лишь после мюнстерского мира» [95], иначе говоря, в 1648 году, хотя известно, что Генрих II занял Мец еще в 1552 году.

С другой стороны, в XVIII веке, когда Франция переживала период бурного развития, формальное уважение бесчисленных привилегий, потерявших с течением времени всякий смысл, приводило к последствиям совершенно абсурдным. Отменив все это административное многоцветье, революционный централизм просто-напросто удовлетворил всеобщую потребность, ставшую очевидной накануне Революции. Датированная 1782 годом записка пространно и весьма любопытно разъясняет, в чем состоят поразительные привилегии «Лионского вольного уголка» — полоски земли, тянущейся вдоль Соны по обе стороны от городка Треву, к северу от Лиона. Вот к каким выводам приходит анонимный автор записки: «Поскольку всякая власть должна зиждиться на порядке и единообразии, кои и являются основными принципами правления, то из этого следует, что подданные одного государства обязаны повиноваться одним и тем же законам, пользоваться одними и теми же привилегиями, исполнять одни и те же повинности, а потому странно помыслить, будто полоска земли площадью не более двух с половиной квадратных лье, расположенная, так сказать, в самом центре королевства, пользуется правами исключительными, не могущими не вызывать зависть соседних приходов и... не возбуждать вражду, коя уже не единожды приводила к столкновениям, требовавшим самого сурового вмешательства властей» [96].

Разумеется, помыслить такое странно. И возникает вопрос: отчего же провинции так яростно противились тем нововведениям, которые, как правило, представляли собою очевидный шаг вперед для всей страны? Прежде всего следует учитывать своего рода местный национализм: французской «нации» в ту пору еще не существовало, и провинциальная родина заменяла ее, вселяя в душу человека те чувства, которые мы сегодня назвали бы *автономистскими*. Удивительные эти чувства были чрезвычайно сильны накануне Революции, которая не замедлила положить им конец. Как, однако, точно определить характер отношений между монархическим правительством и провинциями в последние предреволюционные годы? Следует ли согласиться с Токвилем и некоторыми весьма сведущими историками, полагающими, что централизм в ту пору одерживал победу за победой?

Разумеется, провинция уже давно перестала быть единицей

административного деления и в качестве «политической реальности уступила место генеральному округу (la généralité)» [97]. При этом новое деление наложилось на старое — примерно так же, как на систему генеральных округов наложилось впоследствии предписанное Учредительным собранием деление на департаменты, имевшее целью отмену прежних порядков. Нет ли, однако, натяжки в сопоставлении двух этих процессов? Не спорю, расцвет Франции после 1750 года привел к укреплению королевской власти, но одновременно он же усилил самобытность провинции. Ибо в столице каждой из них имелась своя немногочисленная элита, сильная, властная, наделенная привилегиями и отстаивающая эти привилегии под предлогом борьбы за интересы всей провинции. Впрочем, разве это не всеобщее правило? Разве не очевидно, что устроение пространства не может не сопровождаться устроением общества, причем второе происходит одновременно с первым и сообщает ему необходимую завершенность?

Возьмем хотя бы такой блестящий пример, как Бургундия. Возможно ли было бы ее самобытное и обособленное существование, не управляй ею узкая каста — дижонский парламент и его окружение? Касте этой так нетрудно удерживать свое главенство, что она лишь по традиции ведет борьбу против счетной палаты и штатов, сохраняющихся в провинции и подчас раздражающих парламент своими претензиями. С другой стороны, парламентская элита куда лучше, чем обычно полагают, ладит с губернатором, обязанности которого с 1754 по 1789 год исполняет такой знаменитый человек, как принц де Конде. Без особого труда она контролирует труды и дни коменданта, губернаторского наместника. Ладит она и с интендантом, не доводя дело до серьезных, неразрешимых конфликтов. Парламент полностью подчиняется этой элите, ибо в ее активе — вес в обществе и богатство: земли, леса, виноградники, особняки, кузницы и ренты, рассеянные по всей Бургундии. Брачные и имущественные узы превращают бургундскую элиту в замкнутый круг, всегда готовый дать отпор любым попыткам купцов или разбогатевших буржуа проникнуть в желанную для них среду. Некогда представители этой элиты и сами принадлежали к сословию буржуа, но уже давно и без труда завоевали право быть причисленными к так называемому дворянству мантии; более того, среди них встречаются и отпрыски старинных дворянских родов — вспомним, например, знаменитого президента де Бросса (1709—1777), потомка дворянина, убитого при Форново (1495).

Итак, перед нами каста: «Члены парламента не просто передают должности по наследству своим детям. Они радеют братьям, зятьям,

шуринам, племянникам...» Побеждают семейства наиболее разветвленные. Это эндогамное * общество долгие годы живет, оттородившись от остального мира. Члены его умножают поводы для встреч, переписываются, охотно обмениваются впечатлениями; «балы, концерты, театральные представления, игры, празднества, призванные поразить гостей роскошью, обеды на сто персон» — все это поводы увидеться, сговориться, поддержать друг друга. 30 марта колокола дижонского собора торжественно возвещают рождение герцога Нормандского, будущего Людовика XVII,— президент Жоли де Беви устраивает по этому случаю ужин на сто десять персон, а перед его ярко освещенным особняком «рекою льется вино для народа» [98].

Чтобы понять, чем живут эти группы людей, стоящие во главе той или иной провинции и обороняющие вместе с ее самостоятельностью свои собственные привилегии, мы с тем же успехом могли бы избрать для рассмотрения не Дижон, но Ренн, Тулузу, Гренобль, Бордо. Впрочем, о Гренобле стоит поговорить подробнее. Быть может, все дело в том, что эта «провинция» с ее привилегиями и традициями расположена у самой границы королевства? Каждый из членов гренобльского парламента движим своим личным интересом, но у них есть и общая корысть — надзор за гренобльской ратушей, за городскими и сельскими коммунами. «Я всечасно помню,— пишет в 1679 году интендант д'Эрбиньи,— о необходимости назначить [в Гренобль] мирового судью и держать втайне от парламента все, что делается в ратуше. Здешний парламент — самое сплоченное сообщество во всем королевстве, прибравшее к рукам всю провинцию, и, если один из членов этого сообщества принимает близко к сердцу какое-нибудь дело, можно поручиться, что тот, кому он покровительствует, ни в коем случае не проиграет» [99]. Если судить по злоключениям маршала де Тессе в 1707 году, во время войны за испанское наследство, интендант нисколько не преувеличил самовластность гренобльского парламента. Французские войска, потерпевшие поражение под Турином, с огромными трудностями возвращаются во Францию; король назначает маршала де Тессе командующим Юго-Восточной армией и велит ему заверить грамоту, узаконивающую это назначение в гренобльском парламенте. Прибыв в Гренобль прямо из Версаля, маршал, разумеется, держится без излишней робости. И сразу наталкивается на придирки и неучтивость президента де Грамона, обвиняющего приезжего в желании занять место, ему не

* Эндогамия — обычай заключения браков внутри определенной общественной группы, например, племени, касты. *(Ред.)*

принадлежащее. Маршал сообщает об этом в своих письмах с горестным изумлением, которое перерастает в подлинный гнев, когда, отлучившись спустя три дня, он узнает, что парламент счел его полномочия чересчур широкими и сузил их по собственному разумению. Полномочия его, настаивает маршал, были совершенно четко определены королем, и никто не имеет права их изменять; у короля-то он и просит «управы» на обидчиков. В конце концов он добился своего, и президенту де Грамону пришлось принести ему извинения. Однако сама по себе эта абсурдная война за главенство весьма показательна [100].

В Бордо могущественный, надменный парламент состоит из владельцев огромных богатств, древний источник которых — бордоские виноградники. Еще в 1608 году Генрих IV с присущей ему милой непринужденностью высказал этим избранникам судьбы все, что он о них думает: «Вы толкуете, что народ мой притесняют. Кто же притесняет его, как не вся ваша компания?.. Кто выигрывает в Бордо любой процесс, как не тот, у кого самая толстая мошна?.. Какой крестьянин не трудится на винограднике, который принадлежит президенту или советнику [парламента]? Какой бедный дворянин не живет на земле, которая принадлежит им же? Кто стал советником, гребет деньги лопатой!» [101] В Лионе в 1558 году духовенство обвиняет три десятка людей, из которых «почти все — купцы», в том, что они подчинили себе весь город. В Монпелье элита добивается еще большего успеха, ибо лангедокские купцы и финансисты при Людовике XV переселяются в Париж и прибирают к рукам едва ли не все откупа [102]. Иначе говоря — большую часть всех французских богатств... Недурное дельце!

Окситанский язык (язык «ок») и язык северофранцузский (язык «ойль») *. Итак, у Франции не было ни физического, ни экономического, ни социального единства, но, быть может, имелось хотя бы единство культурное? Быть может. Однако ни для кого не секрет, что если на верхнем уровне существует одна французская «цивилизация» — элитарная структура или даже суперструктура, стремящаяся блистать, потрясать, покорять, господствовать, повелевать, то это никак не отменяет того факта, что в течение долгих столетий на нашей территории сосуществовали по крайней мере две могучие цивилизации, каждая

* «Ок» и «ойль» — разные формы произнесения слова, соответствующего русскому «да», в языках, бывших в средние века в употреблении к югу и к северу от Луары. *(Ред.)*

в своем языковом пространстве; цивилизация «ойль» в конце концов победила, цивилизации «ок» суждено было превратиться едва ли не в колонию. Север подавляет ее своим материальным благополучием.

Поскольку я люблю обе эти цивилизации и изо всех сил стараюсь понять их как можно лучше, не выказывая пристрастия ни к той, ни к другой, я рискую прослыть националистом, ратующим за унификацию,— каковым я как раз и пытаюсь не быть в своих исторических изысканиях.

Итак, между севером и югом вдоль всей лингвистической границы, тянущейся от Ла Реоли на Гаронне до бассейна реки Вар и пересекающей на своем пути немалую часть Центрального массива и Альп, зияет разлом, открытая рана. Впрочем, главная культурная граница пролегает, пожалуй, даже севернее этой лингвистической трещины — едва ли не по Луаре; это становится очевидно, если внимательно присмотреться к недавним оценкам, опросам и наблюдениям специалистов по исторической географии, с некоторых пор решивших обратить внимание на топонимию и диалектологию. По мнению Пьера Бонно, Францию окситанского языка отделяет от Франции языка северофранцузского не четкая линия, которую можно провести раз и навсегда, но срединная Франция, срединная Романия, чья поверхность испещрена шрамами, выступами, направленными как к северу, так и к югу; отсюда напрашивается вывод, что большая часть территории, обычно причисляемой к зоне окситанского языка,— Лимузен, Овернь и Дофинэ,— ей не принадлежит (см. карту на с. 78).

Впрочем, к этому вопросу мы вернемся позже, а пока ограничимся констатацией, что эта срединная зона делит надвое всю историю Франции. Как правило, если нечто происходит на севере, на юге то же самое свершается иначе, и наоборот; территория, где говорят «да» по-северному, и территория, где говорят «да» по-южному,— это две почти во всем различные цивилизации, иначе говоря, на севере и на юге люди по-разному появляются на свет, живут, любят, вступают в брак, думают, веруют, смеются, едят, одеваются, строят дома и распахивают поля, держатся друг с другом [103]. На юге существовала, существует по сей день и будет существовать «вечно другая» Франция.

Эту другую Францию жители севера то и дело открывают для себя, а открыв, громкими криками выражают свое изумление и неудовольствие. Тем хуже для них!

Расин — мы уже упоминали о неприятных чувствах, которые он переживал в бытность свою в Юзесе,— проклинает всех тех, кто встретился ему южнее Валанса, ибо не понимает ни слова из того, что

они говорят. Меж тем Господь свидетель, в ту пору все во Франции говорили на местных наречиях, следовательно, те диалекты, которые уроженец севера слышал прежде, чем очутился в царстве окситанского языка, он в большей или меньшей степени понимал. «Клянусь вам,— пишет Расин Лафонтену,— что я так же нуждаюсь в переводчике, как нуждался бы в нем московит, очутившись в Париже... Вчера мне понадобились обойные гвозди... я послал дядюшкиного слугу в город, наказав ему купить мне сотни две-три этих гвоздей; он тотчас доставил мне три коробка зажигательных спичек; судите сами, возможно ли не приходить в ярость от подобных недоразумений!» «Я не понимаю французского языка, на котором говорят здешние жители,— признается Расин в другом письме,— а они не понимают моего французского языка» [104].

Итак, перед нами два мира, в полном смысле слова чуждых друг другу. Это подтверждает тот поклонник камизаров *, который в 1707 году издал в Лондоне «Повествование о различных чудесах, в недавнее время свершенных Господом [в Севеннах]». На его глазах с уст самых простых, «бесхитростных» людей, на которых снизошла «благодать божья», слетали «прекрасные увещевания» на французском языке. Это — истинное чудо, ибо «тамошним крестьянам не легче произнести речь по-французски, чем французу, приехавшему в Англию, заговорить по-английски» [105]. Чудо, впрочем, вполне объяснимое, ибо в Севеннах читают Библию по-французски и поют псалмы, сочиненные Клеманом Маро на том же языке.

А что почувствовал Проспер Мериме, парижанин, чьи предки были родом из Нормандии, трезвый, умный наблюдатель, безоговорочно заслуживающий нашего доверия,— что почувствовал он, сойдя в 1836 году с парохода, довезшего его по бурной Роне до Авиньона? Что он попал в чужую страну [106]. Впрочем, это не помешало ему позже вернуться сюда; смерть настигла его в 1870 году в Канне. Оправдывает Мериме — если он вообще нуждается в оправданиях — то, что в один прекрасный день он приобщил к французской литературе Корсику, дочь Средиземноморья; это случилось в 1840 году, когда вышла в свет «Коломба».

Люсьен Февр, родившийся в Нанси (в 1878 году), но семейными узами и сердечными склонностями крепко связанный с Франш-Конте, испытал потрясение — потрясение от встречи с чужой цивилизацией,—

* Камизары — участники крестьянского восстания в Лангедоке (1702—1705), вызванного усилением государственных поборов и преследованиями гугенотов. *(Ред.)*

когда отправился на юго-запад. «Я ехал сюда [в Котре на лечение],— писал он мне 20 июля 1938 года,— дорогой школяров, через Лимож, Перигё, Ажан, Муассак, Ош, Лурд. Великолепный срез Франции. Но Франции ли? Оказывается, для нас, жителей севера и востока, эти края — дальние, экзотические страны!.. Святая София, внезапно вырастающая перед вами в Перигё на фоне прелестнейшего и нежнейшего французского пейзажа — вылитых окрестностей Эзи с полотна Курбе; обескураживающая пошлость Муассака, продавшего душу за корзину винограда, Муассака, на фоне которого скульптуры и колокольни церкви Святого Петра выглядят так неприкаянно и нелепо; странная душа города Ош — грозного каменного акрополя, некогда, вероятно, раздираемого глубокими и фанатичными страстями, а нынче безмолвного,— все это рождает в вашей душе удивительное чувство разлуки с родиной. Что же до маршала Лиоте, этого «лотарингского принца» [107], он говорил коротко: «В Безье мне не по себе» [108].

Каждое поколение переживает это потрясение заново, с неослабевающей силой. В 1872 году страшную гримасу скорчил в свой черед Эрнест Ренан. «Не знаю, прав ли я,— говорит он с притворной сдержанностью,— но я проникаюсь все большим и большим доверием к некоторым положениям исторической этнографии. С каждым днем я все сильнее убеждаюсь в сходстве Северной Франции с Англией. Легкомыслием нашим мы обязаны югу, так что, не втяни Франция в свою орбиту Лангедок и Прованс, мы оставались бы серьезными, деятельными протестантами и парламентариями» [109]. Сколько утраченных добродетелей! И сколько смелости в гипотезе — особенно если вспомнить, что в XVI столетии католическую веру спасли не кто иные, как Париж, отнюдь не принадлежащий к числу южных городов, и Бретань, тем более к ним не принадлежащая! Тогда как Ним или Севенны... Как ни умен был Ренан — а может быть, именно оттого, что он был умен,— текст этот звучит отвратительно — чтобы не сказать удручающе.

Впрочем, жителям севера нередко случалось без зазрения совести похваляться, приписывая себе заслуги мнимые или даже подлинные, но объясняющиеся не столько их собственными талантами, сколько политическими и экономическими преимуществами, какими Северная Франция на деле обязана почти исключительно одной истории.

Можно ли уравновесить приведенные высказывания северян о юге отзывами чуть более теплыми? Вспомним Стендаля, радостно заявлявшего: «Я стал южанином, и, по правде говоря, это не составило мне большого труда» [110]. Однако, возразят нам, Стендаль родился в Гренобле (1783) и, следовательно, не может считаться беспристрастным

свидетелем. В самом деле, Гренобль — город не северный. К тому же Стендаль — это Стендаль, он без памяти любил другой, ослепительный юг — Италию, с которой юг Франции имеет «поразительное сходство»! [111] Быть может, более подходящий пример — Ван Гог? И да, и нет. В феврале 1888 года, проведя два тяжких печальных года в Париже, этот законченный северянин попадает в Арль. Он потрясен природой, красками, «огромными скалами, зеленым парком с розовыми дорожками, кобальтовым небом». «Не сомневаюсь, что буду всегда любить здешнюю природу,— пишет он брату.— Одиночество до сих пор не слишком докучало мне: так сильно увлекает меня наблюдение за палящим солнцем и его воздействием на природу... О, те, кто не верят в здешнее солнце,— святотатцы». Даже «чертов мистраль» хоть и невыносим, но прекрасен «с виду». Все было бы хорошо, если бы не люди, обитающие среди виноградников. «Мне донельзя вредит незнание провансальского наречия... До сих пор я ни на сантиметр не продвинулся к тому, чтобы завоевать людское доверие. Поэтому я много дней подряд раскрываю рот только для того, чтобы заказать обед и кофе. И так пошло с самого начала». Не стоит усматривать во всем этом только предвестие грядущего безумия; перед нами неподдельное замешательство. «Сказать ли правду,— восклицает он в марте 1888 года, вскоре после прибытия на юг,— и признаться, что зуавы, бордели, восхитительные молоденькие арлезианки, шествующие к первому причастию, священник в стихаре, подобный бешеному носорогу, и любители абсента кажутся мне... выходцами с того света?» [112]

Дабы соблюсти справедливость, хотелось бы в ответ на язвительные, разочарованные, несправедливые речи «нордических» путешественников привести насмешки, замечания и сарказмы южан. Эффект вышел бы потрясающий. Однако я нарочно расспрашивал нескольких знатоков окситанских языков; приходится признать, что урожай мы собрали бы небогатый: одну фразу из окситанской пьесы, одну пословицу, одну шпильку... Ничего броского. Ничего похожего на темпераментные восклицания испанцев XVI века, которые, тяготясь жизнью в Нидерландах или Англии и черпая силы в чувстве собственного превосходства, проклинают чересчур жирную кухню и с ужасом и отвращением хлещут пиво [113] либо сторонятся местных жителей, как поступал, например, тот посланник испанского короля при лондонском дворе, который от избытка отвращения предпочел вовсе не выходить из дома. «Non si accomoda niente alli costumi della nacione,— сообщает о нем в 1673 году тайный агент Генуэзской республики,— vive sempre retirato, non ama conversatione» («Не соблюдает здешних обычаев, живет весьма уединен-

но, не любит разговоров...») [114]. Впрочем, Испания — это больше, чем юг, а Лондон — север куда более самобытный, чем любой другой северный край.

Но что же наш юг — неужели он свыкся, безропотно смирился со всеми этими сюрпризами языка? Говорить так было бы рискованно в наши дни, когда окситанская культура начинает просыпаться, пускать первые весенние ростки. А может быть, южане уклоняются от споров по причине тех побед, которые они уже давно одерживают в северных краях на самых разных общественных поприщах: в творчестве, в политике, в управлении государством, в предпринимательстве? Может быть, и так, но скорее, дело в почтении южан к столице, которое они переносят на весь север. В своей «Политической, религиозной и литературной истории Южной Франции» (1842) Мари-Лафон, намного опередивший последующих защитников Окситании, не насмехается над «французами», то есть людьми, живущими к северу от Луары, но противопоставляет изысканность и свободолюбие средневековых южан «грубому варварству» «рыцарей из-за Луары» [115] — жестоких фанатиков и мародеров, которые, однако, одержали победу, точно так же, как в более поздние времена монтаньярский террор победил жирондистов — «истинных революционеров», которые во многих отношениях были детьми юга. Мари-Лафон обвиняет, обличает. Но не смеется; кто станет смеяться над победителями? Не точнее ли будет сказать, что южане испытывают по отношению к «французам», или, как говорят в Тулоне, «французцам», ту неприязнь, какую внушает иностранный оккупант?

Чтобы иронизировать над унылой Северной Францией — самодовольной, церемонной, чопорной,— нужно быть Стендалем. «Можно подумать, что блаженство улетучивается вместе с акцентом»,— восклицает он. А плывя по Роне вниз, радуется: «Добродушие, естественность... бросаются в глаза, как только достигаешь Валанса; здесь чувствуешь, что наконец-то попал на юг. Жизнерадостность здешних жителей заразительна. Она — полная противоположность парижской учтивости, выдающей прежде всего огромное почтение, которое питает ваш собеседник к собственной персоне, требуя того же почтения к ней и от вас». На юге люди разговаривают, стремясь «выразить волнующее их чувство», а вовсе не «прослыть великодушным в глазах собеседника или же выказать свое уважение к его общественному положению. Господин де Талейран, окажись он здесь, имел бы все основания сказать: «Во Франции никто не испытывает ни к чему ни капли почтения!»

Стендаль отправляется дальше, проводит три дня на Бокерской ярмарке и с удовольствием наблюдает за народным весельем. «Что в Бокере редкость,— замечает он,— так это парижская суровая *сдержанность*... Здесь очень мало тех неприветливых, унылых и подозрительных физиономий, что так часты... на улицах Лиона или Женевы. Этим отсутствием унылой неприветливости мы, пожалуй, в немалой степени обязаны тому, что бокерская толпа состоит в основном из южан» [116].

Старинные различия не стерлись и по сей день. Всего несколько лет назад мэр Армиссана, маленького лангедокского городка, говорил моему другу-историку: «Господин Ложени, зарубите себе на носу, что, пересекши Норузский проход, вы покидаете Францию; здесь у нас земля не французская, а окситанская». Разумеется, в наши дни вся страна, как на севере, так и на юге, говорит по-французски. Однако не далее как сегодня, 31 июля 1985 года, я только что услышал по телевизору удивительные слова. Мишель Одийяр утверждал, что в своих многочисленных сценариях никогда не употреблял арго и что герои его говорят, как самые обычные парижане, но тут интервьюер напомнил писателю чей-то отзыв о его фильмах: «Публике, живущей к югу от Луары, их лучше смотреть с субтитрами!» Выходит, между народной речью северян и южан до сих пор пролегает глубокая пропасть?

Местный уровень: бесчисленное множество диалектов (XVIII век). Вообще проблема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ибо большие культурные пространства таят в себе бесконечные различия, которые то и дело выходят на поверхность. Стоит вглядеться повнимательнее, и становится заметно поистине изумительное обилие диалектных выражений в речи французов. Даже того, кто прекрасно знает, каким многоцветьем обычаев, обрядов, костюмов, пословиц и даже форм наследования (расходящихся с писаными законами) отличается Франция, берет оторопь при чтении составленного в 1790 году аббатом Грегуаром опросного листа, посвященного местным наречиям, в которых многие, в частности Баррер, справедливо усматривали препятствие для распространения революционных идей и насаждения «общественного духа». Подробные ответы, полученные Грегуаром, неопровержимо свидетельствуют о том, что многообразие наречий, на которых говорили французские подданные, отнюдь не ограничивалось окситанским и северофранцузским языками; помимо языков, которые можно назвать иностранными и которые были в употреблении на окраинах королевства:

баскского, бретонского, фламандского (на севере) и немецкого (на востоке),— и к северу, и к югу от Луары в ходу было огромное множество провинциальных говоров, которые Грегуар в своем отчете Конвенту сгруппировал в тридцать различных диалектов [117]. Впрочем, от городка к городку, от деревни к деревне всякий говор претерпевал более или менее существенные изменения. Не случайно 1 декабря 1792 года администрация департамента Коррез выразила сомнение в необходимости перевода политических текстов на диалекты: «Переводчик из кантона Жюйяк не разумеет разговоров, ведущихся в других кантонах, ибо стоит проехать семь-восемь лье, и язык, на котором говорят местные жители, изменяется самым явственным образом» [118]. Понятно, отчего Пьер Бернадо, бывший адвокат бордоского парламента, с такой гордостью сообщал аббату Грегуару: «Знакомство мое со здешним краем внушило мне мысль перевести священную Декларацию прав человека на общий язык, который представлял бы собою нечто среднее между говорами всех местных жителей...» [119] Вот, оказывается, как давно зародилась в умах идея эсперанто!

Чтобы не быть голословным, приведем несколько примеров: так, гасконский диалект (распространенный в Гийенне и Гаскони) резко отличается от лангедокского и провансальского. Однако и сам он очень разный по разные стороны Гаронны: на правом и левом берегу «говорят на двух совершенно несхожих языках» [120]. Наконец, в каждом округе говор не такой, как у соседей: переехав из Оша в Тулузу или в Монтобан, вы столкнетесь в общении с немалыми трудностями. Внутри Бордоского округа, утверждает человек, знающий толк в этих вещах, «в общем употребительны два диалекта». Это — в общем, а что говорить о частностях! В Ландах говоров столько, что «частенько невозможно понять, чего хотят люди из соседнего прихода» [121].

А разве на севере дела обстоят иначе? Бургиньонский диалект, сам по себе непохожий на диалекты других провинций, звучит совершенно различно в Дижоне и Боне, в Шалоне, на равнине Брес и в Морване... В Маконнэ «местный говор изменяется от деревни к деревне; люди по-разному выговаривают слова, по-разному произносят конечные слоги» [122]. Вблизи Салена речь жителей каждой деревни отличается от речи соседей «почти полностью» и, «что еще удивительнее», даже сам город, «имеющий в длину половину лье, делится на две части, решительно несхожие нравами и языком» [123]. Не стоит считать единым и бретонский язык, распространенный в деревнях и в городах. Существует бретонский язык, употребительный в Трегье, и бретонский язык, на котором говорят в Леоне, причем печатные грамматики дают лучшее представление

о первом, нежели о втором. Наконец, произношение «через каждые двадцать лье меняется так резко, что местный уроженец не способен понять бретонский язык, на котором говорят соседи, без специальной подготовки» [124].

Было бы скучно и бесполезно продолжать это лингвистическое путешествие по Франции прошлых веков. Ясно, с одной стороны, что французский язык был в ней распространен отнюдь не повсеместно. «Энциклопедия» гласит: «Диалект — испорченный язык, на котором говорят почти во всех провинциях... Правильным языком говорят только в столице» [125]. С другой стороны, местные говоры почти не поддаются исчислению. Ла Шетарди [126] недаром сказал в 1708 году по поводу религиозного образования: «Катехизисов понадобилось бы примерно столько же, сколько имеется приходов и школ» [127]. Тем не менее между положением дел к северу и к югу от Луары есть существенная разница: на севере, за исключением Бретани, Фландрии и восточных провинций,

МЕДЛЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МЕСТНЫХ ГОВОРОВ

В 1835 году французский язык занимает твердые позиции только на тех территориях, где искони был в ходу язык «ойль».

В 1863 году, согласно официальному опросу, проведенному министерством народного просвещения, местные говоры господствуют на довольно значительной территории.

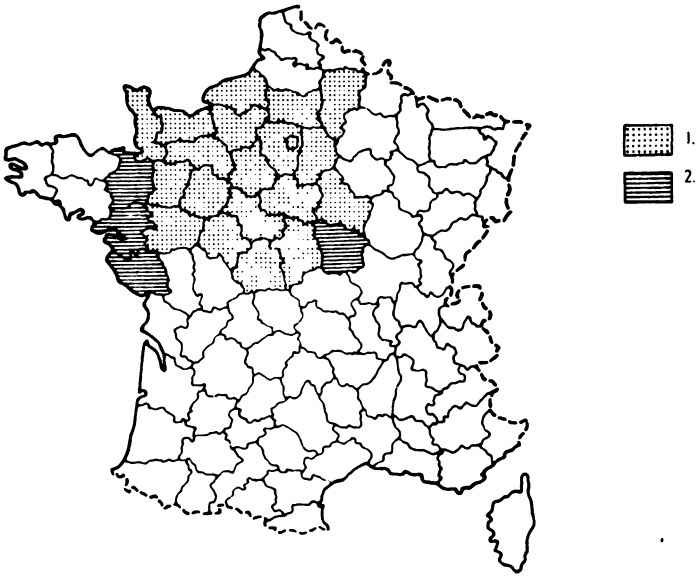
Верхняя карта — департаменты, где говорят по-французски (1835). Источник: Hugo A. La France pittoresque. P., 1835. T. I. P. 16.

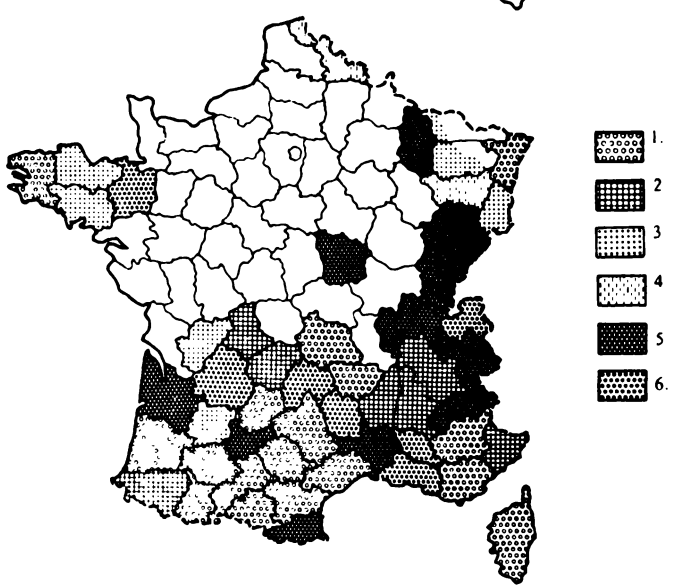
Условные обозначения: 1. Департаменты, где все говорят по-французски. *2.* Департаменты, где говорят в основном по-французски, но в некоторых кантонах живы диалекты.

Нижняя карта — коммуны, где говорят на диалектах (1863). Источник: Archives nationales, 7^{17} 3160, Ministère de l'instruction publique. «Statistique: Etats divers».

Условные обозначения: 1. Департаменты, где во всех или почти всех коммунах по-французски не говорят. *2.* Департаменты, где по-французски не говорят в 50 или более процентах коммун. *3.* Департаменты, где число коммун, в которых по-французски не говорят, достаточно велико. *4.* Департаменты с отдельными группами коммун, где не говорят по-французски. *5.* Департаменты, где безусловно встречаются жители, говорящие на диалектах. *6.* Департаменты, относительно которых данные о распространении диалектов отсутствуют.

Карты воспроизведены по книге: Weber E. La Fin des terroirs. 1983.


1.
2.


1.
2
3
4
5
6.

все *понимают* французский язык, хотя и не всегда говорят на нем; официальные бумаги составляются на французском, на нем же читаются проповеди и идут занятия в школе (впрочем, весьма примитивные). На диалектах здесь говорят лишь крестьяне и городские простолюдины. Здесь-то, в Северной Франции, диалекты и отмирают быстрее всего (см. карты на с. 73). Напротив, почти на всей территории к югу от Луары они главенствуют. На них говорят и в деревнях, и в городах люди всех сословий — «даже ученые и богачи», уточняет аверонский корреспондент Грегуара [128], но если состоятельные буржуа, люди образованные, говорят также и по-французски, то большая часть населения этого языка даже не понимает. В Гаскони «акты обычного права составляются, как правило, на кухонной латыни, равно как и все официальные бумаги»,— сообщает безымянный корреспондент из Оша [129].

Впрочем, это вполне естественно: ведь при переезде из Оша в Монтобан «человек перестает понимать других, а другие не понимают его» [130], французский же язык здесь не может служить средством общения между жителями разных деревень и городков. Дело доходит до смешного. Аббат Альбер, уроженец Южных Альп, рассказывает: «Несколько лет назад, путешествуя по Оверни, я никак не мог объясниться с крестьянами, которых встречал по дороге. Я говорил с ними по-французски, говорил на моем родном диалекте, собрался даже обратиться к ним по-латыни. Наконец мне это надоело, и я решил послушать их: они же в свой черед заговорили со мной на языке, мне совершенно непонятном» [131]. В таком случае что же удивительного в том, что арльские или тарасконские прихожанки XV века, заполучив в качестве кюре уроженца Бретани или Шалона-на-Марне, не могли сдержать возмущения? Они ни слова не понимали в воскресной проповеди! [132]

Впрочем, переселенцы не единожды способствовали распространению на юге французского языка. Так, в том же XV столетии люди с севера все чаще приезжают в Арль и, разумеется, совсем не понимают местных жителей, говорящих на диалекте. Благодаря приезжим французский язык проникает в город; с ним свыкаются и высшие и низшие сословия. «Поэтому далеко не случайно Арль еще в 1503 году, задолго до эдикта, принятого в Виллер-Котре (1539), становится первым провансальским городом, где протоколы и решения коммуны пишутся по-французски [133].

Переселениями объясняется и тот факт, что к концу XVIII века многочисленные французские выражения проникли в диалекты и изменили их. На сей счет все корреспонденты аббата Грегуара, в каком бы

уголке страны они ни жили, совершенно единодушны. К тому же в городах, где цветет торговля, французская речь входит в моду. В Бордо, где в прежние времена купцы говорили по-гасконски, «нынче по-местному разговаривают только грузчики, базарные торговки да служанки». Даже ремесленники предпочитают французский [134].

Большинство наблюдателей считает, что на эти перемены, свершающиеся очень медленно, ушло полвека, другие называют срок в тридцать лет, однако все связывают этот процесс с развитием торговли и прокладкой больших дорог, которые решительно изменили характер сообщения между разными местностями — во всяком случае, между маленькими городками и большими городами. Но разве могут дорожные работы XVIII столетия — гордость тогдашних инженеров — сравниться с достижениями следующего века? Вдобавок для пропаганды французского языка больше, чем шоссе и даже чем железные дороги, сделала школа.

Впрочем, несмотря на все эти усилия, деревни «офранцузились» не в один день. «До 1850 года,— пишет Пьер Бонно,— наши окситанские крестьяне имели весьма смутные представления о французском языке» [135]. И если в 1878 году Роберт Льюис Стивенсон, прославленный автор «Острова сокровищ», без труда объяснялся со всеми, кого встречал, путешествуя «верхом на осле» по верховьям Луары, это отнюдь не означает, что никто в этих краях уже не говорил на диалектах. В августе 1878 года Стивенсон попал в Монастье, крупный городок в сорока километрах от Пюи. «А в Англии говорят на диалекте?» — спросили меня однажды. Когда же я ответил отрицательно, мой собеседник продолжал: «Значит, там говорят по-французски?» — «Нет-нет,— возразил я,— и не по-французски».— «Ну, так, значит, там говорят на диалекте»,— таков был окончательный приговор» [136].

В некоторых областях французский вытеснил диалекты еще позже. В 1902 году, несмотря на приказы, приходящие из Парижа, бретонские кюре отказывались читать проповеди по-французски. В Руссийоне по сей день в ходу каталанский: даже те из местных жителей, кто на нем не говорят, всё понимают. А бывший лидер Комитета виноделов Андре Кастера, отвечая в 1983 году на вопросы Жана Ложени, утверждал, что лангедокский диалект вышел из употребления лишь в конце пятидесятых годов, и приписывал его исчезновение вовсе не влиянию школы, насчитывающему не одно десятилетие. Причина — в телевидении, в средствах массовой информации, главное же — в желании простых людей ничем не отличаться от горожан и буржуа, повысить свой социальный статус.

Диалектология и топонимика как инструменты доисторической географии. Местные наречия — или, лучше сказать, диалекты и говоры,— служат свидетельствами не только о реалиях XVIII и XIX веков. Диалектология и топонимика (наука о географических названиях), активно разрабатываемые лингвистами, поставляют богатейшую информацию, которую ни традиционная география, ни самоновейшая история до сих пор еще не сумели осмыслить. Заслуга молодого географа Пьера Бонно в том, что он предпринял первую серьезную попытку найти этим сокровищам применение в географических и исторических исследованиях.

Дело в том, что и диалекты (или то, что от них остается), и географические названия, как бы они ни искажались с ходом времени (ведь искажения сами по себе говорят о многом), представляют собой превосходные хронологические ориентиры, которые, разумеется, не так просто понять и истолковать, но которые при правильном подходе проливают свет отнюдь не только на «офранцуживание» тех или иных провинций — явление в конечном счете достаточно недавнее,— но и на многие другие загадки. Полученные данные позволяют заглянуть в наше прошлое гораздо глубже.

Метод Пьера Бонно, основывающийся на терпеливом соединении разных наук,— настоящее событие. Бонно начинает с распределения имеющихся у него показателей во времени и пространстве: этот топоним древнее другого, этот диалект был распространен только на данной полоске земли. Однако все эти многочисленные факты необходимо свести воедино, что не так просто. Ученые-дендрологи (исследующие годовые кольца деревьев) действовали сходным образом: они также имели в своем распоряжении сведения о месте произрастания дерева и ряд *относительных* — но не абсолютных! — дат. Проблема в том, чтобы включить эти даты в хронологию истории, а точнее, в хронологию доисторической эпохи. А затем с помощью полученных результатов в той или иной степени скорректировать наши представления о прошлом. Точно так же и Пьер Бонно в своих кропотливых изысканиях стремится распознать с помощью многочисленных лингвистических знаков «этнические группы», «древнейшие исходные ячейки», которые некогда, в далекую эпоху первоначального расселения племен по территории нынешней Франции, заняли каждая свой более или менее обширный участок, что предопределило и облик этого места, и его культуру. Какие бы потрясения ни переживали «ячейки» впоследствии, «основа их остается неизменной, несмотря на любые бури». В этом — причина вечного разнообразия нашей страны, разнообразия, остающе-

гося неизменным, сколько бы ни размывали, ни сглаживали его вражеские нашествия и воздействие Государства, которое обосновалось в центре страны, в Парижском бассейне, и, опираясь на национальный язык, медленно, но неуклонно проводило в жизнь политику абсорбции и унификации [137].

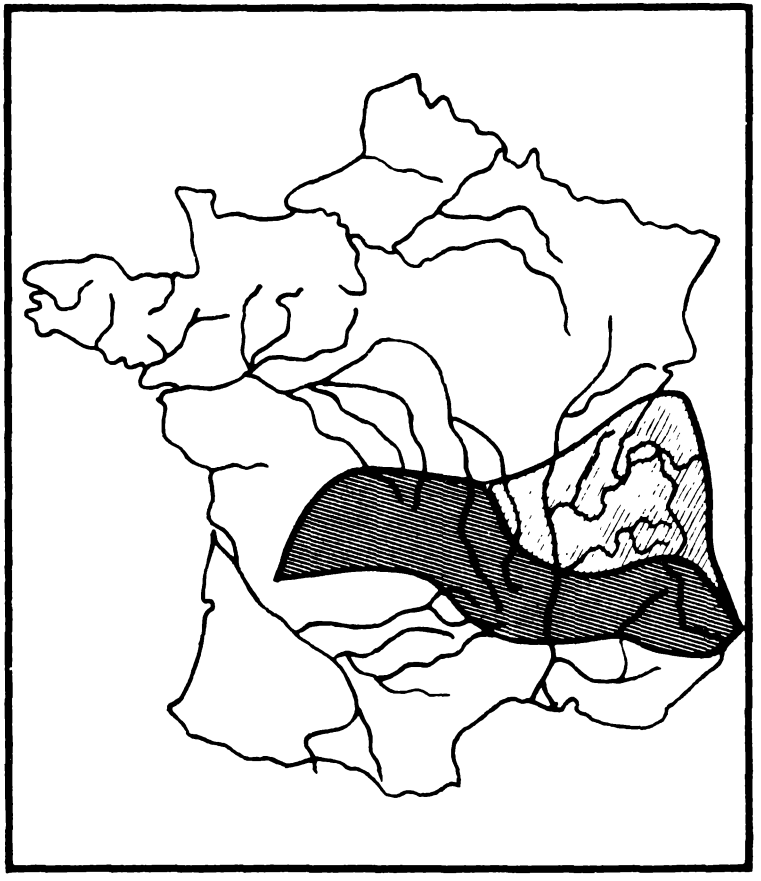
Итак, разыскания Пьера Бонно, сделанные им удивительные рентгеновские снимки решительно меняют наши представления о мире. На наших глазах вырастает из самой земли ее прошлое. Мы удаляемся на многие столетия и даже тысячелетия от современности и с увлечением вслушиваемся в бесконечный диалог человека с окружающей его средой. Мы встаем перед необходимостью постичь диалектику отношений между существованием человека и естественными условиями этого существования. Ведь социальные и экономические структуры жизни в том или ином месте постоянно изменяются в зависимости от того, благоприятствует им природная среда или сопротивляется. Таким образом, мы получаем возможность проследить вплоть до невообразимых глубин процесс «заполнения пространства» человеческими сообществами, которые после многих столетий кочевого существования пустили корни, обосновались в том или ином месте и принялись упорным трудом обустраивать свою жизнь.

Однако было бы ошибкой полагать, будто это заполнение пространства людьми свершается — когда бы оно ни происходило, очень давно или совсем недавно — раз и навсегда. Даже осев на земле, homo stabilis не превращается в homo immobilis *. Он не прекращает вести борьбу с физической средой и либо приспосабливается к требованиям природы, дающей ему пропитание, либо терпит неудачу: третьего здесь не дано.

Таким образом, очень вероятно, что вплоть до каролингской эпохи, вплоть до последних «великих нашествий» большая часть народов, населявших французское пространство, принадлежала к числу народов не вполне оседлых; вероятно, что в этот период выращивание зерновых, которые мы переняли у доисторических племен Центральной Европы, еще только-только входило в обиход даже в тех районах, где оно позже сделалось господствующим занятием; вероятно, что население огромных просторов занималось в ту пору исключительно полукочевым скотоводством, перегоняя стада с равнин в горы и обратно.

Другими словами, «мозаика» наших пейзажей подвержена очевидным, хотя и медленным изменениям, и наша задача — проникая сквозь толщу времен, восстанавливать предшествующие состояния

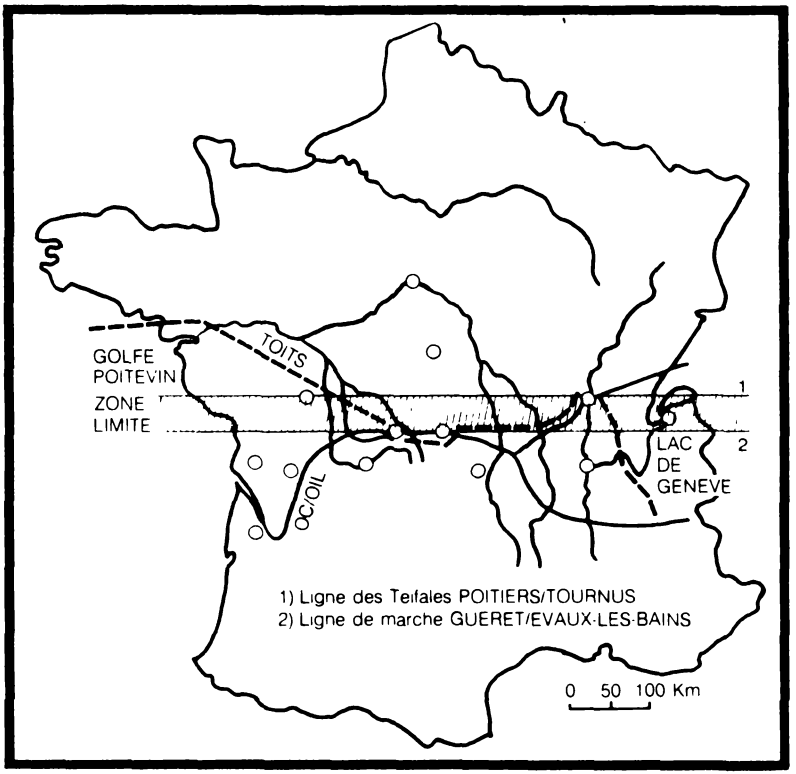
* Человек, твердо стоящий на ногах; человек неподвижный *(лат.)*.



«СРЕДНЕРОМАНСКАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЗОНА»

По книге: Bonnaud P. Op. cit. T. II. P. 188.

Зона, заштрихованная темными полосами,— «собственно окситанская территория», которую Бонно отделяет от «среднероманской средиземноморской зоны, куда входят Лимузен, Овернь и Дофинэ. Ее северный предел совпадает с общепринятой границей между окситанскими и северофранцузскими территориями: зона, заштрихованная светлыми полосами,— область распространения французских диалектов в Савойе, Дофинэ, Лионнэ, Брес.



ГРАНИЦА, ПРОХОДЯЩАЯ ПО ЦЕНТРУ ГАЛЛИИ (ОКОЛО 400 ГОДА)

Карта Робера Спеклена (см.: Acta geografica, 1982).

С помощью топонимики, исторических и археологических свидетельств, а также аэрофотосъемки Р. Спеклен изобразил на карте укрепленную границу шириной в полсотни километров, которая разрезала Галлию поперек. Созданная, возможно, еще в доисторические времена лигурами для того, чтобы дать отпор кельтам, усиленная римлянами в IV веке, когда Галлии грозили нашествия варваров, зона эта сделалась впоследствии, в VI—VII веках, свободной маркой.

Надписи на карте: 1. Линия Пуатье — Тюрню. *2.* Линия Гере — Эво-ле-Бен.

французского разнообразия. «Вся нынешняя сеть населенных пунктов создана сравнительно недавно»,— говорит наш вожатый [138]. Далекое же прошлое упорно являет нам зрелище множества различных Франций. Во-первых — исходные ячейки, которые мы называем «краями». Во-вторых — районы (regions), агломераты «краев», которые тем мельче, чем дальше они отстоят от центра относительно прочных территориальных образований. Книга Пьера Бонно помогает нам увидеть и Лимузен, и дорогую сердцу автора Овернь, расположенные в самом центре срединной Франции, в непривычном свете. Я уже говорил, что и Лимузен и Овернь принадлежат к той части Франции, которая, что бы там ни утверждали прежде, не является землей в полном смысле слова окситанской, но, с другой стороны, отличается и от областей северофранцузских. Мне было бы очень интересно узнать мнение Пьера Бонно о той своеобразной марке *, обширной укрепленной зоне limes на границе между севером и югом, любопытную картину которой нарисовал Робер Спеклен [139]: если верить Спеклену, в римскую эпоху и до нее эта марка разрезала территорию нынешней Франции поперек, тянулась от пуатевенского залива до Женевского озера, до севера Оверни, которую тем самым как бы обосабливала от северофранцузских земель.

Разумеется, Пьер Бонно приводит множество других показательных примеров: сходные процессы происходили на всей территории Франции. Так что я смогу обогатить свою историю страны не одним живым, умным и свежим образом, почерпнутым из этой прекрасной книги.

Автор ее между тем возвращается к важной мысли наших исследователей доисторического периода, заключающейся в том, что доисторическая «Франция» подвергалась воздействию двух людских потоков: один исходил из Центральной Европы, а другой — из Средиземноморья. Первый распространился благодаря принесенному с востока умению выращивать злаки, для своего времени весьма прогрессивному; по мнению Пьера Бонно, в эпоху мезолита «крестьянским континентом» являлась в первую очередь Центральная Европа, и именно оттуда получал запад и новые формы труда, и новых людей. Средиземноморский поток, двинувшийся в путь много раньше, нес с собою навыки скотоводства, собирательства и кочевого растениеводства.

Итак, сегодняшнее разделение на две Франции — северную и южную — восходит к доисторической эпохе. И к ней же восходят наши «края», прообразами которых являются «исходные ячейки», столь тщательно описанные и нанесенные на карту Пьером Бонно. «Националь-

* Марка здесь — пограничная область. *(Ред.)*

ный институт статистических и экономических исследований,— пишет Франсуа Сиго,— различает 473 „сельскохозяйственных района" на территории современной Франции [не было ли их в недавнем прошлом гораздо больше?]... В прежние времена в Бурбоннэ и Руссийоне, в Они и Бóже число способов обработки земли, по-видимому, никогда не опускалось ниже сотни [запомните, прошу вас, это утверждение, к которому я еще вернусь!]... Поэтому до тех пор, пока мы не отыщем методов, понятий, научных средств... для оценки этого разнообразия... рассуждения наши останутся совершенно беспомощными» [140]. Итак, нам предстоит наперекор стихиям создать из множества разрозненных уголков единое королевство, как созидали его некогда французские короли.

Культурная антропология, или Семья против единства Франции. Говоря короче, разобраться в том, что такое разнообразие Франции, не так-то просто. Особенно много проблем ставит разнообразие культурное, оставляющее на лице страны бесчисленное множество родимых пятен. Как же может Франция существовать, если она постоянно распадается на мелкие части?

В поисках далеких культурных корней огромную помощь исследователям оказывает с недавнего времени такая наука, как антропология. Не старая физическая антропология с ее измерениями черепа и «расами», но так называемая культурная антропология — одно из последних увлечений молодых и даже не очень молодых историков.

Для себя и для нас эти историки-антропологи открыли семью. Как справедливо замечает Жан Луи Фландрен, взрыв интереса к семье, трагической матрице всякого общества, вызван бесспорно не чем иным, как процессами, происходящими в современном обществе и ставящими семейную жизнь под угрозу [141]. Ведь семья — источник и причина почти всего. Что сталось бы с ульем, вздумай рабочие пчелы выходить замуж и рожать детей? Мы, историки, знали обо всем этом раньше антропологов и даже раньше психоаналитиков. Однако благодаря антропологам сегодня мы знаем это лучше, чем вчера. В итоге исследователи, которые, исходя из *современной* статистики и картографии, отважно опускаются в глубь ушедших времен, покоряют нас, даже если и не убеждают.

Чтобы понять игру, в которую играют Эрве Ле Бра и Эммануэль Тодд в «Изобретении Франции», следует уяснить ее правила, а для этого — изложить некоторые предварительные сведения.

В западном мире по сей день существуют семьи узкие (отец, мать и дети, не вступившие в брак; такие семьи часто называют ядерными,

СОРОК ПЯТЬ ДЕПАРТАМЕНТОВ С НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ПРЕОБЛАДАНИЕМ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ (1975)

a) Земледельцы. *b)* Сельские семьи. *c)* Городские семьи.

Легко заметная и по сей день граница между зоной, где преобладают расширенные семьи, и зоной, где распространены семьи ядерные, в общем совпадает с границей, разделявшей и разделяющей поныне нашу страну по многим другим признакам, таким, как язык, грамотность, уровень жизни, формы собственности и урбанизации, религиозные и политические убеждения...

Воспроизводится по книге: Le Bras H., Todd E. L'Invention de la France. 1981.

ибо они в самом деле сведены к своему ядру) и широкие, которые, в свою очередь, подразделяются на два типа. Во-первых, *семья-ствол*, или семья-род, включающая несколько поколений по вертикали: родители, дети, внуки; это — авторитарная семья, покорная отцу семейства, семья, где дети вступают в брак поздно, только с согласия родителей, причем таковое согласие получает лишь один ребенок, тот, кто является наследником родительского добра, остальные же дети остаются холостыми или ищут счастья на стороне. Во-вторых, *патриархальная*, или общинная, *семья*. Она распространяется вширь, по горизонтали, объединяя вокруг главы семьи всех детей, как вступивших в брак, так и одиноких. Она включает в себя сколько угодно супружеских пар, которые втягивает в свою орбиту по мере их возникновения. Порой она расширяется настолько, что превращается в «целое племя или местную общину». Самое важное различие между двумя типами широкой семьи состоит в среднем возрасте вступления в брак: в семье первого типа браки заключаются поздно, причем высок процент холостяков; в семье второго типа браки заключаются рано и не отличаются прочностью, зато процент холостяков низок. Таким образом, «брак — динамический элемент структуры семьи, средство ее воспроизводства, опора общества... занимает в антропологии примерно такое же место, какое в марксистской теории занимает классовая борьба» [142]. Замечание, выдающее наличие у авторов немалого чувства юмора.

В соответствии с тремя видами семьи Европа довольно четко делится на три зоны: ядерная семья распространена почти на всей территории Англии, семья-ствол преобладает в германском мире, патриархальная семья царит в Италии, и лишь во Франции встречаются с одинаковой частотой все три типа. В этом отношении, как и во многих других, она вмещает в себя всю Европу. И то, что у соседних народов выступало в качестве характеристики нации, становится во Франции характеристикой той или иной провинции; в самом общем виде можно сказать, что расширенные семьи распространены на юге, а ядерные — на севере, за исключением пограничных районов: Бретани, Эльзаса и Фландрии (см. схему на с. 82). Южная расширенная семья чаще всего носит общинный характер, а эльзасская и бретонская семьи — характер авторитарный.

Любопытно, что каждый из этих типов семьи закреплен за строго определенными зонами с очень давних пор; следовательно, антропология в данном случае имеет дело с «жесткими» закономерностями, иными словами, с культурными реалиями большой протяженности (longue durée), что, впрочем, не мешает относительно стабильным

границам этих зон часто подвергаться разрушительному действию ускоренной урбанизации либо ничуть не менее мощному и разрушительному влиянию индустриальной цивилизации. Это размывание семейных структур приводит к тому, что в ущемленных социальных группах, населяющих окраины культурных ареалов, учащаются приступы отчаяния, растерянности и подавленности, душевные заболевания и массовые самоубийства, усиливается пристрастие к алкоголю... Люди хотят ощутить себя в безопасности, чем и объясняется тот факт, что в XIX веке в зонах, где преобладают «плодящие холостяков» авторитарные семьи, большое влияние приобрела католическая церковь; с другой стороны, попечение о потерянных людях — на сей раз из тех, что проживают в зонах с преобладанием общинных семей,— взяла на себя коммунистическая партия, в отличие от всех прочих партий прекрасно умеющая внушать людям ощущение защищенности [143]. Самое удивительное, что даже там, где семейные структуры разрушаются или по крайней мере искажаются, эстафету принимают сопутствовавшие им религиозные и политические убеждения, благодаря чему местное своеобразие сохраняется, несмотря на любые перемены. Старые переломы не срастаются, старые раны болят по-прежнему.

Зная, какой тип семьи преобладает в данной местности, можно предугадать многие другие характеристики этого региона. Я только что упомянул католическую церковь и коммунистическую партию: каждая из них занимает господствующее положение на территории, где доминирует определенный тип семьи. Еще более поразительны соотношения типа семьи с результатами выборов: тех, что проходили в 1974, 1978 и 1981 годах. Как правило, в зонах с преобладанием общинных семей побеждают левые, в зонах с преобладанием семей-стволов — правые, ядерные же, или, как упорно называл их Фредерик Ле Пле, «неустойчивые» семьи — среда ненадежная: они склоняются то к одной, то к другой стороне [144].

Разумеется, границы наших «семейных» зон определяются отнюдь не только результатами выборов, но и множеством других факторов, хотя разные аспекты жизни, такие, как взаимоотношения полов, миграционные тенденции, забота о стариках и инвалидах, число детей в семьях, отправление религиозных культов, проституция, севооборот, сельскохозяйственные навыки, формы наследования, темпы строительства, популярность чародейства (с конца XVI века) и даже перепады в распространении грамотности, влияют на конфигурацию этих зон в разной степени. Перед нами — своего рода подпочва весьма разносторонней истории нашей страны, подпочва, открывающая внима-

тельному наблюдателю многие глубинные структуры нашего прошлого. Какой историк не удивится, обнаружив, что на севере Франции, равно как и в богатом Парижском бассейне, в Лимузене и даже в Пуату, деревенская жизнь примитивна и почти лишена жесткой организации, тогда как в более южных провинциях, в Дофинэ и Оверни, не говоря уже о Гийенне, Гаскони, Лангедоке и Провансе, дело обстоит совершенно иначе? [145]

Вот лишнее доказательство того, что причины дробности Франции — в ее прошлом. Изменчивость исторического времени чревата обидами и поражениями, но у Эрве Ле Бра и Эмманюэля Тодда она вызывает изумление, восхищение и даже улыбку! Исследователи утверждают, что дробность наша восходит по крайней мере к 500 году, к эпохе Хлодвига и образования, вследствие варварских нашествий, нескольких этнических зон [146]. Быть может, они правы?

Культурная антропология поможет нам, историкам, лишь если, оттолкнувшись от настоящего, опустится с помощью документов в бесконечную глубь веков. Мне представляется, что, пойдя по этому пути, антропологи по-новому взглянули бы на многие вопросы истории. Возьмем, например, Парижский бассейн. В наши дни это — зона почти полного господства ядерной семьи. Так вот, эта же самая ядерная семья, как показывает Мишлин Болан, преобладала в окрестностях Мо, в самом центре интересующего нас района, в XVI, XVII и XVIII веках; больше того, исследовательница даже употребляет, характеризуя окружающие этот город деревни, выражение «раздробленные семьи» [147] (по аналогии с заглавием нашумевшей книги Жоржа Фридмана «Раздробленный труд»). Хрупкость такой семьи, ее «неустойчивость» особенно заметна на фоне общества прошлых веков, которому чуждо само понятие социальной защищенности. Стоит ядерной семье разрушиться из-за смерти одного из супругов, и на оставшегося в живых обрушиваются одиночество, разорение, трагическая невозможность продолжать нормальное существование. Мишлин Болан указывает на обилие поспешных браков, заключавшихся в самом начале вдовства, как если бы мужчины и женщины судорожно искали возможности спастись. «Николь Пикар родила восьмого, девятого и десятого ребенка соответственно в июне 1739-го, августе 1741-го и мае 1744 годов; за это время она успела дважды овдоветь и дважды выйти замуж» [148].

Заглянув в прошлое еще глубже, мы, возможно, обнаружим сходные явления даже в средневековом обществе, что поможет опровергнуть многочисленных исследователей, видящих в ядерной семье следствие современной эволюции экономики и общества. Опорой нам послужит

пример Англии: больше десяти лет назад Питер Леслетт объяснил с фактами в руках, что узкая семья господствует в Англии с XVI века [149], Алан Мак Фарлейн совсем недавно доказал, что расширенной семьи не существовало здесь и в средние века; значит, в течение многих столетий англичане были обречены иметь семью «ядерную» [150].

Если учесть, что в окрестностях Парижа дело обстояло таким же образом в самые отдаленные эпохи — в XI и XII веках,— станет понятнее ранний расцвет феодального строя на территории между Луарой, Сеной и Соммой. Расцвету этому немало способствовала слабость семьи, раздробленной и, без сомнения, весьма податливой. У истоков феодального строя находится не только почти повсеместное использование земли в качестве денег, в качестве платы за службу: земля, конечно, играла важную роль, но ничуть не меньше значили обычаи людей, на этой земле живших.

Напротив, к югу от Луары расширенная семья (какова бы ни была ее форма и чем бы ни объяснялась ее величина) остается в силе благодаря царящей внутри нее взаимовыручке, сопротивляется переменам и затрудняет распространение «феодализма», сохраняя личные владения (поместья, свободные от любых повинностей), защищая местные свободы городов и сельских общин. Итак, здесь мы снова сталкиваемся с несходством положения дел к северу от Луары и к югу от нее,— несходством, которое имеет многообразные последствия, ибо ядерная, «неустойчивая» семья, обновляющаяся в каждом поколении, в меньшей степени прикована к своим традициям, в большей степени открыта «модернизации». Итак, север меняется раньше, чем юг; вдобавок он не умеет противостоять напору силы, силой же, агрессивной по отношению к семье, очень скоро сделалось Государство. Ибо между Государством и семьей идет непрестанное соперничество [151]. Кстати, если согласиться с этой концепцией, нельзя ли увидеть в дроблении английской семьи следствие битвы при Гастингсе (1066) и нормандского завоевания?

Понимание ядерной семьи как средоточия хрупкости и открытости — всего лишь гипотеза, хотя, на наш взгляд, солидно подкрепленная фактами. Это не мешает американскому социологу Ричарду Сенниту утверждать, что такая семья, напротив, препятствует изменениям в обществе [152]. А Жорж Дюби полагает, что «традиционную семью разрушил капитализм, нуждающийся для своего развития в притоке свободной рабочей силы» [153]. Все утверждения такого рода подразумевают, что ядерная семья возникла сравнительно поздно. Ясно, что на сей счет ничего нельзя будет сказать наверняка до тех пор, пока ученые не исследуют постановления обычного права и не произведут изысканий

в неисчерпаемых архивах нотариальных контор. Если реймский буржуа записывает в дневник где-то в 1632 году: «Дед хочет, чтобы я женился. Я отвечал: жить с женой не деду, а мне» [154],— означает ли это, что перед нами проявление «нового», современного мышления, или же этот уроженец Шампани просто-напросто мыслит в соответствии с местными традициями, предполагающими некоторую независимость человека от семьи?

Как бы там ни было, антропологические исследования, начатые совсем недавно, уже доказали, что прошлое яростно вторгается в настоящее, преследует его. Я понимаю Эрве Ле Бра и Эманнюэля Тодда, когда они, видя, какие глубокие и древние трещины раскалывают Францию, восклицают, что «Франция — страна невозможная», смесь множества разнородных племен и цивилизаций, которую пришлось «выдумать» [155]. В самом деле, Франции пришлось преодолеть массу препятствий, претерпеть массу разломов, вовлечь в свою орбиту разные провинции, чьи истории неповоротливы, противоречивы, грузны, тяжелы, как сама земля.

III
РАССТОЯНИЕ: ИЗМЕНЧИВАЯ МЕРА

До сих пор я рассматривал пространство как нечто неизменное. Между тем оно несомненно подвержено изменениям, ибо истинной единицей его измерения является скорость, с какой преодолевает его человек. Некогда люди передвигались так медленно, что пространство сковывало их, отрезало от окружающего мира. «Шестиугольная» Франция, по современным меркам не слишком большая, была еще не так давно пространством огромным и грозным.

В «Похвальном слове Траяну» Плиний Младший называет Галлию «почти безграничной» [156]. Она оставалась таковой и во времена Людовика XI: тому, кто решился бы пересечь Бургундию Карла Смелого в любом направлении, она показалась бы в десять, двадцать раз больше всей Франции 1982 года.

Поэтому не будем удивляться тому, что так называемая Столетняя война, равно как и наши религиозные войны (1562—1598), всегда проходили лишь в какой-то определенной части Франции, не захватывая всей ее территории. Расстояние само по себе ограждает, защищает, встает на пути у врага, угрожает ему; в этом имел несчастье убедиться

Карл V, дважды побежденный этим безымянным противником: впервые в июле 1536 года, когда его армия завоевала Прованс, но в конце концов из-за слишком длинных переходов и ненадежности средств сообщения совершенно выбилась из сил и потерпела поражение под Марселем [157]; вторично — в 1544 году, когда, захватив без боя маленькую крепость Сен-Дизье [158], войско императора вышло к Марне, дошло по берегу этой неширокой реки до города Мо, разграбило тамошние склады и в результате так обессилело, что Карл почел за лучшее заключить мир в Крепиан-Лаоннуа [159]. То же самое повторилось с его сыном Филиппом II: одержав устрашающую победу над коннетаблем де Монморанси при Сен-Кантене (10 августа 1557 года) [160], он открыл себе путь на Париж, и старый император, удалившийся в испанский монастырь Юст, с тревогой гадал, не предпримет ли его сын попытку захватить столицу Франции; неужели он не сознавал, что это практически невозможно? Победоносная армия не продвинулась с поля боя ни на шаг.

Пространство не переменилось и два с половиной столетия спустя: великолепная французская кампания, которую вел в 1814 году Наполеон вместе со своей молодой армией, была бы невозможна, будь наше пространство иным. Пока войска союзников медленно продвигаются по сходящимся к Парижу долинам, Наполеон стремительно перелетает из долины Эны в долину Марны или Оба; он знает это пространство лучше, чем его противники, и это помогает ему совершать внезапные нападения, отрываться от врага, тянуть время... Удача улыбается ему до тех пор, пока вражеские толпы не принуждают его отступить к самому Парижу.

Талейран сразу понял слабость этой тактики; он отвечал маркизе де ла Тур дю Пен, расспрашивавшей его о судьбе императора: «Ах, оставьте меня в покое с вашим императором. Это человек конченый».— «Как конченый? — удивилась я.— Что вы хотите этим сказать?» — «Я хочу сказать,— отвечал он,— что это человек, который того и гляди спрячется под собственную кровать!..» Я забросала его вопросами, но он был немногословен: «Император растерял всю свою силу. Он выдохся. Вот и все» [161]. Свою силу: пушки, зарядные ящики, боеприпасы, повозки. И людей.

В 1870 году прусская армия передвигается по железной дороге — по тем временам вещь неслыханная. Тем не менее, размышляя над превратностями этой проигранной войны, маршал Фош, участвовавший в ней в бытность свою молодым офицером, упрямо твердил, что, будь он главнокомандующим, он отступал бы с боями хоть до самых Пиренеев, используя возможности французского пространства все до

последней. В 1914 году война по-прежнему движется со скоростью пехоты: этим и объясняется долгое отступление французов до берегов Марны. А вот в мае — июне 1940 года на нас наступает моторизованная армия, и развязка свершается через несколько недель.

Мы знаем, чем была Франция в старину,— пространством безмерным и оттого непокорным, неуютным для путешествий, ускользающим от надзора. Об этом свидетельствуют и великие события, и — быть может, даже в большей степени — мелкие случаи, повседневные происшествия, банальные житейские подробности. Я мог бы рассказать вам, например, о том, как в 1523 году коннетабль де Бурбон бежал куда глаза глядят от королевских жандармов; самое поразительное, что беглецу удалось раствориться в пространстве и даже незамеченным перебраться через Рону — препятствие не из пустяковых и притом находящееся под бдительным присмотром. Другой эпизод менее драматичен, но, на мой взгляд, еще более выразителен: я имею в виду похождения герцога д'Эпернона в 1619 году. Заговорщик и интриган со времен своей бурной юности,— когда он входил в число фаворитов Генриха III,— герцог, постаревший (он родился в 1554 году), но не остепенившийся, исправляет должность мецского губернатора. Король запрещает ему покидать город. Но герцогу не впервой выказывать неповиновение. 22 января 1619 года, на утренней заре, он трогается в путь вместе с пятьюдесятью дворянами и сорока вооруженными гвардейцами; «затем следовали мундкохи * и слуги, все верхами, и наконец полтора десятка мулов, навьюченных поклажей». Куда же направлялась кавалькада? В замок Блуа, дабы возвратить свободу заточенной там королеве-матери Марии Медичи. Но нас интересует не столько политическая сторона этой поразительной экспедиции, сколько ее географический аспект: герцогу и его свите предстояло пересечь всю Францию с востока на запад, причем, несмотря на зимнее время, разбитые дороги, необходимость делать привалы, несмотря на трудные переправы через реки, медлительность мулов и обилие на пути больших городов вроде Дижона, в которых герцога тотчас бы заметили и донесли бы о его перемещениях Люину и Людовику XIII и которые, следовательно, ему надобно было обходить стороной,— несмотря на все это, кавалькада преодолевала в день не меньше сорока километров и двигалась на удивление быстро. Самое замечательное состоит в том, что вся эта не такая уж маленькая компания сумела остаться незамеченной, на целый месяц затеряться в огромном королевстве, словно иголка в стоге сена. Луару они перешли

* Мундкох — придворный служитель, заведующий кухней. *(Ред.)*

по броду между Роанном и Десизом, Алье — по мосту в Виши, и в ночь с 21 по 22 февраля королева-мать уже спускалась к ним из окна своей темницы [162].

Признаюсь, подобные эпизоды пленяют меня возможностью заглянуть в повседневную жизнь прошлых эпох. Что, например, заботило личного посланца Людовика XIV Никола Менаже, который весной 1708 года спешно направлялся в Мадрид? «Я прибыл сюда [в Байонну] 30-го вечером после девяти дней пути,— пишет он.— Медлительность моя объясняется дурными дорогами и беспорядком на нескольких почтовых дворах. Я немедля двинусь в Мадрид. Попаду я туда не прежде чем через двенадцать дней, ибо смогу переменить мулов не больше одного-двух раз» [163]. А вот некий дорожный инспектор в 1800 году объезжает вверенные ему территории: на протяжении пятисот километров экипаж его опрокидывается шесть раз, причем починка отнимает массу времени. Одиннадцать раз он увязает в грязи и выбирается на твердую землю только с помощью быков [164].

Охотно допускаю, что нет ничего утомительнее долгих странствий верхом [165]. Но намного ли удобнее дилижансы и кареты? «Начал я не очень счастливо,— пишет незадачливый агент Сельскохозяйственного совета, посланный в 1794 году на поиски запасов зерна.— Возле Санлиса у дилижанса сломалась ось, и, чтобы не опоздать, я шел пешком до Компьеня, где нанял другой экипаж и уже на нем добрался до Нуайона» [166].

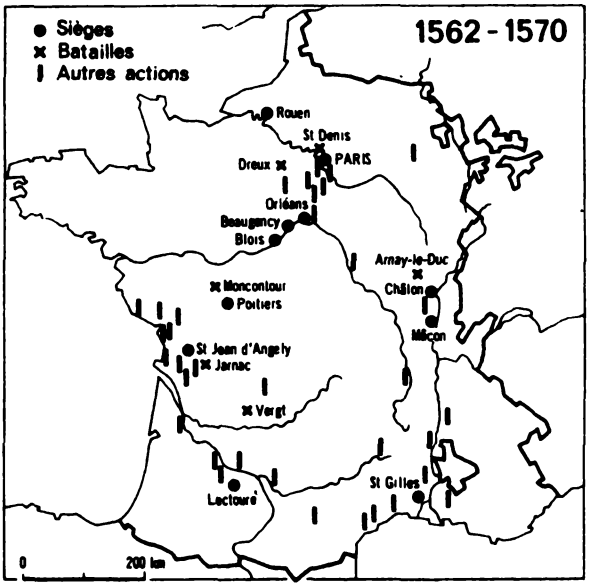
Другой вид испытания — плавание по рекам. В 1799 году генерал Марбо получает приказ взять на себя командование одной из дивизий Итальянской армии. Выехав из Парижа вместе с сыном, он встречает

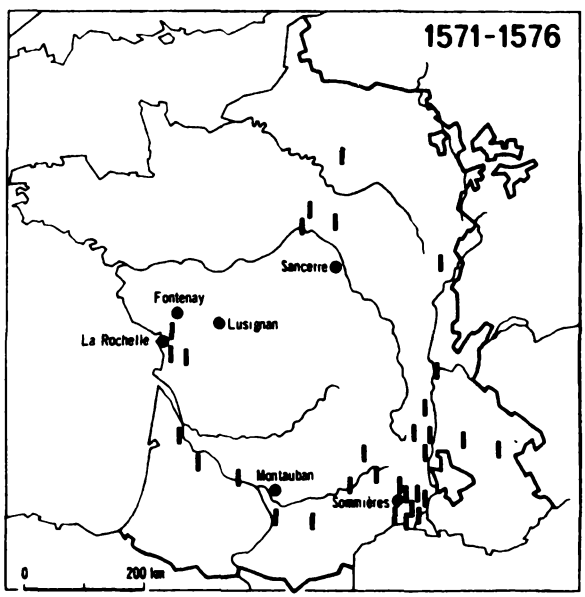
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ НЕ МОГЛИ ОХВАТИТЬ РАЗОМ ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЕВСТВА

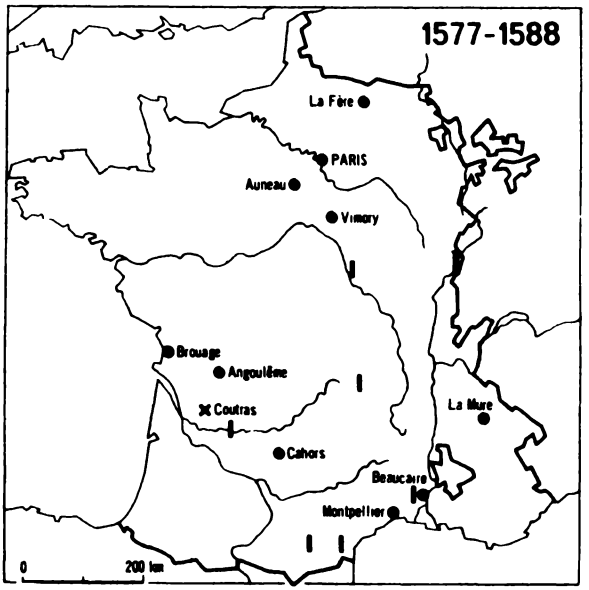
На картах (с. 91—92) указаны лишь важнейшие из сражений, описанных в «Истории Франции» Лависса (том Анри Марьежоля). Естественно, многие события опущены. Очевидно, однако, что обозначенные на карте сражения происходили не одновременно, что пространство затрудняло распространение военных действий вширь. Даже в самом конце войны, при Генрихе IV, все наиболее важное совершалось исключительно на севере страны.

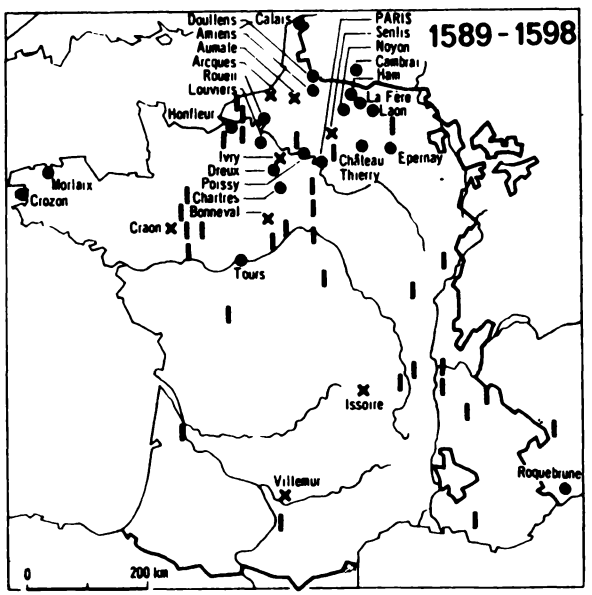
Источник: Braudel F. Civilisation matérielle. Op. cit. T. III. P. 278—279 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 330—331).

Условные обозначения на карте: ● Осады. × Сражения. ▮ Прочие события.


Sièges
Batailles
Autres actions
1562 - 1570
Rouen
St Denis
PARIS
Dreux
Orléans
Beaugency
Blois
Arnay-le-Duc
Châlon
Mâcon
Moncontour
Poitiers
St Jean d'Angely
Jarnac
Vergt
Lectoure
St Gilles
0
200 km


1571-1576
Sancerre
Fontenay
Lusignan
La Rochelle
Montauban
Sommières
0
200 km


1577-1588
La Fère
PARIS
Auneau
Vimory
Brouage
Angoulême
Coutras
La Mure
Cahors
Beaucaire
Montpellier
0
200 km


1589 - 1598
Doullens
Calais
Amiens
Aumale
Arques
Rouen
Louviers
PARIS
Senlis
Moyon
Cambrai
Ham
La Fère
Laon
Honfleur
Ivry
Dreux
Poissy
Chartres
Bonneval
Château
Thierry
Epernay
Morlaix
Crozon
Craon
Tours
Issoire
Villemur
Roquebrune
0
200 km

в Лионе Бонапарта: тот направляется из Египта в Париж, где его ждет восторженный прием; в Лионе генерал Марбо садится на корабль и пускается в сулящее массу неприятностей плавание по Роне. В Авиньоне, едва не потонув, он сходит на берег и продолжает путь по суше, а после Экса-ан-Прованса вообще застревает: переправиться на пароме через разлившуюся Дюрансу нет никакой возможности... Приходится ждать, теряя драгоценное время [167]. Плавание по Луаре всегда сулило опасные приключения, здесь запросто можно было угодить на мель. В сентябре 1675 года госпожа де Севинье в Орлеане «нанимает лодочников» (в тот момент это было модно), чтобы отправиться в Нант. «Ах, это сущее безумство,— пишет она дочери с дороги — дороги, оказавшейся очень долгой.— Река совсем неглубокая, и мы часто садимся на мель; с каким удовольствием оказалась бы я теперь в своей карете, которая катит себе вперед и не останавливается на каждом шагу». Однажды госпоже де Севинье и ее спутникам пришлось даже заночевать в прибрежной лачуге, на соломе. Полтора столетия спустя, в 1838 году, Стендаль, также направляющийся в Нант, садится в Туре на новомодный пароход. «Не прошло и десяти минут,— вспоминает он,— как мы благополучно застряли на отмели — продолжении острова на Луаре, который начинается ниже красивого моста». Пребывая в полной неподвижности, дрожа от холода и ничего не видя из-за тумана, они чудом избежали столкновения с «большим пароходом, который быстро тянула вверх по течению восьмерка лошадей» [168]. В 1842 году пароход, попавший в столь же незавидное положение посреди реки Алье, вызволяли шесть пар быков [169].

Конечно, после 1750 года дороги повсюду во Франции стали несравненно лучше, чем прежде. Но так ли велики были эти улучшения, если смотреть с сегодняшней точки зрения? Стендаль, всегда очень точный, отмечает в дневнике за 1838 год, что дорога из Парижа в Бордо заняла у него семьдесят один час сорок пять минут [170]. Однако два года спустя «курьеры добирались из Парижа в Марсель за две недели» [171]. Даже в 1854 году из-за того, что железная дорога между Парижем и Средиземноморьем была еще не закончена, солдатам, направляющимся в Крым для участия в военных действиях, пришлось сойти с поезда в Лионе, добраться пешком до Валанса, а там снова погрузиться в вагоны [172]. Больше того, хотя это и кажется невероятным, но в 1917 году французские части, отправленные в Италию после поражения наших союзников при Капоретто, также столкнулись с нехваткой железнодорожных линий: солдатам пришлось переходить через Альпы пешком [173], как во времена Карла VIII, Франциска I или Бонапарта!

Достойны ли все эти эпизоды нашего внимания? Или было бы лучше ограничиться статистикой, из которой явствует, что за период с 1756 по 1780 год «большая дорожная революция» сократила время, необходимое на передвижения по Франции в самых разных направлениях, почти вполовину? Что до меня, то я убежден, что мелкие факты гораздо яснее показывают, насколько сильно неспешность и затруднительность путешествий влияла на повседневную жизнь французов. Мелкие происшествия обозначают *пределы*, некий потолок возможностей, который будет отменен, взорван лишь после изобретения железных дорог, а затем автомобилей, грузовиков, автомобильных шоссе, самолетов...

Причина дробности Франции наконец найдена. Понятно, к чему я клоню: в прошлом пространство было таким растянутым, что деревни, городки, города, «края», области, провинции, установления, культуры, говоры, древнейшие обычаи существовали порознь, в почти полной изоляции одни от других. Поэтому все населенные пункты, вплоть до самых крохотных деревушек, расцветали, никем не тревожимые, и, несмотря на бег времени, чудом избегали перемен. Вдобавок монархическое государство, отдавая предпочтение большим дорогам — артериям, мало пеклось о капиллярных сосудах. Могло ли оно действовать иначе? Следовательно, в девяти случаях из десяти «деревенские дороги, именуемые проселочными» [174], пребывали в неизменно плачевном состоянии. В наказах 1789 года маленькая община провансальской деревни Шатодубль близ Драгиньяна просила вот о чем: «Да будет дозволено всякому городку и всякой деревне, стоящим в стороне от больших дорог, проложить меж собою, каждому на своей земле, дороги, дабы сподручнее было торговать!» [175]. Не лучше обстояло дело и с дорогами, соединявшими более крупные населенные пункты, о чем свидетельствует речь одного из ораторов на собрании депутатов провинции Иль-де-Франс в 1787 году: «В дождливое время, иначе говоря, добрую половину года, возчики и землепашцы, везущие урожай в город на продажу, принуждены удваивать число вьючных и тягловых животных, что, с одной стороны, значительно увеличивает дорожные расходы и вводит в лишние траты потребителя, а с другой, уменьшает прибыль, получаемую продавцом или собственником» [176].

В 1792 году в Коррезе три десятка километров (семь-восемь лье) считаются труднопреодолимым расстоянием, которое препятствует сообщению между деревнями и порождает существенные различия в язы-

ке. Разумеется, причиной тому не расстояние само по себе, но именно затрудненность сношений между населенными пунктами. Один историк и этнолог, опубликовавший в 1783 году работу об окрестностях Амбрюнуа, специально отмечает, что если на равнине «некоторые несходства в языке и одежде» проявляются через каждые несколько лье, «здесь [в Верхних Альпах] довольно перебраться из одной долины в другую, чтобы обнаружить совершенно иной язык и иные нравы». Объясняется это, бесспорно, «трудностью сношений жителей одной долины с жителями другой, ибо их разделяют горы» [177]. Сходным образом Бретань в эту пору — тесный остров, почти совсем недоступный для французов; проповеди здесь даже в городах читают по-бретонски, в сельских школах (там, где они существуют) читать — и изредка писать — учат также только по-бретонски, иногда преподавая заодно еще и начатки латыни; и все-таки в деревнях — и не только тех, что расположены на подступах к городам,— находятся люди, умеющие «поддержать разговор по-французски». Быть может, речь идет о людях, живущих на границе с Анжу? Нимало, с французским знакомы не кто иные, как «жители побережья» [178]. Все дело в том, что бретонские моряки испокон веков всерьез занимались торговлей и суда их добирались до Средиземного моря и даже до берегов Испании. А как можно торговать, говоря только по-бретонски?

То же самое, mutatis mutandis *, происходит в Верхней Савойе. Путешественник, попавший туда в XVIII столетии, с удивлением обнаруживает людей, говорящих по-французски, в самом неожиданном месте,— в труднодоступных высокогорных районах Фосиньи, Шабле, Морьен, Тарантез... После 1720 года здесь даже в самых крохотных деревушках открываются школы. Очень кстати возникает своеобразная мода: богачи, вместо того чтобы жертвовать деньги церкви, устраивают школы для маленьких савояров и нанимают им учителей. Всего за шесть — восемь су в месяц дети могут научиться говорить и читать по-французски, еще за четыре — писать... Причем школы пользуются популярностью: число учеников в классах доходит до сорока и даже до пятидесяти... Ничего удивительного в этом нет: переселенцы, по большей части выходцы из высокогорных районов, знают, что найти хорошее место в Лионе, Париже и даже в Германии легче тому, кто знает французский язык, на котором говорят «почти повсюду на белом свете». Об этом сообщает донесение, составленное около 1750 года в деревне Пра, подле Бофора [179].

* с соответствующими изменениями *(лат.)*.

Одним словом, ввиду необходимости покинуть родные места савойяры выучивают язык, позволяющий сообщаться с миром. Местные говоры сохраняются и развиваются только в изоляции. Что советуют предпринять для их уничтожения революционные власти Нижнего Пуату, желающие сделать французский «всеобщим языком республики»? «Проложить дороги между деревнями, городками и городами» [180]. Можно ли сказать лучше? Но не следует забывать, что еще в 1947 году из маленькой деревушки Лер, подле Ласкена, что в высокогорной пиренейской долине Асп, покойников спускали вниз, в Акку́, где находится кладбище, «приторочив их к седлу мулов». Других путей не существовало [181].

Зная все это, кто удивится тому, что в течение многих веков Франция была пространством, «раздробленным на мельчайшие ячейки... совершенно никак не организованным, где участки территории просто-напросто располагались один рядом с другим» [182]. «Совокупность микрокосмов, способных при необходимости долгое время существовать автономно» [183]. «Мы видим мозаику мелких „краев“, деревень и городов, которые обладают некоторой независимостью, даже если все вместе входят в одно политическое и религиозное целое... Относительная культурная самостоятельность народных масс... необходима для того, чтобы каждая община, сельская или городская, жила сплоченно, чтобы каждый индивид имел связные представления о мире, чтобы люди могли противостоять жизненным тяготам» [184].

В каждом из этих узких мирков социальные связи, само собой разумеется, весьма тесны. Жак Дюпакье совершенно справедливо замечает: «Таким образом, почти каждый француз [в прошлом] мог запросто назвать по имени всякого встречного. Земляки виделись в церкви, на вечеринках, на свадьбах, участвовали в уличных концертах и уличных скандалах. Они помогали друг другу и друг за другом следили. Брачные, кровные, дружеские узы, равно как и застарелая вражда, густой сетью опутывали деревни. Деревенская Франция так и осталась бы набором не связанных одна с другой молекул, если бы не три потребности, заставлявшие наших крестьян вспоминать, что мир не кончается за околицей родной деревни: во-первых, крестьяне нуждались в деньгах, чтобы платить налоги и арендную плату; во-вторых, население увеличивалось, появлялись лишние рты и лишние рабочие руки, вследствие чего молодежь начинала искать себе применения на стороне; в-третьих, юношам приходилось брать невест со стороны, чтобы не жениться на собственных кузинах», за чем бдительно следила Церковь, неохотно дававшая разрешения на подобные браки [185]. Впрочем, в большинстве

своем крестьяне предпочитают оставаться дома, с теми, кого они любят, терпят или даже ненавидят, но все-таки знают. Показательна реакция такого прирожденного деревенского жителя, каким был отец Ретифа де ла Бретонна. Париж обескураживает его. «Ох, сколько тут народу! — восклицает он. И добавляет: — Людей столько, что никто ни с кем не знаком, никто не знает своих соседей, даже тех, кто живет в том же доме» [186].

Ту же дробность, mutatis mutandis *, вы встретите повсюду в Европе, от швейцарских кантонов до Испании, от Англии до Германии и Италии. Пизанское contado ** — область, разнородная по преимуществу [187]; так же обстоит дело с цепью мелких «краев», окружающих озеро Гард, описанием которых мы обязаны Джованни Зельдину — историку, превыше всего ставящему точность и внимательно всматривающемуся в жизнь каждого из этих поселений, которую обычно заслоняет чересчур прославленная история Венеции [188]. Зельдин даже употребляет в этой связи термин «история по вертикали», как если бы в глубины прошлого уходили некие колодцы, которые историк и должен исследовать.

Разнообразие и история. Итак, разнообразие — непосредственное следствие безграничности пространства, благодаря которой местные особенности, возникшие в глубокой древности, дожили до наших дней. Многовековое же это разнообразие, в свою очередь, оказало воздействие на историю Франции. В самом деле, я свято верю, что старинная раздробленность страны, представлявшей собой сумму изолированных одна от другой местностей, благоприятствовала всякому, кто пытался подчинить себе всю эту страну или ряд ее областей. Господствующая суперструктура растет, распространяется вширь так стремительно именно оттого, что не встречает серьезных препятствий, достойного сопротивления. Против монархии, присоединяющей к себе все новые и новые земли, восставала всякий раз самое большее одна провинция, да и та не целиком; короли сражались по очереди с разными противниками, сначала на одной территории, а уж затем на другой... Сходным образом во время Революции мятеж жирондистов (1793), хотя и вспыхнул во многих департаментах, затронул все их очень неглубоко; народные массы остались равнодушны к этому восстанию; север и восток, где

* с соответствующими изменениями *(лат.)*.

** пригородная местность *(ит.)*.

стояли армии, хранили спокойствие. Разжиганию во Франции политических, социальных и религиозных распрей способствовало не столько разнообразие само по себе, сколько равнодушие, бездеятельность краев и провинций.

Всякая нация расколота и тем живет. Но Франция подтверждает это правило, пожалуй, даже чересчур наглядно: здесь протестанты борются с католиками, янсенисты — с иезуитами, синие — с красными, республиканцы — с роялистами, правые — с левыми, дрейфусары — с антидрейфусарами, коллаборационисты — с участниками Сопротивления... Тяга к раздробленности у французов в крови; единство Франции — только оболочка, суперструктура, вызов. Разнообразие ведет к неслаженности. Даже сегодня, замечает современный литератор, «Франция живет не синхронно; представьте себе коня, у которого каждая нога двигалась бы в своем темпе; на такого коня и похожа Франция» [189]. Мне нравится этот образ — гиперболизированный, не совсем точный, но и не совсем лживый. Несчастье в том, что все различия — физические, культурные, религиозные, политические, экономические, социальные — накладываются одно на другое и порождают непонимание, вражду, ссоры, подозрительность, распри, гражданские войны, которые разгораются ярким пламенем, а затем затухают — но лишь для того, чтобы при первом же порыве ветра вспыхнуть вновь. С точки зрения историка, «призвание Франции... не просто войны, но войны гражданские. Кроме как в 1914 году, она никогда не вела другой войны, которая заслуживала бы название отечественной... Всякий вооруженный конфликт, в который вступала нация, более всего гордящаяся своей бранной славой, в той или иной степени замешан на гражданской войне. Так было не только в 1939—1945 годах, но и во времена революции и Империи, в эпоху Жанны д'Арк и бургиньонов *, Генриха IV, Лиги и кардинала Ришелье. Даже в 1870 году нашлась партия, которая тайно или явно, но желала поражения тем, кто правил страной» [190]. Следует ли в таком случае согласиться с крайним суждением Мишле: «Сама ее [физической Франции] материя, склонная к бесконечному разъединению, порождает разлад и раздор» ?[191] Следует ли разделить страшное — если верное — мнение Жюльена Бенда, называвшего историю Франции «бесконечным делом Дрейфуса» [192]? Следует ли признать, что Франции, испокон веков не спешившей с объединением своих территорий и населяющих их народов, война внутри страны куда более понят-

* Бургиньоны — сторонники герцога Бургундского, выступавшие во время Столетней войны против арманьяков — сторонников герцога Орлеанского. *(Ред.)*

на, чем война на земле противника,— как доказывал мне однажды вечером Жан Геэнно, живо возражая против моих попыток защитить позицию Пеги в 1914 году? «Эта война [1914—1918 годов],— писал Геэнно впоследствии,— меня нисколько не касалась». Судьба забросила Геэнно на фронт, но он никогда не мог «поверить до конца, всем сердцем», что это «его война» [193]. Признаюсь, что меня мое прошлое не располагает к приятию подобных взглядов. Лично я плохо понимаю смысл гражданской войны. Быть может, дело в том, что, в отличие от Жана Геэнно, бретонца, ставящего «отечество» выше «нации», я, уроженец востока, чувствую себя уютнее в единой Франции, ибо сознаю, что от этого единства и от того, насколько бдительно оно охраняется, зависит моя свобода. Я не оправдываюсь. Я просто рассказываю, из какого личного и наследственного опыта вытекает моя позиция.

Безусловно, именно этот мой опыт объясняет мое отношение к тексту, который я сейчас процитирую. Всякий раз, когда я перечитываю его, он волнует меня и причиняет мне боль, хотя написан протестантом Франсуа де Ла Ну, человеком беспримерной доброты и храбрости, очень давно, в XVI столетии.

Дело происходит в июне 1562 года: королева Екатерина Медичи, наваррский король и принц де Конде устраивают встречу, «свидание» католиков и протестантов в Тури, на плато Бос. Два войска, возглавляемые одно маршалом д'Анвилем, другое — графом де Ларошфуко, оба составленные «из превосходнейших бойцов и людей по большей части весьма знатных», разбивают лагерь друг против друга, на расстоянии восьмисот шагов. «И вот, простояв этак с полчаса, ощутили они страстное желание увидеть кто своего брата, кто своего дядю, кто кузена, кто друга или старого товарища и испросили на то дозволения у командиров, кои дозволение сие дали весьма неохотно, ибо запрещено было людям из противных партий сходиться близко во избежание склок и ссор. Но ссор не случилось вовсе, случились же приветствия и объятия, поелику не могли люди, коих связывали прежде узы чести или родства, воздержаться от изъявления дружества тем, у кого нынче другие знаки различия, ибо свита короля наваррского [194] носила плащи малинового бархата с красной перевязью, а у свиты принца де Конде и плащи и перевязи были белые. Католики, почитавшие всех, кто принял иную веру, погибшими, убеждали реформатов подумать о себе и не упорствовать, ведя подлую войну против собственных родичей. Те ответствовали, что ненавидят войну, но знают наверное, что, не возьмись они за оружие, их постигла бы участь многочисленных их единоверцев, погубленных с неслыханной жестокостью в разных кон-

цах Франции. Одним словом, каждый помышлял о мире и о том, как склонить к сему власть имущих. Иные из людей, стоящие немного в стороне и видящие больше прочих, оплакивали распри, раздирающие общество, ибо прозревали в них источники грядущих бедствий, когда же лишний раз приходило им на мысль, что, стоит командирам подать сигнал к бою, нынешние ласки тотчас обернутся кровавыми убийствами, что, когда забрала опустятся, а скорая ярость затуманит взоры, брат, пожалуй, не помилует брата,— когда все сие приходило им на мысль, слезы лились у них из глаз. Я был там среди реформатов и скажу, что в противном лагере нашел я не меньше дюжины друзей, которых любил, как братьев, да и они любили меня не меньше» [195]. 19 декабря, полгода спустя, произошла битва при Дре. Враги сошлись лицом к лицу. «Каждый стоял твердо,— говорит тот же Франсуа де Ла Ну,— ибо знал, что имеет дело не с испанцами, англичанами или итальянцами, но с французами, иначе сказать, с мужами храбрейшими, средь коих есть его соратники, родичи и друзья, и скоро предстоит ему вступить с ними в смертный бой, что внушало ужас, но не ослабляло отваги. Так стояли два войска одно против другого, пока не тронулись с места и не схватились насмерть» [196].

Разве этот драматический текст нельзя безо всякого труда применить к другим эпохам, разве не напоминает он о многих других, столь же тягостных эпизодах нашего прошлого? Чтобы не говорить о событиях современных, приведу слова одного старого дворянина, который в преддверии революции предрекал ее трагический исход бывшему пажу Марии Антуанетты Александру де Тилли. Тот не верил мрачным предсказаниям, и тогда старик воскликнул: «Сударь, мы нация, обреченная на трагедии...» [197]

А что же сегодня? Неслыханный рост скоростей запер, замуровал огромную и раздробленную Францию прошлых веков в «шестиугольник», с каждым днем становящийся все теснее. Пока Франция еще не добилась успеха — настоящего успеха — в рамках *Общего рынка*, в рамках Европы. С распадом колониальной империи (1962) она утратила свое сверхпространство, отсюда — ностальгия стратегов, лишившихся возможности размещать самолеты на просторах Чада, в самом центре огромного африканского континента.

А ситуация между тем продолжает меняться самым стремительным образом: за полтора часа можно долететь от Парижа до Алжира и сесть на том аэродроме Мэзон-Бланш, куда почти полвека назад, когда он был

совсем крошечным, я приземлился на борту столь же крошечного самолета, который развивал грандиозную скорость — 200 километров в час — и, чтобы опуститься пониже, ловко клонился сначала на одно крыло, а затем — на другое... Сегодня, когда летишь из Парижа в Женеву, не проходит и часа, как из-за гор Юра выплывает, выплескивается Женевское озеро, а за ним тянутся Альпы и высится Монблан. За один час десять минут вы переноситесь из Парижа в Перпиньян, где вдыхаете воздух и ароматы другого континента... Быть может, французы, еще до последней мировой войны бывшие жуткими домоседами, нынче едва ли не все поголовно пустились странствовать по свету именно оттого, что родное пространство сделалось им тесно?

Сегодня, 8 февраля 1981 года, я пишу эти строки, а радиоприемник, работающий на моем столе, передает, словно мне наперекор, репортаж о пастухе из Лозера и его стаде; до меня доносятся причудливая музыка, звон колокольчиков, собачий лай, крики погонщика и топот удаляющегося стада. И все это со старинной неспешностью. Значит, и по сей день разные части Франции живут в разном темпе. Самая большая скорость, как она ни великолепна, как она ни грозна, это еще не все. Какое же это удовольствие — отправиться одному в горы и вновь погрузиться во время и пространство вчерашнего дня, о которых мне напомнил пастух со склонов горы Лозер!

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: ДЕРЕВНИ, ГОРОДКИ, ГОРОДА

Франция — это и множественное число, и единственное; ей присуща и тяга к разнообразию, живучая, как репейник, и тяга к единству, являющаяся разом и стихийным порывом, и результатом сознательного напряжения воли; так было испокон веков, так, вероятно, будет вечно. Больше, чем любая другая страна, Франция разрывается между этими двумя полюсами, и большинство ее пружин натянуты до отказа именно из-за этого внутреннего противоречия.

Историкам необходимо учитывать разом обе стороны французской жизни и остерегаться односторонности суждений. Эрве Ле Бра и Эммануэль Тодд совершенно правы, когда утверждают наполовину в шутку, но наполовину и всерьез, что Франция — страна невозможная, что ее приходится выдумывать; с другой стороны, она существует уже много веков, она — не миф, больше того, она выдумала себя сама, и притом давным-давно. Жан Поль Сартр однажды заметил мимоходом, что Франция «необъединяема» [1]; это разом и верно и совершенно неверно: хотя ей и трудно быть единой, она все же не решилась бы разделиться на несколько частей, да и не смогла бы этого сделать. Ее политическое и культурное единство — вероятно, одно из самых древних в Европе, чтобы не сказать — самое древнее. Его создали многие тысячи безвестных, бессознательных сил, которые историки далеко не во все эпохи умели оценить по заслугам.

Я сам начал с утверждения о том, что «Франция значит разнообразие», и поступил так, не буду скрывать, с наслаждением. Я люблю это лицо Франции, люблю еще и за то, что красота его избавляет меня от необходимости рассуждать на грустные темы.

Однако во второй главе мне придется перейти от множественного числа к единственному, взглянуть на проблему с другой стороны и увидеть Францию как единое целое, а затем, если возможно, понять, как

единство Франции воплощается в ее повседневном бытии, какие глубинные силы его созидают. Ибо Франция — детище не только «сорока королей, строивших французское королевство тысячу лет». Короли — самые прославленные, но далеко не единственные творцы этого государства.

Частично Франция создала себя сама. Ведь пространство не только разъединяет, но и объединяет, поскольку разъединенность рождает множество дополнительных потребностей; например, хлебные районы нуждаются в районах животноводческих, а животноводческие — в хлебных; хлеборобы зависят от виноделов, но и виноделам не прожить без хлеборобов. Сходным образом, когда между собой соседствуют «группы людей, решительно несхожие ни языком, ни культурой, ни материальной цивилизацией, ни уровнем технического развития» [2], соседство это нередко приводит к взрывам, устраняющим множество препятствий. Говоря короче, какими бы разными и даже враждебными друг другу ни были малые или большие людские коллективы, они никогда не замыкаются целиком в свою скорлупу, не отгораживаются от соседей неприступными стенами. На практике полная автаркия невозможна. Чтобы жить, необходимо хоть немного сообщаться с внешним миром.

По свидетельству современника, в августе 1721 года «в Провансе [где свирепствовала чума, завезенная из Марселя] был десяток деревень, не затронутых болезнью, однако... жители их страдали от голода и нужды, не имея возможности купить необходимую провизию, поскольку на всех дорогах несли караул войска, под страхом смерти запрещавшие местным жителям покидать родные деревни, а посторонним — проникать в них» [3]. Тем не менее чума (то было ее последнее нападение на Францию) в своей слепой ярости вырвалась в то лето за пределы Прованса, и волны ее докатились до Дофинэ и даже до Лангедока. Французская армия буквально сбилась с ног, борясь с безжалостным и коварным врагом. Спастись можно было одним-единственным способом: строя *линии обороны*, плотины, преграждающие путь заразе. Однако нормальное существование деревень, городов, целых районов оказалось по этой причине под угрозой. Тем же самым летом 1721 года обитатели Дофинэ жалуются: санитарный кордон лишил их связей с внешним миром, а для них это поистине хуже смерти [4]. Через несколько месяцев маршал герцог де Бервик получает от двора приказ [5] провести линию между Верхним и Нижним Лангедоком, и весь Лангедок охватывает паника; в дело вмешиваются тамошние штаты, их депутаты уверяют, что, если страшная мера не будет отменена, обеим частям провинции грозит «неминуемый» голод,— и добиваются своего.

Вправе ли я думать, что подобные эпизоды дают некоторое представление об интересующей нас проблеме? Для того чтобы развиваться нормально, жизнь каждого уголка Франции должна быть открыта внешнему миру, связана с жизнью соседей. Глубинная история Франции изобилует этими безмолвными и продолжительными связями, приводящими в равновесие всю систему. По сути дела, связями этими никто не управляет: они устанавливаются сами собой и прошивают пространство насквозь, воссоединяя различные его части.

Животворная основа всей пирамиды — население деревень и городков. Модель здесь одна на всю страну: на равном расстоянии от городка, куда крестьяне съезжаются на рынок, расположены по окружности, словно маленькие планеты вокруг своего солнца, деревни. Все вместе — городок и примыкающие к нему деревни — образуют кантон. В свою очередь, кантоны, низовые административно-территориальные единицы, располагаются вокруг более или менее развитого города; этот не слишком протяженный участок земли мы, вслед за Люсьеном Галлуа и географами его поколения [6], называем «краем». Края же с большим или меньшим успехом, с большей или меньшей охотой группируются вокруг города, достаточно развитого, чтобы играть роль центра области или провинции (далеко не все города годятся на эту роль). Венчают всю эту конструкцию, рано или поздно непременно создающуюся и достигающую определенного совершенства, национальный рынок, нация.

Впрочем, национальный рынок возникает лишь при наличии большого, могучего города, существующего в благоприятных условиях и умеющего это использовать. Париж очень скоро сделался из-за своих размеров урбанистическим чудовищем, однако увлечь за собой всю Францию ему удалось далеко не сразу. Мотор более или менее годен для выполнения поставленной задачи, но машину нещадно трясет. Разве не таким образом развивалась испокон веков и развивается по сей день история Франции?

I
НАЧНЕМ С ДЕРЕВЕНЬ

Если принять за аксиому, что в строении Франции есть некая система, в первую очередь придется разъять ее на части и описать. Затем — но этим я займусь уже за пределами данной главы, содержащей лишь подступы к решению проблемы,— я попытаюсь показать эту систему в действии, выяснить, в какой мере она стремится если не ликвидировать, то хотя бы сгладить французское многоцветье. Можно сразу сказать, что это ей удается не полностью: многие связи непрочны и недолговечны. При натяжении они рвутся.

Данная глава — не что иное, как предварительные замечания, цель которых — не исчерпывающее объяснение, но лишь общее описание. Мы предпримем первую, пробную вылазку. А поскольку система наша состоит из нескольких уровней, начать будет логично с основания — деревень и деревушек, которых во Франции десятки тысяч.

Разнообразие деревень и их общий знаменатель. Типичной французской деревни не существует. Деревни во Франции подразделяются на целый ряд типов: разнообразие правит бал и здесь.

Причин тому множество. Первая: у каждой деревни своя специализация; в одних районах разводят скот, в других сеют пшеницу, в третьих выращивают виноград, оливки, шелковицу, каштаны, яблоки. Возьмем один пример из сотни возможных; вот деревня виноградарей — разве не узнаете вы ее с первого взгляда? Она «с тем большей охотой экономит драгоценную землю, что не боится полумрака и прохлады, полезных для винных погребов; дома в такой деревне стоят очень близко один к другому. Деревня же хлеборобов, напротив, привольно раскидывается по широкой равнине» [7]. А в некоторых краях к домам пристроены мастерские, где трудятся ткачи, сапожники или шорники... Не забудем и о разнообразии архитектурных традиций (дома с внутренним двориком или без него), строительных материалов, климата и водоснабжения: провансальская деревня взбирается по склону вверх, ее узкие улочки прячутся от солнца и ветра, а в лотарингской деревне стоящие впритык дома выходят на широкую улицу, являющуюся по совместительству скотным двором; полная противоположность им обеим — бретонская деревня, разбросанная, раздробленная, где каждый дом приютился в центре усадьбы. И так далее.

Последние два примера — бретонская деревня и деревня лотарингская — подводят нас к вопросу о концентрированности и разбросанности населения в сельской местности, вопросу часто затрагиваемому, но, по правде говоря, довольно смутному и, без сомнения, неразрешимому, поскольку истоки, причины сосредоточения и рассредоточения деревенских жителей по большей части остаются от нас скрыты. Здесь мы имеем дело с той самой историей в широком смысле слова, которая раскрывает далеко не все свои тайны.

Андре Делеаж предпочитал говорить не о большей или меньшей концентрированности населения, но о частоте и разреженности застройки (habitat espacé / habitat rapproché) [8]. А Карл Лампрехт (1878), рассуждая о далекой эпохе, когда действовал салический закон, выдвинул оппозицию: Dorfsystem/Hofsystem [9] — система деревень и система ферм [10], причем следует непременно учитывать, что обе «системы» возникли еще прежде, чем салические франки обосновались на землях к югу от Шельды [11].

Самый расплывчатый и самый неудобопонятный термин, который обозначает нечто среднее между фермой и деревней,— это деревушка, или, иными словами, несколько вместе или отдельно стоящих домов.

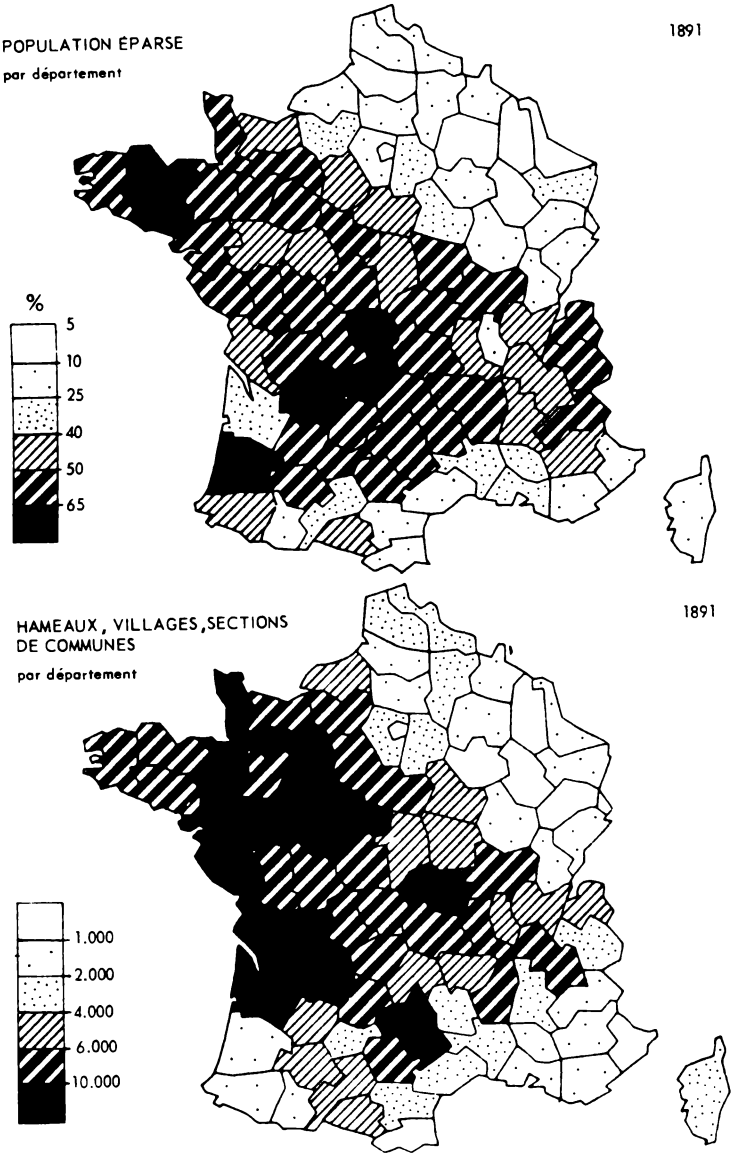
Нельзя ли предположить, что в районах неплодородных, с каменистой или малопригодной для обработки почвой, как, например, в руссийонском Аспре, где живу я, ферма или хутор являются простейшим способом использовать узкие клочки пахотной земли? Согласно переписи 1891 года, во Франции имелось 36 144 коммуны (городов, городков и деревень, больших и маленьких) и 491 800 «деревушек, деревень и секций коммун», за названием которых скрывались чаще всего «отдельно стоящие дома». Таким образом, на каждую низовую единицу административно-территориального деления приходится в среднем более тринадцати хуторов [12]. Это среднее число, впрочем, мало что значит само по себе, ибо степень рассредоточения населения по территории

РАЗРЕЖЕННАЯ ЗАСТРОЙКА
(ДЕРЕВУШКИ, ДЕРЕВНИ И СЕКЦИИ КОММУН)
В 1891 ГОДУ (ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ)

Верхняя карта: Разреженная застройка (по департаментам) в процентах.

Нижняя карта: Деревушки, деревни, секции коммун (по департаментам) в численном выражении.

Источник: Перепись населения Франции в 1891 году (Национальная библиотека). Карты Франсуазы Верньо.


POPULATION ÉPARSE
par département
1891
%
5
10
25
40
50
65
HAMEAUX, VILLAGES, SECTIONS
DE COMMUNES
par département
1891
1.000
2.000
4.000
6.000
10.000

далеко не везде одинакова. Скоро мы вернемся к этому вопросу (см. карты на с. 107).

Пока же уточним, что в жизни частая застройка отличается от разреженной далеко не так четко, как в нашем воображении, которое рисует, с одной стороны, группу домов, жмущихся к стоящей посередине церкви, а с другой — фермы, расположенные вдалеке одна от другой, каждая на отдельном участке земли. Разреженная застройка бывает по меньшей мере двух типов: в первом случае перед нами деревня, которую окружают отдельно стоящие дома (как правило, фермы), во втором — некое созвездие ферм и деревушек, практически лишенное центра.

Даже там, где дома стоят довольно кучно, как, например, в Лотарингии, деревни непременно окружены несколькими хуторами, а то и деревушками. Начиная с XV века в восточных провинциях помещики, страдая от девальвации денег (поскольку арендаторы вносили арендную плату наличными, владельцы земли оказывались в проигрыше), искали и находили дополнительные источники доходов за пределами деревень. Так возникали новые хозяйства — либо в помещичьих «заказниках», либо на необработанных, ничейных землях, расположенных между двумя деревнями, либо на землях заброшенных.

Так же обстояло дело в беррийской Шампани, где «в течение всей Столетней войны брошенные земли распахивались заново» [13]. Так же обстояло оно в самых разных уголках Франции и позже, в середине XIX века, когда начали широко распространяться капиталистические фермы, сделавшиеся при Второй Империи активнейшими центрами французской деревенской жизни и эксплуатации крестьян, тем более что по причине резкого увеличения рождаемости в начале XIX века свободная рабочая сила в сельской местности имелась в избытке. А разве сходные процессы не протекали по тем же или по иным причинам в Западной Пикардии, в некоторых районах Нормандии, на «пуатевенской равнине»? Здесь встречаются довольно крупные деревни, от которых отпочковываются фермы и даже целые деревушки [14].

В других местах картина иная: фермы, расположенные на почтительном расстоянии от деревни или небольшого городка, описывают вокруг них почти непрерывный круг. Так устроены деревни в провансальской части долины Роны или в Нижнем Провансе, омываемом морем (не будем сейчас касаться Верхнего Прованса, территория которого внедряется в Альпы; здесь редкая застройка в четком виде имеется только на высокогорной равнине Барселоннет [15]). В Нижнем Провансе словами «гумно» (grange), «бастида» (bastide) и «хутор» (mas) часто обозначают одно и то же — дом арендатора, стоящий на арендуемой им

земле; рядом довольно часто располагается жилище владельца земли — примерно как в Тоскане или на плантациях Нового Света.

«Исторический атлас Прованса» дает нам довольно ясное представление об устройстве крупной деревни на примере деревни Ронь, расположенной к северу от Экса, несколько в стороне от левого берега Дюрансы и «как бы прилепившейся к обнаженным скалам Люберонской горной цепи» [16]. Еще в 1954 году в Роне на 610 человек, живущих поблизости один от другого, приходилось 363 человека, живущих отдельно, итого — 973 человека. Прежде население деревни было более значительно (1652 человека в 1765 году, 1561 человек — в 1855 году, 1052 — в 1952-м), и в Восточной Франции Ронь по праву назывался бы городком, что объясняло бы непомерную величину принадлежащей ему территории (8166 гектаров)... Но в данный момент нас интересует не название деревни, но отток жителей на окраины принадлежащей ей территории, которую окаймляют и защищают «горы» Нижнего Прованса; в 1485 году здесь имелось пять бастид, в 1500 году их стало пятнадцать, и на этом рост числа хуторов не остановился, что способствовало превращению здешних хозяйств в хозяйства «капиталистические», на радость городским землевладельцам. Превращение это схоже с теми процессами, что свершались в XIII веке в окрестностях Флоренции, и с теми, которые, по-видимому, происходили в некоторых уголках Франции, например, в болотистом пуатевенском краю Гатин, подробно исследованном доктором Мерлем [17].

Не менее выразительный пример являет собой другая провансальская деревня — Гареуль, расположенная в 15 километрах к югу от Бриньоля; в нашем распоряжении имеется посвященная ей работа, выполненная с исключительной подробностью и обстоятельностью [18]. В XVI столетии деревня эта еще только «пускается в путь», иначе говоря, жители ее начинают отселяться на хутора. Можно ли утверждать, что процесс этот обязателен для любой местности и в данном случае нам просто-напросто предоставляется возможность уловить самое его начало? Вправе ли мы делать обобщения на основе одного этого примера? По-видимому, постройка хуторов и бастид — результат дробления деревенской территории, или, вернее, ее разрастания, колонизации пограничных земель, ибо хутора и бастиды строятся, как правило, на залежах, вдали от центра деревни, вблизи скудных пастбищ — из чего следует, что в строительстве этом заинтересованы прежде всего скотоводы. Как бы там ни было, хутора и бастиды никогда не обретают полной независимости от деревни, которая сравнительно с ними выглядит гигантским чудовищем. Очевидно также —

и пример Гареуля доказывает это неопровержимо,— что отдельно стоящая ферма почти всегда является плодом «капиталистического» влияния соседних городов. В дальнейшем «ферме» приходится черпать рабочую силу из той самой деревни или того самого городка, от которых она отпочковалась; целое лето «хозяева» (ménagers) или владельцы окрестных ферм утром нанимают себе работников на день, примерно так же, как это делается в Андалусии или на Сицилии. Отсюда — очевидный парадокс: сельскохозяйственные рабочие живут в среде, очень близкой к городской, и, следовательно, постепенно проникаются городской культурой, тогда как землевладельцы в Провансе чаще всего проживают в сельской местности. Одним словом, в Провансе хутора располагаются исключительно на периферии, и процесс их образования предельно ясен.

В других местах процесс этот подчас затрагивает центральную деревню и едва ли не наполовину разрушает ее, превращая всю деревенскую территорию в созвездие отдельно стоящих хуторов. Так, в частности, обстоит дело во многих районах Центрального массива. 29 марта 1709 года, в разгар восстания камизаров, некий бригадир получил от маршала Монревеля приказ «схватить всех жителей коммуны Миале, состоящей из семи деревушек, включая приход» [19]. Так же обстоит дело в лесистых частях Арморикансного массива или Нижнего Лимузена.

Арморикансний массив представляет собою множество «огороженных полей» — более или менее обширных участков, посреди которых стоят дома, а кругом идут земляные насыпи, засаженные деревьями. Каждая из этих территориальных единиц существует самостоятельно; в недавнем прошлом крестьяне здесь не только сами изготовляли сельскохозяйственные орудия, но также шили себе одежду и тачали обувь... Впрочем, посреди территории, занимаемой этими хуторами, сохраняется деревушка или деревня, которую местные жители часто называют городком, вкладывая, однако, в это слово совсем не тот смысл, какой подразумевается в других уголках Франции.

Как бы там ни было, долгое время центр этот, представляющий собою приходскую церковь в окружении нескольких домов, оживлялся только раз в неделю, в базарный день или во время неизменно шумных ярмарок. Однако постепенно между привилегированными обитателями «центра» и крестьянами, живущими на хуторах, не могли не возникнуть значительные социальные различия — источник неравенства. Письмо от 26 февраля 1790 года извещает о незаконном назначении на пост мэра коммуны Шатонеф-дю-Фау (департамент Финистер) «крестьянина, *живущего далеко от города* [подчеркнуто мною.— **Ф. Б.**] и еле-еле умеющего поставить свою подпись» [20]. «Уединенная жизнь земледельца [бре-

тонского],— поясняет другой текст того времени,— и привычка говорить на своем [нижнебретонском] языке, который мало кому понятен и на котором печатается мало книг, еще долго будут препятствовать распространению просвещения и прогрессу цивилизации в Бретани» [21].

Есть ли какая-нибудь закономерность в устройстве бокажей хотя бы в департаменте Мен? Если верить Роберу Латушу [22], появление бокажей восходит к XI веку, когда в Мене, как и повсюду в Европе, наблюдался резкий прирост населения. Но чем объясняется столь значительная разница между арморикапским западом и, например, хлебными равнинами и плато севера и востока Парижского бассейна? Отчего, с одной стороны, мы видим редкую сеть деревень, где дома строятся на большом расстоянии от центра, часто вполне ничтожного, а с другой — большие деревни, где дома прижаты один к другому, а кругом простираются бескрайние поля — openfield *?

По мнению Робера Латуша, районы, ставшие бокажами, были первоначально обширными лесистыми территориями, землей «vacua ab omni habitatore humano» [23] — свободной от людей. В эпоху, когда Галлия была римской провинцией, среди этого негостеприимного пространства лишь очень редко возникали villae — те крупные домены, которые с такой охотой изучал Фюстель де Куланж. Поэтому впоследствии и сеньорам, и монахам, затевавшим здесь какое бы то ни было строительство, приходилось начинать практически на пустом месте, с нуля [24]. Или, по крайней мере, действовать в очень сложных условиях.

Главное проклятие западных бокажей — не пропускающая воду глина, которая служит первым препятствием для создания крупных крестьянских поселений. «Сеть влажных низин покрывает пахотные земли, разделяя их на отдельные небольшие клочки», сообщение затруднено отсутствием дорог, а глинистая почва очень неудобна для обработки: все эти причины до предела суживают «радиус удаления земледельца от его жилища» [25]. Впрочем, так же нелегко было ездить и по овражистым дорогам Бретани. «В середине XIX века... в обширных корнуайских приходах поездка с отдаленной фермы в соседний городок в ненастную погоду занимала целый день — прежде всего из-за обилия рытвин на дороге» [26]. Конечно, «дренажные работы и прокладка вымощенных камнем дорог в большой мере сгладили еще в XIX столетии те неудобства, какими чреваты глинистые почвы, однако... деревенские поселения уже приняли к тому времени свой окончательный облик, отвечающий природным особенностям местности» [27].

* открытое поле *(англ.)*.

В конечном счете именно этот поразительный рост ландов, пустошей, объясняет громадную величину бретонских приходов (средняя их площадь во Франции в целом — 12—13 квадратных километров, в Бретани — 25 квадратных километров). Насчитывая от 2 500 до 5 000 жителей, они иногда — и совершенно безосновательно — зачисляются нашими статистиками в категорию городов. В XVII веке в Крозоне было от пяти до шести тысяч жителей, которые, однако, размещались на площади в сто квадратных километров [28]: разумеется, такую структуру «городской» не назовешь.

Для Нижнего Лимузена, приблизительно соответствующего нынешнему департаменту Коррез, характерны те же отличительные черты. Бедность почвы вынуждает людей селиться поодаль друг от друга. Однако на сходные природные условия люди реагируют по-разному, каждый по-своему. В Лимузене всякая коммуна, всякий приход представляют собой миниатюрный архипелаг, где острова беспорядочно разбросаны вокруг центра, зачастую весьма незначительного. «Клеткой сельского организма» [29] оказывается здесь не столько городок (чтобы не сказать: крупная деревня), сколько деревушка. Иногда, объясняет Ален Корбен, такая деревушка состоит из «одного или двух десятков домов, разбросанных совершенно беспорядочно среди дворов и соединенных грязными улочками; бывают и такие деревушки, которые представляют собою просто-напросто четыре-пять ферм, выстроенных вдоль дороги или в виду перекрестка». Некоторые из этих деревушек «превосходят по величине центр коммуны, однако не исполняют его функций: дело в том, что в этих краях мэрия, школа и церковь зачастую располагаются в разных концах коммуны» [30].

Картина странная, но дающая весьма ясное представление о запоздалой, своеобычной сельской цивилизации, бывшей плодом и уделом этих крохотных деревушек, которые в старинных переписях именовались «секциями коммун». Здесь на хуторах жили патриархальные семейства, страшно дорожившие своей независимостью, здесь обитатели деревушек вели и ведут поныне некое коллективное существование, хотя бы потому, что сообща обладают некоей собственностью (которую не назовешь собственностью коммуны): как правило, это скверные земли, не разделяемые между крестьянами и используемые для выпаса скота либо сохраняемые про запас, на случай, если кому-нибудь из крестьян понадобится распахать на время дополнительный участок. Общественной собственностью являются и такие всем полезные вещи, как прачечная, пруд для разведения и ловли рыбы, печь, мельница для изготовления ржаной муки — основы крестьянской пищи... В подобных

деревушках веками существовала собственная культура со своими незыблемыми особенностями, к числу которых относятся, например, долгие вечерние посиделки, устраивавшиеся с середины сентября до последнего воскресенья перед Великим постом,— обычай этот соблюдался так свято, что дожил до 1914 года и не забылся даже после Второй мировой войны. Посиделки длились три часа подряд и заканчивались лишь после того, как хозяин дома «засыпал головешки пеплом» [31].

Таким образом всплывают и доходят до нас свидетельства давно прошедших, канувших в Лету эпох. Доходят далеко не всегда, что затрудняет любые попытки вникнуть в суть дела. А между тем деревни, деревушки, городки, отдельно стоящие фермы — это древние формы объединения людей, в которых запечатлевается не только история страны, но и века, тысячелетия ее доисторического существования. Это дыхание старины сбивает нас с толку, заставляет довольствоваться гипотезами.

Я полагаю, вслед за Пьером Бонно, что, прежде чем пустить корни, весь этот деревенский люд в течение многих столетий вел жизнь кочевую или полукочевую, которая во многих уголках Франции прекратилась лишь в VIII—IX веках после Рождества Христова. В других местах независимому существованию предшествовали века жизни коллективной и более или менее подневольной, причем подневольность эта кое-где сохранялась вплоть до XX столетия.

Недавняя статья Эмманюэля Леруа Ладюри и Андре Зисберга [32] проливает свет на двойной смысл той границы, которую можно провести от Женевы к Э или Сен-Мало и которая, как показывают исследователи, отделяет зону густой застройки от зоны, изобилующей деревушками и хуторами (ср. с. 107). Ничего удивительного тут нет: граница эта раскалывала Францию надвое на протяжении всей ее истории; достаточно справиться с результатами переписи 1891 года, чтобы убедиться, что разделение на указанные зоны было зафиксировано и нанесено на карту еще тогда. Интереснее другое: отчего, например, на северо-востоке и на востоке деревни, названные по имени святых, встречаются крайне редко, тогда как во всех остальных районах Франции их множество. Все дело в том, что агиотопонимы — изобретение сравнительно позднее: они впервые возникают около VIII—IX веков, повсеместное же их распространение относится к Тысячному году, когда Европа начала становиться такой, какой мы привыкли ее видеть.

«Отсутствие святых» на севере и востоке Франции — признак безусловной древности здешних населенных пунктов, раннего подъема этих областей.

Подобное толкование возвращает нас к мнению нынешних специалистов по доисторическим эпохам, подтверждаемому и диалектологическими исследованиями Пьера Бонно; эта обширная зона Парижского бассейна, пишут они, была освоена очень рано, еще в IV тысячелетии до нашей эры, крестьянами — выходцами из Центральной Европы. Они рано начали внедрять здесь передовое по тем временам земледелие, связанное в основном с выращиванием злаковых культур, и расселяться так, как было принято в их родных краях,— крупными деревнями (от пятидесяти до двухсот жителей), где дома стояли поблизости один от другого, о чем свидетельствуют результаты раскопок. Ничего подобного не было на средиземноморском юге, где возникновение — впрочем, весьма раннее — земледелия не скоро заставило полукочевой народ отказаться от привычного образа жизни [33].

Иными словами, разнообразие способов расселения людей в сельской местности объясняется в очень большой мере превратностями истории, ее преждевременным или запоздалым движением вперед. Способы эти были порождением времени и плодом приспособления к окружающей среде, также крайне разнообразной; однако, раз сложившись, форма застройки, вопреки всем переменам и мутациям, настойчиво стремилась сохранить свой первоначальный вид.

Деревня: как она устроена. Если не обращать внимания на форму деревни и заняться лишь ее функцией, то окажется, что различия между разными деревнями не так существенны и что всякая деревня, большая и маленькая, «классическая» и та, что состоит из хуторов, mutatis mutandis *, устроена по одной и той же модели.

Всякая деревня занимает некое пространство, которое Пьер де Сен-Жакоб [34] называл «земледельческой поляной». Пространство это — «биологическая ячейка, благоприятствующая *колонизации* [в первоначальном значении этого слова **] такого фактора производства, как «почва» [35]. В самом деле, почва, «земля» (terroir), земельное владение прихода (finage) куда важнее расположения домов. Дома могут разрушиться и даже исчезнуть — что нередко и случается,— но земля пропасть не может: в худшем случае ею завладевают соседние деревни или города [36].

Деревенские земли, чья площадь обычно равняется примерно тысяче гектаров, живут по той модели, которую некогда описал Тюнен [37]:

* с соответствующими изменениями *(лат.)*.

** Заселение и освоение пустующих и окраинных земель. *(Ред.)*

они сплачиваются в единое целое под давлением расстояний; поскольку передвижение стоит труда, времени, денег, пространство расчленяется на последовательные концентрические зоны. На полях, расположенных поблизости от дома, и на тех, до которых крестьянин добирается с немалым трудом, выращиваются разные культуры. «Чем больше расстояние от центра обрабатываемой территории до ее границы, тем важнее, чтобы на периферии находились земли, требующие меньших забот, то есть менее плодородные» [38]. «Поскольку навоз был редкостью, поскольку дороги были дурны, телеги плохи, а тягловые животные немногочисленны,— пишет Поль Дюфурне о савойской деревне,— земли... расположенные поблизости от деревни... обрабатывались тщательнее всего, а севооборот на них был ускоренным» [39].

Самые лучшие земли образуют «пояс», примыкающий прямо к деревенским домам; это — зона огородов, палисадников, конопляных полей, фруктовых садов, иногда — но отнюдь не всегда — огороженных забором. В Лотарингии весной деревни окружает «пелена белых цветов» — это цветут сливовые деревья [40]. Так же обстоит дело и в крестьянских деревнях возле Парижа, где шпалеры фруктовых деревьев тянутся вдоль домов и засыпают их своими цветами ранней весной, когда остальные деревья еще только начинают цвести. Судя по сохранившемуся описанию, в Аркѐе и Кашѐне они цвели вот так в середине марта 1787 года [41].

Сады и огороды повсюду являются предметом самого тщательного и постоянного ухода: лишь только у крестьянина выдается свободная минута, он спешит удобрить землю под деревом лишней тачкой навоза, лишний раз взрыхлить почву заступом. Кроме того, именно в саду земледельцы испокон веков высаживают новые растения, чтобы проверить, как поведут они себя в непривычных условиях. Вероятно, первые ростки маиса, картофеля, фасоли взошли в таком вот саду, и лишь после этого заморские культуры, которым суждено было совершить революцию в европейском сельском хозяйстве, вышли на широкие просторы полей.

За садами располагается довольно обширная зона пахотной земли (terroir), которая, однако, занимает не всю территорию, принадлежащую деревне или приходу (finage).

В Восточной и Северной Франции пахотная земля еще в недавнем прошлом окружала деревню непрерывным кольцом, разделенным на три *пашни*, или *поры*, которые ежегодно сменяли друг друга по системе трехпольного севооборота: в одном секторе сажали пшеницу (или рожь), в другом — овес или ячмень *(les mars)* [42], третий оставляли под паром,

и он не приносил урожая. В следующем году круг поворачивался на одно деление: на земле, бывшей перед тем под паром, сажали пшеницу, на месте пшеницы — овес, а то поле, где рос овес, оставляли под паром. До тех пор, пока старая система не разладилась, три поля с ранней весны можно было разглядеть издалека: пшеница желтела, овес зеленел, а рядом чернела вспаханная земля, на которой крестьяне собирались посеять пшеницу только в октябре — ноябре. Именно поэтому пар кое-где образно называли *черной землей*.

В весьма обширных районах, где господствует двухполье, пахотная земля, обрабатываемая заступом либо киркой, делится на две части: на одной сажают пшеницу, другую оставляют под паром.

Однако всюду, независимо от способов обработки земли, наблюдалась в прошлом одна и та же картина: поля наступали на окружавшие их новины *, и леса противостояли невозделанным, неприветливым землям, приводившим в отчаяние путешественников и экономистов, например Анжа Гудара, который полагал, что земли эти занимают половину страны [43]. Новины составляют третий круг, зачастую самый широкий из всех. Распахивают в этом кругу лишь небольшие участки раз в десять, двадцать или даже в тридцать лет.

Новины — это, вообще говоря, аналог того, что римляне называли saltus **, в противоположность пашне (ager). Историки имеют привычку — не знаю, хорошую или дурную, но, во всяком случае, удобную — пользоваться этими двумя терминами, сама древность которых доказывает, что противопоставление это уходит корнями в глубь веков. Со своей стороны, англичане различают outfield и infield ***.

Понятие saltus обозначает десяток, сотню вещей одновременно; это и ланды, и холмы, покрытые дикими зарослями, и брошенные виноградники, где нередко продолжают цвести и плодоносить фруктовые деревья, посаженные некогда между виноградными лозами, и нестройные ряды грабов, которые некогда служили изгородями, а затем, предоставленные сами себе, разрослись и достигли той же высоты, какой достигают подстриженные заботливою рукою садовника деревья, окаймляющие аллеи в роскошных поместьях Восточной Европы... Это и всевозможные кустарники: «паростник, хворостинник ****, растущие сре-

* Новины — еще не паханная земля, целина. *(Ред.)*

** лесной выгон, лесистое место *(лат.)*.

*** отдаленная земля; земля, прилегающая к усадьбе *(англ.)*.

**** Паростник — молодой лес, по вырубке старого; хворостинник — мелкий лес, кустарник. *(Ред.)*

ди густой травы» [44]. И наконец — а точнее говоря, и прежде всего,— леса.

Разумеется, в разных местностях и при разном климате этот дикий пейзаж выглядит по-разному. В средиземноморской Аквитании, в пору, когда она только-только вышла из-под власти римлян, saltus — «это как невозделанные земли, так и всевозможные леса, болота, проточные воды, береговые наносы» [45]. В Савойе, в тех ее районах, что примыкают к Роне, «невозделанные земли... включают в себя скалы, утесы, стоячие воды, пески, горы камней, голые пастбища и хворостинники» [46], а также, разумеется, леса или то, что от них осталось. В Оверни невозделанная земля представляет собой огромное скопление новин, хворостинников, паростников, причем понятие saltus несет в себе «психологический подтекст: saltus — это «горы», лесная чаща, царство диких зверей и страха; ager — равнина и безопасность» [47].

Прежде коммуны не слишком заботились о границах, отделяющих их необработанные земли от таких же земель, являющихся собственностью других коммун. Например, жители крупной деревни Бонне (департамент Мез) только осенью 1789 года потребовали и добились размежевания и «определения границ, отделяющих леса коммуны Бонне от лесов аббатства Во», произрастающих рядом с долиной реки Орнен [48]. В первые годы революции подобные размежевания, безусловно, производились довольно часто. Во всяком случае, в верховьях Луары они в 1790 году были признаны обязательными [49].

На практике *внутренняя* граница между пахотными и непахотными землями была куда важнее границы, отделяющей твои земли от земель соседей. Впрочем, если возникала необходимость распахать новое поле, и эту внутреннюю границу частенько нарушали. Так, в Лангедоке в пору относительного благополучия, длившуюся с 1500 по 1640 год, часть гарриг превращается в дальние виноградники [50]. Так, в Провансе в октябре страшного 1709 года, когда на редкость холодная зима повлекла за собою разруху и голод, крестьяне все-таки не прекращают распахивать новые земли и сеять там хлеб. Что двигает ими — природный инстинкт? «Я полагаю даже,— сообщает интендант Ле Бре,— что в нынешнем году засеяны бо́льшие площади, нежели в предшествующие годы, ибо достоверно известно, что распахан и засеян бывший сосновый лес, погибший от морозов, хотя почва в том лесу скверная и каменистая донельзя» [51].

Сегодня дело, как правило, обстоит противоположным образом. Saltus разрастается, не зная удержу. Невозделанные земли «заразны, как проказа» [52], они, говорит Люсьен Гашон в статье об овернских

кристаллических массивах, бросаются в глаза [53]. Они «свидетельствуют о гибели сельского пейзажа. Повсюду виднеются разрушенные фермы и мельницы, новых же построек незаметно». Опустевшие земли, покинутые людьми, зарастают утесником, вереском, дроком... Детей, приехавших в деревню на каникулы, ждет масса открытий и «приключений»: тут пасутся овцы и козы, там стоят ульи с пчелами и растет орешник — авангард наступающего леса, в самом лесу бродят звери, бросающиеся наутек при виде человека, а под кустом спит, свернувшись кольцом, гадюка...

Между тем в прошлом saltus был для деревенских жителей кладовой, полной даровых благ, которыми многолетний опыт научил их пользоваться. Эскандорг [54], узкая цепь вулканических скал на юге Ларзака, в виду Лодевуа, снабжала крестьянина столькими сокровищами, что один перечень их вызывает восхищение: папоротник и самшитовая стружка шли на подстилки скоту, трава — на корм козам и овцам, желуди — на корм свиньям; кроме того, здесь можно было собирать лесные орехи, терновые ягоды, кизил, черешню, буковые шишки, ягоды боярышника, землянику, шампиньоны, дикий мед и множество трав, годных в пищу: одуванчики, огуречник, салатный колокольчик, бычий язык, спаржу, испанский козелец, дикий лук и проч. ...Не забудем также об охоте или браконьерстве: традиционный рецепт предписывает жарить зайца, насадив его на вертел «из ветки орешника, смазанной салом, которое растоплено в «ламбадӯ» — хорошо разогретом продырявленном железном конусе... Подавать в соусе из щедро уснащенной чесноком и хорошо измельченной печени с кровью» [55].

Говоря короче, в прежние времена залежи, несмотря на их неприветливый вид, приносили немалую пользу; не стоит и говорить, что то же самое относится к лесам; здесь можно было заниматься «собирательством», здесь паслись стада; под ветвями дубов и буков кормились желудями и шишками свиньи; вообще все животные — овцы, быки, кони — долгие месяцы совершенно свободно бродили по залежам *, ландам и лесам, ведя жизнь почти дикую. Так, в заболоченных районах Пуату или в Бретани лошади разгуливают на воле, предоставленные самим себе! Зимой, когда земля покрывается коркой льда, они разбивают этот лед, под которым скрывается прошлогодняя трава, собственными копытами. Жеребцы здесь бегают вперемешку с кобылами, и воспроизводство совершается само собой. Жеребцы истово охраняют сбивающееся в кучу стадо от волков. Ведя столь вольную жизнь, животные

* Не распахиваемый несколько лет подряд участок пашни. *(Ред.)*

дичают. Сьер де Губервиль в своем дневнике (17 мая 1556 года) рассказывает как о самом обычном случае об облаве, которую он вместе с несколькими друзьями устроил в лесу Мениль-о-Валь, подле Шербура, когда ему потребовались лошади: «Захватили мы черного жеребенка для меня, какового Симоне и Т. Каторз отвели домой. А кобыла для Т. Друэ нам не далась. Пустилась на Венсана Пари и едва не извела его ударом копыта» [56].

Полностью ли самостоятельны эти стада? В Вогезах на горных склонах, обезлесенных естественным или искусственным путем, с апреля по октябрь пасутся огромные стада рогатого скота, за которыми обычно приглядывают пастухи (macaires), как правило, из числа швейцарцев. Однако, согласно свидетельству 1698 года, коровы, пасущиеся на этих *жнивах*, «умеют самостоятельно подняться на пастбище весной и возвратиться назад в октябре» [57]. Так, может быть, идея перегонять скот в горы вообще родилась не у людей, а у животных? Как говорит Жан Англад, «неизвестно, кто раньше появился в горах Центрального массива — человек или корова» [58]!

В настоящих диких зверях здесь также нет недостатка: кругом полно оленей, косуль, волков (представлявших большую опасность для людей вплоть до середины XIX века, а может быть, и позже), и только охота предохраняет урожай от их набегов. Так, из лесов, окружающих Париж, в которых имели право охотиться только король и его приближенные (правом этим, к несчастью, чаще всего пренебрегавшие), на плоскую равнину вырываются дикие животные. Парижский интендант Фелипо без устали предупреждает о том, что находящиеся в его ведении леса «кишат дичью»; в них, например, бродят стада по тридцать — сорок ланей каждое [59]. В результате охрана полей обходится крестьянам «едва ли не дороже, чем уплата податей в королевскую казну» [60]. На владения маркиза д'Аржансона в Сегре (округ Арпажон) в департаменте Эссон, также неподалеку от Парижа, «обрушилось страшное бедствие: дичь, прежде всего кролики, обгрызают виноградные лозы, пожирают зерно и фрукты у крестьян» (25 марта 1750 года) [61]. Сходные жалобы раздаются в марте 1787 года — на сей раз по поводу зайцев, которых в Лиме, возле Манта, развелось огромное множество, ибо герцог Буйонский долгие годы не наезжал сюда для охоты [62]. Посочувствуем также господину де Массолю, незадачливому владельцу земель в Ашере, Гаренне и Фроманвиле, где с одной стороны — окаймленная лугами Сена, а с другой — Сен-Жерменский лес, в котором «темные звери, привезенные несколько лет назад... так расплодились, что разоряют помещичьи земли». Урожай гибнет. Фермеры грозятся покинуть здешние места.

Выхода нет. Пускай в таком случае король соблаговолит купить его земли,— взывает к его величеству господин де Массоль! (Уточним, кстати, что под «темными» зверями в данном случае разумеются олени, косули и зайцы, в отличие от зверей «черных» — кабанов, и «рыжих» — лисиц.)

Итак, один и тот же бич преследует всю Францию. В наказах 1789 года речь об этом идет очень часто. Жители Бровѐ, маленькой деревенской коммуны в Провансе, близ Драгиньяна, просят у короля «дозволения для всякого частного лица при помощи граблей, сетей или ружей истреблять вблизи своего жилища всех животных, губящих урожай, а также... держать при стадах собак без привязи, вопреки постановлению Провансальского парламента» [63].

Разумеется, крестьяне стреляли дичь и ставили на нее ловушки независимо от того, имели они на это разрешение или нет. Однако браконьерство в прежние времена каралось весьма сурово. Для крестьянина лесничий был заклятый враг, «человек подлый, оттого что праздный», как гласят наказы жителей Нормандии [64].

Лес, «драгоценнейшее из благ» [65]. Сегодня мы слишком легко забываем о том, как много в прошлые века значил лес для экономики. Я указывал на то, что он использовался в качестве пастбища. Вдобавок в лесу крестьяне собирали листву: листья дуба и вяза шли на корм скоту вместо недостающего сена, листья бука — на подстилки, сухостой или листья самшита использовались для удобрения земли... Лес давал также хворост для кухни, для отопления домов, для прожорливых печей, установленных в плавильнях, кузницах, пивоварнях, на сахарных и стеклянных заводах. Лес давал сырье для изготовления бочек, плугов, телег, повозок, деревянных башмаков, бесчисленной утвари, материал для постройки домов, кораблей и даже машин — виноградных прессов, насосов, лебедок с деревянной передачей.

Всякий крестьянин знал ремесло дровосека; каждую осень все трудоспособное население деревни отправлялось в лес — рубить деревья и обрезать ветки. Даже около 1900 года в бургундских «горах» крестьяне, выкопав картошку и, следовательно, закончив сбор урожая, «вставали на заре. Тот, кто шел напрямик, за полчаса поднимался в гору и первым попадал на место. Тут начинались крики. „Эй, Огюст!“ — „Я здесь!“ — отвечал справа Огюст.— „Эй, Дени!“ — „Я тут!“ — откликался слева Дени». А дальше «принимались перекликаться топоры: глухой удар — чтобы свалить дерево, звонкий, плашмя — чтобы об-

рубить щепу». А рядом, закопанный в уголь, ждал котелок с похлебкой: «рагу из картошки и фасоли с салом» [66].

Число арендаторов и крестьян, осваивавших новые земли, было так велико, что они могли бы очень скоро извести все леса и сильно взвинтить цену на древесину, которая уже в XVI веке пользовалась таким спросом, что леса считались «драгоценнейшим из благ». Пьер Сегье, потомок древнего купеческого рода, ставший в 1554 году председателем Парижского парламента, человек рассудительный, который употребил всю свою жизнь на расширение семейных владений, имел безусловную склонность к покупке лесов. Заглянув в его счета, вы не найдете в этом ничего удивительного: леса приносили ему весьма круглые суммы! [67] Начиная с 1715 года древесина начинает дорожать все быстрее, в последние же двадцать лет перед революцией цена ее повышается поистине стремительно. Одному Парижу требуется для отопления больше двух миллионов тонн дров в год [68].

Таким образом, в прошлом человек был связан с лесом куда более тесными узами, чем сегодня, и менял его облик. Большинство позднейших наблюдателей видят в лесе дар природы. Человек, полагают они, только и делал, что брал у леса его богатства. Это справедливо лишь наполовину. Относительная неизменность границ того или иного леса со времен Людовика XIV до наших дней обманчива. Ибо в течение столь долгого срока ничто в мире не способно обойтись без перемен. К тому же «на картах лесистых районов... топонимы помогают восстановить пейзаж многолетней давности, и тут выясняется, что он весьма отличен от того, какой мы привыкли рисовать в своем уме еще на школьной скамье» [69]. Человек властно подчиняет себе лес. Даже густые чащобы обязаны своим существованием потребностям и деяниям людей. Аргоннский лес остался цел благодаря кремнезему, на котором он растет,— это бесспорно. Однако от полного истребления, какому подвергся Орлеанский лес, его спасли также «пересеченный рельеф и отсутствие дорог и транспортных средств, не позволявшие использовать его богатства иначе, как потребляя их прямо на месте», следствием чего явилось возникновение множества стеклянных заводов [70]. Наконец, не забудем и о том, что всякий лесной массив окружен хищным кольцом деревень, жителей которых государство кое-где пыталось призвать к порядку, но далеко не всегда добивалось при этом успеха.

Лес — мир наизнанку. Лес был еще и миром наизнанку, землей обетованной для бандитов, разбойников, изгоев. Знаменитый лес Бонди

под Парижем, по которому странствует, претерпевая различные злоключения, Жюстина маркиза де Сада [71], вырубили лишь при Второй Империи. В мрачных Арденнских лесах, где еще в январе 1715 года «вдоль главной дороги, ведущей из Седана в Буйон», постоянно «рыскали грабители», опасность подстерегала путников ежеминутно [72]. Наводили страх леса между Мецем и Сент-Мену — городком, который издавна служил пристанищем для разбойников [73], а также — кто бы мог подумать! — королевские леса в Нормандии, где в 1712 году решились наконец проложить дороги, мощенные камнем, чтобы проезжие могли не опасаться «грабежей и убийств, грозивших им прежде» [74]. И это в Нормандии, одной из самых цивилизованных провинций королевства! Больше того, если верить заявлению, которое сделал в 1694 году уголовный судья крохотной королевской резиденции Йер-ле-Шатель — деревни близ Питивье, так же скверно обстояло дело в краях, расположенных куда ближе к Парижу. Судья сокрушается о том, что, «хотя великое множество убийц и разбойников с большой дороги уже схвачено им в лесу Фонтенбло и Орлеанском лесу, столь же великое множество мерзавцев еще гуляет на свободе». Пусть же предоставят ему средства нести службу, ведь — и в этом вся пикантность ситуации — «ему пришлось посадить под арест кое-кого из стражников, ибо они пошли по плохой дорожке и занялись грабежами!» [75]

Лес, подступающий близко к деревням, служит убежищем для всех, кто преступил закон; здесь обретаются продавцы корчемной соли, здесь нередко скрываются солдаты-дезертиры, которым сообщники-крестьяне дают лошадей и для которых главное — как можно скорее и незаметнее перебраться в соседний лес. Пойманные с поличным, они берутся за оружие лишь для того, чтобы отстоять свое право на бегство.

Впрочем, продавцам корчемной соли случается вести себя и более дерзко; так, в 1706 году они, разделившись на несколько шаек, действующих поблизости одна от другой, врываются с тачками, полными соли, в деревни и городки, и принуждают тамошних жителей покупать у них соль, угрожая непокорным поджогами. «Они так осмелели,— пишет откупщик, преследовавший их в окрестностях Ножана-на-Сене в июле 1706 года,— что даже не прячутся в чаще и едут прямо по дорогам до самых городских ворот» [76].

Лес-странноприимец. Однако стоит начаться войне, как все меняется: лес становится укрытием для самых слабых; вспомним вандейских шуанов или веркорских бойцов Сопротивления во время последней

войны. В 1814 году, когда во Францию с востока вторглись казаки, сабельными ударами изрезавшие, говорят, балки дома в Домреми, где родилась Жанна д'Арк, тамошние жители ушли в леса, как уходили их предки во время Тридцатилетней войны, когда деревни постоянно подвергались нападениям мародеров. В ту пору лотарингским крестьянам пришлось жить в чаще, вдали от родных домов, так долго, что они одичали, сделались «лесными волками»: без зазрения совести они обчищали карманы офицеров и солдат королевской армии. Чтобы исправить дело, маршал де Ла Ферте-Сентер вынужден был в 1643 году [77] устроить настоящую охоту на людей и казнить не одного лесного «отшельника».

К другому разряду беглецов принадлежат бедняки, нищие, попрошайки, бродяги, находящие приют на «общинных» землях — на границе между владениями деревни и лесом; они поселяются здесь с чадами и домочадцами в шалашах из веток, в лачугах из земли и соломы. Обычно сельские коммуны смотрят на появление этих «лачужников» (logistes), как звали их в старину, сквозь пальцы [78]. Однако иные из бедняков, вырубив лес и распахав залежь, начинают жить припеваючи. Они возводят прочные дома, а местные жители, которых процветание самозванцев лишает покоя, осыпают их угрозами и затевают нескончаемые тяжбы.

Подобные случаи происходили, например, в XVIII веке в Анжу, на границе затопляемых Луарой лугов и заболоченных, невозделанных земель, некогда обезлесенных, а затем брошенных людьми. «Многие скопления лачуг, выстроенных тайком два столетия назад на земле коммуны, превратились сегодня во вполне аккуратные деревушки, о чьем низком происхождении мы не имели бы ни малейшего понятия, если бы не такие названия, как Лачуги, или многочисленные топонимы с колониальным оттенком: Новый Свет, Канада, Миссисипи, Кайенна...» [79] Какая, увы, жалкая Америка, какие жалкие пионеры!

Деревенский идеал: произвести все самостоятельно. Произвести все самостоятельно: к этому стремится любая деревня. Если она достаточно крупна (больше пятисот жителей), то даже браки здесь заключаются между своими: девушек выдают замуж за местных же парней или в крайнем случае за парней из соседней деревни. Браки с чужаками, переселенцами здесь куда более редки. В общем, большая часть деревень существует автономно: так, как, например, Роменвиль, деревня виноградарей близ Парижа, где в XVIII веке господствует эндогамия [80].

Итак, деревни стремятся жить *особняком* [81]; у каждой из них — свои установления, свой или свои сеньоры, своя община и своя коллективная собственность, свои праздники, своя манера общежития, свои нравы, говор, сказки, песни, танцы, пословицы и непременные *подначки*, насмешки над соседями. Из реестра городов и деревень департамента Кот-д'Ор мы узнаем не слишком лестные прозвища, которыми награждали их жителей чужаки: козлы, лягушки, свиньи, волки, моты, пустобрехи (последние два комплимента адресованы специально жителям городка И-сюр-Тиль) [82]. Потребность посмеяться над соседом, незамысловатые остроты, издевательские песенки, даже раздоры, выливающиеся в бесконечные тяжбы,— все это доказывает, что у каждого крестьянина есть своя малая родина, грешащая всеми недостатками, крайностями и жестокостями родины большой. Эта малая родина ведет собственные войны, и по ее зову в определенное время года молодые парни, «кабацкие вояки», бросаются в бой, подчас весьма кровавый. В 1780—1790 годах жители Верхнего Ливенака и Фланьяка сражались между собой целых десять лет, несмотря на все попытки епископа Родезского помирить заклятых врагов. В департаменте Аверон раздоры такого типа полностью прекратились лишь после 1890 года [83].

Ненависть или коварство принуждают крестьян бахвалиться, утверждать себя в ущерб другим. Отсюда — бесконечная борьба за престиж, за право хвастать самой высокой колокольней, самой красивой церковью, самым пышным алтарем [84]. Отсюда и страстная жажда независимости, автономности, сплачивающая односельчан. В деревне все помогают друг другу строить дом, молотить зерно на току, ловить рыбу или набивать обручи на тележные колеса: раскаленный докрасна железный обруч насаживают на деревянное колесо и, чтобы колесо не загорелось, бросают в воду. Железный обруч остывает и сжимается [85].

Стремление к автономности имеет вполне серьезные основания: деревня часто владеет общинным имуществом, пастбищами и лесами; обычно у нее есть своя мельница, своя хлебная печь (как правило, выкупленная крестьянами у помещика); крестьяне давят или жмут в своих чанах виноград, оливки, орехи — смотря по тому, что произрастает в их краях... Кроме того, деревня имеет гораздо больше собственных *служб*, собственной — причем весьма разнообразной — перерабатывающей промышленности, чем обычно считается. Жозеф Кресссо описывает жизнь крестьян своей родной деревни около 1900 года, когда в этой деревне неподалеку от Лангра еще выращивали виноград: «Мне не хватит пальцев на обеих руках, чтобы пересчитать их всех: мельников, сукновалов, пильщиков, сапожников и башмачников,

тележников, кузнецов, плотников и столяров, каменщиков, маслобоев и ткачей, бочаров... и наконец, знаменитого костоправа» [86]. Все это были люди ловкие, «большие умельцы»: каменщики «не только вели кладку, но сами выбирали карьер, где добывали камень для дома, и сами покрывали крышу вулканическим шлаком» [87]. Что, впрочем, не мешало всякому мастеру иметь свое поле, сад и некоторое количество мелкого скота. А как же иначе?

Среди прочих ремесленников выделялись кузнец — начиная с XII века бесспорный лидер, заводила, нередко — злой гений, отличавшийся от односельчан даже внешне — свинцовыми кольцами в ушах [88]; булочник, появившийся куда позже (едва ли раньше XIX века) и символизировавший долгожданную победу белого хлеба; кабатчик — главный хранитель народной культуры, осведомитель, организатор коллективных увеселений, а при случае и ростовщик; «дом кабатчика являлся обычно местом встречи жителей соседних домов, да и всей деревни» [89], своего рода «анти-церковью».

Судя по всему, эти «работяги» как раз и обеспечивают деревне автономное существование, как бы охраняют ее самостоятельность. Возьмем, например, деревушки Нижнего Лимузена. Кроме обычных ремесленников, своими познаниями и богатым опытом крестьянам помогают «специалисты» — умельцы, закалывающие свиней и осматривающие им языки, чтобы вовремя распознать финноз, цирюльники, посыльные, знахари, сведущие в целебных свойствах трав [90].

Зная число ремесленников или псевдоремесленников, приходящееся на одну деревню, можно предположительно судить о ее величине. В XVIII столетии в Эрмоне, деревне в 17 километрах от Понтуаза [91], население которой состоит преимущественно из землепашцев и виноградарей, а также «землепашцев-виноградарей» и «поденщиков» (в оба эти разряда входят работники или, как говорят в других местах, батраки), проживают, помимо бондарей, еще и кузнец, мясник, колбасники, бакалейщики, кабатчики, сельские нотариусы, акушерка и школьный учитель... Подобный набор характерен для городка или по крайней мере для крупной деревни, где общее число жителей достигает пяти сотен, где есть собственные торговцы, а кое-какие участки земли принадлежат даже парижским буржуа.

Примерно так же обстоит дело в Сен-Дидье-сюр-Арру [92], что в Морване; впрочем, здесь картина менее ясная. Общая площадь земель, принадлежащих этой деревне (finage), равняется трем тысячам гектаров, в среднем на человека обычно приходится три-четыре гектара, следовательно, в Сен-Дидье должно проживать 750—1000 человек. В 1865 году

здесь в самом деле было 950 жителей, а сто лет спустя — всего 353. Это все в порядке вещей; удивительно другое: в начале нашего столетия здесь имелось около полусотни ремесленников. А это, пожалуй, многовато. Означает ли обилие мастеров, что перед нами — не деревня, а городок? Конечно, по долине Арру, глубоко врезающейся в толщу Морвана и пересекающей ее с севера на юг, пролегает трасса, имеющая большое значение, однако Сен-Дидье расположен между Отеном (он двадцатью километрами севернее) и Тулоном-сюр-Арру (он пятнадцатью километрами южнее): большой город (Отен) и крупный городок (Тулон) подавляют близлежащую деревню. Важно и то, что Сен-Дидье находится в скотоводческом районе, где постоянно устраиваются ярмарки скота; так вот, в Отене на протяжении одного только 1813 года таких ярмарок состоялось тринадцать, причем одна из них длилась целый месяц (начиная с 31 июля), в Тулоне-сюр-Арру в том же году их было восемь, а в Сен-Дидье, явно остававшемся в стороне от этих шумных торжищ, которые неизменно приносили местным жителям некоторые барыши, всего две. Конечно, и в Сен-Дидье возникла своеобразная ярмарка — ярмарка слуг, но произошло это сравнительно поздно — в 1874 году. Так что оснований считать Сен-Дидье городком у нас, пожалуй, нет; это была деревня, но деревня, стоявшая особняком, вследствие чего тамошним крестьянам приходилось самим заботиться об удовлетворении своих потребностей.

Неизбежность контактов с внешним миром. Впрочем, как бы ни старались жители любой деревни, одними собственными силами им не обойтись. Приходится продавать «излишки» на рынке или на ярмарке в соседнем городке, хотя бы для того, чтобы раздобыть денег на выплату повинностей сеньору, податей государству, а также «соляного налога», который при старом порядке резко вторгался извне в любое деревенское хозяйство, каким бы замкнутым оно ни было.

Чтобы «сколотить денег для уплаты податей», как сказано в одной записке XVIII века о скотоводстве в Лимузене [93], крестьяне в базарные дни относят и отвозят в соседний городок или город масло, овощи, яйца, птицу, шерсть, древесину, пригоняют скот... Отсюда — вереницы телег и пешеходов. В городках крестьяне делают покупки, булочник снабжает их хлебом, мясник — мясом, которым торгует в розницу; так, еще в XVIII столетии жители горного селения Морзин (в Альпах, на территории нынешнего департамента Верхняя Савойя) спускаются — и с каким трудом! — в Мартиньи, что в кантоне Вале, дабы посетить

мясника. В городке покупаются также пряности, ткани, инструменты, скобяной товар; здесь принимает клиентов ростовщик, обязанности которого, впрочем, нередко исполняют — во всяком случае, в XIX столетии,— деревенские богачи и кабатчики [94].

В деревнях, не производящих продуктов на продажу, подспорьем для крестьян в девяти случаях из десяти служил надомный труд по заказам городских предпринимателей. В XVIII веке эта форма сотрудничества распространяется повсеместно: крестьяне ткут, валяют сукно, или, как в деревне Сен-Жюльен-Молен-Молетт, что в Форезе, работают на мельницах, которые приводит в действие речушка Терне: здесь мелят муку и выжимают из семян растительное масло, дробят свинцовую руду и ткут шелк [95].

Другой источник дохода — перевозки. По окончании полевых работ крестьянин берется за извоз. В результате складываются постоянные маршруты и поразительные привычки; так, «возчики» из Рамберкур-о-Пэ, деревни в *королевском* Баре, сильно пострадавшей в начале первой мировой войны, но некогда процветавшей, о чем свидетельствует пышно разукрашенная местная церковь,— «возчики» эти с начала XVI века, если не ранее, регулярно добирались до Нидерландов и даже до Италии [96]. Сходным образом из Оржеле, древней крепости на плато Юра, где даже церковь выстроена так, чтобы при необходимости отразить нападение врага, крестьяне на телегах устремляются в самые разные уголки Франции. Жители Сьетà и Оссѐна, деревень в Верхних Пиренеях, специализируются на доставке молочных продуктов из долины Кампан в Тулузу и другие города. Погонщики волов из Салля, Белена, Сангинѐ привозят в Бордо свежую рыбу, выловленную в Аркашонском бассейне [97].

Специализация существует и в перевозках на небольшие расстояния. Так, в департаменте Нижний Коррез рассыльный, называемый tourtalhier, «один-два раза в неделю верхом на осле или *на колесах* отправляется в город за покупками для своих клиентов» [98]. А савойские крестьяне-комиссионеры (barlotiers) еще недавно собирали по соседям масло, сыры, птицу, телят, овец для продажи на рынке, работавшем раз в неделю в окрестном городке; отправляясь в обратный путь, они везли домой товары, заказанные их клиентами: мотки шерстяных ниток, выменянные на овечью шерсть, а также кофе, сахар, керосин... Поездки прекратились окончательно лишь совсем недавно, когда между горными деревнями установилось еженедельное автобусное сообщение [99].

Однако крестьяне рискуют лишиться своих транспортных средств: власти то и дело реквизируют лошадей и повозки, чаще всего для

снабжения войск. В этом случае никакие мольбы — даже ссылки на необходимость собирать урожай — не могут заставить начальство отменить приказ. В 1695 году одна тысяча четыреста телег привозят пшеницу и овес из Вердена в Эльзасскую армию [100]. Летом 1709 года Северная армия призывает крестьянский обоз в Ландреси — себе на помощь, а возничим на го́ре [101], ибо «дороги от беспрестанных дождей сделались весьма дурны. Немало лошадей полегло, прочие же выбились из сил и едва шли. Известно мне, однако, что вынудили их добраться до самого Валансьенна, из-за какого обстоятельства землепашцы эти по возвращении домой не будут уже в силах снова пуститься в путь». В Альпийской армии в 1744 году крестьян из Дофинэ и Прованса заставляли служить носильщиками [102].

Не стоит и говорить, что деревни, расположенные вблизи больших городов, легко отказываются от замкнутой жизни. Они специализируются на изготовлении молочных продуктов или выращивании овощей и фруктов. В XVIII столетии на парижских рынках с самого раннего утра появляются огородники из окрестных деревень со своими тележками. Крестьяне, живущие в пригородах, непременно разбивают сады: землю они вскапывают в основном лопатой и киркой, плуг (соха) употребляется только в больших поместьях. Другая прибыльная специализация — камень, которым богата, например, деревня Анделяр, близ Везуля [103]; в Эрмоне, который я уже упоминал, как и во многих деревнях, окружающих Париж, женщины охотно становились кормилицами и брали на воспитание столичных детей, однако эти несчастные создания нередко испускали дух вскоре после прибытия на новое место, так что их едва успевали окрестить.

Приходы долины Армансона — Аржантене, Лезин, Паси, Виро,— расположенные в десятке километров к юго-востоку от Тоннера и начиная с XVI века напрямую связанные с Парижем, поставляют столице садовников, кормилиц, служанок, виноторговцев, многие из которых оседают в столице и открывают там собственные кабачки. Крестины или свадьбы дают повод для встреч односельчан в Париже либо в деревнях близ Тоннера [104].

Люди трогаются с места. Да, люди то и дело переезжают из деревень в городки, из городков в города и обратно. Целые толпы находятся в беспрерывном движении. В Провансе ремесленники пускаются в путь, срываются с места, ударяются в бега чаще, чем крестьяне, мужчины — чаще, чем женщины, бедняки — чаще, чем богачи. Стран-

никам случается делать остановки в дороге, пускать корни на новом месте, вступать там в брак: так обновляется, освежается замкнутая система деревенской жизни. В маленькой деревеньке между Шампанью и Баром, где я провел детство и которую так часто вспоминаю, около 1914 года на две сотни жителей приходилось девять «ремесленников», причем четверо из них: столяр, кузнец, шорник и булочник — были люди пришлые, а пятеро: тележник, мельник, трактирщик и два бакалейщика принадлежали к числу местных уроженцев. Что же до собственно крестьянского населения, то оно обновлялось благодаря городским слугам: на моей памяти по крайней мере двое таких горожан завели семью в деревне.

Среди вечных «бродяг» — странствующие торговцы и ремесленники; в одной из деревень департамента Мез в 1914—1920 годах два мясника (само их наличие было старомодным роскошеством) обслуживали клиентов на главной площади, один в субботу, а другой в воскресенье утром — по правде говоря, только в эти дни в деревне и ели мясо. Выбирая кусок для своей скромной похлебки, покупатель или скорее покупательница отводили душу; они торговались, капризничали, удовлетворяли свое социальное тщеславие; ведь покупка мяса свидетельствовала о некотором достатке! Появлялись в деревне также продавец ранних овощей, точильщики, лудильщики, «молочники», забиравшие у крестьян молоко и яйца на продажу, и, наконец, «торговец» — словоохотливый, посвященный во все деревенские дела, интересующийся местными новостями; как правило, он скупал кроличьи шкурки, но не брезговал также — например, в начале века в Ревиньи-сюр-Орнен, (департамент Мез) — «железным ломом, старыми матрасами, старыми плитами и кастрюлями, сломанными каминными таганами и щипцами, дырявыми сковородками, погнутыми лопатами» [105].

Картина везде одинаковая, какой край ни возьми. В альпийской деревне Ноньер (массив Дива), как, впрочем, и во всех французских деревнях при Второй Империи, «ложки и вилки были луженые и быстро чернели. Время от времени *лудильный мастер* устраивался под навесом коммунальной печи со своим котелком, в котором плавилось олово, и, к восторгу местных мальчишек, потрясенных невиданной метаморфозой, приборы, погруженные в этот котелок, начинали сверкать как новенькие» [106]. В памяти одного моего друга, родившегося в самом начале нашего века и выросшего в морванской деревне, лудильщик запечатлелся как «некий громадный Вулкан, черный и заросший шерстью, словно гигантский медведь... Одет он был всегда в какое-то нелепое тряпье, штопаное, но все равно дырявое... не столько

от постоянной близости к огню, сколько от старости... Было известно, что он мало пьет, никогда не моется, расстается с одеждой, лишь когда она начинает рассыпаться от ветхости; воняло от него, как от козла, но все держали его за человека безукоризненно честного. «Увидишь,— говорил он, показывая мне очищенные вилки и ложки,— какие они станут красивые. Красивее серебряных» [107].

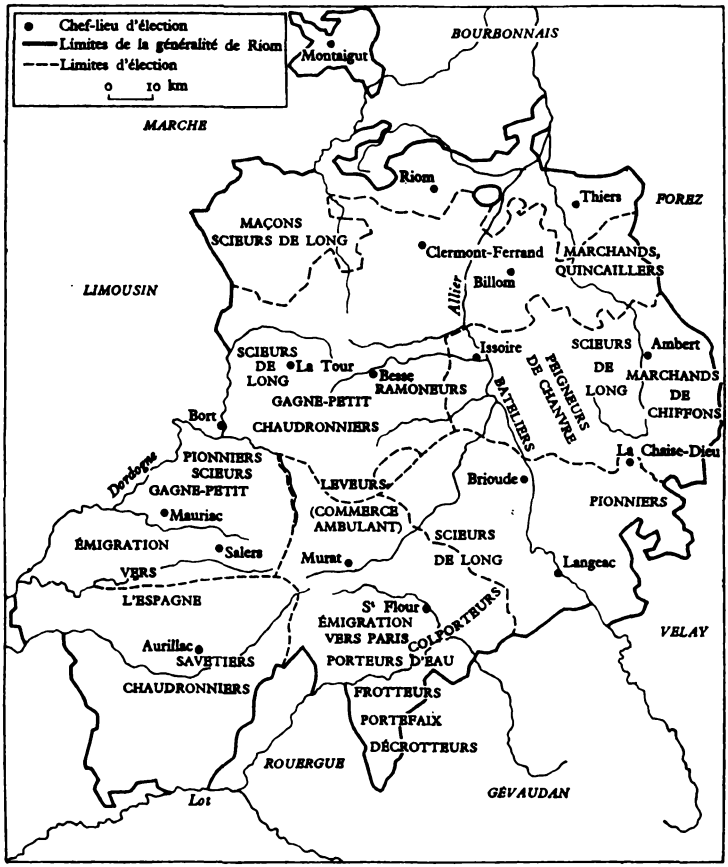
Во Франш-Конте в недавнем прошлом среди бродячих мастеров, пожалуй, чаще всего встречались *чесальщики* конопли (pignards). «Коноплю замачивали на лугу, затем трепали... затем мяли в мялках», приводимых в действие речной водой, и только после этого она попадала в руки чесальщиков, «горемык, как правило, родом из Савойи, которых деревенские встречали недоверчивыми взглядами и едкими насмешками. Работали они по трое; для маленькой деревни одной такой бригады было вполне достаточно... Платили им скудно; в 1812 году — пятнадцать сантимов за килограмм кудели, если чесальщики столовались у хозяина, и двадцать сантимов, если они кормились самостоятельно. За несколько дней весь деревенский урожай конопли превращался в кудель, и чесальщики, взвалив на плечи свои инструменты, отправлялись в соседнюю деревню» [108]. Бродили из края в край также ловцы кротов и змей [109]. Еще не так давно в Альпах, Пиренеях, Центральном массиве, да и в других краях оказывали свои скромные услуги разносчики, торговцы «на колесах». Кое-где их можно встретить и по сей день. Вот, например, картинка из сегодняшней жизни маленькой деревушки в «зеленом» Перигоре, иными словами, на юге Лимузена: «...каждое утро раздается длинный автомобильный гудок — это приехал молочник [человек, забирающий у крестьян молоко]. Потом поет рожок: значит, сегодня понедельник, на часах — четыре пополудни, и приехал бакалейщик. А охотничий рог? Он возвещает прибытие булочника по средам, в три часа дня...» [110]

Я не стану говорить подробно (ибо это отняло бы слишком много времени) о сезонных работниках, к услугам которых прибегают крестья-

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ В ОВЕРНИ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Воспроизводится по изд.: Poitrineau A. // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1962. IX.

Условные обозначения на карте: ● Центры фискальных округов. —— Границы Риомского интендантства. - - - - Границы фискальных округов.



Надписи на карте: Maçons — каменщики. Scieurs de long — пильщики строевого леса. Gagne-petit — уличные точильщики. Chaudronniers — котельщики. Ramoneurs — трубочисты. Pionniers — землекопы. Émigration vers l'Espagne — эмиграция в Испанию. Savetiers — сапожники, занимающиеся только починкой обуви. Commerce ambulant — бродячие торговцы. Leveurs — сборщики плодов. Emigration vers Paris — эмиграция в Париж. Porteurs d'eau — водоносы. Frotteurs — полотеры. Portefaix — носильщики. Décrotteurs — чистильщики сапог. Bateliers — лодочники. Peigneurs de chanvre — чесальщики конопли. Colporteurs — разносчики. Marchands quincaillers — торговцы скобяным товаром. Marchands de chiffons — тряпичники.

не во время сенокоса, жатвы, сбора винограда, зимней молотьбы. Жители Гапа (Верхние Альпы) в поисках работы спускаются на прованскальские равнины (следствием чего становится их раннее и прочное пристрастие к вину). В массиве Дива есть жнецы, которые, пользуясь тем, что на разной высоте урожай созревает в разное время, успевают повсюду: «Шагают ночь напролет, чтобы утром быть готовыми к новой работе», причем, проходя через затихшие деревни, где все уже спят, распевают громкие песни... [111] В Вири, деревушке на территории нынешней Верхней Савойи, еще в 1845 году, по описанию местного кюре, «шайки» поденщиков появлялись всякий год, как только подходил срок жатвы, причем каждую «шайку» возглавлял вожак, «которому все остальные доверяли свои серпы», а о прибытии их извещала издалека неотвязная песня, которую, раз услышав, невозможно было забыть. Кабатчики в эту пору «отворяли двери своих заведений с самого утра, как ни противно сие законам Церкви и государства». Какой соблазн для людей добродетельных! [112] А поденщики из числа тех, что жили в Центральном массиве, неизменно отправлялись в поисках работы к хлеборобам и виноградарям Лангедока, которые с нетерпением ожидали помощников. Что бы делал Оливье де Серр (1539—1619), сеньор Праделя (в Виварэ), без пришлых жнецов? «Господь, верховный хозяин,— пишет он,— позаботился о том, чтобы на наши теплые равнины спустились со своих хладных гор [то есть с гор Центрального массива] толпы людей, могущих сжать наш хлеб... Сии горемыки... не находят в родных краях работы, которая могла бы их прокормить нынче и позволить запасти денег на зиму...» [113] Наконец, последний пример: еще в начале XIX века морванские погонщики быков, дождавшись марта, пускались в путь вместе со своими упряжками и повозками и до ноября бродили по стране, предлагая желающим свои услуги. Справляемые еще и сейчас празднества позволяют нам представить, как «в синей блузе, деревянных башмаках и круглой шляпе» прощались эти погонщики с родной деревней, перед тем как отправиться в дорогу, и водили под аккомпанемент рылей традиционные хороводы [114].

Есть вещи и еще более удивительные: среди уроженцев Бриансоннэ (Верхние Альпы), покидающих насиженные места на время или навсегда, встречались учителя, «спускавшиеся вниз с пером — для письма — на шляпе» [115]. А цыгане — эти перекати-поле, эти бродяги, о которых все говорят, но которых мало кто видит! — я ведь еще не сказал о них ни слова.

Итак, ни одна деревня не живет совершенно замкнуто. В 1787—1788 годах один путешественник попадает в Нижнюю Овернь [116]. Около

Тьѐра рядом с обычными деревнями он замечает странные деревушки, «населенные разными ветвями одного рода». Браки здесь заключаются только между родственниками, крестьяне владеют всем добром сообща, живут по собственным законам, чтут обычаи предков. Их деревня — своеобразная республика, во главе которой стоит *хозяин*, избранный коммуной. Все граждане этой республики равны. Деревушка Пинон, основанная, как говорят, в XII веке, насчитывает четыре семьи, состоящие в общей сложности из девятнадцати человек. *Хозяин* занимается продажей, покупкой, сбором денег... Выбирают также *хозяйку*, командующую женщинами, причем она ни в коем случае не должна быть женой хозяина. Имущества крестьяне между собой не делят. В общей сложности у них имеется «три пары быков, три десятка коров и восемьдесят баранов». Белье, мебель, платье, обувь крестьяне изготовляют своими руками. Покупают они только две вещи: железо и соль. Таким образом, и в этой коммуне, являющей собой чудесный пример самодостаточности, мы не найдем полной автаркии: даже если бы пинонским крестьянам не приходилось платить налог на соль (gabelle) и прочие подати, они все равно вступали бы — пусть робко и неохотно — в сношения с внешним миром. Иначе откуда бы они взяли недостающие им соль и железо? [117]

II
ГОРОДОК: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В иерархии населенных пунктов между деревней и настоящим городом располагается городок (мы употребляем это слово в самом широком смысле, подразумевая под ним и крупную деревню, и маленький город). Для сельского общества городок нередко воплощает в себе весь внешний мир, являясь как средоточием административной и судебной власти, так и центром торговли... Через городок проходят, направляясь в самые отдаленные уголки страны, «мельчайшие вены и артерии большой коммерции»; впрочем, их «роль в оживлении торговли более чем пропорциональна скромному объему перевозимых товаров» [118].

Так повелось издавна; уже в X веке, как пишет Жорж Дюби [119], городки отличаются от примыкающих к ним деревень и деревушек: «Наименьшая единица юридического деления [в Маконнэ] — vicaria ⟨...⟩ В нее входит древний vicus [деревня или городок], расположенный, как правило, подле большой дороги и брода, а также около полутора

десятков деревушек, находящихся в радиусе одного лье; за полдня всякий крестьянин может добраться до городка, подать прошение или принять участие в судебном разбирательстве, а затем вернуться домой. Такой кантон представляет собою единицу географическую, демографическую и религиозную; территория его ограничена водоемами, лесными массивами, невозделанными холмами — всем, что преграждает крестьянину путь; археологические раскопки показывают, что люди издревле селились именно в центре кантона, а его святилище украшают древнейшие литургические тексты». Однако залог существования подобных кантонов — наличие в них одного или нескольких рынков, а также хождение среди крестьян денег (как ни скромна была в ту отдаленную пору их роль).

Городок: как он устроен. Всякий городок живет лишь благодаря тому, что его рынки, ярмарки, службы, площади приносят пользу окрестным деревням и деревушкам. Неразрывно связанный с деревнями и дополняющий их, городок «извлекает средства существования [и оправдывает само это существование], лишь вступая в многообразные сношения с окружающим миром, разрастается только благодаря этим сношениям. Как правило, он располагается на перекрестке, чаще всего при въезде в долину или при выезде из нее, всегда или почти всегда на границе двух краев с различной специализацией, жители которых обмениваются между собою плодами своего труда. Дело городка — служить местным рынком, общим „базаром“ для нескольких деревень. В промежутках между ярмарками или базарными днями этот мерцающий огонек почти угасает. Центр его — площадь, окруженная трактирами; в назначенные дни она оглашается гомоном заезжих клиентов, заполняется лавочниками, законниками» [120], кабатчиками, ростовщиками, мелкими заимодавцами, многоопытными барышниками...

В городке устраиваются также празднества и торжественные процессии. В мае 1583 года засуха в окрестностях городка Бар-сюр-Сен принимает столь угрожающий характер, что жители соседних деревень отправляются туда, дабы в течение трех дней молить небеса о дожде. Естественно, дело кончается беспорядками. «Скажу без утайки,— рассказывает очевидец,— что белые эти девы [то есть одетые в белые одежды], по большей части из служанок, к вечеру... напились допьяна и ночь напролет скитались в полях, предаваясь там блуду и всякому распутству...» [121] Точно так же частенько оканчивались и ярмарочные увеселения.

Городок, как правило, подчиняет своему владычеству все окрестные деревни, которые нуждаются в его услугах, но без которых он сам очень скоро бы зачах. Деревни эти обычно удалены от городка не больше чем на 5—10 километров, чтобы крестьянин успел за один день дойти туда *пешком*, доехать верхом или в повозке и, сделав все необходимое, вечером возвратиться домой. Первого Вентоза V года (1797) в только что созданном департаменте Луара производится подсчет жителей. В Сен-Семфорьене, маленьком центре кантона, проживает 1936 человек «в возрасте двенадцати лет и старше»; вокруг расположены четыре деревни: Но (462 жителя), Фурно (445 жителей), Вандранж (275 жителей), Сен-При-ла-Рош (323 жителя) [122]. Около 1850 года очень маленький альпийский городок Шатильон в краю О-Дива служит столицей для десяти коммун: Бонваль, Бульк, Шатильон, Крейе, Гландаж, Люла-Круа-От, Манглон, Равель-э-Феррье, Сен-Роман, Трешеню,— в которых проживает в общей сложности 6 600 крестьян. Скромный центральный городок имеет собственную почтовую контору и собственного податного инспектора, бригаду жандармов, мирового судью, нескольких нотариусов, врача; каждую неделю крестьяне съезжаются сюда на рынок, несколько раз в год тут устраиваются ярмарки; в день святого, покровительствующего городку, на улицах происходят многолюдные гулянья; в городке трудятся несколько лавочников и ремесленников, «не считая бакалейщиков, булочников и трактирщиков, мясников, тележника, бочара и портных...» [123] Дюрталь, что в Анжу, играет аналогичную роль по отношению к семи окрестным деревням. Количество людей, проживающих там *в наши дни* (1962), дает представление о величине кантона: в самом Дюртале 3102 жителя, в Барасѐ — 420, в Домрѐ — 1106, в Этришѐ — 887, в Юиллѐ — 526, в Монтинье — 397, в Морàнне — 1694, в Ле Рери — 810 [124].

Такова модель взаимоотношений между городком и зависящими от него деревнями, модель, воспроизводящаяся на всей территории Франции тысячи и тысячи раз. Городок не только обладает социальным и экономическим превосходством над деревнями, но и дает приют блюстителям общественного порядка: до революции здесь размещались прево * и подразделения жандармерии, находившиеся, впрочем, в состоянии беспрерывной реорганизации. В городах вся эта система усложнялась и утяжелялась: законников, адвокатов, прокуроров и прочих крючкотворов было здесь куда больше, чем требовалось. Напротив,

* Прево — во Франции в XI—XVIII вв. королевский чиновник, обладавший судебной, фискальной и военной властью в подведомственной ему местности (с XV в.— только судебной). *(Ред.)*

в деревнях роль современного мирового суда играл суд сеньора. Часто эти различные судебные инстанции сталкивались в пределах одного и того же кантона, что порождало немало недоразумений.

С течением времени у каждого городка образовывалась собственная зона влияния. Возьмем для примера Танн, центр сеньории в эльзасских Вогезах; в средние века он умножает число зависящих от него деревень. В 1344 году в его юрисдикцию попадают деревни Вье-Танн, Эрбенайм, Аспак-ле-Ба и Аспак-ле-О; в 1361 году — Родерен, Раммерсмат, Отценвиллер, Лаймбах; в 1497 году жители Танна узаконили свое право пасти стада в Серне, Штайнбахе, Виттельшайме, Лютербахе, Рененге, Швайгузе, Эрнвиллере, Михельбахе, Бичвиллере, а в дальнейшем расширили свои владения за счет деревень Бефор, Лаов, Сентайм, Гевенайм, Севен; походя Танн устранил двух потенциальных соперников — деревни Сент-Амарен и Данмари. Все эти успехи стали возможны лишь благодаря неуклонному росту и процветанию городка, где то и дело появлялись новые здания: коллегиальная церковь и больница в 1518 году, рынок в 1519 году, ратуша около 1550 года, и где царила вызывающая роскошь — например, устраивались соревнования по стрельбе из аркебузы, причем победителям вручались богатейшие призы [125]. Нельзя ли в таком случае сказать, что Танн превратился из городка в город? Ни для кого не секрет, что граница между этими двумя понятиями подчас весьма зыбка, и даже документы не всегда проливают свет на эту проблему. Ведь в них городками именуются Фекан и Эльбеф [126]. И даже Роанн [127].

Впрочем, обычно какого-нибудь текста, намека, детали оказывается достаточно, чтобы опознать в том или ином населенном пункте не город, а городок. Вспомним Мелан, расположенный подле моста через Сену ниже Парижа, или Гре, выстроенный на Соне, недалеко от того места, где она становится по-настоящему судоходной, или Оре, живописный населенный пункт в трех десятках километров от Лорьяна, бывший некогда столицей «королевского сенешальства, обнимающего девятнадцать приходов», и до сих пор сохраняющий свой старинный облик, или Бар-сюр-Об, о котором в официальном письме (от 6 марта 1720 года) [128] читаем: «Хотя город сей сам по себе весьма незначителен, однако... пребывает он центром одного из обширнейших краев Шампани, и все окрестные землепашцы привозят сюда на продажу зерно и другие товары»,— что, конечно, прекрасно, но вне всякого сомнения весьма далеко от прежнего великолепия шампанских ярмарок, которые не миновали и Бар-сюр-Об. Вспомним также Сент-Африк (ныне входящий в департамент Аверон) и десяток окружающих его коммун, где в XVIII

веке, несмотря на отъезд многих протестантских купцов и работников, продолжали валять грубое сукно.

Быть может, чтобы определить, городок перед нами или нет, достаточно выяснить, проживает ли там врач или нотариус, имеется ли там рынок, куда съезжаются окрестные земледельцы, и происходят ли там ярмарки? В Ружмоне (департамент Юра) еще в начале нашего столетия базарный день был целым событием. С самого раннего утра торговцы в фургонах прибывали в городок и устанавливали свои лотки на главной площади рядом с лотками колбасников (единственных местных торговцев, которые выставляли свой товар под открытым небом), а тем временем в городок стягивались «пестрые вереницы карет, тильбюри, повозок и телег, а также пешие женщины с тяжелыми кошелками в руках». Крестьянки «в черных платьях... и белых чепцах либо шляпах усаживались под липами и предлагали на продажу яйца, масло, цыплят, кроликов, овощи...» На столах, покрытых синими, красными, зелеными скатертями, и в лавочках на площади к услугам покупателей имелось все что душе угодно: вилы, грабли, косы, кухонная утварь, посуда, ткани, белье, конфеты и пряники, сосиски и окорока... В дни ярмарок здесь же сновали торговцы лекарствами, костоправ и зубодер [129].

Рынок, пожалуй, и сегодня — главный атрибут городка, население которого, однако, нынче выросло и доходит до десяти, а то и до двадцати тысяч жителей [130] (в средние века столько народу проживало в большом городе). Возьмем, например, Апт с его 11 612 жителями. Расположенный между двумя городами: Кавайоном (где проживает 21 530 человек и до которого 31 километр) и Карпантра (где 25 463 жителя и до которого 48 километров), Апт играет по отношению к окружающим его деревням ту самую роль, какую играли городки в прошлом. Выехав в субботу утром из большой деревни Пейран и прибыв в Апт, вы попадете на рынок, существующий в этом городке больше четырех столетий: «Все площади заняты лотками. Улицы и лавки полны народа, так что кажется, будто в городок набились жители всех без исключения окрестных деревень... Приемные врачей забиты до отказа... аптекари гребут деньги лопатой. Чтобы купить лекарство, приходится выстоять очередь из пятнадцати — двадцати человек... У адвокатов тоже полно народу. Нотариусы встречаются с клиентами в кафе, куда частенько заходят также мэр и его помощники. У каждого кафе — свой круг завсегдатаев, неизменно назначающих здесь свидания...» Там и сям на площадях «крестьяне продают зайцев, певчих дроздов, лавандовую эссенцию и лавандовый мед, пчелиный воск» или трюфели, а также фрукты и овощи. Сомнений

быть не может: не покидая дня сегодняшнего, мы совершаем путешествие в день вчерашний [131].

Гондрекур (департамент Мез) и окружающие его деревни в 1790 году: социально-профессиональная структура. Чтобы перейти от устройства городка вообще к жизни конкретного городка во всех ее подробностях, я искал пример, подкрепленный достаточным числом документов. Сначала я думал обратиться к блистательному исследованию Р. Шапюи, посвященному удивительной долине От-Лу, которая тянется между Безансоном и Понтарлье среди горных гряд Юра; в центре этой долины расположен красивый маленький городок Орнан. Однако виноградарство, промышленность, контрабандная торговля — в частности, торговля солью,— тесные контакты с соседними краями (в XIX веке орнанцы устраивали ярмарки двадцать четыре раза в год, в первый и третий вторники каждого месяца) — все это превращает долину Лу в случай нетипичный, исключительный, и мы поговорим о ней позже. Привлекал меня и городок Осонн, крепость на берегу Соны, центр крохотного края, который, приютившись между герцогством и графством Бургундскими, долгое время хранил независимость от обоих, упорно отстаивал свои привилегии — по крайней мере от королевских сборщиков податей — и в борьбе за право эти подати не платить ссылался среди прочего на «бесплодность» своей территории [132]. Однако и этот случай чересчур исключителен. Думал я также о крае Жекс, но у тамошних жителей слишком много недвижимости, и это усложняет картину. Одним словом, в конце концов я остановился на примере менее блестящем, более тривиальном, но, благодаря этому, более типичном; я выбрал Гондрекур в департаменте Мез — центр кантона, образованного в 1790 году и объединившего целый ряд маленьких краев с нечеткими границами, но четко выраженной тягой к автономии: Орнуа, Блуа (или Блезуа), Вуад, Во, Валлаж, Бассиньи...

Расположенный на юге департамента Мез, Гондрекур — центр одного из самых бедных его кантонов. Это — область плато (самая высокая точка департамента, Бюиссон д'Аманти, поднимается над уровнем моря на 423 метра). Здесь довольно холодно: в конце XVIII века виноград выращивали только в Уделенкуре, Сен-Жуаре и Треверé (в 16 километрах от Гондрекура), всерьез же виноградарством занимаются лишь по другую сторону северной границы кантона, на спуске в долину Орнена, где климат более мягкий. Например, в Линьи (220 метров над уровнем моря) и в Бар-ле-Дюке (184 метра).

Этот обыкновенный, ничем не примечательный кантон расположен на стыке двух известняковых плато разной структуры: плато Мез (или, если хотите, Мезских холмов) на востоке и плато Барруа (или, если угодно, Барской возвышенности) на севере и на западе. Плато эти, прилегающие одно к другому неполностью, разделены глинистыми или мергелевыми впадинами: в них-то и выстроены деревни, включая Гондрекур, ибо именно во впадинах вода, просачивающаяся в толщу известняковых пород, выступает на поверхность, образуя родники, колодцы, ручьи и реки. Перед с умом устроенной запрудой ручей широко разливается и может приводить в движение мельничное колесо — как, например, в Люмевиле-ан-Орнуа, где мельница существовала уже в 1261 году [133].

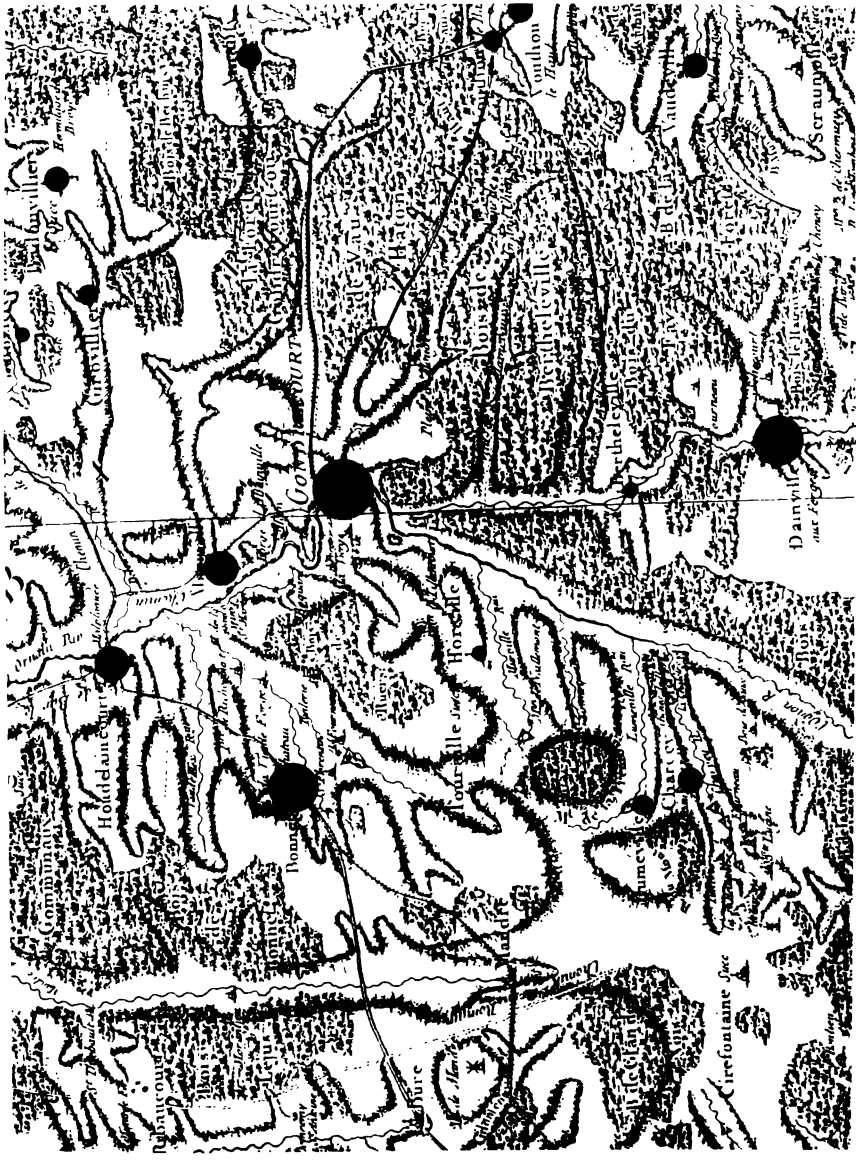
Известняковые плато изрезаны бесчисленными карьерами, поэтому в здешних краях так много каменных домов, поражающих взор всякого, кто попадает сюда из соседней влажной Шампани, где в начале XVIII столетия дома строились только из дерева и глины, а крыли их соломой и тростником [134].

Почти везде в окрестностях Гондрекура известняковые породы образуют небольшие холмы, свидетельствующие о том, каким был рельеф много столетий назад. Вершины их поросли буками, грабами, каменными дубами, однако настоящего подлеска здесь нет, вдобавок на западе леса эти куда менее густы, чем на востоке (на плато Мез, плавно поднимающемся по направлению к реке, лес такой густой, что там еще и сегодня можно заблудиться). Между лесами и низменностями тянутся голые каменистые склоны; крестьяне нередко распахивают их плугом, который тянут четыре, шесть, а иной раз и десять лошадей. При этом на поверхность выбрасывается столько камней, что земля из черной превращается в белую; ее расчищают, но без толку: в следующий раз камней обнаруживается ничуть не меньше. Итак, если луга находятся обычно на той же высоте, что и деревня, то пшеницу сеют на склонах холмов, возвышающихся над домами. Во время жатвы четырехколесные телеги, ломящиеся от тяжести снопов пшеницы или овса, с оглушительным грохотом катятся вниз, в деревню, и возница, изо всех сил натягивая поводья, едва сдерживает коренника.

Почвы в этих местах не особенно богаты. В сотне гектаров пахотные земли занимают не больше половины (причем повсюду царит трехполье), десятая часть приходится на залежи, треть — на леса, остальное — на луга и сады. Начиная с 1730 года истинным спасением края стала картошка, прижившаяся здесь, как и в соседней Лотарингии, очень рано.

ГОНДРЕКУРСКИЙ КАНТОН И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Карта Кассини (конец XVIII века); величина кружков пропорциональна числу жителей в деревнях.

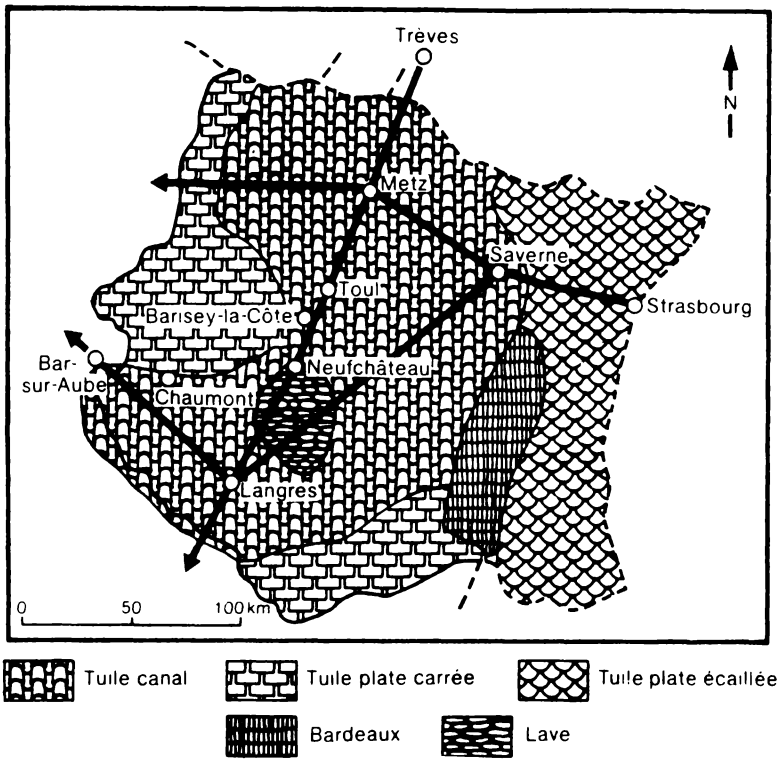

Houdelaincourt
Charcey
Cirefontaine
Dainville
Berthelevillе
Horville
Haton
Voulton
Seraumont
Bonnet
Lejus
Robaucourt
Bure

В целом жизнь в кантоне, конечно, нелегкая, но сносная. В 1796 году здесь проживало 6903 человека, в 1803-м — 8263, а в 1851 году население достигло 11 668 человек; позже численность его пошла на спад. Перепись 1796 года [135] (из которой следует среди прочего, что 253 человека были мобилизованы в армию, причем 133 из них уже погибли) дает представление и о составе населения (мужчин 1605, женщин 1629, мальчиков 1589, девочек 1515), и о поголовье скота (быков, коров и телят 3680, лошадей, в том числе беспородных кобыл, 1633, овец 7181, коз 625, свиней 939, ослы и мулы отсутствуют).

Итак, скотоводство здесь развито мало: лошади и быки низкорослые, на коровах пашут, овцы некрупные, но «добрые» (по всей вероятности, у них вкусное мясо), свиней покупают на ярмарках. По моим подсчетам, производство хлеба доходило тут в среднем до 3 центнеров на душу.

В кантоне, как и повсюду в департаменте Мез, имеется своя металлургическая промышленность, а следовательно, свои рудники, свои доменные печи (в XVIII веке высота их достигала шести-семи метров), свои кузницы и мельницы для дробления породы. Однако металл здесь производится не постоянно, поскольку для непрерывной работы доменных печей потребовалось бы слишком много топлива. Кроме того, летом свободных рук становится меньше, а реки, приводящие в движение мельницы, пересыхают, если же попытаться удержать воду в водоемах, она может выйти из берегов и затопить поля. В железной руде, «рудном камне», поблизости от Гондрекура недостатка нет, а леса — в котором черная металлургия нуждается крайне остро, ибо для производства ста килограммов железа необходимы сто кубометров дров,— к счастью, даже больше чем достаточно (проблема заключается в его транспортировке). Рубят лес на плато Барруа (на западе), а еще чаще на востоке, на тех плато, что поднимаются к Маасу (Мезу): в центре этого лесного края находится Вутон-О — деревня, славящаяся опытными лесорубами. Доменные печи и кузни, нуждающиеся в услугах мельников, располагаются в разделяющем два плато ущелье, на берегах Орнена и двух его небольших притоков.

В целом перед нами край, схожий с Лотарингией как обилием лесов, так и говорами и обычаями; в Лотарингии люди живут в тех же просторных и прочных домах, к которым пристроены амбары и конюшни; за каждым домом разбит небольшой садик, а перед ним проходит широкая улица, обе стороны которой заставлены телегами, плугами, боронами; здесь же, на улице, куда выходят широкие двери сараев, громоздятся кучи навоза. Крыши крыты круглой черепицей, которую



ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ РИМЛЯН ПО ЛОТАРИНГИИ
И ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Источник: Pitte J.-R. Op. cit.

Условные обозначения на карте: Первая колонка: Желобчатая черепица. *Вторая колонка:* Плоская квадратная черепица. Дранка. *Третья колонка:* Плоская чешуйчатая черепица. Лава.

называют римской, хотя нынче уже никто не думает, что она в самом деле получена в наследство от римлян.

В 1803 году Гондрекур насчитывал 1139 жителей, в 1852 году их стало 1692. Круг деревень, связанных с ним разнообразными хозяйственными и административными узами, ограничен наличием в округе других, более развитых городков: на северо-западе это Линьи-ан-Барруа (2800 жителей в 1803 году, 3234 — в 1852-м), на севере — Вуа, который по числу жителей почти не отличается от Гондрекура и был

некогда мелким портом и торговым центром на берегу Мааса; Вокулер, также стоящий на берегу Мааса и по величине близкий к Линьи-ан-Барруа; и наконец Нефшато (3380 жителей около 1788 года), также расположенный на берегу Мааса; наличие всех этих городов-соперников приводит к тому, что долина Мааса совершенно выпадает из сферы влияния Гондрекура, не простирающейся дальше — да и на том спасибо! — деревень Вутон-О и Ле Руаз.

На западе и на юге от Гондрекура находятся Монтье (1257 жителей в 1803 году), стоящий на берегу речушки Со, которую горы обступают еще теснее, чем Орнен; Жуанвиль, стоящий на берегу Марны (2210 жителей в 1788 году), и, наконец, Андело, выстроенный на берегу Роньона, притока Марны, который мы упоминаем лишь потому, что одна часть Гондрекурского кантона находилась накануне революции в ведении прево из Андело, а другая — в ведении бальи * из Шомона...

Кантон, столицей которого является Гондрекур,— это и самый обширный из кантонов департамента Мез (его площадь 341 квадратный километр) и — в начале XIX века — самый редконаселенный (24 человека на квадратный километр). В соседних кантонах: Вуа площадью 274 квадратных километра и Монтье-сюр-Со площадью 199 квадратных километров — плотность населения соответственно 37 и 29 человек на квадратный километр. Таким образом подтверждается правило, гласящее, что чем меньше народа проживает в пределах системы городок — деревни, тем больше ее диаметр. Без сомнения, именно большая площадь кантона объясняет существование рынков в деревнях — таких, как Бонне́, Треверé и Деманж-оз-О, которые, насколько мне известно, служат дополнением к ярмаркам, проходящим четыре раза в год в Гондрекуре.

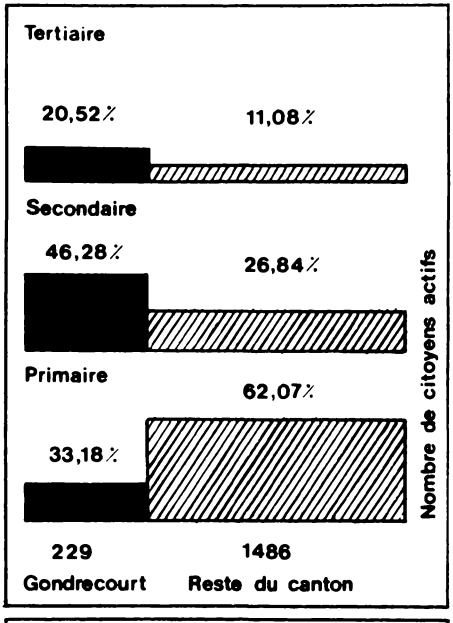
Самый яркий показатель способности городка вдыхать жизнь в целую сельскую зону — это, разумеется, соотношение его населения с населением всего кантона. Если принять первое число за единицу, то второе в 1803 году колебалось от 1,37 (в кантоне, прилегающем к городку Бар-ле-Дюк) до 11,47 — в кантоне, окружающем Данвиллер. В этой иерархии кантон, окружающий Гондрекур (6,95), отстает не только от Данвиллера, но и от кантонов, в центре которых стоят такие городки, как Виньоль-лез-Аттоншатель (11), Ден-сюр-Мез (9,44), Суйи (8,34), Вуа (8,32), Монфокон-ан-Аргонн (7,8). Хотя все эти цифры нуждаются в комментариях (деление на кантоны удобно, но далеко от совершенст-

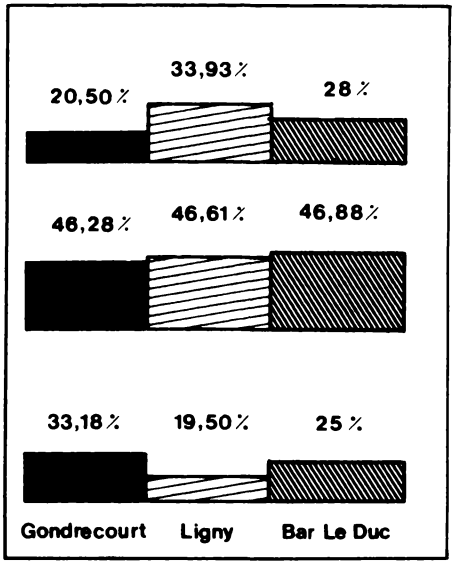
* Бальи — королевский чиновник, глава судебно-административного округа в северной части Франции в средние века. *(Ред.)*

ва), они достаточно красноречивы: их малая величина указывает на тесную связь и четкое распределение обязанностей между центром и периферией и подтверждает, что перед нами — города, чья сфера влияния выходит за пределы того или иного кантона. Так обстоит дело в Бар-ле-Дюке (1,3), Вердене (1,45) и даже в Сен-Мийеле (2,75). Напротив, если эти цифры достаточно велики, это означает, что населенные пункты, о которых идет речь, лишь кажутся городками, а на самом деле являются просто-напросто большими деревнями, живущими обычной крестьянской жизнью, как, например, Данвиллер или Виньоль-лез-Аттоншатель.

В конечном счете Гондрекур со своим коэффициентом 6,95 выглядит не хуже других, что подтверждается и социально-профессиональным составом населения самого этого городка и окружающих его деревень. Почти исчерпывающую информацию на этот счет дают списки дееспособных граждан, составленные в мае 1790 года различными муниципалитетами (или, как они себя иногда называли, «общинами») по приказу Учредительного собрания [136]. В эти списки включены все мужчины старше двадцати пяти лет, знающие какое-либо ремесло, хотя в принципе к активным гражданам, иначе говоря, низовым избирателям, причислять следовало лишь тех, кто в качестве собственников или арендаторов платили налог, равный цене трех рабочих дней, то есть приблизительно трем ливрам. Хотя сумма эта очень мала, некоторые муниципалитеты, кажется, не принимали во внимание и ее, ибо в гондрекурский список вошли даже нищие и — еще того хуже — несколько вдов. В общем и целом картина получается совершенно ясная: согласно спискам, на 8 263 жителя кантона (по данным на 1803 год) в 1790 году приходилось 1715 активных граждан, иначе говоря, 20,7 процента населения — цифра, близкая к той, какою обычно выражается пропорция между крестьянскими дворами, или хозяйствами, и всеми жителями того или иного населенного пункта; две эти величины чаще всего относятся одна к другой как единица к четырем или пяти.

Списки дееспособных граждан содержат массу любопытных сведений. Из них явствует, например, что во всем кантоне был один-единственный булочник, проживавший, само собой разумеется, в Гондрекуре. Следовательно, крестьяне сами пекли себе хлеб; после 1789 года в каждом хозяйстве еще имелась — или могла иметься — собственная печь, а квашня или даже кадка, в которой квасят и месят тесто, была самым заурядным предметом обихода. Другой примечательный факт — отсутствие мясников повсюду, даже в Гондрекуре; исключение составляла лишь большая и расположенная *на проходе* деревня Моваж; мясом





НАСЕЛЕНИЕ ГОНДРЕКУРА И ОКРУЖАЮЩЕГО ЕГО КАНТОНА

Распределение активных граждан по секторам: первичному, вторичному и третичному.

Сверху:

Соотношение первичного, вторичного и третичного секторов в Гондрекуре и окружающих его деревнях (рассмотренных как единое целое).

Условные обозначения: Черный цвет — Гондрекур; *штриховка* — остальное население кантона.

Верхняя диаграмма — третичный сектор. *Средняя диаграмма* — вторичный сектор. *Нижняя диаграмма* — первичный сектор. *Последняя строка цифр* — число активных граждан.

Снизу:

Соотношение первичного, вторичного и третичного секторов в Гондрекуре, Линьи-ан-Барруа и Бар-ле-Дюке.

Условные обозначения: Черный цвет — Гондрекур. *Светлая штриховка* — Линьи. *Темная штриховка* — Бар-ле-Дюк.

в розницу постоянно торговали только в городках Линьи-ан-Барруа и в Бар-ле-Дюке (в Линьи проживало пять мясников, в Бар-ле-Дюке — четырнадцать). Кабатчики и трактирщики (я причисляю их к одной категории) также были немногочисленны: в общей сложности их в списке значится восемнадцать, причем лишь в семи населенных пунктах из двадцати четырех, в том числе два трактирщика в Гондрекуре, один трактирщик и два кабатчика — в Бонне́, три кабатчика — в Денвиль-о-Фо̀рже, один трактирщик и три кабатчика — в Деманж-оз-О, три кабатчика в Розьер-ан-Блуа... Судя по карте, приведенной нами на с. 140—141, кабатчики открывали свои заведения лишь в отдаленных деревнях. Итак, в избранном нами для рассмотрения кантоне алкоголь и вино еще не употреблялись открыто, а мясо еще не стало более или менее постоянной пищей. Вдобавок в кантоне не было ни одного бакалейщика.

И ни одного врача. Четырех врачей (из них двое — хирурги) можно было найти в Линьи и целых семерых (в том числе четырех хирургов) — в Баре. Наш же кантон располагал только цирюльниками, сведущими отчасти и в хирургии, да и тех было немного: в общей сложности семеро, из них двое в Гондрекуре, двое в Моваже, один в Шарсе (ныне Шассе), один в Бонне́, один в Вутон-О. Зато (хотя списки, естественно, об этом умалчивают) повсюду имелись повивальные бабки, испокон веков значащиеся в актах гражданского состояния.

Что касается школьных учителей, или *ректоров* (recteurs d'école), то тут картина более обнадеживающая: на двадцать четыре населенных пункта их приходилось одиннадцать. Да и это еще не все, ибо, вероятнее всего, духовенство также занималось образованием. Ведь в здешних краях грамотность была распространена с давнего времени: из брачного свидетельства мы знаем, что школьный учитель в такой безвестной деревне, как Люмевиль, имелся уже в 1689 году [137]. А в XVIII веке мужчины в отличие от женщин, как правило неграмотных, уже почти всегда умели написать свою фамилию; об этом свидетельствуют акты гражданского состояния, где свидетели (прежде всего крестные отцы и матери) должны были ставить свою подпись [137].

Обозначены в наших списках и «буржуа», именуемые рантье (но насколько, собственно говоря, были они состоятельны?): в общей сложности их одиннадцать, причем пятеро — в Гондрекуре. Упомянем также пятерых кавалеров ордена Святого Людовика, из которых в Гондрекуре проживали четверо.

Постоянно присутствует в списках разделение на *хлебопашцев* (зажиточных крестьян) и *работников*, или, как сказали бы в других местах,

«батраков», которые, впрочем, иногда владели клочками земли: на 1715 активных граждан кантона приходился 491 хлебопашец и 478 работников. Тот факт, что обе цифры примерно равны, свидетельствует, на мой взгляд, о скромном достатке зажиточных крестьян (в окрестностях Меца [138] на одного землепашца приходится два работника). Впрочем, как ни мало социальное неравенство, оно все-таки существует. Деревенское общество устроено не менее несправедливо, чем городское. В деревне также всегда имеются свои «толстосумы».

Можно взглянуть на деревенское общество и с другой точки зрения: для этого необходимо оценить соотношение трех секторов, именуемых первичным (прежде всего земледельцы), вторичным (ремесленники) и третичным (к нему я причисляю всех, кто не занимается физическим трудом: адвокатов, купцов, учителей, священников, рантье).

В Гондрекуре в первичном секторе было занято 33,18 процента населения (следовательно, в городке бурно развивалось сельское хозяйство), во вторичном секторе — 46,28 процента, в третичном — 20,52 процента. Эти цифры выглядят особенно красноречиво на фоне подсчетов, сделанных для окружающих Гондрекур деревень (для простоты мы не рассматриваем каждую деревню в отдельности и приводим средние данные): первичный сектор — 62,07 процента, вторичный — 26,84 процента, третичный — 11,08 процента. Да и эта последняя цифра, пожалуй, завышена, ибо я отнес к третичному сектору все сомнительные случаи. Главный итог заключается вот в чем: в сельском хозяйстве центр кантона играл сравнительно с деревнями роль достаточно скромную; напротив, во вторичном и третичном секторах городок первенствовал. Отсюда следует, что уже сама организация пространства создает иерархию и неравенство. Маркс видел в противоречии между городом и деревней самое древнее проявление борьбы классов — мысль бесспорно гениальная.

Если перейти от городков к городам, маленьким и большим, указанная асимметрия лишь усиливается. Для сравнения я поместил рядом с графиком, посвященным Гондрекуру, соответствующие цифры для Линьи-ан-Барруа и Бар-ле-Дюка; в Линьи население распределялось по трем секторам таким образом: 19,44 процента, 46,61 процента, 33,93 процента; в Бар-ле-Дюке так: 25,06 процента, 46,88 процента, 28,05 процента. Поначалу тот факт, что в Бар-ле-Дюке сельский сектор развит сильнее, чем в Линьи, вызывает удивление. Все дело в том, что в Баре проживало 343 виноградаря, которые, по всей вероятности, трудились на окружающих город склонах, нынче превратившихся в залежи.

В целом более всего поражает меня активность ремесленников, большой процент людей, чья деятельность была призвана удовлетворять местные нужды. В Гондрекуре, Линьи или Баре едва ли не половина жителей принадлежала к числу ремесленников. А в деревнях — что еще более удивительно — ремесленником был каждый четвертый (вероятно, не переставая при этом обрабатывать свой клочок земли). Поражает меня число сапожников, тележников, каменщиков, каменотесов, волочильщиков, ткачей, возчиков, лесорубов, гвоздарей, шорников (varcolier) [139], «конных» и даже «пеших» почтарей...

Вышло так, что я пока еще ничего не сказал об истории Гондрекура, впрочем, плохо изученной и мало связанной с моей темой. Маленький городок, с виду напоминающий деревню, извлекал выгоды из своего расположения на перекрестке дорог (Базель — Реймс, Шомон — Верден). Он был окружен укреплениями, но это не помешало ему дважды — в XIV и XV столетиях — попасть в руки врагов, которые оба раза сожгли его дотла. К своему несчастью, Гондрекур располагался в опасной зоне: рядом пролегали границы Шампани (с 1285 года сделавшиеся границами Французского королевства), герцогства Бар (королю Франции принадлежала — с 1302 года — лишь часть этого герцогства, именуемая *королевским* Баром) и герцогства Лотарингского. Следовательно, на Гондрекур и на право взимать с него подати претендовали сразу несколько хозяев. Самыми грозными были французские сборщики податей, обосновавшиеся в Лангре. Однако из этой путаницы можно было извлечь и некоторую выгоду: например, в Гондрекуре уважали шампанское обычное право, согласно которому сын простолюдина и дворянки мог требовать у герцога Барского дворянскую грамоту и, представив соответствующие доказательства, получить ее, даже не отдав взамен треть состояния, унаследованного от отца-простолюдина (законы Бара предписывали отдавать эту треть, но для земель вокруг Гондрекура делалось исключение) [140].

Гондрекур — крепость, утратившая былое значение,— состоял из двух частей: наглухо закрытого верхнего города с его стенами и башнями, и более оживленного нижнего города, где жили торговцы; нижний город лучше снабжался водой; каждую пятницу крестьяне съезжались сюда на рынок, и здесь же устраивались ярмарки, приносившие Гондрекуру немалую выгоду; вдобавок здешним жителям было куда легче отводить скот на пастбище, чем обитателям верхнего города, которых стражники, несшие караул у городских ворот, подвергали строгому досмотру. Гондрекур нельзя назвать крепостью, занимавшей ключевое положение, скорее то был сторожевой пост, выстроенный в виду лесов,

где мог притаиться любой противник. В 1635 году [141], когда Ришелье начал борьбу против австрийского дома, герцог Ангулемский, командовавший французской армией, которая защищала *королевский* Бар, поспешил разместить в Гондрекуре маленький отряд: он знал, что «никому не миновать этого места». Когда же Людовик XIV, дабы упростить охрану границ, приказал разрушить гондрекурские укрепления (от которых сегодня не осталось ничего, кроме «островерхой башни» [142] и звучного названия Замок Гондрекур), это уменьшило военное значение городка, но ничуть не ослабило его связей с окрестными деревнями, не умалило хозяйственной активности его жителей. Сохранился документ [143], удостоверяющий, что гондрекурский прево — представитель низшей судебной власти — вершил суд в двадцати девяти деревнях. А в ведении гондрекурского настоятеля (подчинявшегося архинастоятелю, проживавшему в Линьи, выше которого стоял епископ Тýля) находилось двадцать пять приходов [144]. О далеком прошлом города напоминает церковь (романская и готическая), где покоятся несколько знаменитостей, в том числе храбрый воин, сражавшийся под командой Франциска I и участвовавший в битве при Павии (1525) и осаде Неаполя (1528); упомянем также дом Рекколле, куда в 1790 году вселились муниципальные власти и администрация округа (Гондрекур некоторое, очень недолгое время был столицей округа)... Однако все эти достопримечательности — включая бездействующий лепрозорий, больницу и фабрику, с самого начала XVIII века производившую превосходную саржу,— не отменяют того неоспоримого факта, что Гондрекур — городок весьма незначительный, выделяющийся (не слишком резко) лишь на фоне бедных окрестностей, в которые он, можно сказать, вдыхает жизнь.

III
ГОРОД: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Последний этаж образуют города. Не стоит думать, что они-то сразу проясняют дело, что верхний уровень системы проливает свет и на систему в целом. Действительно, ведь сколько городов — столько и различных городских организмов, несхожих по своей сути и функциям. А самые мелкие города, которых столь много, и вовсе едва отличаются от городков: они точно так же всецело поглощены сельским хозяйством, которое вплоть до промышленного переворота и даже значительно позже оставалось безусловно преобладающим занятием в жизни людей.

Прежде чем строить эффективную типологию городских систем, следует решить предварительную задачу — отличить город от того, что городом не является. Для французов «великого века», начиная с Фюретьера, выпустившего свой «Словарь» в 1690 году, дело обстояло просто: город вправе именоваться городом лишь тогда, когда он огорожен стеной. Стена превращает его в обособленный мир, непохожий на открытую местность. Это знак независимости города, свидетельство его самотождественности. Но ведь встречались самые настоящие города без стены и, наоборот, такие населенные пункты, которые хоть и были обнесены стеной, но вряд ли могут считаться городами. Подобный критерий вызывал сомнение уже у путешественника, проезжавшего в 1672 году через маленький бургундский город Нюи, в скором будущем прославившийся своими винами. «Нюи,— пишет он,— может именоваться городом, поскольку имеются в нем городская стена, ров, подъемный мост, а суд в нем вершит бальи; в остальном же только и есть здесь что одна большая красивая улица, да и та населена сплошь бочарами, ибо в окрестностях города изготавливается большое количество вин» [145]. Вообще этот городишко только в XIX веке перевалил за 2 000 жителей, и в ту эпоху, как сообщается в «Статистическом справочнике департамента Кот-д'Ор», он имел всего лишь «400 метров в окружности»! [146]

С другой стороны, насчитывалось немало деревень, огороженных стеной,— никому и в голову не пришло бы счесть их городами: таковы, например, в окрестностях Нарбонна деревни или же городки Кане, Сен-Назер, Сен-Валье (в последнем стена была даже двойной, а перед нею тянулся широкий ров — cava magna), а равно и Жинеста (тоже близ Нарбонна), чьи старинные оборонительные рвы в конце концов были приспособлены для прозаического конского водопоя [147]. Не приходится спорить и о Рувре́, известном своим знаменитым дубовым лесом,— фактически это просто деревня, хотя вплоть до XVI века она была опоясана крепостной стеной и рвами [148].

Что же касается статистиков, то они выходят из положения, различая города и негородские населенные пункты по численности *компактно проживающего* населения: если она составляет больше двух тысяч человек, то перед нами город, а если она ниже этой черты — то городок или деревня. Цифра, конечно, точная — даже слишком точная, тем более что в реальности высота предельного уровня неизбежно меняется со временем. К этому важному вопросу мы еще вернемся [149].

Что же такое город? Наиболее очевидным признаком города является не столько наличие стены или численность населения, сколько то, что в нем вся деятельность сосредоточивается на возможно более тесном пространстве, что люди в нем плотно сбиты в кучу — «столько народу и так мало места!», как говорил еще в XVIII веке Анж Гудар [150],— вынуждены ходить по узким улочкам, где не всегда проедет повозка, а дома свои строить в высоту, так как только в этом направлении имеется свободное место, особенно если городская застройка сдавлена удушающей защитой крепостной стены.

Конечно, стену можно и перенести, и ее нередко переносили на новое место, словно театральную декорацию. Город сразу же вздыхал свободнее. На вновь присоединенной территории размещались даже огороды, сады, пашни, а позднее — и стрельбища. Затем улицы и здания надвигались вновь и мало-помалу занимали все свободное пространство. Но даже и тогда, когда стену просто сносили — как это произошло в XVIII веке в Лиможе (благодаря Тюрго), Кане, Ренне и других местах,— городское пространство все равно оставалось компактным, плотно застроенным. Ведь не очень-то удобно и не очень-то желательно слишком удаляться от центра города, где вершатся все судьбы и решаются все дела!

Таким образом, простейшим требованием к любому населенному пункту городского типа, условием его эффективности является пространственная теснота. В городе должны скапливаться, скучиваться лавки, рынки, дома, ремесленники, жители...

Но прежде всего любой город над чем-то господствует. И при его определении и оценке важно учитывать, на какое пространство способно распространяться его влияние.

Так, когда в месяце плювиозе VI года город Карпантра пытался добиться для себя более высокого иерархического статуса, домогаясь, чтобы именно в нем, а не в Авиньоне были размещены гражданский и уголовный суды департамента Воклюз, то на первый план он выдвигал преимущество ведущих к нему дорог, «которые круглый год обеспечивают *удобное и непрерывное* [курсив мой.— *Ф. Б.*] сообщение: большая дорога из Авиньона в Карпантра, большая дорога из Апта в Карпантра, большая дорога из Оранжа в Карпантра, из Вальреаса в Карпантра...» Далее речь шла о его расположении в центре департамента — преимущество, «которым не обладают ни Авиньон, ни Апт, ни Оранж». В результате «благодаря своему местоположению, благодаря своему рынку, который торгует через каждые семь дней, благодаря чрезвычайно большому наплыву приезжих людей [город служит] ме-

стом встречи жителей других коммун департамента, а также и нескольких соседних департаментов» [151].

Излишне объяснять, что влиятельность или преобладающая роль Карпантра были обусловлены не только его географическим положением. Скажем, Боньер — к северо-западу от Парижа, близ Мант-ла-Жоли,— был всего лишь деревушкой в 600—700 жителей, когда в 1738 году через него пролегла новопостроенная королевская дорога из Парижа в Руан, а еще через несколько лет, в 1753-м,— и дорога из Парижа в Кан. Так Боньер стал перекрестком двух крупных дорог, а значит, и центром торговли. Но городом — безусловно нет [152]. Да, город — это дороги и их пересечения, однако для образования настоящего города требуются и многие другие составляющие.

В самом деле, вокруг любого города, безусловно принадлежащего к разряду городов, располагается целый венец более или менее зависимых от него городков, каждый из которых, в свою очередь, связывает его с крошечными микрокосмами деревень. Мы прибегаем к этому геометрическому сравнению, хотя оно, к сожалению, не всегда адекватно, особенно когда дело касается крупных городов, чье устройство гораздо более сложно.

Кроме того, вокруг каждого города, крупного или мелкого, располагается пригородная продовольственная зона, от которой зависит его снабжение как минимум скоропортящимися продуктами. В каждом городе имеется рынок, подобный «тулонскому рынку, куда поставляли овощи [или, как принято было говорить, «зелень»] и фрукты жившие по соседству крестьяне,— каждый день они привозили свой товар на ослах и мулах, затрачивая на дорогу всего час или два» [153]. В Тарасконе в конце XIV века такой продовольственный пояс отчетливо выделялся на местности, всецело обустроенной человеческими руками [154]. Выгодно расположенный на берегу Роны, этот город предусмотрительно отгородился от ее опасных вод валами, которые с севера опираются на покрытый лугами холм, а с юга — на край Альпийского горного массива. Окрестности города распадаются на две зоны: внутри валов — низменность, примыкающая к городской стене и разбитая на тесные сады и огороды; с наружной их стороны — луга, поля, пустоши; наконец, склоны холмов плотно засажены виноградниками.

Именно на эту полосу ближних деревень городу легче всего — порой даже почти непреднамеренно — воздействовать: он задает направление их хозяйственной активности, а в случае опасности и служит убежищем для их населения. Бывало, что, укрывшись в этом убежище, люди больше уже не возвращались к своим жилищам и вливались

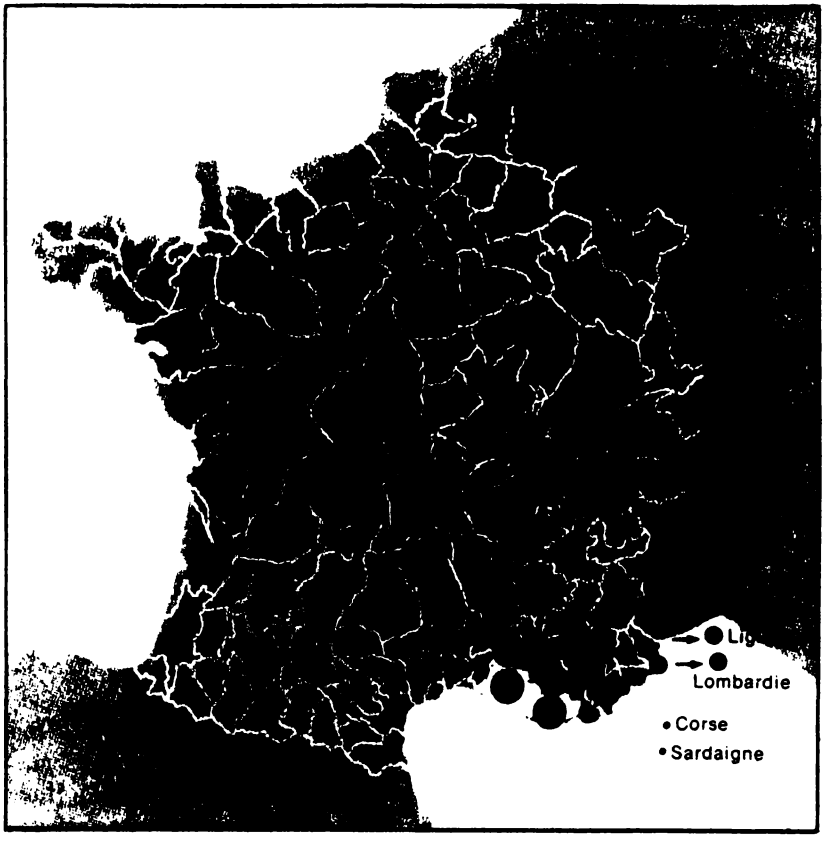
в городскую жизнь. В XIV веке целые пояса умерших окрестных деревень как бы вросли в эльзасские города Кольмар и Гебвиллер [155]; тот же процесс наблюдался и в других местах, например, вокруг Экс-ан-Прованса [156]. Таким образом, город, сам того не желая, способен пожирать деревни.

Однако сельскохозяйственная зона, занятая выращиванием овощных и фруктовых культур и непосредственно прилегающая к городской стене, образует лишь первый круг, первый венец, скромный исходный плацдарм, на который опирается целая колониальная империя. Исполинскому чреву города требуется не одна, а несколько последовательно расположенных зон снабжения и влияния; в принципе они размещаются в виде концентрических кругов — хотя только в принципе; это молочно-овощной пояс, зерновой, виноградный, животноводческий, лесной, а также пояс дальних торговых сношений. На этих расходящихся окружностях располагаются промежуточные рынки и, соответственно, промежуточные города. Уместно вспомнить справедливое замечание Эккарта Шреммера: «На городских рынках происходит не только обмен «город — деревня», но также и обмен «город — город» [157]. А Рихард Хепке в этой связи уже давно начал пользоваться — говоря о сети нидерландских городов в пору наивысшего расцвета Брюгге в XV веке,— образным выражением «архипелаг городов» [158].

Колониальная экспансия городов имела характер не только экономический, но и политический, административный, религиозный, культурный... Во французском королевстве города вели борьбу против феодальных сеньоров и короля (или же против сеньора совместно с королем), стремясь завоевать себе привилегии и вольности. Шаг за шагом они отрывали все новые куски от власти сеньора или суверена, приобщались к управлению благодаря пожалованным им государственным институтам — в зависимости от удачи, от величины и боевитости города, то мог быть президиал *, бальяж ** или же парламент... Следует помнить и о том, какое преимущество приобретали города, заполучившие себе религиозные учреждения: центр епархии, капитул, монастыри, университет... Нельзя не оценить по достоинству строки из истории Романа — небольшого города, расположенного в Дофинэ, на берегах Изера, в нескольких километрах от Валанса: «В то время как Валанс, имея у себя университет, Гренобль, имея у себя парламент, счетную палату, интендантство и генерал-губернатора провинции [Дофинэ],

* Президиал — в XVI—XVIII вв. суд, разбиравший гражданские и уголовные дела второстепенной значимости. *(Ред.)*

** Бальяж — в средневековой Франции часть территории, управляемая бальи (см. сноску на с. 144). *(Ред.)*



ИММИГРАЦИЯ В ГОРОД ЭКС-АН-ПРОВАНС В XVIII ВЕКЕ

Воспроизводится по книге: Histoire de la France urbaine. Sous la rédaction de G. Dubis. T. III.

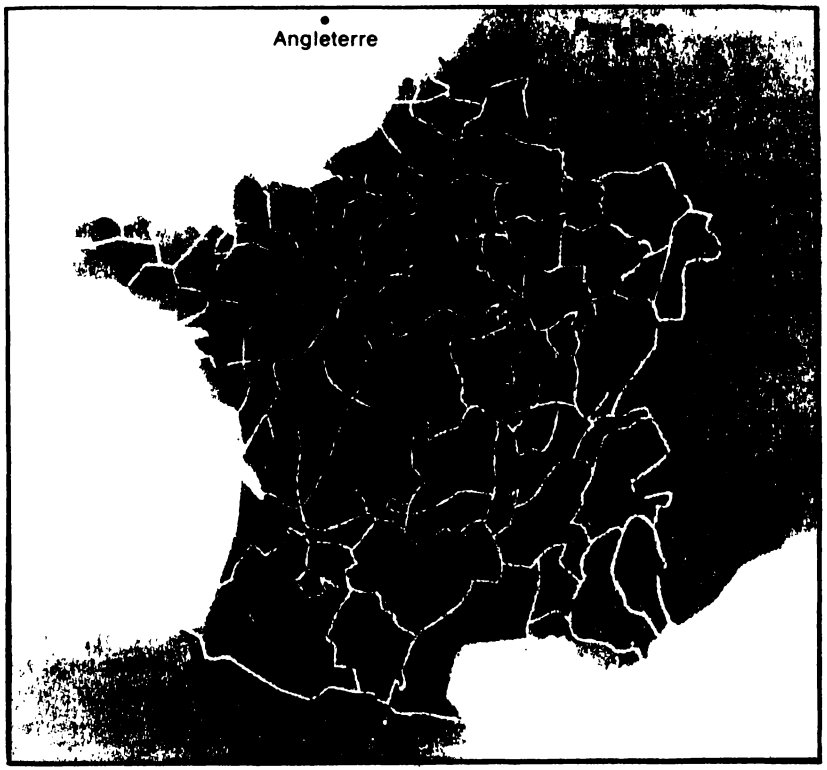
Условные обозначения на карте (кружки от меньшего к большему): От 1 до 5 иммигрантов. От 6 до 10. От 11 до 20. От 21 до 50. От 51 до 100. Более 100.

Вьен, имея у себя архиепископство и суд для неимущих,— в то время как они во множестве привлекали к себе тяжущихся, просящих и учащихся,— в это время Роман [по сравнению с ними, стало быть, обездоленный] прилагал все усилия для развития своей промышленности и торговли. Правда... его правители не раз пытались заполучить себе

нижневьеннский бальяж, размещенный Юмбером II в Сен-Марселене, но им так и не удалось этого добиться» [159]. В этой игре new deal пересдача карт случалась лишь в порядке исключения. Тем хуже для города Романа! Ведь правосудие и государственная администрация — тоже отрасли промышленности, и они практически не ведают безработицы. Лишиться одного из таких учреждений, дающих городу подспорье в жизни,— настоящее бедствие. Так было, например, в Нанси, когда во время французской оккупации (1670—1697) город лишился своего бальяжа. Если верить его жителям, он оказался в те годы «в крайней нищете... Мало кто не пострадал от этой беды и от отъезда всех видных горожан» [160].

Что же касается наиболее удаленных от города поясов его влияния, то на них он воздействует прежде всего тем, что оттягивает к себе людей. Действительно, «род человеческий — самый захватнический на свете» [161] и испокон веков склонный к перемене мест. Город же является чем-то вроде браконьерской лампы-приманки, которая в темноте привлекает к себе дичь. Он завораживает сельских жителей в округе. Более чем красноречивы приводимые здесь схемы, на которых показано происхождение мигрантов, переселяющихся в города. Если бы не этот приток свежей крови, города стали бы угасать, ибо сами они не в состоянии компенсировать смертность рождаемостью; последняя всегда была недостаточной, ибо все города (крупные и средние), вплоть до XVIII века включительно, были местами, куда люди «едут умирать».

Родные места вновь поселившихся в городе людей занимают впечатляюще обширное пространство. Так, схема иммиграции в Экс-ан-Прованс в XVIII веке (в ту пору Экс был всего лишь городом средней величины) охватывает значительную часть всей Франции (с. 155). Чаще всего иммигранты были ремесленниками, и, что любопытно, нередко земляки специализировались на одних и тех же ремеслах, так что возникали настоящие «монополии на рынке труда». «В Тулузе или Перигё почти все землекопы были бретонцами... речники в городах по берегам Роны более чем наполовину происходили с верховьев Роны, тогда как истопники в большинстве своем оказывались родом из области Брес, а мясники из Оверни» [162]. В Париж в XVIII веке плотники прибывали из Нормандии, каменщики из Лимузена, кормилицы из Бургундии, трубочисты из Савойи, водоносы из Оверни и т. д. Подобные результаты дает, в соответствующем масштабе, и обследование любого, даже небольшого, населенного пункта; так, когда в городе или же городке Бонвиле (центр коммуны Фосиньи, ныне в департаменте Верхняя Савойя) в XVIII веке устроили перепись населения, оказалось, что местный врач — родом из Дижона, из двух городовых стражников



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖЕНАТЫХ ЖИТЕЛЕЙ ВЕРСАЛЯ (1682—1689)

Для крупных строительных начинаний городу требовалась рабочая сила, и на его стройки стекались рабочие из дальних мест. Воспроизводится по книге: Histoire de la France urbaine. Sous la rédaction de G. Dubis. T. III.

Условные обозначения на карте (кружки от меньшего к большему): От 1 до 4. От 5 до 10. От 11 до 20. От 21 до 40. От 41 до 96.

один выходец из Бурбоннэ, другой — из Ниверне; булочник — из Нормандии; сапожник — из Дофинэ; рабочие-поденщики прибыли из Каркассонна, Перигора, из савойских селений... Как нельзя более красноречиво! [163]

Однако еще больше, чем о притоке ремесленников и подсобных рабочих, нам известно об иммиграции людей значительных, будущих городских буржуа; чаще всего это купцы, привозившие с собой

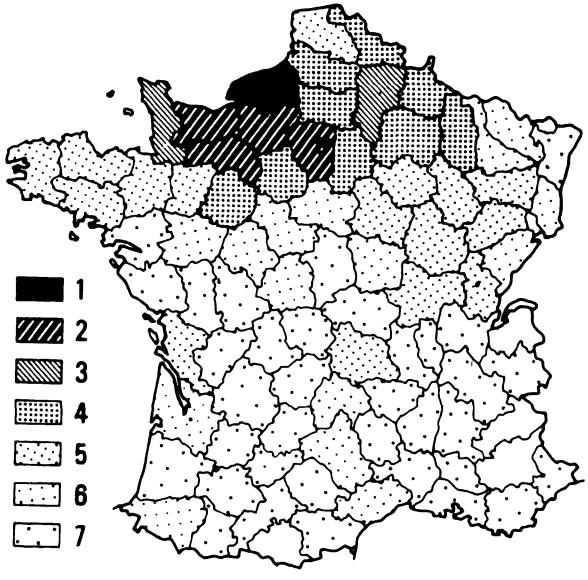
капиталы и честолюбивые замыслы. В частности, такую элитную иммиграцию удалось изучить на примере города Меца в XIII веке [164].

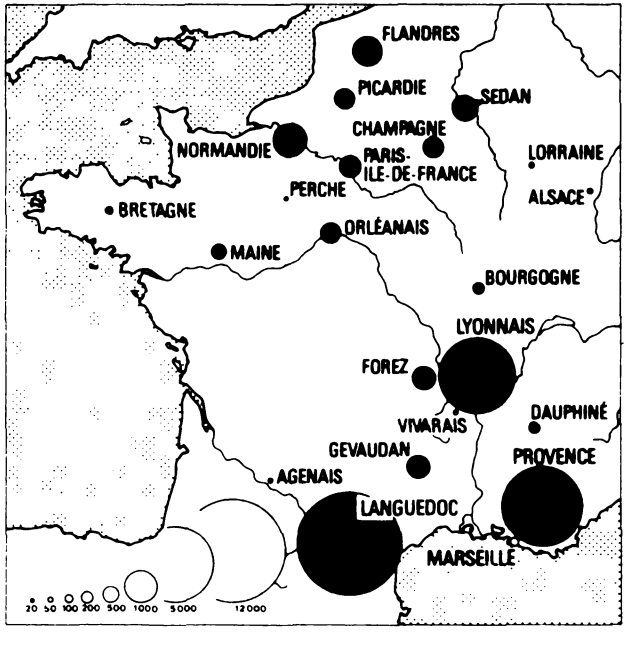
Еще более обширные зоны влияния охватываются торговлей, тяготевшей к активным городам (Андре Пиатье называет их «городскими городами»), ибо зоны эти широко покрывают территорию Франции и продолжаются еще дальше, по линиям больших торговых путей,— к Леванту и Балтике, в Африку, в Новый Свет и на Дальний Восток, куда с конца XV века проложили путь великие географические открытия. Карты-схемы, помещенные на с. 159, показывают, сколь огромная часть страны была втянута в XVIII веке в сферу руанской и марсельской торговли. Впрочем, читатель может заметить и другое обстоятельство: что при всей обширности этих торговых зон влияния ни одна не покрывает целиком всю территорию Франции. Действительно, *общенациональный рынок* — общее экономическое пространство всей страны — сложился поздно. Несмотря на широкое развитие путей сообщения, многочисленность рынков и невероятное обилие ярмарок, которые служили как бы заменой городов или городков, а если происходили в каком-либо городе, то очевидным образом подхлестывали его деловую активность, объединению торговли мешали огромные расстояния. Даже самые крупные ярмарки — в Шампани в XIII веке, в Гибре, в Бокере — охватывали только часть всей страны. Франция — слишком крупный кусок, который нелегко было проглотить самому французскому государству, а равно и капитализму передовых городов; к тому же города эти по любопытной закономерности располагались по окраинам королевства, в чем у нас еще будет случай убедиться в дальнейшем.

НЕРАВНОМЕРНОЕ И НЕПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО РЫНКА РУАНСКИМИ И МАРСЕЛЬСКИМИ ТОРГОВЦАМИ

Для Руана (сверху) схема составлена Пьером Дарделем (Annales de Normandie. 1954). Подсчеты сделаны на основании описей имущества разорившихся торговцев за 1740—1790 годы. Для удобства картографа территория страны на карте разбита на департаменты, в данную эпоху еще не существовавшие. Для Марселя (нижняя карта — из книги: Carrière Ch. Les Négociants marseillais. 1973. T. II. P. 583) оценивается суммарная стоимость товара, поступившего из того или иного региона страны.

Обозначения слева от верхней карты: 1 — Приморская Сена и Париж; 2 — свыше 50; 3 — от 41 до 50; 4 — от 21 до 40; 5 — от 11 до 20; 6 — от 6 до 10; 7 — от 1 до 5.


1
2
3
4
5
6
7


FLANDRES
PICARDIE
SEDAN
CHAMPAGNE
NORMANDIE
PARIS-
ILE-DE-FRANCE
LORRAINE
PERCHE
ALSACE
BRETAGNE
ORLÉANAIS
MAINE
BOURGOGNE
LYONNAIS
FOREZ
DAUPHINÉ
VIVARAIS
GEVAUDAN
PROVENCE
AGENAIS
LANGUEDOC
MARSEILLE
20 50 100 200 500 1000 5000 12000

Наипростейшие примеры. Но чем спорить о том, что общего и что различного имеют между собой города, не лучше ли рассмотреть несколько конкретных примеров? Начнем с простейших случаев — в основном это сравнительно скромные, малопритязательные города. Сомнительно, правда, чтобы существовали города, чья жизнь понятна с первого же взгляда. Всякое городское образование поддерживает некий баланс между тем, что оно получает (или взимает) извне, и тем, что оно отдает (или возвращает) обратно. Этот баланс приходится постоянно восстанавливать, весы вечно колеблются. И способ, посредством которого город взаимодействует с внешним окружением и меняет свои внутренние обстоятельства, чтобы слиться с окружением и подчинить его себе,— этот способ никогда не бывает прост, обычно его секрет приходится разгадывать.

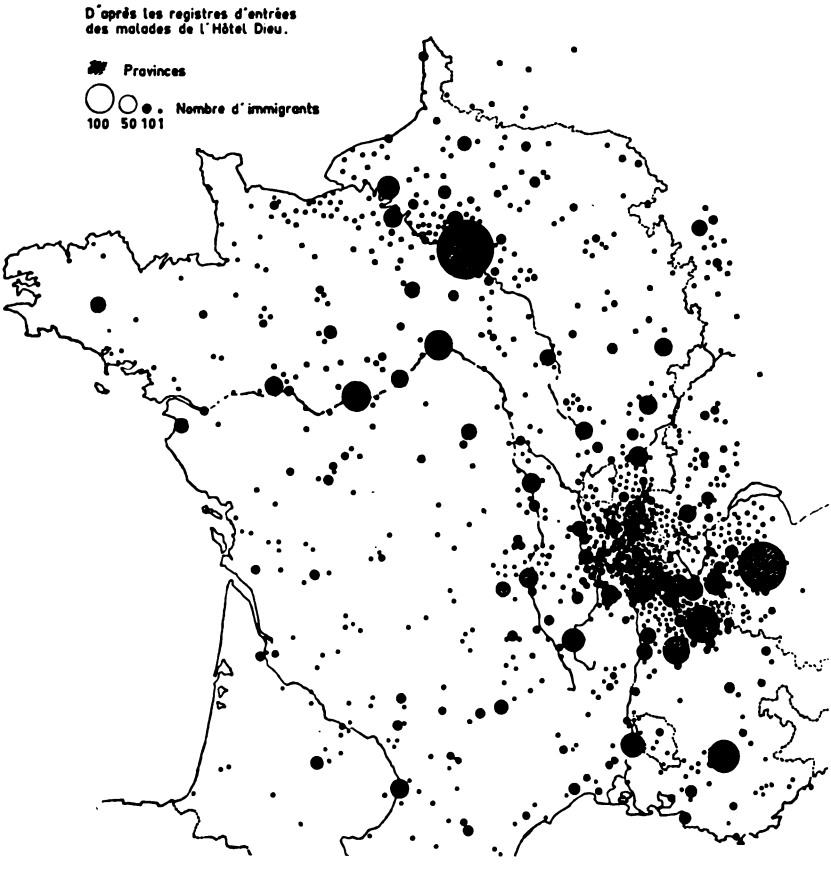
Примеры полезны тем, что они позволят подкрепить или же опровергнуть нашу теоретическую схему, представляющую собой лишь предварительную гипотезу, некую *модель*. А модель никогда не довлеет себе — ее следует сталкивать с реальностью, как бросают в воду начинающего пловца. Если выплывет — значит, мы нащупали нечто важное, если потонет — значит, все надо начинать сызнова.

Для нас важно определить место города не только среди городков и деревень — населенных пунктов, городами не являющихся,— но и в соотношении с другими городами, то есть прояснить «логику» тех местных, региональных, международных связей, которыми города отличаются друг от друга. Да, и международных тоже: ведь всемирная история то и дело затрагивает города, разворачивает их по-новому, а то и вовсе лишает их городского статуса; бывает, что какой-либо город вдруг вырывается вперед других, хотя в собственной его судьбе ничто этого не предвещало.

Стремясь проверить (и детализировать) намеченную выше схему, мы будем поэтому рассматривать города не столько изнутри, intra muros *, сколько в общей перспективе воздействия города на его окрестности, затрагивающего как внутригородские, так и внешние факторы,— в зависимости от соотношения этих двух масс, которые не всегда легко бывает выделить, а тем более оценить.

Безансон и проблема первенства в регионе. Немного найдется мест, которые бы с первого взгляда лучше подходили для города, чем то, где расположен Безансон. От этого местоположения все и пошло — хорошее

* Внутри (городских) стен *(лат.)*.



ИММИГРАЦИЯ В ЛИОН (1529—1563)

Воспроизводится по книге: Chaunu P., Gascon R. Histoire économique et sociale de la France. 1977. T. I/1.

В Лион, являвшийся в ту пору финансовой столицей Европы, иммигранты прибывали со всех концов Франции, а также из Италии (включая Неаполь), из Женевы, Берна, Кельна, Мюнхена и даже из Нидерландов и некоторых испанских городов.

Надписи на карте сверху: По журналам поступления больных в городскую больницу. *Условные обозначения: Сверху* — провинции. *Снизу* — число иммигрантов.

и дурное; поистине, в данном случае географический детерминизм — не пустое слово.

Город охвачен и прикрыт своеобразной ломаной петлей, которую делает река Ду. Это прикрытие не без изъяна, так как основание, ножка петли не дает городу стать островом, со всех сторон защищенным водой; остается уязвимый проход. Однако (см. схему на с. 164) этот проход перекрыт узким сегментом горного массива (около 360 метров над уровнем моря), который примерно на сто метров возвышается над речной излучиной. На этой возвышенности, по-видимому, стояла возведенная галлами стена, а впоследствии и целая крепость (позднее полностью перестроенная Вобаном), делавшая природную ограду города еще прочнее. Последняя образовалась в результате весьма древних геологических процессов. Действительно, в эпоху плиоцена по нынешней долине реки Ду протекал Рейн, до тех пор пока с образованием разлома посередине массива Вогезы — Шварцвальд ему не пришлось поменять свое русло и устремиться не через Юру, а другим путем. Таким образом, рельеф безансонского района сформирован рекой куда более мощной, чем Ду,— рекой, которая словно распилила на куски основание Юрского хребта. Безансонская цитадель как раз и стоит на вершине одного из таких кусков, между Ривотским ущельем на севере и Тараньозским на юге.

Неудивительно, что на этом месте, столь хорошо защищенном самой природой, очень рано возник город. Безансон был столицей секванов, одного из главных племен независимой Галлии, жившего бок о бок с гельветами (те обитали по другую сторону Юры) и враждовавшего с эдуями, которые располагались за Ду и Соной. Цезарь в своих «Записках» отмечает важное значение и укрепленное положение этого города.

В эпоху римского владычества *Везонтион* был крупным провинциальным центром, стоявшим на перекрестке двух дорог, одна из которых, ведущая в Лозанну и к Женевскому озеру, переваливает через Юру по долине реки Лу и длинному ущелью Понтарлье, а вторая начинается в Шалоне от берега Соны и, идя вдоль края Юры, проходит через Безансон, после чего через Монбельяр, Бельфор и рейнские limes * следует до Майнца. Эта вторая дорога, использовавшаяся римскими легионами [165], представляла собой главный путь к Рейну, если не считать магистрали Лион—Шалон—Лангр—Трир. Нет сомнения, что через Везонтион проходили крупные торговые пути, сюда даже достав-

* Пограничные укрепления *(лат.)*.

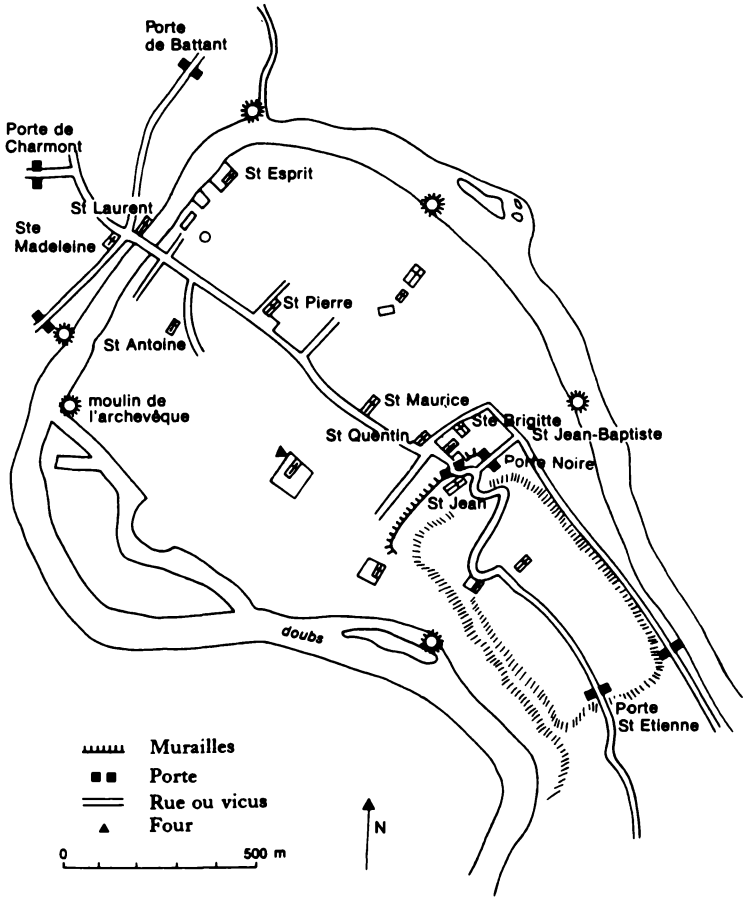
лялись вина из Кампании и Лациума [166]: в самом деле, при раскопках в излучине Ду найдено много черепков от амфор... В остальном же, если не считать сведений об амфитеатрах, форуме, Черных воротах и cardo *, примерно соответствующей нынешней Гран-рю, где выстроились в ряд самые богатые магазины города,— кроме этого нам мало что известно о римском Везонтионе. Мы не знаем даже, при каких обстоятельствах здесь, как и во всей Галлии, благодаря «кочевым толпам рабов, легионеров и купцов», начиная со II века появилось христианство [167].

Не лучше нам известно и то, как город пережил темные века варварских нашествий, а затем времена Меровингов и Каролингов. Ему хватало богатства, чтобы весьма рано создать у себя рынки и возвести множество церквей, одни из которых относятся к VII веку (Сент-Этьен, Сен-Морис, Сен-Поль, Сен-Пьер), а другие к XI веку (Сент-Андре, Нотр-Дам-де-Жюсса-Мутье, Сен-Венсан). К этим архитектурным красотам прибавилось — освящая их собой или же стимулируя их появление,— еще и то обстоятельство, что Безансон удостоился чести стать резиденцией архиепископа (когда именно — установить затруднительно). Во всяком случае, событие это весьма важно, поскольку в 1041 году архиепископ Безансонский, церковный владыка всей провинции, по императорской концессии получил право отправлять также и светскую власть в черте города.

Итак, сделавшись епископским городом под скипетром далекого императора, Безансон принял участие в том широком историческом процессе, благодаря которому страны Запада с XI по XIII век пережили свое первое обновление. В то время возникли тысячи новых городов, многие старые города стали бурно расти. Очевидно, именно на волне этого общего подъема Безансон в 1290 году не без борьбы освободился более чем наполовину от власти архиепископа и сумел получить статус *коммуны*. Хартией, пожалованной ему в том году Рудольфом I, он был превращен в вольный имперский город, где роль архиепископа в дальнейшем все более сокращалась; это был своего рода город-республика, обладавший правом взимать налоги, вершить суд, поддерживать порядок и даже заключать договоры о союзах и чеканить монету со своим гербом (правда, лишь с 1534 года).

Однако успехи города имели и свою оборотную сторону: оставаясь церковной столицей Франш-Конте, Безансон оказался политически и административно отделенным от провинции, чем-то чуждым и стесняющим ее, «как соринка в глазу», по словам президента Фруассара де

* Осевая линия *(лат.)*.



ГОРОД БЕЗАНСОН

Воспроизводится по книге: Folhen C. Histoire de Besançon.

Условные обозначения на карте (сверху вниз): Крепостные стены. Ворота. Улицы и переулки. Известковые печи.

Бруассиа, сказанным в 1574 году [168]. Роль столицы Франш-Конте вместе со всеми ее преимуществами перенял соперник Безансона Доль. В нем проживало меньше народу, но расположен он был выгодно, на скрещении дорог, хотя и чуть на отшибе; в нем и разместился парламент провинции (1422), а затем университет. Благодаря этому Доль тут же

пошел в рост. Историк XVI века Лоис Голлю писал, что в нем имеются «прекраснейший мост и прекраснейшая башня... прекраснейшая колокольня, прекраснейший рынок, прекраснейшая просвещенная молодежь, прекраснейшее множество населяющих его ученых людей» [169]. По-видимому, именно в Доле, более чем где-либо еще, жители Франш-Конте ощущали себя гражданами родного бургундского государства [170]. Всех этих преимуществ лишился Безансон — имперский город, в конечном счете попавший в ловушку собственных прерогатив.

Тем не менее Безансон оставался самым населенным городом Франш-Конте. В период 1300—1350 годов в нем, включая «предместья», насчитывалось 8—9 тысяч жителей. Для своего времени то было население довольно крупного города. Но откуда же эти люди добывали себе средства к существованию? Очевидно, постоянным источником доходов служили населявшие город клирики, остававшиеся там судебные учреждения архиепископства, церковные владения. Богатые горожане владели землями в пригородах. Город стал жить под знаком рентного паразитизма, сложившегося рано и надолго.

В городе имелось немало ремесленников — прядильщиков, ткачей, плотников, сапожников, седельников, шорников, черепичников, ножовщиков, слесарей... Но работали они лишь на местных заказчиков, если не считать производства беленого полотна, в XV веке вывозившегося в Авиньон и Марсель. В рыночном хозяйстве города участвовали также булочники, мясники, трактирщики, а по обеим сторонам моста, ведущего в Баттан — предместье Безансона на правом берегу Ду,— выстроились лучшие мелочные лавки. Правда, в XIII веке город получал выгоду также и от международной торговли на устраивавшихся неподалеку ярмарках в Шампани, служа перевалочным пунктом между Шампанью и Италией на торговом пути по долине Лу через городок Жунь, где с купцов взималась пошлина. В то время в Безансоне появились свои негоцианты, менялы, в нем даже селились иностранные купцы. Но эта вспышка активности ненадолго пережила упадок шампанских ярмарок, начавшийся с первых десятилетий XIV века.

Лишившийся возбуждающего воздействия извне, пораженный в августе и сентябре 1349 года черной чумой, Безансон замкнулся в себе. Свое благополучие он черпал у самых своих ворот, на непосредственно окружавшей его территории — по существу, в продовольственной зоне, обширной по размерам и находившейся в жесткой зависимости от города, словно деревня под властью феодала. Эту территорию образовывали известковые холмы; историк XVI века пишет о них, что это «каменистая земля... которая покоится на сплошной скале, лишь сверху

чуть прикрытой слоем почвы» [171]. На такой неплодородной земле можно было растить лишь виноград, и он давал высококачественные вина, различавшиеся в зависимости от того, происходят ли они «с высоких, средних или низких склонов». За виноградниками кое-где тянулись хлебные поля — например, в Сен-Ферже и Тийеруа, к северу от города; а еще дальше — скудные выпасы и огромный Шайюзский лес, зорко охраняемый городскими властями,— оттуда по реке Ду сплавляли плотами древесину.

Итак, единственным богатством, «истинным веществом города» [172], оказалось вино. Каждый год, с наступлением зафиксированного коммуной срока для начала сбора винограда, начинался шумный завоз бочек с молодым вином. Даже в черте города, в излучине Ду, где обширные пространства еще были заняты огородами, садами и виноградниками, преобладали именно последние. То были главным образом участки, принадлежавшие духовенству [173], которое владело по меньшей мере третью всех земель в излучине и всеми, кроме одной, мельницами, приводившимися в движение водами Ду.

Как и все средневековые города, Безансон оставался глубоко сельскохозяйственным по своей сути; прямо в городской черте разводили скот, который во время ярмарок заполонял и забивал все улицы; в каждом доме держали птицу, овец, свиней (последних, правда, запрещалось оставлять intra muros на жаркие месяцы, с июня по сентябрь; может быть, на это время их перегоняли в Шайюзский лес?). Другой, не менее убедительный факт: половину, а то и три четверти городского населения составляли виноделы — народ весьма беспокойный и любивший крепкое слово.

Обстоятельства сложились так, что из ближайшей округи город не получал в достатке ни хлеба, ни мяса. Правда, мясо давали Безансону бескрайние горные пастбища Верхней Юры. С хлебом было сложнее, а порой и драматичнее. Если его не хватало у обычных поставщиков из района Гре — то ли слишком много зерна отправили вниз по Соне в Лион, то ли урожай закуплен еще на корню швейцарскими кантонами,— за ним приходилось ездить далеко, самое близкое в Эльзас. В 1513 году были созданы городские закрома, как правило, надежно гарантировавшие от возможного голода [174].

Так или иначе, несомненно то, что к 1300 году Безансон контролировал только свою ближайшую округу. Нет ничего удивительного, что располагались в ней одни лишь деревни да деревушки. Так было со всеми городами — и в Тулузе, где виноградники вплотную подступали к стенам, и в самом Париже. При всей разнице масштабов город был

точно так же окаймлен предместьями, как деревня — огородами и садами. До них было рукой подать — без всяких посредников, промежуточных городков; зачастую они находились под непосредственным присмотром горожан-землевладельцев.

Удивительно другое — что и дальше вокруг Безансона не было того кольца городков и селений, без посредства которых город-центр не может распространять свое влияние вширь. Действительно, Безансон был слабо связан с Долем, Гре, Везулем, Саленом, Понтарлье, Лонле-Сонье. Виной тому, конечно, местные дороги, которые в горах Юры были просто ужасны, да и в остальных местах плохи из-за рытвин, топей, общей неухоженности. На юг все пути сообщения затыкал словно пробкой огромный лес Шо — самый крупный лесной массив Восточной Франции, где среди бескрайних зарослей дуба и граба ежегодно паслись от 50 до 60 тысяч голов скота; лес этот стоял на каменистых наносах, некогда принесенных все тем же Рейном через Бресскую низменность. Наконец, Ду — река небольшая и несудоходная, годная только для лодок, «суденышек» и для молевого лесосплава.

Таким образом, не имея водных путей и почти не имея хороших сухопутных дорог, Безансон был мало предрасположен к широкой открытости во внешний мир. К тому же ему относительно благополучно жилось в своем углу, чем он и довольствовался.

В дальнейшем, при всех переменах — к лучшему ли, к худшему,— город так и оставался замкнут в своих косных структурах, пребывал в зависимости от них. В XV веке в такой замкнутости ему жилось нелегко. Зато XVI век принес избавление, новый неожиданный взлет. Город с распростертыми объятиями встретил этот век прогресса. В 1477 году бургундское наследство было разделено на две части — герцогство и графство, причем герцогство отошло к королю Франции, а графство (Франш-Конте) в конечном счете, в 1506 году, было унаследовано Габсбургами. Жители Франш-Конте с честью и выгодой стали служить своим новым повелителям (с 1519 года — императору Карлу Пятому, а с 1555 года — его сыну Филиппу II Испанскому), так что графство сделалось, как не совсем корректно выражаются, «испанским». Впрочем, два выходца из Франш-Конте — сначала Перно де Гранвель, а затем его сын кардинал Гранвель — от имени своих державных повелителей и в самом деле управляли не только графством, но и всей империей, «над которой никогда не заходило солнце».

Но в еще большей мере взлет Безансона в XVI столетии был обусловлен другим непредвиденным обстоятельством: в 1535 году в городе поселились генуэзские купцы-банкиры [175]. Незадолго до того им

довелось пережить целый ряд злоключений: в 1528 году по воле короля Франции они были изгнаны из Лиона, затем укрылись в Савойе, в Шамбери, откуда были вновь изгнаны герцогом Савойским, на крещенье 1535 года устроили ярмарку в Лон-ле-Сонье и, наконец, выхлопотали себе у императора и города разрешение обосноваться в Безансоне. Целых три десятилетия, начиная с пасхи 1535 года, они проводили там свои ярмарки. Чем это было для них выгодно? Тем, что они оставались неподалеку от Лиона — в ту пору крупнейшего экономического центра Европы. Из Безансона генуэзцы могли потихоньку, через подставных лиц, продолжать свои дела. Напротив того, с упадком Лиона в 1560—1570 годы они, как нам представляется, перестали быть им связаны. Во всяком случае, когда в 1568 году, рассорившись из-за чего-то с городскими властями, они покинули Безансон, то лишь ненадолго задержались в Полиньи и Шамбери, а начиная с 1579 года обосновались в Италии, в Пиаченце, где и устраивали свои ярмарки — средоточия всей финансовой жизни Европы,— впрочем, по-прежнему именовавшиеся fiere di Bisenzone *.

Итак, в силу случайного стечения обстоятельств Безансон некоторое время служил пристанищем для первой финансовой державы Европы. Дар судьбы не оказался напрасным: город преобразился, словно по мановению волшебной палочки. В те годы в нем были построены дворец Гранвеля, ратуша, отель Монмарен, отель Бонвало. В город съезжались богатые переселенцы, выходцы из Монпелье, Фонтенуа-ан-Вож, Люксейля, Лон-ле-Сонье... [176]

Однако же с наступлением нового, «больного» XVII века вновь вступило в свои права злосчастье. В окрестностях Безансона стали бродить война, чума и голод. Испания, выдохшись и обеднев, предоставила провинции и городу перебиваться в меру собственных сил и слабостей. Тем самым Безансон был обречен стать легкой добычей французов; правда, захватив город в 1668 году, они в том же году по Аахенскому мирному договору были вынуждены уйти, бросив своих сторонников и оставив по себе волну ненависти и обид. Но шесть лет спустя их натиск возобновился и на сей раз, хотя и с трудом, увенчался успехом.

В мае 1674 года к Безансону подступила армия герцога Энгиенского вместе с самим Людовиком XIV, и королевская артиллерия, выпустив по городу 20 000 ядер, сломила его сопротивление. 15 мая, во избежание штурма и разгрома, Безансон капитулировал [177].

* Безансонские ярмарки *(ит.)*.

Банальная, но волнующая драма: свободный или почти свободный до тех пор город пал в борьбе с новоевропейской державой; сколько городов были так же поглощены в самых разных уголках Европы! Другим примером может служить захват Страсбурга тем же Людовиком XIV спустя несколько лет (29 сентября 1681 года). В Безансоне же настоящая драма началась позднее — с установлением французского правления во Франш-Конте. Осторожно-уступчивая на первых порах политика мало что дала: крестьяне начали партизанскую войну, а горожане одно время, кто со страхом, а кто и с надеждой, ожидали возвращения испанцев. Страсти особенно накалились в 1674 году, когда имперские войска на короткое время заняли Эльзас. Но, пережив опасность, французская власть стала методично и даже грубо укреплять свои позиции. Машина монархии Людовика XIV работала в ту пору безупречно [178].

Нас здесь, естественно, интересует тот новый баланс, в условиях которого очутился город. В самом деле, он оказался вдвойне аннексированным: во-первых, разумеется, Францией, а во-вторых, провинцией Франш-Конте, в которую до сих пор никогда по-настоящему не входил. Правда, в 1664 году Испания, по согласованию с имперским правительством, присоединила Безансон к провинции с предоставлением дополнительных владений — так называемых ста деревень. Но, за исключением этого территориального расширения, в целом данная мера осталась мертвой буквой. Совсем иначе пошло дело после присоединения к Франции, закрепленного Неймегенским мирным договором 1678 года.

Королевское правительство сразу же сделало Безансон столицей провинции, перевело туда парламент, прежде располагавшийся в Доле, и создало ряд новых учреждений: президиал, бальяж, затем ряд особых юридических ведомств (монетную, водно-земельную, консульскую службу). Кроме того, в городе появились университет, интендантство, губернатор, наконец, сильный воинский гарнизон. Выбор королевских властей, наводивших порядок в провинции, оттого пал именно на Безансон, что этот город был самым крупным по населению, самым богатым, а главное, самым сильным, лучше всего защищенным. Причиной всему лишний раз оказалось его местоположение.

Хотя в итоге город и сумел извлечь выгоду из своего нового статуса, не стоит усматривать здесь результат попечительной политики правительства: оно очень скоро охладело к своему новому приобретению и перестало требовать от него чего-либо, кроме повиновения и налогов. За размещение в Безансоне парламента на город была наложена (или, если

угодно, предложена им самим) контрибуция в 300 000 ливров. В 1692 году, несмотря на сильные колебания, правительство Людовика XIV ввело в провинции продажу должностей за деньги.

Главной новостью для старинного города сразу после французской оккупации как раз и оказалось нашествие толпы судейских и министерских чиновников — в общей сложности около 500 должностных лиц, а считая с членами их семей,— до 2 000 человек. «Во всем городе одни лишь виноделы могут похвастаться большей многочисленностью» [179]. Парламент оказался вожделенной для многих верхушкой класса рантье, который, заботясь о своих привилегиях, запросто путал их с привилегиями и интересами всей провинции,— ведь считалось, что теперь, когда штаты Франш-Конте уже не собираются, именно парламент представляет всю провинцию в целом. Все это, конечно, усугубляло сонно-безмятежный паразитизм города.

Тем не менее Безансон впервые за всю свою историю достиг положения настоящей региональной столицы, заключающегося в том, что город одновременно и эксплуатирует и обслуживает кольцо тесно связанных с ним городков и мелких городов. Впрочем, к этому Безансон пришел постепенно. Вехами такой эволюции могут служить некоторые свидетельства современников. В 1735 году о Безансоне сообщают, что это «отнюдь не купеческий и не зажиточный город... торговля в нем чрезвычайно ограниченна... сводясь к продаже одежды для местных жителей, а также продовольствия и иных повседневных товаров для них и их семей. Покупается все это у купцов, живущих в провинции», или же у ярмарочных разносчиков. В 1747 году — дела все те же. В 1765-м в «Словаре коммерции» Савари в качестве самого оживленного торгового центра Франш-Конте назван Гре, откуда начинается судоходство по Соне. Но в 1785 году город словно преобразился: в одной докладной записке отмечается, что торговлей в Безансоне занято «довольно большое число народу: можно насчитать целых двадцать пять торговых домов», и плюс к тому еще два-три, специализирующихся на оптовой торговле, «которая состоит в перепродаже розничным торговцам в крошечных городках тех товаров, что большими партиями ввозятся из королевства». Наконец-то Безансон стал перераспределительным центром для окрестных городов и городков! Дополнительное тому подтверждение: он сделался и оживленным центром оборота ценных бумаг, «куда почти вся провинция обращается прямо или косвенно при любой надобности в деньгах» [180]; хотя и занимая лишь скромное место в европейском масштабе, он все же поддерживал связь с банками Страсбурга, Базеля, Франкфурта, Голландии и даже Англии. Наконец, Безансон пытался

развивать и промышленность — в частности, успешно внедрялось трикотажное производство.

Чем объясняется такой прогресс? Экономическим подъемом и общим обогащением страны в XVIII веке. К этому следует прибавить и усовершенствование путей сообщения в провинции — очевидно, самое лучшее, чем французская монархия одарила Франш-Конте. В одном официальном письме от 8 августа 1740 года сообщается, что в провинции проложено «75 000 туазов отличных дорог, вследствие чего *ныне* [курсив мой] можно разъезжать на рысях в любом направлении по горам и болотам, где до произведения сих работ ездили лишь с трепетом душевным, да и то всего несколько месяцев в году» [181]. К середине столетия ежедневное почтовое сообщение связывало Безансон с Дижоном, где делали пересадку на Париж; еженедельное сообщение было с Нанси, Бельфором, Страсбургом и Базелем.

Следует учесть и еще одно своеобразное обстоятельство: территория Франш-Конте, «считаясь заграницей», была окружена сплошной линией таможен — как со стороны основной части королевства, так и со стороны швейцарских кантонов. Одним словом, полная децентрализация. Отсюда проистекала некоторая стесненность и даже вялость коммерции по провинции в целом, «но зато и тяготение торговли к Безансону »[182], который служил как бы центром национального рынка в миниатюре.

Рынок этот был не столь уж емким: на территории 15 000 км² здесь насчитывалось к 1710 году лишь 340 720 жителей, в том числе 11 520 в Безансоне, 5 663 в Салене, 4 115 в Доле, 3 982 в Гре, 3 340 в Арбуа, 3 320 в Полиньи, 2 540 в Монбельяре, 2 664 в Понтарлье, 2 225 в Везуле, 1922 в Лон-ле-Сонье, 1 745 в Сен-Клоде, 1 632 в Орнане, 990 в Бом-ле-Дам, 532 в Оржеле, 470 в Кенже [183]. Если оценивать городское население исходя из 2000-го порога, то уровень урбанизации оказывается во Франш-Конте весьма низким — всего лишь 11,5%. Таким образом, экономическое кровообращение провинции не отличалось оживленностью. Однако к концу столетия ее население выросло до 450 000 жителей (32% прибавки); а в самом Безансоне рост составил 75,6% (20 228 жителей в 1788 году). На тот же год города Франш-Конте насчитывали: Сален — 6 630 жителей, Доль — 7 774, Гре — 4 784, Арбуа — 5 902, Понтарлье — 3 042, Лон-ле-Сонье — 6 500, Сен-Клод — 3 640, Везуль — 5 200, Бом-ле-Дам — 2 080, Оржеле — 1 274, Кенже — 1846 [184]. В документе отсутствуют данные по Монбельяру, Полиньи и Орнану, но и эти города тоже росли. К тому же Безансон, развиваясь вширь, не над всеми из них господствовал в равной мере —

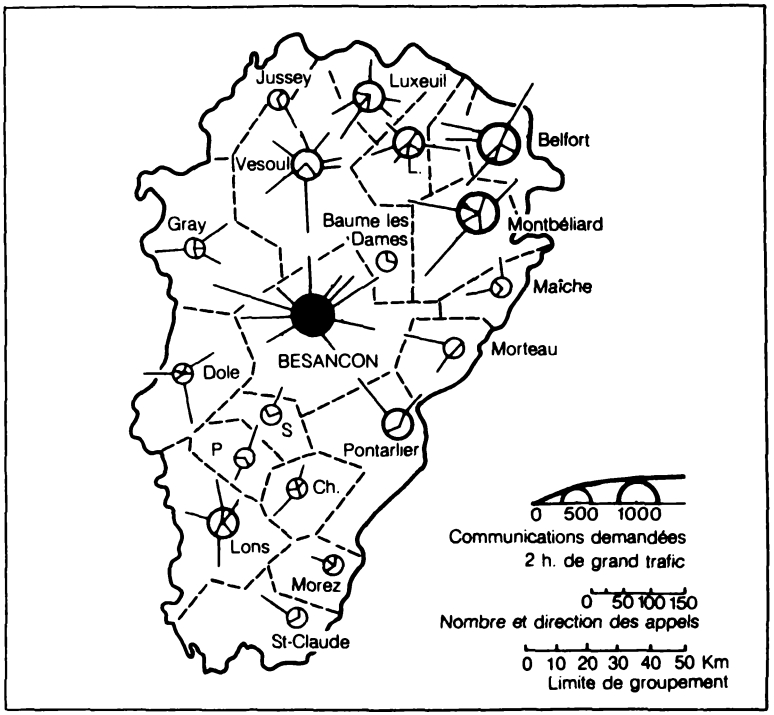
он традиционно был крепче укоренен в Центральной Юре, чем в Северной; там безансонские купцы и члены парламента владели землями, кузницами, доменными печами, бумажными фабриками... Что же касается Южной Юры, к югу от линии Сален — Понтарлье, то она почти полностью ускользала от его влияния.

Конечно, в этом запоздалом развитии и в региональной влиятельности Безансона в конце XVIII века имелось нечто искусственное или по крайней мере несамостоятельное, привнесенное извне; к такой мысли приходишь, учитывая, каким скоротечным оказалось это возвышение. Действительно, Революция нанесла роковой удар по Безансону, разом лишив его и парламента, и интендантства, и монашеских общин...

Хотя в 1793 году с помощью швейцарских рабочих в городе было основано производство часов (поначалу дело шло туго и развернулось лишь много позже), хотя после 1810 года, а затем при Июльской монархии предпринималась то одна, то другая попытка оживить деловую активность, хотя вновь проложенные дороги и канал Рона — Рейн дали новый толчок торговле (зато привоз вин с Юга постепенно убил местное виноделие), хотя некоторую оживленность — деланную или настоящую — придавал городу также и крупный воинский гарнизон,— все же по сравнению с остальной частью Франции Безансон переживал дремотную деградацию. С восемнадцатого места среди французских городов, которое он занимал в 1801 году, он к 1851-му передвинулся на двадцать пятое. «Скверный город, переполненный чиновниками» [185],— отзывался о нем Сент-Бев; а Бальзак считал возможным «выразить его суть в немногих словах: ни один город не оказывает столь глухого, молчаливого сопротивления прогрессу» [186].

На самом деле этому городу просто не везло. Главную невыгоду его местоположения — по-прежнему труднопроходимые пути сообщения — могла бы устранить железная дорога. Начиная с 1840 года Безансон стал предпринимать шаги с целью заполучить эту козырную карту. Однако его попытки вновь и вновь кончались неудачей. Он вынужден был уступить Дижону и Долю, и высокопропускная железнодорожная сеть, опирающаяся на магистраль Валлорб — Симплон и связывающая Париж со Швейцарией, Италией и Балканами, прошла в стороне. Еще в 1960 году между Безансоном и Парижем ходил всего один прямой поезд в день.

Эта неудача, тяжело пережитая в Безансоне, сильно способствовала застою, охватившему город. Хотя после второй мировой войны он пережил беспрецедентно резкий подъем (достигнув в 1960 году заветного уровня в 100 000 жителей), он так и не смог сделаться крупным коммер-



ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
В ОКРЕСТНОСТЯХ БЕЗАНСОНА (1956—1958)

Условные обозначения на карте (сверху вниз): Общая длительность заказанных переговоров (в пересчете на оплату за 2 часа без скидки). Количество вызовов и их направление. Границы зон телефонных узлов.

ческим центром. Находясь в невыгодных условиях из-за горных дорог, по которым невозможно ехать быстро (к нему до сих пор нет автострады), он пострадал еще более от давно уже начавшейся экспансии расположенных неподалеку больших городов — Нанси, Мюлуза, Дижона, Лиона. Эти соперники вторгаются даже на административно подчиненную Безансону территорию, как то явствует из любопытной карты телефонной связи в регионе, составленной в 1956—1958 годах [187]. Несмотря на близкие расстояния и административные связи, фактически «Безансон оказывается немногим ближе к Долю или Гре, чем Дижон,

к Сен-Клоду — чем Лион, к Люксейлю — чем Нанси, и т. д.». Этот город родился благодаря замечательно удобному оборонительному расположению, ряд случайных обстоятельств наделили его источниками легких доходов, его долгое время поддерживала благодатность местных виноградников, и тем не менее он почти все время был вынужден довольствоваться лишь скромным достатком и воздерживаться от чрезмерных притязаний.

Насколько же показательна история Безансона? Может ли она служить «индикатором»? Она доказывает нам элементарную, банальную истину — жизнь, которую ведет город (как в своей черте, так и на прилегающей территории), вольно или невольно может оказаться просто жизнью разросшегося городка. Главный же итог истории Безансона состоит в том, что Безансон избавляется от своей замкнутости лишь при помощи внешних обстоятельств, всякий раз более или менее искусственно и неокончательно.

Край Роаннэ — скрещение дорог. Если из Безансона ехать вдоль берегов Соны, а затем через Лион, то еще через 86 километров после города-гиганта, миновав Тарар, попадаешь в Роанн, расположенный уже внутри Центрального массива, где природные условия во всех отношениях отличаются от долины Ду и Юры. Этот небольшой город послужит нам вторым примером — выразительно-живым, достаточно сложным и порождающим немало проблем и в то же время более простым, чем предыдущий. Действительно, Роанн стал городом в полном смысле слова лишь в конце XV века, то есть сравнительно поздно, и судьба его особо тесно связана с судоходством по Луаре. Здесь также первенствуют внешние, экзогенные факторы.

Край Роаннэ составляет северную часть одной из сотен маленьких областей, на которые делится вся Франция,— области Форез. Родившиеся в этих местах или же питавшие к ним пристрастие превозносили их до небес — например, Оноре д'Юрфе сделал их местом действия своего романа «Астрея» (1610—1627) и изображает наподобие земного рая. Подобные восторги, конечно, преувеличены — все равно как если бы утверждали, что тут каждый день ловится лосось, хотя некогда эта царская рыба действительно поднималась по Луаре и Линьону вплоть до здешних отдаленных от моря мест.

Роаннэ — это небольшая, 30 на 50 километров, равнина, в старину болотистая и нездоровая,— по словам самого Оноре д'Юрфе, «влажная» и покрытая «обширными водными хлябями» [188]; тысячи гектаров этой

местности были заняты естественными или же искусственными прудами [189], где водилось много рыбы, а при них имелись и бдительно-сварливые хозяева, и неутомимые браконьеры, которые порой «откупоривали» пруд — спускали из него воду ради огромного улова или же просто чтобы досадить владельцу [190]. Кроме прудов, Роаннэ орошали еще и проворные речки, ручьи, а также быстрая, норовистая, часто менявшая свое русло Луара, в летнюю жару «почти всюду проходимая вброд» [191], зато в иную пору — при паводках, достигавших 2—3 метров от уровня межени, а иногда и 5 и даже 7 метров (12 ноября 1790 года) [192],— стремительно затапливавшая свои берега. Главное русло этой «речки», с песчаными отмелями, островами и изменчивыми рукавами, образует огромный пролом в равнине, шириной нигде не менее полутора километров, а в Десизе, городе, стоящем на речном острове, достигающий добрых пяти километров [193]. К этим природным условиям кое-что прибавили от себя и люди: после каждого урожая они упорно рыли дренажные канавы, выбрасывая грунт на межу, а поскольку от плуга земля также скапливается по концам борозды, то есть опять-таки на краю пашни,— земельные участки превращались во впадины, своего рода бассейны с застойной водой [194].

Роанн, долгое время остававшийся деревней, «сгрудившейся вокруг своей церкви» и своего замка, расположился на левом берегу реки; в этом месте древняя речная терраса приподнимает его постройки на 10—15 метров выше уровня опасных луарских вод — настолько опасных, что они с поразительной легкостью сносили вновь и вновь перебрасывавшиеся через реку мосты «плотницкой работы»; лишь в 1854 году [195] в Роанне появился прочный каменный мост, какими еще задолго до тех пор обзавелись Десиз и Невер [196]. Впрочем, в 1687 году один из двух десизских мостов, принадлежавших к числу «прекраснейших мостов, какие только есть во Франции», обрушился и был заменен ненадежным паромом, а второй лишился одной из своих арок [197]. В общем, Луара — коварная река, тем более что ее часто приходилось пересекать вброд. В актах, составлявшихся чиновниками герцогского бальи в Роанне, с монотонным постоянством регистрируются прибитые к берегу тела утопленников, причем на одного опознанного — например, проводника, внезапно унесенного течением, когда он переводил через Луару свое стадо,— приходится множество таких, чья личность не установлена [198].

На равнине, изрезанной водоемами, неизбежно затруднено сухопутное сообщение — здесь лишь изредка ездили повозки в коровьей упряжке, как в Оверни, или же ходили вьючные животные и люди-«грузоносы»...

Поскольку урожая зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса) недоставало даже для местного потребления, Роанн и его окрестности постоянно испытывали их дефицит [199]. На равнине, вблизи от небольших городов, ценой усилий и лишений неимущих арендаторов сами собой сложились крупные хозяйства [200], но урожайность была невысока и там из-за бедности почв [201]. За исключением немногих участков с почвой недавнего наносного происхождения — так называемых «шамбонов»,— вся равнина состояла из песчаников да суглинков, от которых зачастую не было никакого проку, разве что добывалось сырье для кирпичных заводов. Здесь росла одна лишь трава, да и то неважно. Недаром старинное народное изречение советовало быть осмотрительным: «Если тебя может прокормить трава, что растет на твоей земле,— не будь же неблагодарным, не перепахивай ее» [202].

Помимо всего прочего, равнина была еще и вредна для здоровья — отсюда высокая смертность. Развитию края больше всего мешала низкая плотность населения: здесь с апреля и до самой осени свирепствовали «перемежающиеся лихорадки, от которых уберегается мало кто из крестьян» [203]. Быть может, причина тут, как полагали в конце XVIII века, в «гнилотворности воздуха» вследствие обычая регулярно «откупоривать» пруды, чтобы дать им зарасти травой, а затем, через три года, затоплять их снова? Во всяком случае, весь край страдал от малярии, и богатые люди в жаркий сезон спасались от нее в расположенных по соседству горах.

Действительно, Роанн с трех сторон обступают довольно высокие горные образования: на востоке горы Божоле, самая высокая точка которых 1012 метров, на западе горы Мадлен (1165 метров), на юге Нелизское плато, или «проход» (500—600 метров), сквозь который Луара пробила себе длинное «крутое русло» по теснинам, достигающим 200 метров в глубину (недавно здесь было решено построить плотину для регулирования паводков, которые всякий раз происходят некстати) [204]. Этот проход отделяет Роаннэ от собственно Фореза, где стоят города Фёр и Монбризон. Если ехать на машине по направлению на север, то после Фёра дорога резко идет вниз и дорожные щиты на нескольких языках рекомендуют сильнее тормозить. С севера Роаннэ лишь слегка соприкасается с «Шарольско-Брионскими холмами близ Игранда и Сен-Бонне-де-Кре» [205], беспрепятственно сливаясь с низменностями Бурбоннэ.

Своеобразие Роаннэ состоит в этих двух горных зонах — на востоке и на западе. Благодаря долгое время сохранявшемуся там избытку населения, которое занималось поденной работой (с наступлением зи-

мы — рытьем канав вместе с работниками на фермах), пастушеством, виноградарством и всякого рода отхожими промыслами, равнина восполняла дефицит рабочей силы, который испытывало ее хозяйство. Но у себя в горах эти суровые люди, независимые мелкие землевладельцы, жили отчужденно, варясь в собственном соку; в годы революции они были «фанатически» преданы своим священникам, а при Империи решительно сопротивлялись рекрутским наборам. Много ли могло найтись охотников разыскивать у них отказывающихся от присяги попов или же крестьян-дезертиров, находивших себе в горах «неприступные убежища»? [206]

В то же время горы Мадлен и горы Божоле — не одно и то же. В горах Божоле со стороны Роанна нет ни одного виноградника. Знаменитая лоза Божоле растет на восточном склоне, который довольно круто нависает над Соной, на роаннском же склоне, опускающемся чередой террас,— из Роанна едва видны гребни этих гор, особенно если на них скопятся облака,— сплошь преобладают леса и луга, обрамленные пышной живой изгородью боярышника. Этот склон, где животноводство развито больше земледелия, с давних пор имел вид не очень плодородных бокажей. Быть может, именно потому в XIX веке там — от Кура до Амплепюи и Панисьера — получила широкое развитие текстильная промышленность? Или же это было обусловлено более удобным сообщением с Лионом как центром промышленности?

Совсем иначе выглядит крутой хребет Мадлен, хорошо видный на западном горизонте. С его обрывистых склонов на равнину сбегают быстрые, энергичные, почти бешеные ручьи и речушки, которые своими наносами, видимо, и оттеснили Луару к горам Божоле: оттого Роаннская равнина несколько несимметрична относительно реки, а сам город расположен в ее западной, более просторной части. Эти короткие речки пробили себе в горах Мадлен узкие ущелья, по которым не без труда прокладывались дороги. В старину здесь находилось самой природой предназначенное место для подвигов «бандолье» [207] — дорожных разбойников.

В то же время вдоль всего этого склона, озаряемого восходящим солнцем и наделенного достаточно хорошими почвами, тянется вплоть до высоты 400 метров широкая кайма тесно высаженных виноградников; уходом за ними было занято население крупных деревень, и их продукция пользовалась недурной репутацией — например, вина из Ренезона, из Сен-Ромен-ла-Мотт, из Сен-Жермен-Леспинас, из Сен-Форжё или же вино из Ноайи, так называемое «гарамбо», «прекрасного малинового цвета», или же белое вино из Пуйи-ле-Ноннен, «сладкое

и пахнущее виноградом»... Эти подробности взяты мной из воображаемого диспута о местных винах, сочиненного одним священником XVII века [208].

Требуется выбрать лучшее вино из всех: «Ну что ж,— говорит наш автор,— можно довериться третейскому суду курьеров и почтальонов, разъезжающих по большой дороге из Парижа в Лион [которая, очевидно, проходила через Роанн]; они знают толк в питье, во всяком случае, по ремеслу своему вечно испытывают жажду», так что охотно возьмутся вынести обоснованный приговор.

В XVIII веке главный рынок этого роаннского вина находился в городке Ренезоне; отсюда вино в большом количестве вывозилось в Париж, «где оно известно под названием армезонского...— сказано в одном официальном докладе.— Оно яркого цвета и используется для подкраски анжуйских и иных белых вин. Посредственное по качеству, оно при тщательном смешивании все же почитается хорошим ординарным вином» [209]. Правда, в глазах парижан роаннские вина затмило «божоле», начавшее широко поступать в продажу примерно с 1720 года [210]. Тем не менее вывоз вина позволял уравновесить торговый баланс Роаннэ, и виноградарство продолжало там развиваться вплоть до середины XIX века: так, в 1809 году производство вина составило 130 000 двойных гектолитров [211]. Как и в Безансоне, «упадок виноделия был вызван появлением железной дороги», ибо конкурировать с винами Юга оказалось невозможно [212]. Но даже и сегодня виноградники здесь не исчезли, хотя уже и не занимают так много места.

Виноград на «роаннском склоне» не поднимается выше определенного уровня. Над ним растет лес, состоящий из строевого дуба, бука, каштана; ныне с этими породами все более соперничают хвойные посадки, которые считаются более доходными. Еще выше лес, в свою очередь, уступает место безлесым вершинам, похожим на вогезские «стерни» — обширные луга, «где обильно растет тростник и застаивается вода», образуя «кое-где ямы — «нульеры» или «бульеры», в которых коровы... по колено увязают в грязи» [213].

Ныне, с выходом из употребления буковых сабо, отказом от древесного угля, частичным упадком местного виноделия и общим сокращением сельского населения, горы и их склоны сильно пострадали экономически и становятся все более безлюдными. Первенство переходит к равнине, пережившей подъем благодаря современному сельскому хозяйству и активно развивающейся промышленности. Проезжающему через нее сегодня равнина представляется «выпасным бокажем», оздоровленным с помощью дренажных рвов, где всюду рассыпаны деревья и стоят

большие дома с четырехскатной крышей, глинобитными стенами и оконными наличниками из местного желтого камня...

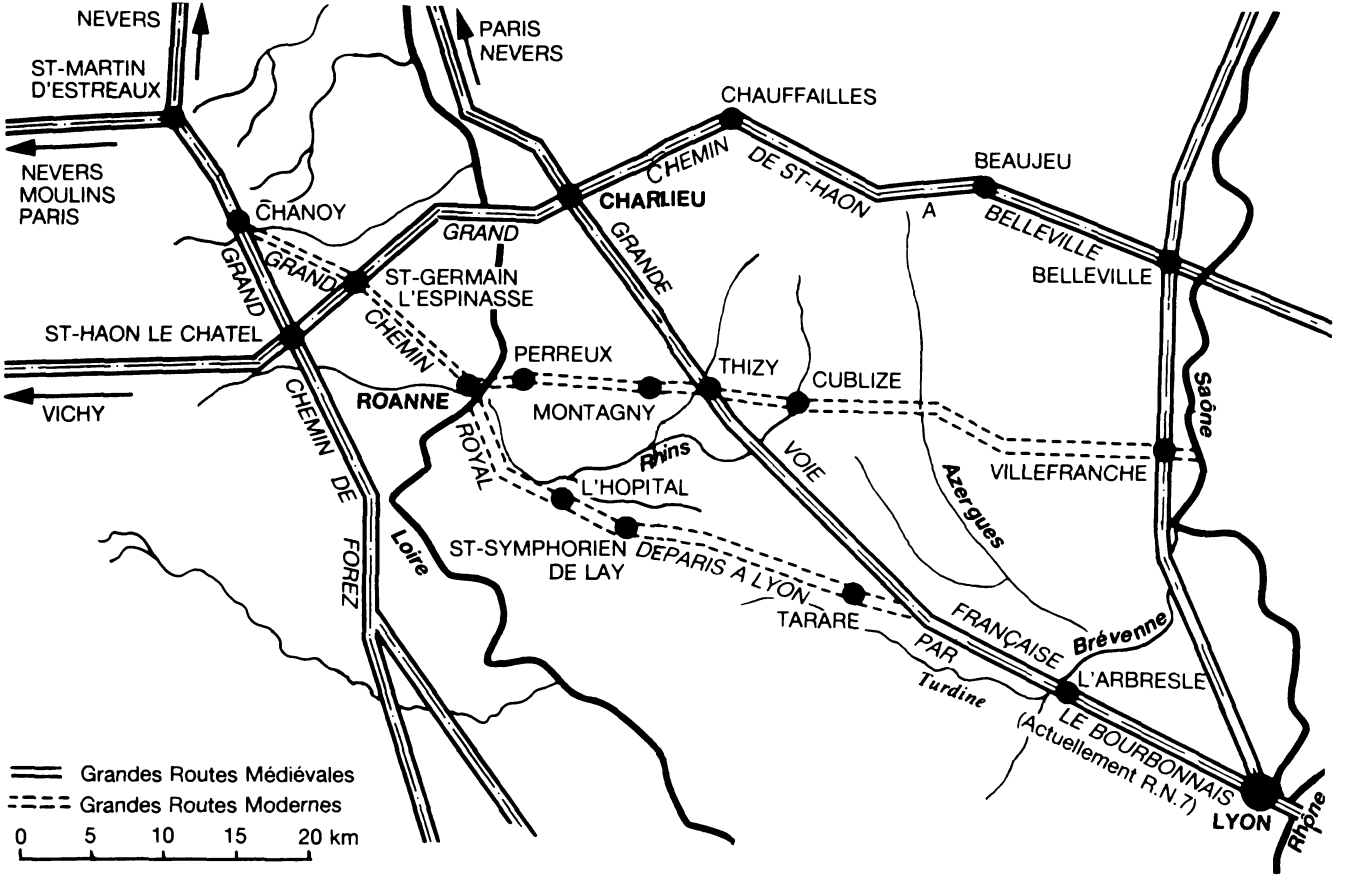
Излишне говорить, что Роаннэ как в прошлом, так и в настоящем следует оценивать не изолированно, а в соотношении с общим хозяйственным оборотом на всей территории Франции; в этом обороте он обрел свое позднее, но важное значение, и этот оборот предопределил необыкновенную судьбу самого города Роанна. Дело в том, что Луара служит как бы шарниром, соединяющим два взаимодополнительных мира — с одной стороны, Северную, с другой — Южную Францию. Роаннэ размещается точно на линии их сочленения — настолько точно, что в северной его части (включая город Роанн) говорят на диалектах «ойль», а в южной — на диалектах «ок»!

Эти две Франции искони вели между собой обмен товарами, людьми, культурным достоянием... С весьма ранних пор для этого стали использоваться две дороги: одна шла по долине Роны — Соны, через Арль, Авиньон, Оранж, в Лионе пересекала Рону по сооруженному ранее 1190 года Гийотьерскому мосту и следовала дальше вдоль долины Соны в сторону рейнских областей, Шампани и Парижа; вторая использовала долину реки Алье — купцы из Эг-Морт или Монпелье проезжали по ней через Ним, Алес, Ле-Пюи, Монферран и направлялись дальше к северу.

Позднее, в XIV веке, появился дополнительный путь через верховья Луары — *третья* дорога, которая также начиналась в Ле-Пюи, проходила через Форез, через Сен-Жермен-Лаваль (то есть обходя стороной Роанн), после чего достигала Невера...

К этим меридиональным путям примыкала сеть поперечных дорог, которые вели на запад в Овернь или на восток в долину Соны.

Где дороги — там и города. Как только в XIV столетии на дорогах усилилось движение, на мало кого привлекавших до тех пор землях Роаннэ стали возникать и новые города, строившиеся под прикрытием какого-нибудь замка или, реже, монастыря. Без особых затруднений они добивались для себя вольностей, и вскоре в них — иногда защищенные городской стеной, а иногда и без нее — уже создавались рынки и сосредоточивалось немалое по тем временам население, от 1000 до 3000 жителей: таковы Виллере, Сент-Ан-ле-Шатель, Сен-Жермен-Лаваль, (дорожный узел), Сервьер, Сен-Жюст-ан-Шевале, Ле-Крозе, Неронд и в особенности Шарлье — раньше других возникшее и наиболее активное поселение на правом берегу Луары, при скрещении «Великого Французского Пути» из Лиона в Париж с поперечной дорогой, связывавшей Луару с Соной на уровне Бельвиля. Этот небольшой город на окраине Брионнэ, с множеством романских храмов, еще и по сей день


NEVERS
ST-MARTIN D'ESTREAUX
NEVERS MOULINS PARIS
PARIS NEVERS
CHANOY
GRAND
GRAND
GRAND
ST-GERMAIN L'ESPINASSE
CHEMIN
ST-HAON LE CHATEL
VICHY
ROANNE
CHEMIN DE FOREZ
ROYAL
CHARLIEU
CHAUFFAILLES
CHEMIN DE ST-HAON A BEAUJEU
GRANDE
BELLEVILLE
BELLEVILLE
Saône
PERREUX
THIZY
CUBLIZE
MONTAGNY
VOIE
Rhins
Azergues
VILLEFRANCHE
L'HOPITAL
ST-SYMPHORIEN DE LAY
Loire
DE PARIS A LYON
TARARE
FRANÇAISE PAR
Turdine
Brévenne
L'ARBRESLE
LE BOURBONNAIS (Actuellement R.N.7)
LYON
Rhône
Grandes Routes Médiévales
Grandes Routes Modernes
0 5 10 15 20 km

сохраняет следы былого величия — например, восходящий к XII веку церковный притвор, уцелевший от давно уже разрушенной монастырской церкви.

Роанн, или Торжество транспорта. В XIV веке, когда перечисленные выше населенные пункты уже были небольшими городами, Роанн оставался деревней, население которой, по-видимому, не превышало 400 человек. Свой первоначальный подъем он пережил лишь в конце следующего века, вскоре после Столетней войны. В чем же состоял его главный козырь? Здесь, пройдя по ущелью Виллере сквозь высокое Нелизское поле, Луара становилась судоходной, начинала «поднимать суда» [214]. Этот козырь сумел распознать казначей Карла VII Жак Кёр (1395—1456); получая доход от железных, медных и свинцово-серебряных рудников Роаннэ, которое стало его владением, он не мог не оценить местоположение Роанна на Луаре, поскольку добываемые руды предназначались им для его беррийских, орлеанских и туренских плавилен. Стараниями Кёра в Роанн были посланы беррийские корабельные плотники и речники — некоторые считают, что эти переселенцы как раз и положили начало сообществу неугомонных, сварливых и драчливых матросов, сыгравшему важную роль в истории Роанна [215]. Но стоит ли преувеличивать эпизодическую роль Жака Кёра?

На самом деле «взлет» Роанна начался позднее и был обусловлен двумя очевидными причинами.

Первая и главная из них — неуклонное, хотя и очень медленное, развитие дальнего сообщения между Лионом и Парижем, то есть между Роной, Луарой и Сеной. Роанн как раз и рос вместе с этим сообщением между двумя главными полюсами экономической жизни Франции — Парижем, который веками служил необоримо притягательным властным центром, и Лионом, чье величие в новые времена началось с того дня, когда Людовик XI в 1463 году пожаловал ему привилегии на устройство ярмарок. Разумеется, сообщение между ними обрело настоящее (относительное) совершенство лишь с открытием Бриарского канала (1642), то есть около двух столетий спустя; этот канал положил конец

ПЕРЕХВАТ РОАННОМ ТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ ШАРЛЬЕ

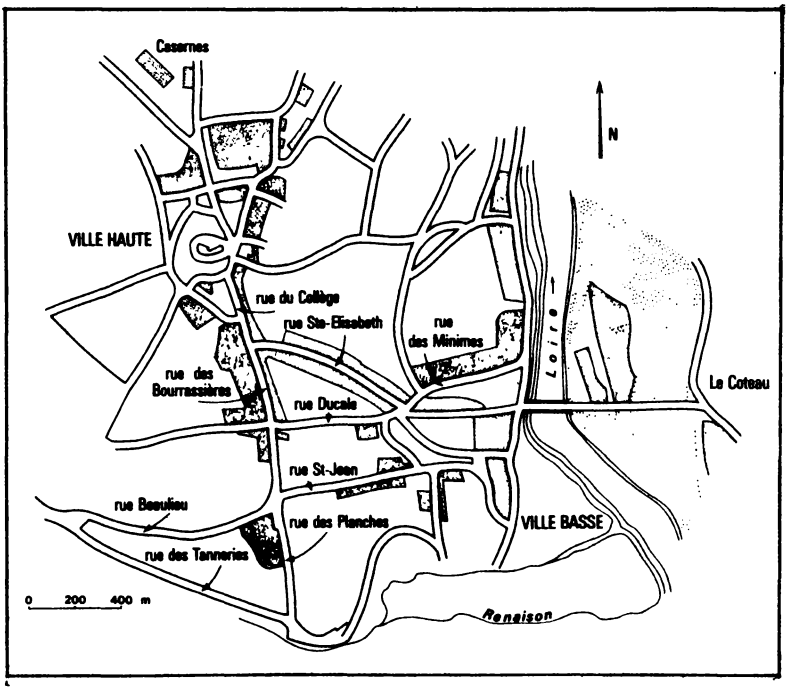
Условные обозначения на карте: ═══ Средневековые дороги.
= = = Современные дороги.

перегрузке товаров, которые прежде приходилось везти на подводах между Луарой и Сеной.

Вторая причина заключалась в том, что Роанн оказался (хотя и в силу обстоятельств, отнюдь не зависевших от его воли) на пути, ведущем от Соны к Луаре через горы Божоле. Вплоть до XV века путь этот, начинаясь в Бельвиле (речной пристани города Божё-на-Соне), шел по перевальной дороге до Шарлье (о его рано проявившемся значении как дорожного узла уже было сказано выше). Но в XV веке Божё уступил свою роль центра всего Божоле Вильфраншу, от которого и начался новый сухопутный мост между Соной и Луарой, новая перевальная дорога, на сей раз ведущая в Роанн. Вскоре грузовые потоки из Лиона, вместо того чтобы двигаться по старинному Великому Французскому Пути прямо в Невер и Париж, стали следовать через Роанн, где товары грузились на суда, причем одновременно совершенствовались дороги через Тарар. В 1449 году это стало свершившимся фактом [216] (см. карту на с. 180).

Трудно представить себе, сколь трудной была некогда эта дорога, если ехать сегодня по национальному шоссе № 7, которое идет почти тем же самым маршрутом, по долинам Ренса и Тюрдина и через Соважский перевал, который, разделяя долины этих речек, обозначает и водораздел между Луарой и Роной [217]. В старину этот путь был «тяжек — не столько по причине высоты, сколько из-за неровности и перепадов дороги, идущей то вниз, то вверх»,— так рассказывал в XVII веке Эли Бракенхофер, путешественник из Страсбурга, чей путевой дневник дошел до наших дней. Французскому послу в Риме маркизу де Фонтену, ехавшему одновременно с ним «в карете с застекленными окнами», запряженной шестеркой белых лошадей, которые очень скоро с головы до ног перепачкались в желтоватой грязи,— пришлось, проехав Тарар, «припрячь в карету восемь волов, дабы удобнее было выезжать». Так обстояло дело в 1644 году [218]. Но еще и в канун Революции, как ни улучшились дороги в XVIII веке, а все-таки, чтобы перевалить через тарарскую «гору», в дилижанс запрягали волов! Легко представить себе поэтому, как тяжко было перевозить *товары* между Роной и Луарой,— тут впору говорить прямо-таки о подвиге.

Но ничуть не легче было и плавать по Луаре! Глядя сегодня на эту реку, укрощенную многочисленными дамбами, с песчаными косами вдоль берегов, заросших растительностью и заваленных плавником и всякого рода наносами,— трудно подумать, что еще не так давно то была неистово дикая река, хотя по ней и ходило множество судов. Один историк даже небезосновательно заявляет, что «Луара никогда не была



ГОРОД РОАНН В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА

по-настоящему судоходной» [219]. «Водное сообщение по Луаре держалось не столько благосклонностью природы, сколько волевыми усилиями людей»,— заключает, в свою очередь, Франсуа Бильякуа. Точнее не скажешь!

Но ставка была слишком уж высока — для верхней Луары речь шла о том, чтобы взять на себя изрядную часть всего товарообмена «север — юг», как сухопутного, так и речного. По долине Роны сюда доставлялись скобяные изделия, оружие и доспехи, ткани (сукна, полотна, шелка), галантерейные товары и разнообразные продукты с Юга — миндаль, лесной орех, растительное масло, инжир, оливки, лимоны, виноград, пробковая кора, а также бесчисленные бочки с сыром... Плюс к этому — товары из Леванта (в том числе хлопок) или же из Италии. Лион служил столь крупным центром транзита, что в него, бывало, даже доставлялись по Соне амьенские сукна и через Роанн следовали дальше по Луаре, выгружаясь, как и прочие товары, в разных местах

на всем ее протяжении [220]. Сюда же по реке Алье поступали и всевозможные товары из Оверни: апремонский или вольвикский камень, мельничные жернова, кирпич, черепица, бумага из Тьера и Амбера, которая в XVII веке даже экспортировалась через Нант в Испанию, солома, вино, строительный лес, фрукты, древесный уголь, каменный уголь из шахт в Бурбоннэ и даже вишийская минеральная вода, весьма ценившаяся парижанами уже в XVII веке [221].

В обратном направлении, вверх по реке, движение было слабое, перевозились в основном легкие товары — марена, древесный уголь, бочки с сельдью, ткани, американский сахар и кофе... Еще, правда, до самых верховьев и даже по нижнему течению Алье везли атлантическую соль. И был еще один неизменно присутствовавший тяжеловесный товар — зерно, всякий раз когда где-либо нужно было восполнить его нехватку. Поскольку в Роаннэ зерна недоставало ежегодно, то нередко для снабжения края также использовались луарские дороги, которые вели в Пуату, в Бос, в Овернь, даже в атлантические порты. Так, в 1652 году урожай сняли плохой, но «как только на речке Луаре сошел лед, в январе 1653 года прибыло для пропитания народа столько судов с хлебом, рожью, пшеницей, горохом, бобами, грушами, вареньями... что они стояли у всех пристаней на Луаре, от Орлеана до Руана [Роанна], и было все это [разумеется, зерно, а не суда], как рассказывали, из Польского королевства...» [222] В 1529, 1531, 1543 годах, когда Лион страдал от голода, туда доставляли зерно из области Бос — до Роанна судами, а далее на подводах [223]. В 1709 году был недород всюду — по тем же путям из Орлеана шли караваны судов с зерном для снабжения армии в Дофинэ [224].

Случались и обратные перевозки, когда левантийское зерно, выгруженное с морских кораблей в Марселе, доставляли в Роанн, чтобы отсюда отправить в Париж. Так было в 1710 году, и этот случай дает нам возможность оценить объем сухопутных перевозок между Лионом и Роанном [225]. Лучше всего будет просто воспроизвести основное содержание имеющегося у нас документа, где содержатся точные цифровые данные; только за ними нужно внимательно следить, как за условиями тех арифметических задачек, которые в былые времена использовались в начальной школе в качестве ловушки для маленьких учеников. Цитируя, я буду попутно делать необходимые пояснения, обозначая их курсивом в квадратных скобках.

«В приходах *[то есть деревнях]* близ Лиона со стороны гор *[то есть с западной стороны]* обычно набирается 600 погонщиков волов, каждый из которых за неделю делает лишь одну поездку до Тарара *[то*

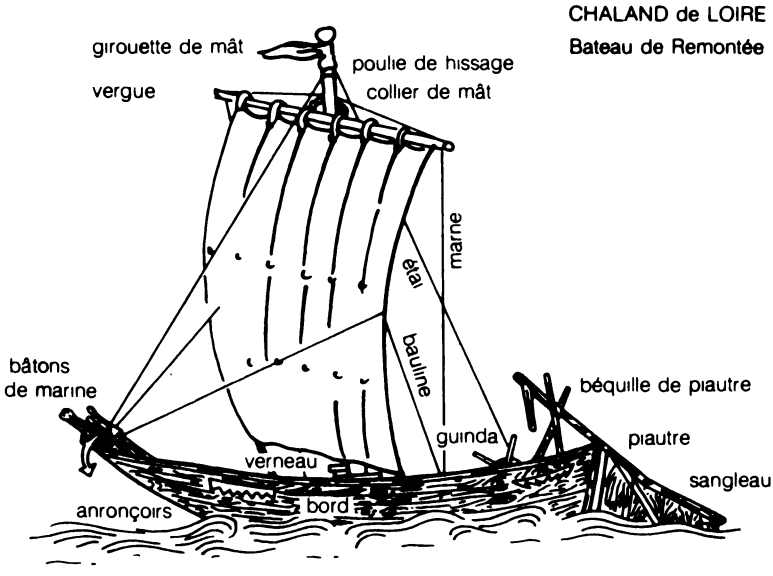
есть на третью часть пути], потому что шесть дней у них уходит на погрузку в Лионе, на дорогу от Лиона до Тарара, на разгрузку *[как будет видно далее, речь идет о перегрузке]* в Тараре и возвращение в Лион, седьмой же день — это воскресенье, когда они не работают. Итак, ежедневно в Лионе загружаются 100 упряжек *[то есть сто подвод]*, каждая из которых перевозит в среднем 8 квинталов полуфунтовых мер [226]. Стало быть, 100 упряжек перевозят 800 квинталов, что составляет 374 сетье зерна, считая в одном сетье по 230 фунтов. Такое же количество в 600 воловьих упряжек служит ежедневно для сообщения от Тарара до Сен-Сифорьена *[так!]* * и от Сен-Сифорьена до Роанна. Таким образом, еженедельно из Лиона в Роанн перевозят 2 244 сетье, что составляет 187 мюйдов. По дороге же из Бельвиля в Пуллина-Луаре *[так!]* ** ежедневно перевозится в среднем 150 сетье зерна. За неделю это составляет 900 сетье, или 75 мюйдов. Итого *[187+75]* 262. Но поскольку время от времени случаются праздники, когда погонщики, как и в воскресенье, не возят грузов, то это количество следует сократить приблизительно до 250 мюйдов».

Если у читателя достало терпения внимательно дочитать до конца этот документ, он поймет, что речь здесь идет о регулярных, сверхплотных перевозках на крестьянском транспорте: 1 800 воловьих упряжек движутся неторопливой чередой (примерно со скоростью 14 километров в день), сменяясь через каждые 7 километров, то бишь на каждом километре в гору и с горы едут более 20 подвод — по одной через каждые 50 метров! А мы-то, автомобилисты, еще жалуемся, что приходится обгонять или пропускать во встречном направлении слишком много грузовиков! Каково же было тогдашнему путешественнику, ехавшему в карете или дилижансе?

Что касается объема перевозок зерна между Лионом и Роанном, то в документе он исчисляется в размере 187 мюйдов в неделю (парижская мера). Возьмем цифру в 180 мюйдов, учитывая скидку, рекомендуемую документом; получаем 9 360 мюйдов в год или, считая один мюйд за 18 гектолитров, 168 480 гектолитров — приблизительно 140 400 квинталов, или 14 000 тонн. Таков был *максимальный* объем перевозок, когда дорога использовалась в полную меру своих возможностей. Действительно, в первых строках документа указывается, что всего на Юте хранилось 3 200 мюйдов парижской меры зерна, но для их доставки в столицу потребовалось несколько месяцев, хотя в тот голодный год хлеб ожидался

* На самом деле — Сен-Семфорьен. *(Ред.)*

** На самом деле не Пулли (Poully), а Пуйи (Pouilly)-на-Луаре. *(Ред.)*



БОЛЬШАЯ ЛУАРСКАЯ ШАЛАНДА

Судно показано с поднятым парусом; виден неподвижный руль; на каждом борту у носа и у кормы размещаются деревянные ключины в форме зубьев пилы, позволяющие зафиксировать в них большой шест и, отталкиваясь им, быстро менять ход судна; на корме кабестан для натягивания штага мачты. Воспроизводится по книге: Biton G. Bateaux de Loire. 1972—1976.

с нетерпением. К сожалению, поскольку перевозки из Лиона на Луару «наиболее трудны, то именно ими определяется, сколько зерна еженедельно будет поступать в Париж» [227],— всего лишь 250 мюйдов, несмотря на использование сразу двух параллельных дорог.

Цифра в 14 000 тон в год — это, разумеется, лишь порядок искомой величины, поскольку перевозившиеся товары не всегда имели тот же объемный вес, что зерно, а с другой стороны, дорога вряд ли постоянно эксплуатировалась на полную пропускную способность. Впрочем, последнее тоже не исключено, учитывая, что здесь находилось, как мы бы сейчас сказали, узкое место транспортного потока. Следует признать, что наша цифра не так уж и мала — она равнозначна грузоподъемности 6—7 морских кораблей среднего водоизмещения. И речь идет о перевозках по дороге с трудным рельефом, еще до усовершенствования средств

сообщения в XVIII веке. Возрос ли объем перевозок в результате этих усовершенствований? По-видимому, да, поскольку в военное время в XVIII веке Прованс и Лангедок пользовались дорогой из Роанна в Париж [228], избегая морских перевозок, которые могли быть перехвачены англичанами. Но случайно ли, что когда во Франции по инициативе частных промышленников в 1823—1828 годах, еще до появления парового локомотива (1831), были проложены первые железные дороги, то линии эти связывали Сент-Этьенн с Лионом и Сент-Этьенн с Роанном через Андрезье? Ибо, как объясняли в 1826 году акционерам этой первой железной дороги, она представляла собой «вернейшее средство... осуществить наконец на благо всем столь давно чаемое предприятие — соединить Луару с Роной» [229]!

Гораздо лучше нам видно с нашей исторической высоты, как осуществлялись перевозки по «речке» Луаре. По ней ходили тысячи судов, которые все строились плоскодонными, во избежание страшившей всех речников опасности сесть на каменистую мель, наскочить на грозный песчаный перекат, а то и на подводную скалу или донную корягу. Безопасного плавания не гарантировали даже расставленные вдоль фарватера бакены: их все время приходилось переставлять, так как после каждого паводка рельеф дна совершенно изменялся. На некоторых отрезках Луары, где она растекается вширь и образует протоки и острова, «так что ее везде понемногу и нигде, собственно, нет» [230], впереди судов шла специальная плоскодонная лодка («ту»), по мере надобности подавая им команды голосом и провешивая фарватер длинными шестами из орешника или бузины.

Большинство луарских судов, строившихся из ели (их так и называли: «сапины», «сапиньеры» * или же «саламбарды» — по искаженному названию города Сен-Рамбер на Верхней Луаре, где находились крупные верфи,— а те, что приходили с реки Алье, именовались «оверньятками»), служили только для плавания вниз по реке: в пункте назначения команда сходила на берег и возвращалась в Роанн пешком, а сами суда обыкновенно «разбивались» и распиливались на дрова или же, как говорится в «Статистическом ежегоднике департамента Луара за 1809 год», «продавались для разборки и использования в крупных и средних плотницких работах». Обратная перегонка вверх по течению обходилась бы в 400—500 ливров за судно, в то время как его можно было, купив в пункте отправления за 300—500 ливров, продать в Париже за 100. К тому же строились они наскоро, не очень прочно, а «прода-

* От фр. sapin — ель. *(Ред.)*

вались зачастую целыми десятками, одна барка вложена в другую». Нескольких рейсов они бы и не выдержали [231]. Напротив, суда, предназначенные для плавания как вниз, так и вверх по течению и рассчитанные на срок службы около десяти лет, строились из дуба и с большим тщанием. То были древнейшие «габары», называвшиеся также «габорио», «камюзы» или «шеньеры», а к концу XVIII века преобладающим стало наименование «шаланда». Эти узкие суда длиной в 9—15 метров, оснащенные большим парусом, обычно поднимались по реке караванами из трех, пяти или шести кораблей, связанных друг с другом. Только первый из них — «материнский» — шел, пользуясь рулем и под высоко поднятым парусом, у остальных же парусность убывала, чтобы облегчить действие ветра. На буксире они тянули за собой цепочку «аллежей» — плоскодонных лодок длиной пять-шесть метров. Все вместе составляло внушительный караван [232]. Но стоило лишь налететь сильному ветру, и вот уже, как 14 сентября 1709 года, два последних суденышка в цепи «сносят корму третьему, пустив его ко дну» [233].

Такие рейсы, полные случайностей и риска, опасные в зимний паводок, вовсе невозможные в летнее мелководье, занимали по нескольку недель даже при спуске вниз по реке, и для матросов, вынужденных — как на Луаре, так и на Алье — постоянно маневрировать, то была настоящая каторга, не говоря о том, что спать им приходилось в тесноте на хозяйском судне [234], на голой соломе. Короткую передышку давали лишь остановки с ночлегом на берегу. Зато, закончив рейс, матросы возвращались домой пешком, проводя время в веселье, отдыхе и транжирстве.

Итак, речной флот плавал главным образом вниз по Луаре. В то же время совершались и сотни рейсов вверх по течению. Из них, по-видимому, около пятидесяти в год доходили до Роанна, в то время как вниз с верховьев Луары и Алье следовало несколько тысяч судов в год. В 1789 году добросовестный географ Ж.-А. Дюлор [235] упоминал о стоящих у роаннской пристани судах с «огромными» развернутыми парусами, «груженных товарами из Нанта и иных городов по берегам Луары, которые затем на подводах возят до Лиона». В дополнение к парусу эти суда использовали и ручную тягу, двигались чрезвычайно медленно, часто даже останавливаясь в ожидании попутного ветра. В итоге колониальные товары «на сих открытых судах дольше поднимаются на 100 лье по реке, нежели они доставлялись из Америки во Францию», и потому сильно рискуют попортиться в дороге, как утверждал некий Сенсон из Орлеана, ратовавший за то, чтобы на Луаре, как и на Роне, суда тянули не вручную, а с помощью тяглового скота. Но это решительно невозможно — объясняет пространная докладная запис-

ка, служившая ответом на записку Сенсона. Серьезные препятствия не дают лошадям идти вдоль берега Луары: над рекой почти всюду возвышаются дамбы, местами круто обрывающиеся на 5—6 метров, а сходы к воде слишком редки и недостаточно широки — люди еще могут осторожно по ним пройти, а лошади нет [236].

В бурлаки нанимались крестьяне с берегов Луары. Некоторые из них поступали также и в помощники судовым командам, но настоящие речники составляли обособленный, замкнутый в себе мирок, как это характерно для узких социальных групп в дореволюционной Франции. Поэтому для деревенских у них были наготове целые потоки брани — «навозники», «головотяпы», «грязнозадые»... Оскорбленные не оставались в долгу, обзывая своих обидчиков «заячьими душами», «рыбьей холерой», «речными засранцами» [237]. Что это такое — классовая борьба или же состязание горлопанов?

Во всяком случае, многочисленные иски, подававшиеся роаннскому бальи [238], ясно показывают необузданность матросских нравов. Речь идет, правда, о мелких инцидентах — побоях, ранениях, оскорблениях,— но уж очень большую роль в них играют люди с «речки». Они были способны и на бунт против гражданских властей, чтобы, как сказано в одном сравнительно позднем тексте [239], «отразить силу силой». Вполне возможно также, что они, сверх того, были еще и «лживы, не держали слова, обманывали без зазрения совести». Обо всем этом предупреждали страсбургского путешественника Эли Бракенхофера: речники обступают проезжающего и всячески морочат ему голову, с ними лучше обо всем точно уславливаться вперед — и о харчах, и о вине, и об остановках во время плавания по реке, и о том, чтобы на борту находился сам судохозяин. Золотое правило — платить только в конце пути... Однако в итоге Эли Бракенхофер, наняв по совету роаннских купцов судно, на котором за год до того ездил Людовик XIII, признает: «Нам не пришлось заметить у наших корабельщиков каких-либо пороков, ибо вели они себя с нами исправно и честно» [240].

Кстати, можно предположить, что путешественники спешили в Роанн не столько затем, чтобы быстрее добраться до Парижа (выигрыш тут сомнителен: в 1737 году почтовая карета доезжала из Лиона до Парижа за пять дней, меж тем как луарская «кабана» только от Роанна до Орлеана плыла целых три дня, да и то в хорошую погоду) [241], сколько стремясь избежать утомительной езды верхом или в карете. На специально строившихся для них легких судах — так называемых «кабанах», поскольку на палубе у них сооружались, как мы бы сейчас сказали, «кабины»,— путешественники плавали

с относительным комфортом. Во всяком случае, таким способом передвижения не пренебрегали сильные мира сего. В 1447 году, когда король Рене [242] поднимался по Луаре из Анже в Роанн, направляясь в свое графство Прованс, по реке тянулась «длинная вереница лодок, накрытых навесами, украшенных флагами и везших на своем борту принцев и придворных, а равно ковры, посуду, сундуки с имуществом». В 1481 году «его бренное тело тайно было отправлено в последний путь в обратном направлении, от Роанна до Пон-де-Се и ниже по реке, чтобы завершить плавание в добром его городе Анже» [243]. Среди других знаменитых путешественников — Людовик XI в 1476 году, ехавший из Ле-Пюи; Франциск Пауланский в 1482-м; Карл VIII в 1490-м; Людовик XII в 1498-м [244]; маркиз де Салюс в 1539-м (чтобы скрасить себе плавание, он взял с собой на борт «ватагу скрипачей») [245]; Генрих III и Екатерина Медичи — летом 1584-го; Карл-Эммануил Савойский в 1599-м [246]; Генрих IV, возвращавшийся в январе 1601 года в Париж с театра военных действий против Савойи. А также Людовик XIII, Ришелье, госпожа де Севинье...

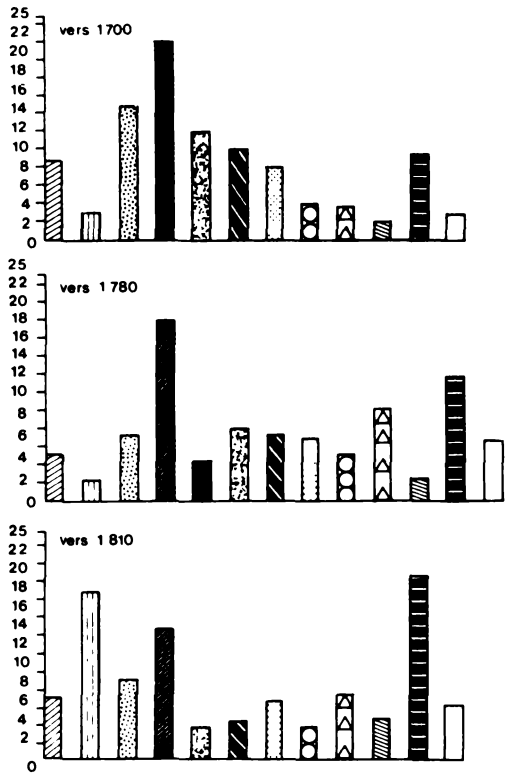
Как пассажирские, так и грузовые перевозки продолжали развиваться в XVIII веке. Прежде всего, жажду охочего до пития Парижа

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ РОАННА

Наряду с общим ростом населения необходимо отметить следующие особенности: мощный подъем третичного сектора экономики и численный рост буржуазии; резкое сокращение занятых в сельском хозяйстве; относительное снижение числа речников (соответствующее некоторому уменьшению речных перевозок); постоянный рост числа занятых в сухопутных перевозках; заметный рост ремесленных профессий (в частности, строительных); наконец, значительное увеличение числа поденщиков, составивших в 1810 г. самую крупную социальную группу,— признак пролетаризации простонародья, идущей параллельно с обогащением высших классов.

Подписи под диаграммами. Левая колонка (сверху вниз): Судейские, люди свободных профессий. Буржуа, рантье, землевладельцы. Торговцы и купцы. Ремесла, связанные с продовольственным снабжением. Текстильные ремесла, в том числе ткацкие и красильные. Кожевенные ремесла. Прочие профессии.

Правая колонка (сверху вниз): Ремесла, связанные с судоходством по Луаре. Бочары. Сельскохозяйственные профессии. Строительные ремесла. Ремесла, связанные с сухопутными перевозками. Поденщики.



hommes de loi, professions libérales
bourgeois, rentiers, propriétaires
marchands
métiers de l'alimentation
métiers du textile
dont : tisseurs et teinturiers
métiers du cuir
autres professions
métiers liés à la navigation sur la Loire
tonneliers
professions agricoles
métiers du bâtiment
métiers liés aux transports terrestres
journaliers

стали утолять виноградари роаннского «склона» и гор Божоле, откуда ежегодно вывозилось соответственно до 30 000 и 50 000 гектолитров вина. Не все эти бочки везли через Роанн: вино из Божоле и из Бургундии грузили на суда также и в Пуйи-су-Шарлье, Десизе, Дигуэне и даже прямо в деревнях и городках по берегам Луары, каждый из которых имел «порт», то есть просто маленькую пристань. Но, бесспорно, львиная доля этих перевозок приходилась на Роанн.

Вторым, решающим стимулом к развитию явилось с 1728 года продление судоходства по Луаре от Роанна до Сен-Рамбера, что позволило включить в хозяйственный оборот ущелья, пробитые Луарой сквозь Нелизское плато. Тем самым осуществились давние проекты, первый из которых восходил к 1572 году, и пришли к своему завершению многолетние работы под руководством некоего Пьера де Лагардетта, за которым, как можно понять, стояло целое акционерное общество, выделившее для спрямления русла значительные капиталы — на выкуп у хозяина преграждавшей узкое ущелье мельницы, на плату дюжине других мельников, чтобы они оставили на реке пригодные для судов каналы, на удаление опасных подводных камней и коряг... В общем, работа была трудная, долгая, рискованная. Постановление Королевского совета, разрешавшее работы, датировано 2 мая 1702 года, а сами работы «были приняты как должным образом исполненные лишь в 1725 году» [247]. В принципе подрядчик должен был продолжить обустройство речного русла еще выше Сен-Рамбера, до Монистроля. Но Пьер де Лагардетт, обоснованно или нет, не стал выполнять эту часть своего подряда, сославшись на невыполнимость такой работы. Деловые люди во множестве заявляли претензии, предлагали собственные услуги, устроили настоящую кампанию за продолжение работ. К примеру, сен-рамберские кораблестроители, обуреваемые праведным гневом, задумали соорудить в Монистроле два судна; одно из них было унесено мощным паводком, зато второе 14 мая 1756 года благополучно добралось до пристани Сен-Рамбера, доказав — увы, напрасно,— что такое вполне осуществимо.

Вернемся, однако, к интересующей нас проблеме. Удлинение судоходного участка реки вверх от Роанна до Сен-Рамбера преследовало по меньшей мере две цели. Прежде всего это разработка еще девственных в ту пору лесов вокруг Сен-Рамбера, позволившая создать у этой маленькой пристани центр кораблестроения, в скором времени занявший почти монопольное положение в сооружении лодок для плавания по *всей* Луаре. Каждый год здесь спускали на воду не менее тысячи судов, а в дальнейшем еще больше: накануне Революции — 1 500 (если

только мои расчеты достаточно точны), а к 1822 году, согласно молодому историку Дени Люийя [248],— около 2 800. Эти корабли шли в Роанн иногда порожняком, иногда с грузом леса или же — все чаще и чаще — каменного угля. Уголь на подводах или во вьюках доставляли из сент-этьеннского бассейна к маленькой пристани Сен-Жюст, располагавшейся ниже сен-рамберского моста, откуда и начиналось движение судов. По прибытии в Роанн каждый корабль, с грузом или без груза, платил 400 ливров пошлины; компания судоподрядчиков перегородила там реку рядом вбитых в дно кольев, а проход для судов был перекрыт цепью.

«Сапиньеры» брали на борт максимум 15 тонн угля; по прибытии в Роанн их укрепляли под дополнительную нагрузку, доходившую до 20 тонн. От всех этих перевалок город получал дополнительный доход. По мерам того времени, грузооборот вина и каменного угля был огромен — более 2 000 кораблей в год, то есть около 40 000 тонн [249]; уголь, требовавшийся прежде всего для Севрской мануфактуры, доставлялся в Париж по Бриарскому каналу.

Капитализм и феодализм. Но не следует представлять себе Роанн в XVIII или начале XIX века чрезвычайно процветающим городом. Он по-прежнему оставался невелик — в 1800 году 6 992 жителя, плюс 810 человек в примыкавшей к нему коммуне Париньи [250]. Не будучи окружен стеной — что показательно, хотя и не составляет решающего признака,— он в силу этого, как писал Ж.-А. Дюлор в 1789 году [251], «не имеет звания города, его до сих пор называют городком, хотя и прибавляют, что это красивейший городок во Франции».

Действительно, занимая господствующее положение на одном из главных транспортных путей всей страны, Роанн тем не менее не был крупным деловым центром. Как и в любом городе, в нем имелся широкий спектр различных ремесел; имелись адвокаты, врачи, купцы, торговавшие разными товарами; имелись даже крупные негоцианты, чьи состояния можно оценить по посмертным описям имущества, а к 1700 году — также и десяток коммерческих агентов, которые, правда, довольствовались тем, что получали товары от лионских фирм и отправляли их, как правило, в Париж [252]. Наконец, жили в нем и несколько высокопоставленных лиц, облеченных почетными должностями, но державшихся несколько в стороне от городской жизни. Должности эшевенов, учрежденные и продававшиеся королем наряду с уже имевшимися должностями консулов (1657),

совершенно не привлекали богатых людей. Быть может, потому в городе и было столь дурное управление или даже вовсе никакого управления: всюду грязь, улицы скверно вымощены и вечно требуют починки? А может быть, в этом он всего лишь походил на большинство городов своего времени?

Историку, вглядывающемуся в прошлое, естественно обратить свое внимание на транспортный сектор хозяйства. В принципе, именно в этом секторе должны были бы сосредоточиваться богатства и возникать новые капиталистические отношения. Однако даже и в этом сердце деловой активности города не встречается блестящих коммерческих удач. Экономический подъем кое в чем изменил жизнь корабельных плотников и речников. Здесь понемногу развивался примитивный капитализм. Так, возникло различие между судохозяевами и купцами-корабельщиками: первые сами трудились на борту своих судов вместе со своими компаньонами, вторые же владели несколькими судами с наемным экипажем. Благодаря экономическому оживлению XVIII века стали постепенно появляться транспортные предприятия, приносившие доход мелким капиталистам: образцовым примером может служить разбогатевшее семейство Берри-Лабарр, владевшее судами и верфями. В 1765 году Пьер Берри-Лабарр и еще несколько менее крупных хозяев были теми «негоциантами, что осуществляли почти всю возможную коммерцию» между Сен-Рамбером и Роанном [253]. Следует ли понимать здесь под «коммерцией» также и закупки каменного угля (основного груза на этом участке реки) или же только его транспортировку?

И в том и в другом случае подобная монополия значила немало. Не случайно упоминаемый в тех же бумагах вексель был выдан именно в кругу этого могущественного семейства. Однако успех и могущество вызывают к себе вражду и противодействие. 25 сентября 1752 года мелкие судохозяева захватили груженные углем суда фирмы и изъявили намерение сами вести их до самого Парижа. Мелкое, но показательное происшествие [254]. Берри-Лабарры не имели полной свободы рук и сталкивались с сильными конкурентами. Кроме того, даже при отсутствии точных цифр невозможно отделаться от впечатления, что капиталисты, появлявшиеся в среде речников, были не очень-то богаты. Действительно, до Революции деятельность в сфере транспорта никогда не приносила высоких прибылей [255]. Если здесь и сколачивались очень крупные состояния, то их следует искать на другом социальном уровне.

По сравнению с корабельными предпринимателями более бесспорным капиталистом выглядит плохо нам известный Пьер де Лагардетт. Его предприятие с самого начала основывалось на крупных капиталах порядка 500 000 ливров, предоставленных значительной группой креди-

торов (в 1792 году, когда пришла пора ликвидации и имущественных претензий, их набралось сорок). Кроме того, ежегодные расходы на обустройство реки (включая необходимую расстановку бакенов) превышали 4 000 ливров, да и для взыскания пошлинных выплат требовался довольно многочисленный персонал. Выплаты же эти колебались вокруг цифры в 50 000 ливров в год — скромный доход по сравнению с вложенным капиталом, который в течение нескольких лет, пока велись работы, и вовсе не приносил ничего. По оценочному и весьма приблизительному расчету прибыль не должна была превышать 8%. Однако нам неизвестны «секреты» этого предприятия, которое, по-видимому, имело немало ответвлений. Сохранились, например, документы, согласно которым сьер Вернон, «помощник уполномоченного Лионского интендантства», в ноябре 1765 года состоял в числе владельцев «нового судоходства», то есть был, видимо, одним из акционеров. Или еще более ценный факт: Пьер де Лагардетт был не просто рантье, жившим на доходы от пошлин,— он закупал каменный уголь у ворот Сент-Этьенна и доставлял его на судах в Роанн — между прочим, нарушая тем самым установление, по которому весь уголь, добытый в радиусе двух лье от стен Сент-Этьенна, принадлежал этому городу [256].

Таким образом, «новое судоходство», имевшее больший размах, чем кажется на первый взгляд, представляло собой процветающее многопрофильное предприятие, и можно понять, почему Лагардетт и его компаньоны не стали заниматься еще и дорогостоящим и рискованным обустройством речного отрезка Монистроль — Сен-Рамбер. Пожалуй, лучшим доказательством их могущества может служить победа, одержанная ими (как раз по поводу остановки речных работ) над далеко не последним человеком в провинции — Пьером де Ривасом [257].

В прошлом один из акционеров бретонских рудников (чья отдача к тому времени сильно снизилась), он поселился в Фирмини и решил заняться перевозкой угля из своих шахт на судах через Монистроль. Отсюда и возник конфликт между ним и обществом нового судоходства, за разрешением которого Ривас обратился в Королевский совет. Он обвинил общество в уклонении от своих обязательств под надуманными предлогами. Сменявшиеся эксперты один за другим писали свои заключения — с явным пристрастием в пользу Лагардетта. Ривасу так и не удалось доказать свою правоту, несмотря на два довода, говорившие в его пользу: возросшую производительность угольных шахт, а также лесозаготовки в обширных, прежде не использовавшихся массивах вокруг Монистроля, способных заменить для нужд кораблестроения истощенные пятидесятилетней массовой разработкой леса Сен-Рамбера,

способных также и предоставить крупномерный лес, который требовался для королевского морского флота и который можно было бы сплавлять по реке до Нанта. Ривас потерпел поражение, несмотря на все свои старания и на свой предприимчивый ум: показательно, что для откачки воды из шахты в Фирмини он устроил машину, которой весьма гордился,— то был, по сути, паровой насос английской системы Ньюкомена [258], хотя и упрощенной конструкции. Для 1759 года это выдающееся достижение!

Следует ли считать крупным предприятием речной извоз между Роанном и Нантом и Роанном и Парижем, учрежденный в 1679 году [259] в пользу герцога де ла Фейяда и почти сразу же отданный им на откуп? Этот речной извоз не пользовался никакой монополией, но ведь часто кто сильный — тот и прав, а потому при каждом отправлении его судов из Роанна, два раза в неделю, они бессовестно оттягивали на себя пассажиров и товары, сколько только могли загрузить, а конкурентов из числа обычных перевозчиков устраняли самыми беспардонными приемами. Однако раздражение и враждебность со стороны пострадавших оказались столь сильны, что в 1697 году извозу пришлось выйти из игры. Однако в 1736-м эту привилегию вновь взял в откуп Александр Ивон, владевший помимо того еще Бриарским каналом и состязавшийся с хозяевами речного извоза из Монтаржи и Немура. Для нас эта битва трех каналов — Бриарского, Орлеанского и Луэнского — не представляет прямого интереса, но она показывает, с каким размахом действовал Александр Ивон, а он, отметим, не был роаннцем.

В целом Роанн и Роаннэ в XVIII веке, с приходом новейшего капитализма, делавшего тогда еще первые свои шаги, изменились очень мало. Чтобы убедиться, что роаннцы по-прежнему жили по старинке, достаточно проследить, как вел себя герцог де ла Фейяд, сделавшись в 1666 году герцогом де Роаннэ. С этим титулом он получил в свои руки целый ряд поместий, прав и привилегий, которые в полной мере и использовал для получения выгоды и упрочения своей власти. Показательно, что ему удалось не только сохранить, но и укрепить эти права, вновь восстановить в прежней силе некоторые давно уже не действовавшие прерогативы. Так, в самом Роанне он имел право взимать портовый сбор и сбор за переправу через Луару (сумма откупа за них составляла 5 350 ливров), «зерновой сбор» (с каждой продажи зерна на городском рынке), канцелярский сбор в суде бальи и даже тюремный сбор; а кроме того, ему причиталась четверть церковной десятины, он мог продавать в городе свое вино на месяц раньше остальных, все жители были обязаны молоть зерно на его мельницах... В одном лье от

Роанна он владел замком Буази с прилегающими землями, фермами, семью или восемью рыбными прудами. Плюс к тому — общественными давильнями, где деревенские виноделы должны были давить свой виноград. Таков лишь вкратце нескончаемый перечень привилегий, подробности которого всплывали на поверхность, когда герцог или его доверенные лица начинали их заявлять, применять, отстаивать. Так было в 1705—1706 годах, когда они тягались с городскими агентами-посредниками или же когда они, дабы восстановить свою привилегию на общественные мельницы, построили или выкупили несколько мельниц. Их безудержный напор проливает яркий свет на положение дел в Роаннэ: феодализм здесь отлично уживался с капитализмом [260].

Внутреннее устройство города. Есть одна весьма кстати появившаяся работа [261], где сделана попытка социопрофессиональной переписи населения небольшого города в канун Революции (см. диаграммы на с. 191), дающая нам обильную пищу для размышлений. Если разделить население города по трем секторам экономики — первичному, вторичному и третичному,— то получаются, округленно, следующие цифры: 13,5, 54, 20,5% (сумма не достигает 100%, что связано с невозможностью провести исчерпывающую перепись). Но за цифрами этими скрывается любопытная структура:

1. В «третичный» сектор включается класс государственных и судейских чиновников, который здесь и преобладает; купцы и трактирщики составляют всего 7% от общего количества.

2. Огромное большинство, 54%, составляют ремесленники — из них 19% речники.

3. Первичный сектор, в который включены также и поденщики, охватывает лишь 7% землепашцев и виноградарей. Это, видимо, доказывает, что Роанн был существенно, даже весьма сильно, отделен от своих окрестностей с их сельскохозяйственным укладом. Почему так — вопрос непростой. Вызвано ли это поздним развитием города? Или же дело в постоянном оттоке рабочей силы в сферу ремесел, связанных с речным да и сухопутным транспортом? Как бы то ни было, на значительной части окружавших город земель безусловно преобладали привилегированные землевладельцы. Роанн был не из тех городов, которые, подобно Мюлузу, отказывались вкладывать капитал в близлежащие земли.

4. И последнее: накануне Революции в городе отчетливо прослеживается специализация кварталов. Ремесленники и поденщики селились

главным образом на севере, в районе Казарм, а также по южным и западным окраинам — в нижнем городе и в портовых кварталах; привилегированные классы жили в промежутке между верхним и нижним городом; купцы, посредники и речники занимали Роаннский остров. Структура города приспосабливалась к структуре его промыслов [262].

В XIX и XX веках. В нашем кратком очерке старинных промыслов Роанна и Роаннэ многое, разумеется, отсутствует, особенно то, что касается соотношения между деревней и городом. Конечно, можно было бы пойти гораздо дальше, обратившись к многочисленным ученым трудам, к до сих пор не обследованным документам. Но была ли в том необходимость в пределах данного труда?

Чтобы окончательно охарактеризовать феномен Роанна, было бы полезнее коротко взглянуть, что сталось с городом и его областью после исчезновения старинного речного сообщения [263], то есть либо с 1838 года, когда был проложен до конца обводный канал Луары, впоследствии еще долго исправно служивший Роанну (ныне его эксплуатация переживает неуклонный и катастрофически глубокий упадок), либо с 1858-го, когда постройка железнодорожного моста позволила включить город в общенациональную сеть железных дорог [264].

В целом эти события не повредили благополучию Роанна. Он остался крупным узлом коммуникаций, каким он оставался и раньше, после открытия Живорского канала (1761), связавшего сент-этьеннский бассейн с Роной, или же Центрального канала (1784—1790), ведущего из Дигуэна к Соне. При этом население города быстро выросло. Ныне в сильно расширившихся пределах городской агломерации Роанна проживает 100 000 человек или даже больше, что в десять с лишним раз превышает его население в 1800 году. В XIX веке укрепилось и влияние города на окружающую территорию. Правда, территория эта невелика; соседние города-соперники, обступающие Роанн со всех сторон на расстоянии примерно шестидесяти километров,— Сент-Этьенн, Лион, Макон, Мулен, Виши, Клермон-Ферран — не желают делиться с Роанном; все они словно мощные межевые камни, которые нелегко передвинуть. Зона влияния Роанна была не только невелика, но к тому же и бедна, однако в XIX веке в ней появилось множество сельских мастерских. Действительно, рабочая сила здесь стоила недорого, к вящей радости лионских капиталистов, расширявших производство хлопчатобумажных и шелковых тканей, а равно и мелких предпринимателей из роаннского края. К тому же у работников уже имелся опыт: ведь, как

и во многих деревнях Франции, местные жители традиционно занимались чесанием конопли. С приходом лета, «в пору, когда ее размачивают и развешивают для просушки», по всей равнине распространялся «гнуснейший запах» [265]. Переход от пеньки к хлопку, «хлопчатке», начавшийся уже в XVIII веке и в следующем столетии ускорившийся, произошел сравнительно незаметно: человеческие пальцы уже были натренированы заранее.

Конечно, здесь перед нами архаическая форма промышленности, более или менее сходная с производством сукон во Флоренции и Тоскане XIII века [266]. Но и этой «прото-» или «преиндустрии» приходилось нелегко. Конечно, соседство продовольственных рынков и сельских мастерских обеспечивало удобный, здоровый или по крайней мере сбалансированный образ жизни. Однако «хозяева», обеспокоенные, а то и просто перепуганные рабочими волнениями в мануфактурных городах, воздерживались от концентрации и механизации производства. В этом им помогло и электричество, позволяющее распространять энергию на большие расстояния, а вместе с нею широко разбрасывать и мастерские. В результате модернизация осуществлялась с запозданием. К тому же и экономическая конъюнктура благоприятствовала роаннским промыслам. В частности, из-за аннексии Мюлуза Германией в 1871 году Роанн оказался крупнейшим во Франции производителем хлопчатобумажного полотна, ярких цветных «виши», так что с 1870 по 1890 год текстильная промышленность города пережила свой апогей. Вскоре здесь появилось и трикотажное, «вязальное» производство, и в нем Роанн быстро завоевал 2-е место во Франции после Труа.

Как ни странно, структурные кризисы начали намечаться в Роанне лишь с 1955 года. В те годы стали рушиться целые отрасли его традиционного хозяйства. Город был поражен, растерян. И все же Роанн продолжал упорно сопротивляться, пользуясь своими административными функциями, подъемом третичного сектора экономики, развитием в самом городе и вблизи него металлургии, черпая бодрость в воспоминаниях о недавних успехах. Сегодня он, как и вся Франция, поражен общим кризисом в экономической, социальной, политической, а также и духовной сфере. Никто не знает, что будет завтра. Но некоторые проблемы уже очевидны.

В частности, снова встает извечный вопрос о роли города как перевалочного пункта, актуальный еще в XIV веке. Все повторяется заново: соперничают между собой три дороги с севера на юг — дорога вдоль Алье через Клермон-Ферран, дорога из Бурбоннэ, через Роанн и Тарар на Лион (то есть вдоль Луары), наконец, дорога вдоль Соны

и Роны, которая в XX веке вырвалась вперед в своем развитии и продолжает наращивать этот отрыв. Прибавим к этому пока еще неясную судьбу рокадных дорог Нант — Лион и Бордо — Лион (через Клермон-Ферран), а также и конкуренцию крупнейших городов. Чем кончится эта история, мы не знаем и с трудом можем предвидеть. Впрочем, есть основания и на сей раз довериться жизненной силе Роанна и роаннского края.

Лаваль, или Победный союз промышленности и внешней торговли. Предоставив Роанн его собственной судьбе, я намеревался обратиться к городу по другую сторону Центрального массива — Брив-ла-Гайярд. Одновременно был бы случай рассказать и о Тюле, а затем об Юсселе — ибо Брив стоит как бы на первом этаже предгорий, Тюль — на втором, «бокажном», а Юссель, расположенный близ плато Мильваш, — город горный. В конце концов я отказался от своего намерения — в основном для краткости. Но также и потому, что Брив, как указывает даже его прозвище «гайярд» — «веселый», представлял собой спокойный, почти беспроблемно тихий город, слишком уж уверенный в себе, в прочности своей двойной крепостной стены, в постоянстве доходов, без всяких усилий получаемых от дорог и от знаменитых ярмарок, на которые в XVIII веке пригоняли до 5 000 голов скота зараз; а также — в силу плодородия окрестных земель — слишком уверенный в рентных доходах своих дворян и буржуа; наконец, еще в недавнем прошлом слишком скованный цеховой дисциплиной своих ремесленников.

Поэтому я сразу перехожу к Лавалю, расположенному в труднопроходимом краю Нижний Мен, на высоком правом берегу «прелестной и мрачной» [267] глубокой реки Майенн, книзу от переброшенного через нее Старого моста, напротив двух замков — старого и нового. Это старинный город, где будто нарочно сгрудились вместе замысловатые памятники архитектуры, чтобы наблюдателю-историку пришлось припоминать все, что ему известно и неизвестно о средневековом и новоевропейском искусстве. Как бы то ни было, Лаваль — чисто французский город. В Италии города бывают краше; стоит им пожелать, и они становятся ослепительно красивы. У нас же каждый город всецело погружен в окружающую его сельскую среду, которая дает ему жизнь и *отчасти* его объясняет. В старину во Франции роль деревни для города была особенно важна.

Лаваль, где в XVII столетии насчитывалось уже около 10 000 жителей [268], возвышается в середине тесного речного бассейна — более

богатого, или, точнее, менее бедного, чем окружающие края; в отличие от них здесь встречаются известковые почвы, на которых уже очень рано появились печи для обжига извести.

Город стоит на границе Бретани, которая в старину была страной «вольносола» (освобожденной от соляного налога), отчего на подступах к ней веками процветала контрабанда соли — ее переправляли через «непроходимые дебри, где леса сменяются озерами», где повсюду «густые заросли остролиста и дрока, в которых человека не разглядеть за несколько шагов, а устланная мхом земля скрадывает любой звук». В пору вандейской войны это царство соляных контрабандистов само собой стало царством шуанов. Да и как не быть контрабанде в здешнем краю, образующем «словно полуостров между Нормандией и Бретанью — провинцией, которая считается заграницей?» — так защищал его от упреков кюре из маленького прихода Ландиви [269]. Конечно, Лаваль не поддерживал регулярных сношений с находившимися вне закона [270] соляными контрабандистами, разве что в качестве пограничного города был вынужден слишком часто, на свой взгляд, принимать к себе на постой войсковые части и гарнизоны, каковые части и гарнизоны почти все без исключения поставляли подкрепление контрабандистам. У солдат и даже у господ офицеров прямо-таки вошло в обычай не пренебрегать соблазном прибыльной соляной торговли. Несмотря на вновь и вновь издававшиеся королевские ордонансы, грозившие за нее суровой карой (например, в 1682 году — отправкой на галеры) [271], они предавались этому занятию чуть ли не в открытую. За 1693 год было составлено двенадцать протоколов о вылазках небольших отрядов в 20—70 вооруженных верховых: например, «солдаты первого кавалерийского полка силой отнимают лошадей у хлебопашцев и едут в Бретань за контрабандной солью, чиня урон лучникам, следящим за сбором соляного налога... и [даже] простым прохожим, если им покажется, что те походят на солянщиков» [272].

Даже тогда, когда эти воинские постои обходились без приключений, они были для города сущим кошмаром из-за проблем с расселением и питанием. В 1693 году прибытие в Лаваль шести рот кавалерии вызвало переполох в городе и в окрестностях. Откуда взять на такую прорву людей и лошадей хлеба, сена, овса? Интендант Мироменил, опасаясь народного недовольства, обратился к королю с прошением взять на себя оплату части требуемых от местных общин поставок фуража; в случае затруднений он даже предусматривал закупку овса «на том берегу речки Луары». Что же касается зерна, нехватки которого постоянно опасались местные жители, то «ужас горожан увеличивало

и то, что по соседству стояли еще девять батальонов, а это означало потребность в 1 000 мешков муки ежемесячно. Волей-неволей придется, заключает интендант, «открывать закрома в городе и деревне. Всякого рода происшествия будут предупреждаться всеми разумными и возможными средствами». Однако через несколько дней начались возмущения, и интенданту пришлось все-таки разрешить насильственное изъятие зерна [273].

Волнение, поднявшееся в народе из-за проблем воинского провианта, неудивительно: здешний обширный край, прорезанный быстрыми речками и покрытый невысокими холмами, в основном сложен из холодных почв, на которых ничего не растет само. «Многие земли дают едва лишь четыре-пять урожаев за двенадцать лет; семь лет кряду они уныло стоят под паром, зарастая дроком, который, как считается, возвращает им плодородие. Пшеница родит очень мало; после дорогостоящей подготовки почвы урожай снимают всего лишь сам-третей или сам-пят, и потому охотнее сеют гречиху, которая родит сам-30, сам-60 и даже сторицей; ее зерно и идет в пищу народу, который не в состоянии приобретать пшеницу и даже рожь [последняя сеялась чаще, чем пшеница], так как они всегда стоят весьма дорого» [274]. О том же говорится в докладе, направленном в Комитет общественного спасения: «В обычное время мы можем засевать лишь четверть или треть своих земель, ныне же зачастую даже менее четверти — из-за нехватки рабочих рук» [275]. Оставалась еще такая культура, как каштан, но он не всегда давал урожай. Наконец, можно было завозить зерно из Нанта по Луаре, Мену и Майенну. О винограде и говорить не приходится: в лавальском краю его посадки были ничтожно малы. Правда, еще с XV века яблочные сады служили для выработки сидра, который в этих местах предназначался не только для бедных. Но при плохом урожае, например в 1741 году [276], он почти сравнивался по цене с вином, так что в доме призрения предпочитали поить бедняков вином (хотя, следует признать, и сильно разбавленным водой), нежели сидром. Разумеется, в Лаваль доставлялось и настоящее вино из близлежащей провинции Анжу и из окрестностей Орлеана, всего в год 2 000 бочек-пип (4—5 гектолитров в каждой), что дает общий объем потребления 8—10 тысяч гектолитров; по городу в среднем выходит довольно приличная величина — 10 000 гектолитров на 10 000 жителей; для города, где принято пить сидр или же воду, это не так плохо.

В животноводстве почти отсутствовало овцеводство; зато было много рогатого скота и местных низкорослых лошадок — на один плуг приходилось четыре вола или четыре таких лошадки. Кроме того, в лесу

водилось несметное множество дичи — зайцев, кроликов, красных куропаток, вяхирей, коростелей, перепелов, бекасов...

В течение XVIII века положение сельского населения почти не улучшилось. К III году Республики, говорится в одном докладе, картофель «еще только делает первые шаги, потому что его выращивание приносит успех лишь в огородах, на лучших землях либо на стеркорированных [то бишь унавоженных] участках при больших расходах. Он все еще настолько редок, что употребляется только в пищу людям». Также и искусственные луга еще только начинали создаваться; правда, за последние двадцать лет их площадь утроилась, но при отсутствии удобрений их устраивали только на лучших землях и «рыхлили заступом». В избытке заготавливались только лен и дрова. «Главное же подспорье составляют нам яблоки [для сидра] и груши»,— заключает автор доклада [277].

Вообще в сельском хозяйстве дела шли неважно. Крестьянин был и не мог не быть не кем иным, как издольщиком: «Большая часть наших земель арендуется испольно, то есть землепашец берет себе половину урожая за свой труд, вторую же половину отдает хозяину» [278], причем хозяин этот почти во всех случаях жил в городе.

Итак, земледелие не могло быть источником благополучия Лаваля. Ну, а могли ли стать им дороги, разбегавшиеся из него по всем направлениям — на Ренн, Анже, Ле-Ман (и далее на Париж или Орлеан), на Майенн и Кан, а также на Алансон через труднопроходимые першеронские холмы? Нет — ибо среди этих дорог не было ни одной хорошей. Большая дорога Ле-Ман — Лаваль — Ренн открылась лишь в 1772 году. Местные же дороги, даже между соседними фермами, были отвратительны: «Ни одна часть Западной Франции не жила в то время столь разобщенно, как Нижний Мен» [279]. До 1772 года путешественники, начиная с госпожи де Севинье, предпочитали ездить через Анже и Нант. «Передвигаться приходилось верхом, а порой и на спине носильщиков» [280]. Имелась, правда, река Майенн, судоходная вплоть до Лаваля и даже еще выше. Однако ниже города ее перегораживали двадцать два шлюза с множеством мельниц; мельницы, как и всюду, постоянно мешали судоходству, а шлюзы часто ломались [281].

Кроме того, если обвести вокруг города черту радиусом около 70 километров, то, как и в Роанне, она коснется соперничающих, противодействующих городских центров, таких как Анже (в 73 километрах, 143 000 жителей по последней переписи), Ле-Ман (в 75 километрах, 155 000 жителей), Ренн (в 72 километрах, 205 000 жителей),— сам же Лаваль насчитывает ныне всего 54 500 человек.

Учитывая все это, в пору удивиться не столько сегодняшнему процветанию Лаваля, которому способствовали учреждение в городе префектуры, развитие многоотраслевой промышленности, мелиорация почвы, сделавшая этот регион весьма подходящим для животноводства, сколько тому, как многого достиг город еще начиная с XVII века.

Чем же объясняются эти сравнительно ранние успехи? В первую очередь тем, что Лаваль был окружен кольцом бедных, покорных деревень и привлекал их обитателей, начиная с XVII века, своими тремя базарными днями в неделю (вторник, четверг и суббота), а также пятью ярмарками каждый год. К этому следует прибавить и другие ярмарки (всего двадцать одну) [282], связанные с городом и происходившие в пределах его фискального округа: четыре «в городке Балле́, две в Грезан-Буар, три в Суже́, восемь в Монтезюре и четыре в Коссе́». Лавальский административный округ в начале XIX века далеко не совпадал с его прежним фискальным округом, но и в нем мы не без удивления насчитываем шестьдесят семь ярмарок [283]. Это, конечно, «мясные ярмарки», на которых лавальский край продавал в соседние области крупный рогатый скот и лошадей со своих пастбищ. Такая торговая активность способствовала порядку и стабильности в делах; кстати, именно в эту эпоху Лаваль расширил свою ярмарочную площадку, присоединив к ней, с разрешения министерства [284], территорию и здание «монастыря бывших бенедиктинцев». Таким образом, Лаваль не мог не господствовать над своими окрестностями. О том же говорят и цифры: на 1831 год в городе насчитывалось 15 830 жителей, в прилегающем кантоне — 24 669, в Лавальском округе — 114 577 (то есть на город приходилось 13,8% населения всего округа).

И все же процветание Лаваля коренилось прежде всего в промышленности, связанной с дальними торговыми путями и крепнувшей благодаря нищете близлежащих деревень. По словам одного из историков [285], «эта нищета как раз и служит поддержкой для мануфактур: нужда заставляет несчастных назначать низкую цену за свой труд, в котором они сами нуждаются». Перед нами один из многочисленных регионов, где недостаточные доходы крестьянства восполнялись сельским промышленным производством на дому.

Судя по всему, начало этому процессу положило основание (в очень давние времена — традиция датирует это событие, с внушающей некоторое недоверие точностью, 1298 годом) полотняной мануфактуры, которую якобы завели в городе фламандские мастера из свиты Беатрисы де Гавр, супруги графа Лавальского Ги Девятого [286]. Нововведение попало на благоприятную почву: на Нижнем Мене искони выращивали лен

и коноплю, тогда как у местных овец редкая и слишком жесткая шерсть, годная для выработки лишь грубых сукон.

Настоящего процветания полотняное производство в Лавале достигло лишь в XVII веке. Произошел бурный рывок, за дело взялись сразу тысячи ткачей, а купцы стали стремительно богатеть. Это ускорение было вызвано, без сомнений, открытием для европейской промышленности рынков Испанской Америки и Антильских островов. Даже те суровые ткани, которые из Лаваля поставлялись в Труа, Бове, Кан, Лион, Руан для отбелки, по большей части были тоже предназначены для Нового Света. Для отправки своих товаров в Америку лавальские негоцианты пользовались услугами носильщиков и возчиков, доставлявших товар в Сен-Мало или Нант, откуда он переправлялся главным образом в Кадис — отправной пункт океанских караванов с припасами для американских колоний. На обратном пути те же возчики привозили в Лаваль древесину, доски, брусья, железо: ведь на Нижнем Мене повсюду стояли кузницы и сталеплавильни. Так текстильное производство заодно способствовало превращению Лаваля в рынок железа.

К середине XVIII века «на лавальском рынке ежегодно продается за звонкую монету 20—25 тысяч штук выделанного льняного полотна. Каждая штука содержит не менее 100 локтей [лавальских] либо сурового полотна, пригодного для отбелки, либо серого полотна, из которого шьют куртки и подкладки. Вышеназванные небеленые полотна продаются по цене от 26... до 100 су за локоть... Серые полотна продаются по цене от 20 до 50 су за локоть. В Лавале этой торговлей занимаются около двадцати пяти домов. Равным образом, с недавних пор здесь изготовляются льняные и хлопчатые платки, такие же как в Шоле, но лучшего качества» [287]. Пересчитаем это на современные меры: получается, что продукция Лаваля составляла от двух до двух с половиной миллионов метров, средней ценой около трех ливров, то есть общий объем оборота — шесть-семь миллионов ливров. Причем, в противоположность другим текстильным производствам во Франции, таким как выработка ле-манской шерстяной кисеи, лавальское ткачество вплоть до Французской революции неизменно переживало рост [288].

Зримым подтверждением этой деловой активности, вызывавшей подъем всего города и соседних деревень и городков, служил новый крытый рынок, сооруженный на Гасте в 1732 году. Продавцы тканей сходились там каждую субботу, держа на плече штуку полотна; покупатель, встав на скамейку, разворачивал ее, разглядывал вблизи; сделав же покупку, он передавал ее «отбельщику». Отбельные мастерские во множестве стояли вокруг города, на правом берегу Майенна или же

вдоль речки Жуанн, рядом с лугами, что придают полотну «дивную белизну» [289]. Хозяева их нередко были также и купцами, негоциантами; закупив полотно за свой счет, они отбеливали его и затем перепродавали. Занимались они также и посредничеством за 6—8% комиссионных для купцов из разных французских городов [290].

Беря на себя окончательную отделку тканей (в данном случае отбелку полотна, в других городах — валяние и окраску шерстяных сукон), купцы тем самым получали средство контролировать рынок; в то же время, оставляя себе наиболее выгодные операции, они получали в свою пользу последнюю прибавленную стоимость плюс значительные прибыли от перепродажи. Лавальские негоцианты поддерживали связь с негоциантами из крупных городов Франции, и они шли на любой риск, рассчитывая на устойчиво высокую прибыль от заморской торговли. Братьев, сыновей или кузенов они без колебаний посылали своими представителями в Байонну, Кадис, Пор-Сент-Мари, Лиссабон (землетрясение, разрушившее этот город в 1755 году, нанесло им ущерб в 300 000 ливров) [291], в Канаду, на Мартинику, в Сан-Доминго, даже в Гвинею [292]. Объединяясь по нескольку человек в компанию, они организовывали рискованные рейсы кораблей с товарами и наличными капиталами из Сен-Мало для торговли на американских островах или в Южном море (во время войны за испанское наследство); для той же цели они использовали и корабли Дюге-Труэна во время его карательной экспедиции в Рио-де-Жанейро в 1711 году [293]. Они также приобретали акции французской Вест-Индской компании, позднее участвовали в безудержных спекуляциях на акциях Миссисипской компании. Время от времени случались банкротства — впрочем, довольно редкие, ибо эти рисковые люди, можно сказать, не теряли голову.

Но к чему долго рассказывать об этих негоциантах, похожих на множество других негоциантов во Франции и по всей Европе, составлявших верхушку капитализма, а тем самым и всей общественной жизни? Они и так непременно оказываются на авансцене, и не составляет труда проследить за ними в домашней и деловой обстановке — как они вместе с женами ездят верхом в свои загородные дома или же в базарный день ждут визита своих арендаторов, приезжающих за распоряжениями и доставляющих провизию для городского дома хозяев, как в хозяйских амбарах и погребах накапливаются пшеница, рожь, гречиха, солонина, фрукты, дрова... Очень рано эти люди начинали приобретать себе и должности, а еще охотнее — имения, причем не стояли за ценой [294]. Деньги отворяют любую дверь, и юноши и девушки из их семей проникали в ряды дворянства.

Однако в Лавале, в отличие от других городов, почти все привилегированные буржуа, титулованные или нет, сохраняли верность торговле. Все эти Леклерки, Маре, Гитте, Берсе, Делапорты, Бюссоны, Дюшмены, Ренюссоны, Пишо и т. д., именовавшиеся, независимо от наличия титула, по названию принадлежавших им имений (Пишо де ла Гравери, Гитте де ла Уллери, Берсе де ла Купельер...), жили достаточно скромно. В их все еще патриархальных семействах было принято помогать друг другу, в том числе, ради спасения семейной чести, ручаться друг за друга при банкротстве. В XVIII веке они украшали и перестраивали «по-современному», делали более комфортабельными свои дома в сердце старого города, но сами одевались скромно, держали мало слуг [295], а один врач, переехавший в Лаваль в конце XVIII века, отмечает, что и богатые и бедные здесь обходятся простой пищей — очень много супа с капустой и луком, мало мяса; рабочие пьют воду и «по особому случаю» сидр, богачи, как правило, сидр. Кутежи с вином устраиваются только на «торжественных трапезах» [296].

При этом все господствующие позиции в городе занимала небольшая группа негоциантов. Иначе и не могло быть, ибо в силу специфической организации труда в городе и его окрестностях они оказывались краеугольным камнем всего общественного здания и получали выгоду от резкого социального неравенства. Как поясняет наблюдатель конца XVII века [297], лавальская коммерция держится на «трех разрядах людей»: тридцати оптовых купцах, хозяевах торговли; пятистах хозяевах ткацких мастерских, закупающих пряжу и использующих чужой труд; наконец, пяти с лишним тысячах рабочих, «самый богатый из которых не имеет и на 100 ливров движимого имущества». На самом деле спектр социальных положений шире такой классификации. Число хозяев и работников в Лавале в принципе не ограничивалось никакими корпоративными правилами: всякий мог принести свою работу на рынок и совершенно свободно ее продать. Однако существовала и целая система иерархических отношений: от богатого текстильщика, имевшего несколько ткацких станков, а порой и отбелочную мастерскую, приобретавшего сырье за наличный расчет, а затем продававшего продукцию своих работников, до простого ткача, работавшего в своей мастерской с одним-двумя товарищами, спешившего сбыть продукцию, чтобы снова закупить сырья, и постоянно зависевшего от торговцев пряжей, «которых зовут раками, потому что они так и сосут и поедом едят нуждающихся ткачей»; от сравнительно благополучного работника, имевшего собственный инструмент и трудившегося вместе с женой и детьми примерно в тех же условиях, что и хозяева мелких мастерских, до

рабочего, продававшего свой труд за заработную плату и чаще всего работавшего у себя на дому половину дня, поскольку одновременно он еще и крестьянствовал. Во всех менских деревнях, на всех фермах практиковался надомный труд. В подобных условиях попытка текстильщиков в 1732 году изменить традиционные правила торговли в построенном в тот год крытом рынке была, конечно же, заранее обречена на неудачу. То, что происходило в Лавале, происходило и в других местах — повсюду, где сплоченной группе городских купцов противостояла раздробленная масса доиндустриального ремесленничества, в большинстве своем жившего на селе или на городских окраинах (в Лавале это квартал Коконьер). Так было в Реймсе и Руане, в Амьене и Ле-Мане — городе по соседству с Лавалем, где с конца XVII века занимались выделкой легкой шерстяной ткани — муслина.

Лаваль, окруженный бедными деревнями, представляет собой хороший пример структурной организации, зависящей от торговли с дальними странами, которая одновременно и обогащает его, и обременяет. Кто даст ткачу нужные ему деньги для покупки льна на рынке в Кране (там продавалась пряжа лучшего качества)? [298] Кто предоставит необходимые кредиты на длительный период денежного оборота, неизбежный при дальней торговле? Кто вложит капитал, потребный для отбелочной мастерской? А если случится кризис сбыта — что иногда и случалось,— то стопорится вся система, но самый тяжкий удар падает на оставшегося без работы ткача.

Лавальская промышленность процветала до конца XVIII века. С этой поры она начала серьезно страдать от конкурентов из далекой Силезии, которые ткали полотно из превосходного польского льна, используя столь же непритязательную и столь же сильно эксплуатируемую рабочую силу, что и на Нижнем Мене, но еще ниже оплачиваемую. И подавно плохо стало в годы Французской революции, когда почти полностью закрылись внешние рынки Нового Света, не говоря уже о таких катастрофических бедствиях, как вандейская война... Так старинное благосостояние Лаваля, вдали возникнув, вдали и погибло, его звезда временно затмилась.

Кан: город-образец или, скорее, опытный экземпляр. Кан — город крупный, но все же второстепенный. Его давно уже опережают Париж, Руан, Нант, Бордо, Марсель, Лион, Лилль, Страсбург, Тулуза и некоторые другие. Тем не менее в 1695 году он насчитывал 26 500 жителей (цифра более чем солидная); в 1753-м — 32 000 (за три года до того,

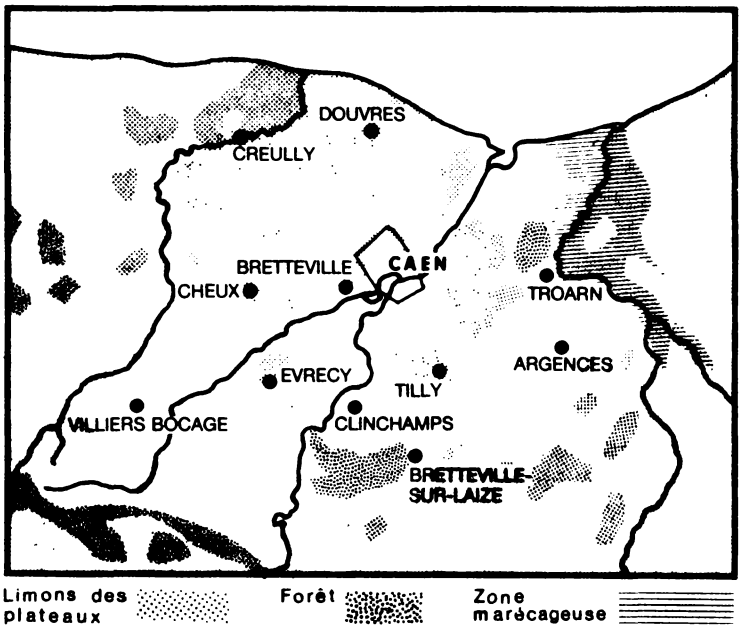
чтобы дать ему вздохнуть свободнее, пришлось снести его крепостные стены); в 1775-м — 40 858, но в 1793-м — 34 996, ибо население сократилось в первые годы революции [299].

Как бы то ни было, Кан, расположенный посреди плодородных земель, давал средства к жизни многочисленным ремесленникам, а позднее славился и рядом промышленных отраслей; в нем был порт — на Орне, в пятнадцати километрах от впадения этой небольшой реки в море, в том самом месте, где с нею сливается речка Одон и еще ощущается морской прилив. Но потом Орн заилился, и в XVII веке морские перевозки через Кан почти прекратились, в город заходили разве что 200-тонные каботажные суда, да и то лишь при высоком приливе в пору равноденствия. Обычно же канский порт принимал только речные шаланды водоизмещением 30—50 тонн, которые, бывало, доходили отсюда до низовьев Сены [300]. Морские сообщения через город вновь оживились лишь с открытием Орнского обводного канала, вступившего в строй в 1857 году [301].

Несмотря на свои относительно скромные размеры, а отчасти именно благодаря им, Кан, подробно описанный во внушительной монографии Жана-Клода Перро [302], открывает интереснейшие перспективы для исследования общей истории урбанизма. Выбранный нами период — XVIII век — также удобен возможностью вести наблюдения вдоль линии водораздела, так как город в это время еще не вполне освободился от наследия прошлых веков, но уже подчинился условиям нового исторического выбора. Замедленное развитие данного города — еще одно преимущество для нас: такая медлительность благоприятствует наблюдениям как нашим, так и современников. Вот почему я озаглавил настоящий раздел «Кан: город-образец или скорее опытный экземпляр».

Нас не должно удивить, что вокруг Кана развивались вполне классические, по концепции Тюнена, кольца — экономические зоны, располагающиеся концентрическими ореолами. Такое членение пригородного пространства объясняется потребностями города; они обслуживаются разноудаленными от города районами, которые, однако, в описываемую эпоху обязательно должны были располагаться недалеко от него, учитывая затрудненность и медленность перевозок. Разумеется, желудок Кана — не то что колоссальное чрево Парижа. Но даже и он в главных чертах всецело обусловливал последовательное размещение экономических зон вокруг столицы Нижней Нормандии [303].

Первая из них, «огородная полоса», начиналась с огородов и даже лутов, расположенных еще intra muros; перешагивая через застроенные



ОКРЕСТНОСТИ КАНА

Территория располагается между Ла-Маншем, рекой Селль и рекой Див. Использовалась в основном для хлебопашества; на юго-западе — бокажное земледелие; к югу и к востоку от Орна — леса. Воспроизведено по книге: Perrot J.-C. Génèse d'une ville moderne. Caen au XVIII siècle.

Условные обозначения на карте. Редкие точки: Илистые почвы на возвышенностях. *Частые точки*: Лес. *Горизонтальные штрихи*: Болотистые зоны.

участки, она распространялась на пригородную территорию и охватывала около дюжины коммун, находившихся не дальше полутора лье от города; площадь ее более 5 000 гектаров. Эта зона, значение которой определялось ее близостью к городским рынкам, делилась на мини-имения, хозяевам которых жилось совсем неплохо. Вполне нормально, что в этой первой пригородной полосе большое место отводилось пшенице. Действительно, ежедневное потребление овощей в Кане было невелико — 5 000 килограммов, а равно и потребление молока — 2 000 литров, то есть молоко составляло лишь вспомогательный элемент

в структуре питания или же направлялось в аптеки для приготовления лекарственных средств. Вот почему в эту зону — в принципе, согласно Тюнену, исключительно огородно-молочную — проникала и пшеница, царица всякой снеди.

Вторая зона, куда более широкая по сравнению с первой (66 700 гектаров), соответствует поясу плодородных, в ряде мест илистых почв, которыми изобилуют окрестности Кана, и в ней почти абсолютную монокультуру составляла пшеница; она ограничена рекой Сёлль на западе, рекой Див на востоке, побережьем Ла-Манша на севере и лесом Сенгле на юге. Это хлебный пояс, где применялся трехпольный севооборот и конная тяга на полевых работах; лишь к юго-западу, например в районе Донфрона, появлялись бокажи, а преобладающими культурами становились ячмень, рожь и гречиха.

Дальше начиналась еще более обширная область пастбищ и редколесья.

Таким образом, Кан был надежно, почти всегда в избытке обеспечен зерном. Нехватки зерна не случалось практически никогда, даже в малоурожайные годы, так что у города не было нужды строить общественные закрома, которые в ту пору по всей Европе городские власти постоянно держали заполненными. В 1771 году потребление зерна находилось на уровне примерно 535 граммов на человека в день, что составляет неплохой рацион, суммарный же объем по всему городу получается 81 000 квинталов в год. В одиннадцати городках канского фискального округа (объединявшего в общей сложности 131 коммуну) поочередно действовали рынки сельскохозяйственных продуктов, от которых в направлении города каждый день тянулась череда повозок и двуколок. Снабжение Кана [304] редко давало сбои; однако такое все же бывало в 1725, 1752, 1789, 1790 годах [305]. Но в случае нехватки продовольствия городская власть без труда приобретала его на стороне; достаточно было обратиться в Гавр — по Ла-Маншу все время курсировали суда с голландским или английским зерном. Итак, город жил вполне обеспеченно, поддерживая устойчивый торговый баланс,— этот баланс со временем лишь улучшался, поскольку в XVIII веке в целом повышалось качество зерна; так, объемный вес зерна с 1740 по 1775 год возрос в Кане на 10%; одновременно улучшалось и качество помола благодаря использованию экономических жерновов на семи городских мельницах, вместе покрывавших половину всех потребностей Кана. Коль скоро каждому был обеспечен хлеб — конечно, не для всех белый хлеб, но уж пшеничный-то наверняка,— значит, в главном была обеспечена и жизнь.

Это касалось и других продуктов, которые вряд ли можно отнести к излишествам. В самом деле, по мясу и рыбе потребности города (более 30 килограммов мяса в год на человека) не покрывались непосредственными поставками из канской «округи», где почти сплошь, кроме Дивской поймы, выращивали зерновые; однако на небольшом расстоянии от города имелся дополнительный источник снабжения — район бокажей, откуда традиционно вывозилась в город говядина, баранина, а также свинина, хотя и в меньшем количестве. Кроме того, невдалеке было море, изобиловавшее рыбой, да и в Орне водилось много лосося, алозы и миноги.

Точно так же, хотя в этих краях не выращивали виноград (можно упомянуть разве что «небольшой виноградник, дерзко и чахло примостившийся» на Аржансских холмах) [306], зато в изобилии имелся сидр. Он служил заменой вину, а в течение предшествовавших веков вытеснил и пиво, и старинную сикеру *, и грушовку... В 1733 году городские кабатчики закупили в общей сложности 1005 кувшинов ординарного вина и 42 916 кувшинов сидра — то есть в сорок раз больше, чем вина [307]. Чтобы обеспечить такой уровень потребления, по дороге в город непрерывно тянулись четырех- или двухколесные тележки, груженные бочонками с сидром; этот тяжелый, часто курсировавший взад и вперед транспорт вконец разбивал скверные дороги и к тому же обходился так дорого, что в области Ож начали перегонять сидр и поставлять его уже в виде спирта. Этот «кальвадос» был, по-видимому, изобретен в 1713 году [308], и цена его позволяла покрывать транспортные издержки, хотя перевозили его во вьюках, что выходило еще дороже, чем на подводах. Очевидно, именно он стал причиной угрожающе быстро распространившегося в Кане алкоголизма.

Цены на сидр и зерно (как в других местах — на вино и зерно) колебались в обратной зависимости друг от друга. В 1772 году, как писал канский интендант, неурожай яблок «обязательно должен повлечь за собой повышенное потребление зерна, ибо чем меньше народ пьет, тем больше он ест». Точно так же в 1778 году «нехватка напитков способствовала поддержанию высоких цен на зерно» [309]. В 1779 и 1781 годах тот же механизм работал в обратную сторону.

Вряд ли есть нужда рассказывать подробнее о положении дел с продуктами и напитками. По сравнению со многими другими городами — такими, как Роанн, Лаваль,— Кан был на зависть хорошо обеспечен продовольствием.

* Пиво древних галлов. *(Ред.)*

Как и во всяком городе, в Кане для текущих нужд имелось, конечно, изрядное количество ремесленников и лавочников. Как и всюду, одни ремесленники были объединены в цехи, другие оставались вольными; одни выполняли самую обыкновенную работу, другие обслуживали «роскошество и изобилие» богатых клиентов, рискуя больше всех — стоило перемениться моде, как они оказывались на грани разорения.

Но интереснее всего, что в городе появилась и индустрия — или, если угодно, «пре-» или «протоиндустрия». В XVIII веке промышленность здесь развивалась четырьмя последовательными волнами: производство дорогих и обыкновенных сукон, трикотаж, выделка полотна и, наконец, производство кружев. Я пользуюсь, быть может, слишком сильным понятием «волна», имея в виду всего лишь то, что эти отрасли не сосуществовали, но сменяли одна другую. Каждая из них переживала подъем, спад, а затем и крушение, что вполне могло бы объясняться обыкновенными колебаниями промышленной конъюнктуры. Но не сказывались ли в Кане еще и особенные причины, тормозившие сколько-нибудь широкое развитие мануфактурного производства?

В недавнем прошлом внедрение той или иной промышленной отрасли происходило в одной из двух возможных ситуаций. Первый случай: индустриализация шла в регионах с избытком продовольствия, как магнитом притягивая работных людей. «В известном смысле сосредоточение старинной промышленности в «продовольственных бассейнах» вытекало из тех же закономерностей, что и ее концентрация в угольных бассейнах в эпоху промышленного переворота»,— пишет Жан Клод Перро [310]. Второй случай как бы обратный: промышленность развивалась в регионах, где вследствие избытка населения по отношению к продовольственным ресурсам имелась дешевая местная рабочая сила. Примеры — промышленность Роанна, Лаваля или же нормандского бокажа, особенно в важнейшем промышленном центре Вильдье-ле-Пуаль, населенном рабочими-медниками [311].

Кан приходится отнести к первой категории. Но является ли она наиболее благоприятной для индустрии? Во всяком случае, в самом Кане промышленность укоренялась с трудом. И это происходило не по вине государства, душившего производителей налоговым прессом (как нередко случалось в других местах). Не причиняли особого вреда ни враждебность косных ремесленных корпораций, ни нехватка местных капиталов. Причина торможения — а торможение несомненно имело место — крылась, по-видимому, как раз в зажиточности окрестных деревень и в ее социально-экономических последствиях. Как пишет Жан Клод Перро, «богатство Канского края как раз и не давало поставить

сельское хозяйство Нормандии на службу промышленности» [312], и проявлялось это в различных формах.

Прежде всего город не получал в изобилии дешевого промышленного сырья. Льна и конопли выращивалось мало, а качество их было невысоко (кружевную пряжу приходилось завозить из Голландии или Пикардии). Неважной и дорогой была также и местная шерсть, что приводило к импорту шерсти английской. Подобный недостаток характерен для всей Нижней Нормандии, в то время как менее плодородные районы Верхней Нормандии, напротив, охотно откликались на промышленные нужды Руана и соседних с ним городов.

С другой стороны, хотя окрестности Кана были густо заселены (70—80, местами до 100 жителей на квадратный километр) и постоянно давали некоторый отток населения в город, все же деревенский люд, не испытывая недостатка в питании и занятости, в целом не склонен был сниматься с насиженного места. В силу этого городской рынок труда, по крайней мере с конца царствования Людовика XIV, оставался скудным и плохо поддавался расширению. «Как много мы могли бы сделать,— восклицает в 1764 году один инспектор мануфактур,— будь у нас в достатке эта рабочая сила, о которой мы столь давно мечтаем!..» [313] Что же касается приработков на дому, то крестьяне жили в достатке и не особенно их искали, а если и соглашались на них, то лишь за высокую плату. В период с 1715 по 1724 год на королевской мануфактуре было остановлено более трех четвертей станков — не хватало прях. В 1766 году деревенские работницы разбегались, «если только не платить им за прядение гораздо больше, чем в прошлом» [314].

Еще одно последствие богатого сельского хозяйства — оно оттягивало на себя городские капиталы. Свободные деньги вкладывались прежде всего в землю (около 40%), в недвижимость, в ренту (предпочтительно земельную); очень редко они шли на приобретение должностей и практически совсем не использовались для финансирования предприятий и коммерческого кредита (0,5%). Сами промышленники и коммерсанты в среднем лишь 40% своего состояния пускали в собственно профессиональный оборот, остальное же держали в форме земельных имений и рент. Попав в стесненное положение, они в первую очередь жертвовали своими рентными капиталами, но до последней возможности держались за земельные владения [315].

Все это лишь частично было обусловлено экономическими причинами. Конечно, на здешних тучных почвах земельная собственность и земельная рента давали хороший доход, тогда как промышленность в прединдустриальную эпоху никогда не являлась высокоприбыльной

отраслью. Промышленник мог разбогатеть лишь в том случае, если он, как в Лавале, был также и негоциантом и пускал свою продукцию в прибыльный, но и рискованный дальний торговый оборот. А тот, кто мирно живет на доходы с земли, привыкает чураться авантюр, настороженно относится к неопределенным и беспокойным перспективам рискованных капиталовложений.

Так и происходило в Кане — городе, который был заполонен, покорен и усыплен земельным капиталом. Жан-Клод Перро употребляет даже выражение «региональная спячка» [316] — слишком расширительное, но бесспорно выразительное. Кан неохотно открывал свои ворота для новейших потребностей и соблазнов. Кое-кто из его граждан спекулировал на шахтах. Кое-кто из адвокатов и королевских чиновников интересовался новыми идеями в экономике — но все это не имело большого резонанса. Даже в текстильной отрасли, с которой были непосредственно связаны его промышленные интересы, город не проявлял особого внимания к техническим новинкам, с 1750 года пользовавшимся во всей Франции официальным покровительством властей. По сравнению с Руаном, который зорко присматривался к революционным техническим нововведениям в соседней Англии и не останавливался даже перед промышленным шпионажем, Кан все время отставал лет на пятьдесят. Его купцы сообщались с заграницей только через посредство больших ярмарок в Кане и Гибре. Да и в самой Франции радиус их деятельности только от случая к случаю выходил за пределы зоны, включавшей Бретань, Нормандию и парижский регион; восток и юг страны были для них неведомой землей. Лишь немногие частные лица как бы наугад вкладывали кое-какие деньги в судовладельческие товарищества; лихорадка торговли с дальними странами, в которую втягивалась Франция, затронула Кан только к концу столетия. В 1781 году в брошюре «О выгодах морской торговли» канский буржуа, а в прошлом капитан-работорговец Леванье комментировал крах банка Готье — единственного делового банка в Кане. Почему этот банк не распорядился с умом теми займами и вкладами, которые он выплачивал из 4%? «Признаться, я не в силах понять подобную бездеятельность»,— негодует капитан. Ведь достаточно было бы всего лишь снарядить десять — двенадцать кораблей [317]!

Да, но не так-то просто было к чему-то подтолкнуть этот город, мирно и благоразумно живший по старинке и привыкший «стричь купоны» со своего выгодного положения [318]! Довольствуясь спокойной жизнью на своем клочке земли, не выходя за линию горизонта, обозреваемого с башен его церкви Вьё-Сент-Этьен или же великолепных

монастырей Мужского и Женского аббатства, он мог бы апеллировать к мудрости физиократов. Его явно мало беспокоило, что на востоке зона его влияния почти не пересекала Дива. На противоположном берегу этой речки преобладало уже притяжение Руана — настоящего столичного города, который изобиловал архитектурными памятниками и богатствами и был обращен лицом и к внешнему миру, и к морским просторам.

Одним словом, плохо, когда тебе слишком уютно живется у себя дома; плохо, когда по пятам тебя хоть немного не преследуют трудности, когда впереди тебе ничто не бросает вызова.

На очереди — большие города. Результаты переписей, проводившихся интендантами [319] в 1787—1789 годах, дают нам цифры, характеризующие численность городского населения в королевстве. Вот двенадцать самых больших городов в порядке убывания: 1) Париж — 524 186 жителей (цифра скорее всего занижена); 2) Лион — 138 684; 3) Бордо — 86 602; 4) Марсель — 76 222; 5) Нант — 64 994; 6) Руан — 64 992; 7) Лилль — 62 818; 8) Тулуза — 55 068; 9) Ним — 48 360; 10) Мец — 46 332; 11) Версаль — 44 200; 12) Страсбург — 41 502. В числе городов, имевших более 30 000 человек населения: Орлеан — 35 594; Брест — 33 852; Монпелье — 33 202; Тур — 31 772; Труа — 30 706; Реймс — 30 602... Кстати, советую обратить внимание на высокое место Бордо, в ту пору находившегося на вершине процветания и опережавшего Марсель. Впрочем, это всего лишь частная деталь.

Если соотнести данную таблицу с общим населением Франции (по оценке, 29 миллионов человек), то концентрация населения в городах окажется невысокой по сравнению с Англией или Голландией. Так, Париж составляет от пятидесятой до шестидесятой части общего населения, двенадцать крупнейших городов, взятые в сумме, объединяют 1 249 890 человек, то есть одну двадцать третью часть населения Франции. Сегодня же Париж со своей агломерацией сосредоточивает в себе около пятой части населения нашей страны.

В результате большие города прошлого оставляли достаточно места для сотен и сотен роившихся вокруг них второстепенных городов и городков, чем наглядно доказывается незавершенность урбанизации в старой Франции.

Но как же эти двенадцать из ряда вон выходящих городов — эти, по выражению Андре Пиатье, «городские города», или, если угодно, сверхгорода,— как они располагались в тесном, как нам кажется ныне,

пространстве страны? Четыре из них являются морскими портами: Руан, Нант, Бордо, Марсель. Четыре других располагались на сухопутных границах: Лион, Страсбург, Мец и Лилль. Оставим в стороне Ним, стоящий недалеко от моря, хотя и не слишком тесно с ним связанный. Остаются три *внутренних города*: Париж, Тулуза и Версаль. Последний можно смело исключить из рассмотрения — мы вправе присоединить его к Парижу. По отношению к столице он был всего лишь дочерним образованием, всецело привязанным к «городу»,— вплоть до беспрерывного движения «бешеных» наемных карет, что носились во весь опор по Версальской дороге.

В итоге преобладают города периферийные — приморские или приграничные: их 9 из 12, и они делят между собой половину (626 436 человек) общего населения двенадцати крупнейших городов. Эти города порубежья находятся одновременно во Франции и вне ее: Руан, Нант и Бордо связаны с Балтикой, с Северным морем, Ла-Маншем, Атлантическим океаном, Америкой (Канадой, Антилами, испано-португальской Америкой), с Дальним Востоком; Ним стоит на границе Лангедока, которому и самому тесно в собственных пределах; Марсель называли городом берберско-левантийским, а вернее сказать, это город на Внутреннем море; в Лион вели дороги из Германии и швейцарских кантонов, а главное его богатство возникло в тот долгий период, когда он был городом итальянским, как бы «заграничным Миланом»; Лилль связан с Фландрией, Голландией и Англией, которые начиная с XVII века составляли наиболее прогрессивную часть Европы. А если столь бледно выглядит стоящий в самом конце списка Страсбург, то именно потому, что, насильственно присоединенный к Франции Людовиком XIV в 1681 году, он превратился из интернационального города в региональный центр и растворился в присоединенном ранее Эльзасе. Его упадок, возможно, был вызван еще и тем, что сама Германия переориентировалась на Амстердам, на товарообмен с Лионом и Италией, оставив в стороне Страсбург. Так расстроилось свидание германской экономики со Страсбургом, равно как и с Базелем. Остается определить место Меца (к чему мы еще вернемся) [320], ориентировавшегося на Германию и Нидерланды, но прежде всего образующего огромную «воинскую столицу», сторожевой пост для наблюдения за прирейнскими областями, которые могли в любой момент сделаться полем битвы.

Кроме Парижа, единственным крупным городом внутри страны оказывается Тулуза. Несмотря на чудовищно неравный вес этих двух городов (будь то в прошлом или ныне), по некотором размышлении обнаруживается, что их сближение по-своему логично. Ведь это центры

тяжести двух крупнейших осадочных бассейнов Франции — Парижского и Аквитанского. Тулуза имеет выгодное географическое положение, недалеко от Центрального массива, Средиземного моря, Пиренеев, Испании и Атлантического океана. Ее экономическая жизнь сбалансирована благодаря окружающему ее богатому хлебородному краю. Гаронну можно сравнить с Сеной, пусть даже сравнение это окажется и не в ее пользу. Сам город на протяжении веков подчинял своему влиянию неоднородный, богатый культурными традициями регион Лангедока. При благоприятных исторических обстоятельствах его язык мог бы, как язык Иль-де-Франса, завоевать обширные пространства на левом берегу Роны и вдоль берега океана. Итак, Тулуза — это просто неудавшийся Париж? А ныне, имея развитую промышленность и 600 000 человек населения в своей агломерации, она, пожалуй, берет реванш.

Подобные идеи, вероятно, покажутся странными. Между тем они согласуются с тем важнейшим обстоятельством, на которое я вновь и вновь обращаю внимание,— что сосуществуют две разных Франции, Франция языка «ойль» и Франция языка «ок». Ведь именно воздействие далекого Парижа подавляло и умерщвляло «фиалковый город», так же как держало под гнетом Орлеан и Реймс — этих северных соперников Парижа, которые могли бы стать центрами притяжения для всей истории Франции.

Но Франция делится не только на Север и Юг, а еще и на внутренние и окраинные области, которые постоянно конфликтуют или по крайней мере противостоят друг другу. Это не единственный пример подобного противостояния, в котором внутренние города нередко сталкиваются с окраинными — не столь беспокойными, чаще следующими естественному течению своей собственной и общемировой жизни. Москва и Петербург; Мадрид и Севилья или Кадис; Берлин и Гамбург; Вена и Триест...

Во Франции морские окраины были склонны к своеволию. Об этом с полной очевидностью свидетельствует Марсель, тем более что это очень древний город, издавна живущий на свой лад и процветающий, обладатель собственных вольностей и собственных мощных партий, поздно включившийся в механизмы общефранцузской жизни. Долгое время он даже и не желал называться французским городом. Руан, Нант и даже Бордо (если исключить период Фронды и эпизод с жирондистами) — города более покорные. Однако и они всегда жили обособленно, по своим заботам, интересам, достопримечательностям и жизненному пространству почти всегда отличаясь от столицы и от всего внутреннего массива Франции.

Единственным окраинным соперником Парижа, да и то чаще всего невольным, являлся Лион — «второй... а может быть, и самый значительный в королевстве» (согласно утверждению его эшевенов, высказанному 10 февраля 1706 года) [321], город ярмарок, звонкой монеты и кредита, город дельцов, съезжавшихся из-за Альп, из-за Рейна, из Швейцарии. В нем долгое время находился деловой и финансовый центр французского капитализма, достаточно отдаленный от Парижа, чтобы не слишком сильно ощущать на себе завистливое внимание столицы. Однако в конце XVIII века Париж с его процветавшей биржей и нараставшей «деловой» лихорадкой (не столь явной, зато более постоянной, чем в годы министерства Лоу) уже перехватил, или, вернее, перехватывал, у Лиона контроль над французскими финансами. И все же борьба Лиона против Парижа — это борьба суши против суши. Какая досада для страны (а равно и для историков, порой предъявляющих прошлому странные претензии), что Париж и Руан или же Париж и Нант не вели между собой настоящего поединка суши против моря! Как ни странно, история, похоже, отказала в нем Франции.

Париж — город как город? Что бы ни говорили и ни предрекали иные экономисты, географы или эссеисты, «городской город» даже сегодня вряд ли может быть изъят из окружающего пространства, а значит, и из сферы действия законов, определяющих участь прочих городов. На фоне обычных городов, городков, деревень он выделяется лишь внешне, хотя больше других, и притом во все возрастающей мере включен в сообщество крупных городов. Сегодня каждый из таких городов обращен непосредственно ко всему миру, прислушивается к нему и за ним следует, но по-прежнему сохраняет и свои корни, ибо от них нельзя оторваться да зажить по своему хотению. Быть может, мы лучше осознаем эту истину, проследив, как в старину Париж, всегда воспринимавшийся современниками как город-гигант, тем не менее подчинялся общим законам урбанизации того времени.

Даже глядя на самую примитивную карту, можно понять ряд простых истин — что Париж стоит на перекрестке дорог, что он выгодно расположен по отношению к водным путям: тут и Йонна, по которой сплавляют лес и водят суда, груженные тяжелыми бочками, тут и своенравная, с неожиданными стремнинами Марна (пройдет ли судно, не задев за быки моста?), тут и степенная Уаза, и лениво змеящаяся вплоть до самого моря Сена... Что ни говори, вряд ли Лион получал столько выгод от слияния Роны и Соны.

Как и все города, Париж строился на перекрестке дорог — северно-южной (в старину это была улица Сен-Жак, а также улица Сен-Мартен) и восточно-западной, которая шла по «правому берегу» и превратилась в улицу Сент-Оноре. Позднее в дополнение к этим двум исходным осям возникли две новых: одну образуют бульвар Сен-Мишель и Севастопольский бульвар, а другую — пересекающая их под прямым углом улица Риволи, прокладка которой началась в 1800 году. Именно вдоль этих старых и новых магистралей, вблизи их пересечений еще и сегодня располагаются великие памятники — архитектурные свидетели парижского прошлого. Они рассказывают нам о рано утвердившемся могуществе Парижа.

Заботливым зодчим его судьбы, его доброй феей, по манию которой начинались и ускорялись все процессы, явилось государство. Париж — особый, привилегированный город; сюда стекались деньги, здесь они накапливались, теми или иными путями заново пускались в оборот, во множестве тратились на роскошь. Как успехи Парижа, так и его паразитические тенденции питались деньгами всего королевства, и в особенности деньгами государственными. Недаром менялы по всей Европе знали, что в век Просвещения получить плату по чеку в звонкой монете в Париже так же легко, как и в Венеции [322].

В масштабе Франции такое обилие денег, такой паразитизм были чем-то из ряда вон выходящим. Но ведь в конечном счете все города живут тем, что в них больше денег, и жизнь в них всегда дороже, чем вокруг. Около 1800 года даже такой убогий город, как Шатору, по сравнению с окружающими районами держал рекорд дороговизны [323].

Как и другие города, и еще в большей степени, Париж был также местом, куда стекались волны мигрантов; случалось, что город буквально штурмовали нищие, бродяги и прочие бедняки. Их не останавливало ничто, даже неслыханная жестокость парижской полиции, растерянно ощущавшей свою малочисленность и бессилие перед лицом этого наплыва нищей бедноты, незаметно превращавшейся в уголовную среду. То была историческая преисподняя Парижа, да и всей Франции [324].

Как и все другие города, Париж непрестанно раздирала внутренняя борьба, наиболее очевидный результат которой — специализация кварталов. Городское пространство имело иерархическую структуру, так что ремесленные промыслы и жилища бедных и беднейших слоев населения вытеснялись в сторону Сен-Марсельского и Сент-Антуанского предместий (в Сент-Антуанском предместье вплоть до конца Первой империи ютились представители архаических ремесел, по старинке контролируемые купеческим капиталом) [325]. А поскольку город вместе

со всем государством был обречен расти со сверхъестественной скоростью, поскольку в XVIII веке его заполонили «полчища каменщиков», то это повлекло за собой грандиозные перемены. Центр тяжести города постепенно смещался к западу, и одновременно с этим как на правом берегу, так и к югу от Сены строились новые кварталы для богатых, «с широкими просторными улицами. После заключения в трубу в 1737—1740 годах большого стока, загрязнявшего Сену, стало возможным городское строительство на северо-западе, в направлении Руля и Монсо. Финансисты вкладывали капиталы в застройку районов, расположенных вне кольца бульваров,— улиц Прованс, Артуа, Шоша, Тебу, Лаборд. На левом берегу сооружение Дома инвалидов и Военной школы стимулировало разрастание города в сторону Гро-Кайу и Гренеля...» [326]

Одновременно с расширявшим свои владения аристократическим западом разрастался и бедняцкий восток, худо-бедно принимая непрерывно накатывавшие волны вновь приезжих. Новоселы группировались по провинциям, откуда прибывали, создавали новые общины: например, «в Сен-Марсельском предместье бургундцы селятся на улицах Сен-Виктор и Орлеанской, на набережных. Вместе с ними живут выходцы из Лотарингии и Шампани. Лимузенцы предпочитают улицу Сен-Жак и площадь Мобер, овернцы размещаются по улицам Муфтар и Лурсин, живя там бок о бок с людьми из Пикардии, Фландрии, Дофинэ...» [327] Таким образом, кварталы — это как бы деревни внутри города; здесь каждый живет «среди земляков». Вплоть до большой реконструкции Парижа в 1960—1970 годах некоторые его улицы все еще были излюбленными местами встреч бретонцев, или овернцев, или савояров и т. д. Следы этого еще не вполне стерлись даже сегодня.

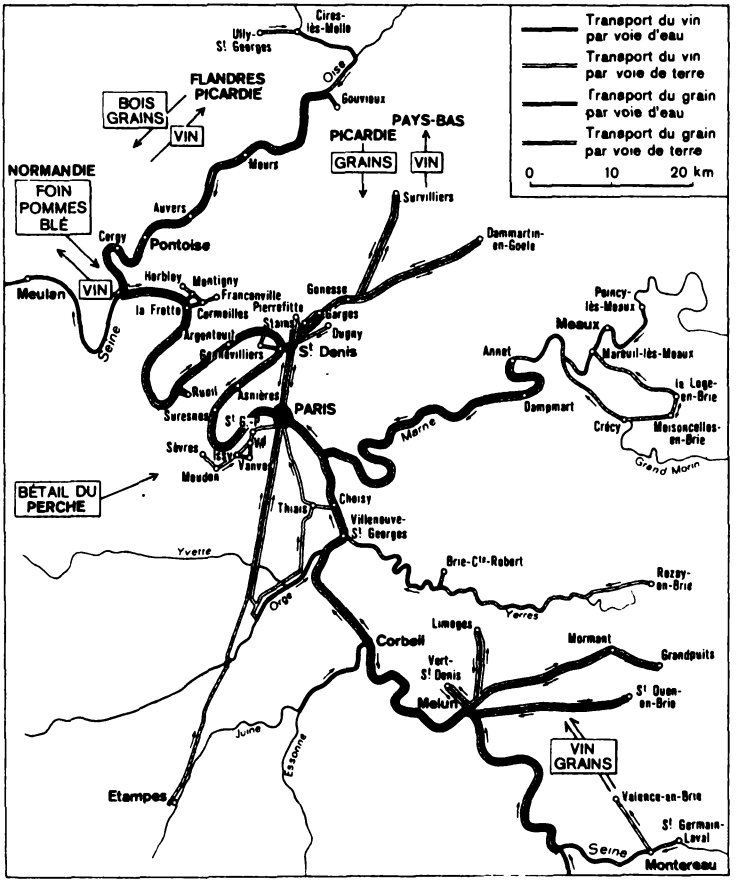
Огромный город не выпускал из-под своего контроля ближние и даже дальние окрестности, придавая особую ценность пригородным землям. Этим объясняется обогащение Монтрейля с его фруктовыми садами или же процветающее виноградарство в Роменвиле, на Сюренских или Иврийских холмах. Как-то ночью в феврале 1704 года человек двадцать солдат, вооруженных «заряженными» ружьями, прорвались через городскую таможенную заставу Сен-Мишель, неся каждый на спине «башу́» с вином (то есть небольшой открытый бочонок, который служил заплечной корзиной). Как поясняет составленный по этому поводу протокол, «кабатчики из предместий Сен-Марсель и Сен-Жак пользуются ныне таким способом, дабы ночью незаконным образом доставлять в город изрядное количество вильжюифского вина» [328]. Да и где только не росла лоза вокруг Парижа — был бы клочок плодородной земли да немного

солнца! Пригородные парижские виноградники были, вероятно, крупнейшими во всей Франции. Во всяком случае, именно здесь получали наибольший доход с гектара — по статистике 1817 года, больший, чем на лучших участках Бургундии, Шампани или близ Бордо. К этому вопросу мы еще вернемся в одной из следующих глав. Подобные аномалии обусловлены соседством большого города. Неудивительно: даже самое скверное винцо наверняка будет литься рекой в пригородных кабачках, где его продают задешево — ведь его не везли через городские ворота и не платили за него пошлины!

По дороге в Париж путешественник не мог не заметить, как постепенно меняется облик местности. Об этом пишут, например, два голландца, ехавшие в декабре 1656 года из Бомон-сюр-Уаз: «Оставив сей маленький город, начали мы ощущать, что подъезжаем к Парижу,— так много было вокруг пригожих домов, рассеянных по всей округе. Деревни, через которые мы ехали, были крупнее и лучшей постройки, нежели те, что видали мы прежде; их справедливо называют кормильцами города, который они окружают, ибо именно от них получает он лучшую часть своего пропитания» [329]. Очень подходящий текст для иллюстрации схемы в духе Тюнена! Точно так же некая путешественница, которая около 1790—1792 годов, не без опаски за собственную жизнь, разъезжала по окрестностям революционного Парижа, приходит в восторг при виде Виллета, «примыкающего к городской заставе и считающегося всего лишь деревней... Это более населенное и более оживленное местечко, чем большинство наших провинциальных третьестепенных городов» [330].

Все это подчинялось Чреву Парижа. Чтобы выжить и прокормиться, столица организовывала на свой лад окрестную территорию. «За век до Столетней войны Париж уже полностью господствовал экономически над прилегающей к нему зоной радиусом в 40—50 километров, что равняется одному дню верховой езды»,— пишет Ги Фуркен [331]. Вокруг Парижа быстро появилось много монастырских владений, выросли многочисленные замки и загородные дома знати. Приобретали землю и парижские буржуа, видя в ней источник престижа и доходов. В XVII веке благодаря этим капиталовложениям вокруг Парижа стали возникать крупные фермы. Очевидно, так происходит со всеми городами.

Отличие Парижа состояло в ненормально высоком рыночном спросе: ослепленное роскошью королевского двора, общество старалось ее копировать. К 1700 году парижанам было уже мало иметь в своем распоряжении большое количество вин, «овощи и зелень в изобилии»; для них требовалось выращивать «инжир, гранаты, апельсины и лимоны... лекарственные травы, разнообразные цветы. Окрестные садов-



НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СНАБЖЕНИЯ ПАРИЖА В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

На карте впечатляюще показано первостепенное значение рек и речных «портов» в снабжении Парижа вином и зерном (тяжеловесными продуктами). Сухопутные дороги идут напрямик в том же направлении, что и водные. Воспроизведено по книге: Fossier R. Le Moyen Age. III. 1981.

Условные обозначения на карте (сверху вниз): Перевозка вина по реке. Перевозка вина по суше. Перевозка зерна по реке. Перевозка зерна по суше.

ники... научились чуть ли не всю зиму сохранять спаржу, артишоки, кочанный латук и тому подобные вещи, которые в прочих краях можно найти только летом» [332]. Уже строились и теплицы, а в укрытых от холода огородах — например в районе Маре, пока он не стал в XVII веке аристократическим кварталом города,— выращивались ранние овощи.

Сразу же за «заставой» начинались нивы, пашни, фруктовые сады, крестьянские селения. 29 июля 1830 года герцог Орлеанский, будущий король Луи-Филипп, желая, очевидно, скрыться после известия о взятии восставшими Тюильри, «выехал [из Нейи, где он находился] вместе с Эймесом, который только что был ему представлен, и *через поля* направился в Ренси, куда и прибыл ночью» [333]. Наутро депутаты, собиравшиеся предложить ему власть, не застали его в Нейи; пришлось ехать за ним в Ренси и везти его оттуда назад... [334] Так же и Жан Батист Сей или Мишле во время своих прогулок, выйдя «за заставу», сразу или почти сразу же оказывались среди полей и встречали одних лишь крестьян. Когда же в 1815 году, с приближением, а затем и появлением на подступах к Парижу союзных войск, население пригородов хлынуло в город, то эти беженцы были самыми настоящими крестьянами. Графиня де Буань, проезжая вместе с матерью в экипаже, увидела, что опоясывающие столицу внешние бульвары «сплошь покрыты, запружены населением парижских окрестностей. Люди двигались вперемешку с коровами и овцами, везли свои скудные пожитки... и с раздражением глядели на всех тех, кто казался счастливее их. Ехать можно было только шагом; нашу коляску тоже не миновала брань...» [335] Трудно поверить, но точно такое же зрелище повторилось и в 1870 году: «С приближением немцев,— пишет в своих воспоминаниях профессор-медик Ашар,— в то время как многие семейства уезжали из Парижа, в город нахлынули жители предместий со своими подводами и скотом. Многие из этих деревенских, как их называли, были размещены в новопостроенных и еще не заселенных домах на недавно проложенных проспектах» [336]. Вот уж чего никак не мог предвидеть барон Осман!

В подобных описаниях легко опознается охарактеризованный Тюненом первый продовольственный пояс города, снабжающий его рынки продуктами повседневного спроса. Соответственно размеру самой городской агломерации пояс этот был чрезвычайно широк.

Ну а как выглядели остальные пояса снабжения этого ненормально крупного города — зерновой, мясной, лесной и проч.? Да так же как и всюду, с той лишь разницей, что вместо кольца торговых городков здесь было кольцо настоящих городов.

Существует неопубликованный документ [337], в котором намечены контуры одной из таких широких окружностей, проходившей в XVIII веке через Понтуаз, Мант, Монфор, Дрё, Мелен, Немур, Мо, Розеан-Бри, Куломье, Провен, Ножан, Монтеро, Санс, Жуаньи, Сен-Флорантен... На этой линии каждый город занимал свое более или менее заслуженное место, в зависимости от того, направлялись ли из него в Париж дрова, сено, живой скот, древесный уголь, овес, работники или же, что важнее всего, хлеб. Если удалиться еще больше, мы достигнем и пределов парижского региона, обозначаемых цепью крупных или довольно крупных городов, таких как Орлеан, Труа, Шалон-на-Марне (или, вернее, Витри-ле-Франсуа — крупный зерноторговый центр, через который пшеницу из Баруа и Лотарингии везли на судах по Марне в Париж), Реймс, Компьень, Амьен, Руан, Шартр. Чуть дальше или же чуть ближе этой границы, которая еще и менялась со временем, влияние Парижа сходило на нет и исчезало вовсе. Исключение составляла лишь торговля мясным и тягловым скотом — ведь этот идеальный товар передвигался своим ходом.

Взаимная зависимость между Парижем и опоясывавшими его кольцами городов доказывается довольно длительным периодом осад Парижа в конце Религиозных войн (1562—1598), когда «второразрядные» города воспользовались невзгодами, парализовавшими столицу; они давали прибежище безработным парижским ремесленникам, купцам и даже богатым буржуа, бежавшим от опасностей и лишений осады. В той же зоне, очерченной цепочками этих городов, Париж набирал себе основную часть новых жителей, и в частности многочисленных домашних слуг. По дороге в столицу промежуточными пунктами служили два города — на западе Версаль, на востоке Труа (для мигрантов из Лотарингии, Бургундии и Шампани).

Отметим, что в целом экономическая диктатура Парижа осуществлялась лишь в Парижском бассейне, расположенном между Ла-Маншем и Луарой, а также в Пикардии, Лотарингии и Нормандии, лишь едва затрагивая пределы Бретани. Все это широкое пространство находилось всецело под господством Парижа, который не давал здешним городам достигнуть такого развития, какое было бы для них возможно на воле...

Разумеется, сказанное не означает, что этой обширной зоной влияние Парижа и ограничивалось. В ней сосредоточивалась экономическая жизнь столицы; но за пределами этой территории многими путями постоянно распространялось ее воздействие иного рода — воздействие политическое и культурное в широчайшем смысле обоих слов. На

протяжении веков по воле Парижа складывались, круто поворачивались, отклонялись в сторону, порой и расстраивались судьбы всей Франции в целом.

Схема «деревня — городок — город» в наши дни. В своем далеком от завершенности наброске старой Франции мы, думается, достаточно убедительно продемонстрировали наличие непреложных, элементарно-клеточных связей, без которых вся живая ткань Франции — как и любого другого европейского народа — лишилась бы своей связности и прочности. Ведь система «деревни — городки — города» пережила гибель Римской империи и — что еще нагляднее свидетельствует в ее пользу — катастрофическую Столетнюю войну. Она пережила также (по крайней мере, на наш взгляд) самое необычайное испытание в нашей истории, а именно полувековой период, начавшийся в 1939 году и вобравший в себя невероятно мощное ускорение исторического развития за «тридцать славных лет» (1945—1975), как назвал эти годы Жан Фурастье.

Доказательства тому можно найти в трудах Андре Пиатье и его группы.

Исследуя живую «территориальную структуру» Франции в наши дни, Пиатье вычленяет в том или ином департаменте — скажем, Луаре́ — зоны притяжения разных городов, то есть детально очерчивает те области вокруг Орлеана, Монтаржи, Питивье, Жьена и т. д., где господствуют товары и услуги из этих городов, их посредники, торговцы, магазины, нотариусы, адвокаты, врачи... Следует отметить, что эти пространства частично накладываются друг на друга, происходят пограничные конфликты и в конечном счете выстраивается «иерархия городов в зависимости от интенсивности устанавливаемых ими отношений», а также «функциональная иерархия» населенных пунктов в соответствии с их «системой оборота», где может преобладать городская (Орлеан) или сельская составляющая (Питивье) [338].

Подобные межгородские конфликты не противоречат намеченной выше модели, они лишь динамизируют ее, делают подвижной. Сама же система сохраняется. Тем самым получает свое объяснение и все более значительная роль современного Парижа. На дальних границах своей зоны влияния он стимулирует развитие одних городов в ущерб другим — Тур, а не Орлеан, Ле-Ман, а не Анже [339]. Могут меняться зоны влияния столицы, однако неизменным остается сам принцип их вычленения.

Наша схема требует поправок — нисколько не отменяющих ее верности в целом — не только на уровне городов: за истекшие годы глубокие изменения претерпела и ее сельская основа. Действительно, с 1945 по 1975 год крестьянская Франция эволюционировала больше, чем от Людовика XIV до Пуанкаре. Моя родная деревня (как и множество других) совершенно преобразилась: исчезли лошади, зато появились тракторы, крестьяне почти перестали сеять пшеницу, перейдя на кормовые травы, нет больше мелких хозяев, зависевших от более богатых, зажиточных земледельцев. Наконец, население деревни словно растаяло, сократившись наполовину. И все же традиционные связи сохраняются, хотя сеть их и поредела. Они образуют систему менее жесткую, но структурно аналогичную прежней.

Решающее заключение на сей счет весьма кстати сформулировал Анри Мандра в коллективном труде «Мудрость и хаос» (1980). Он стремится нарисовать «оптимистический портрет Франции — страны, более уравновешенной, чем ей самой кажется, более осознанно воспринимающей свое положение, свои истинные проблемы и необходимые преобразования, наконец, более справедливой в своих суждениях; следует иметь в виду слова англичанина Питера Уиллса: «France is more equal than she thinks» * [340]. Впрочем, к этой незаурядной книге мы обращаемся не ради приведенной оценки Франции, хотя нам она и по душе. Дело в том, что здесь, в работе социолога, привыкшего работать с конкретным современным материалом, мы находим подтверждение своим мыслям. Действительно, по мнению автора, при всем размахе преобразований, бесспорно происходящих во всех сферах жизни французской деревни, она сохраняет устойчивость, упорно защищается и успешно приспосабливается к современным требованиям. Конечно, с 1945 по 1980 год население Франции увеличилось с 42 до 53 миллионов, и от этой прибавки, спору нет, выросли прежде всего города. «Однако нынешнее общество не следует рассматривать через призму представлений прошлого века» [341]. И в самом деле, пора отбросить архаичные ориентиры вроде пресловутого порога в 2 000 жителей, выше которого населенный пункт считается городом, а ниже — городком или деревней. Ведь эта цифра устарела уже в XVIII веке, а в XIX столетии — и подавно.

Ныне планку следует поднимать гораздо выше, примерно на уровень 10—15 тысяч, если не больше. При этом города с населением свыше 15 000 человек в 1946 году составляли 56 процентов населения

* «Франция справедливее, чем она сама полагает» *(англ.)*

Франции; а в 1975-м — 58 процентов; соответственно население деревень (ниже пятнадцатитысячной черты) 44 процента — в 1946-м и 42 процента — в 1975 году (вместе с тем *по абсолютной величине* оно выросло, как и все население страны). «Следовательно,— пишет Анри Мандра,— пресловутой «французской пустыни» [342] нет и никогда не было. В конце XX века у нас имеется около 22 миллионов сельских жителей — почти столько же, сколько и в конце XVIII века, тогда как в XIX столетии имела место сильная перенаселенность. Также и *сетевая* структура, деление территории страны на «края», примыкающие к небольшим городам... почти повсеместно остаются неизменными в главных своих чертах... Сократилось число жителей в деревнях, зато прибавилось население в городках...» [343] Деревни по-прежнему стоят где стояли и занимаются возделыванием прилегающих земель — делая это зачастую еще лучше, чем в недавнем прошлом, после того как на смену сельскохозяйственному рабочему и конской упряжке пришел трактор.

Имеется, таким образом, уравновешенная пространственная структура, где, по словам Мишеля Рошфора, «исходную единицу составляет не город [не всегда город], но [общая] система, в которую он входит» [344]. Возросшее значение среднего иерархического уровня, повышение удельного веса городков объясняется тем, что «промышленность [следует сказать — крупная промышленность и современное сельское хозяйство], в свою очередь, породила в экономике *неотретичный* сектор» [345], то есть новый третичный сектор, гораздо более насыщенный, чем прежний.

Сегодня, как и вчера, деревня и городок образуют некую кооперацию, где городок «выполняет те функции, каких не может выполнять каждая деревня в отдельности» [346]; «это единство скрепляется третичным сектором, будь то в торговле или в сфере услуг (жилищных, медицинских, финансовых, транспортных, административных...)» [347].

Андре Пиатье идет намного дальше: «Третичный сектор,— пишет он,— существовал еще задолго до вторичного (промышленного), и именно им были сформированы города. Сколь ни углубляйся в прошлое, город всегда служит центром встреч и обменов. Он явился точкой взаимодействия, узлом взаимосвязей для всех, кто живет в его окрестностях...» [348].

Следует запомнить эту мысль о раннем, задолго до наших времен, возникновении *третичного сектора* экономики. Она согласуется с тем, что пытались высказать мы. Действительно, ведь там, где есть

третичный сектор, там есть и иерархия: этот сектор стоит на службе города, является проводником его господства, составляет смысл его существования. В свое время уже в городках роль третичного сектора была весьма велика. Нынешняя же ситуация повторяет в сгущенном виде старинные реалии. И это понятно: за исключением уровня самодостаточной общины (и даже на этом уровне), люди не могут *жить* без того, чтобы некоторые отдавали приказы, а остальные им повиновались.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ФРАНЦИЯ — ДИТЯ ГЕОГРАФИИ?

Задаваясь таким неожиданным вопросом, мы всего лишь возвращаемся к предмету размышлений Видаля де ла Блаша: «Является ли Франция географической реальностью?» [1]. Еще более очевидно, что здесь вновь встает и неоднозначная проблема географического детерминизма. Тем не менее нам представляется, что этот спорный вопрос все еще не исчерпан до конца.

Как известно, сами географы уже давно объявили о своей капитуляции: определяющим фактором является для них не земля, природа или же «среда», но история и человек, который в конечном счете находится сам у себя в плену, поскольку он наследует и продолжает дела, поступки и свершения, навыки и предания тех, кто до него жил на его земле и формировал ее облик; таким образом, человек изначально включен в целый ряд причинно-следственных связей с прошлым, хотя сам чаще всего этого и не сознает.

Лично мне всегда был очевиден устрашающе тяжкий груз далеких первопричин. Они буквально подавляют нас. Но это не значит, что в сложном историческом генезисе Франции следует все объяснять прошлым. Ведь это значило бы изымать его из пространственно-географического контекста, лишать его пространственного измерения. А это было бы абсурдно. Да, Франция выросла из чрезвычайно сложных исторических напластований, но эти напластования скапливались именно в данном, а не в каком-либо ином месте. Свою роль сыграло и своеобразное, необычное расположение Франции на географических перекрестках Европы, окружающей ее со всех сторон. Видаль де ла Блаш справедливо писал в связи с Францией, что «история народа неотделима от страны, в которой он обитает... Необходимо,— уточняет он,— исходить из того, что страна — это хра-

нилище дремлющей энергии, которая изначально сотворена природой, но ее использование зависит от человека» [2].

Эта фраза вписывается в теорию «поссибилизма» *, как охарактеризовал глубокие размышления Видаля де ла Блаша Люсьен Февр [3]. *Возможная* Франция, *возможные* облики Франции — такие формулы и мне по душе. Но сумеем ли мы должным образом их осознать? Или нам, подобно нынешним географам, придется в конце концов за неимением лучшего искать причину современного территориального единства Франции в одной лишь истории? Соответственно с этим и выбраны три темы, вокруг которых будут развиваться наши рассуждения. Стоит ли пояснять, что это всего лишь три темы из нескольких десятков других?

* От франц. possible — возможный. *(Ред.)*

I
ПРОТИВ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЯ «ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕШЕЙКА»

Прежде всего перед нами возникает настоятельная необходимость обсудить вопрос о «французском перешейке»; это выражение, если не ошибаюсь, создано самими французскими географами — во всяком случае, оно употреблялось ими, особенно в недавнем прошлом. Европа — узкий материк, да и материк ли это вообще или же полуостров, заостренная оконечность азиатского массива? С востока на запад она постепенно истончается, сжатая между северными морями и чередой южных морских бассейнов, образующих Средиземное море. Эти два края Европы, исторически и климатически противостоящие друг другу, заключающие в себе взаимопритягательную и взрывчатую силу контрастов, на разных меридианах соединяются между собой перешейками. «Русский перешеек» лежит между Черным морем и Балтикой; «германский перешеек» простирается от Адриатики или Генуэзского залива до Гамбурга или Нидерландов; наконец, «французский перешеек» является по сути двойным, поскольку Средиземноморье и Атлантика связаны здесь не только по линии Норузского прохода — по трассе Южного канала, прорытого в 1666—1681 годах,— но также и через водный путь по Роне и Соне, а затем по Сене или Рейну... Французские перешейки — самые узкие из всех: русский перешеек имеет в ширину 1200 километров, германский — 1 000 километров, причем приходится переваливать через Альпы; французский же перешеек — это «700 километров от устья Сены до дельты Роны и всего 400 километров от Гасконского до Лионского залива, причем на том и другом пути нет никаких гор» [4]. По любопытному замечанию Эрнста Курциуса, «во Франции человек с Севера может удовлетворить свое ностальгическое стремление к Средиземному морю», ибо здесь, «в отличие от Германии, чтобы добраться до берегов Внутреннего моря, не нужно преодолевать Альпы...» [5]

Преимуществом французской территории является еще и то, что, по полушутливому выражению Мориса Леланну [6], перешеек здесь сужен, «прищемлен», так что во Франции сближаются Север и Юг, океан и Средиземное море. Быть может, это и есть то главное своеобразие, которым определяется географическое пространство Франции?

Из двух наших перешейков лишь один может претендовать на общеевропейское значение. Конечно, путь через Норузский проход и по Гаронне, широко использовавшийся еще в римскую эпоху, соединяет

Внутреннее море с Атлантическим океаном, но он весьма редко служил международным путем — разве что в XVI веке, когда этот спрямленный маршрут (а еще в большей степени — древняя римская дорога из Ла-Рошели в Ним через Кагор) [7] использовался для перевозок английской шерсти в направлении Средиземноморья и Флоренции; подобная ситуация повторилась вновь (правда, в этом уже нет полной уверенности) и в XVII веке, в пору большого спроса на тулузскую пастель, позднее замененную в красильных работах заморским индиго.

Путь по Роне одержал верх в соперничестве не потому, что он удобнее,— из двух путей это более длинный,— но потому, что от Средиземного моря он ведет в страны Северной Европы; здесь Средиземноморье встречается со своей противоположностью, и, наоборот, нордическая природа соприкасается с природой, отличной от нее. Так было всегда; еще с доисторических времен. Роль этого пути еще более возросла после того, как он соединил между собой два главных полюса раннеевропейской экономики, сложившейся в средние века,— Северную Италию и Нидерланды. «Электрический ток» между этими двумя полюсами послужил возвышению нашего меридионального пути и сразу высветил его многочисленные преимущества: действительно, ведь Ронская низменность сообщается с водными путями по Соне, Луаре, Сене и ее притокам (таким как Йонна, Об, Марна, Уаза), по Мозелю и Рейну.

На стыках водных путей сообщение обеспечивалось перевозками на подводах или во вьюках — через отроги Центрального массива из Лиона к Луаре; по возвышенности Кот-д'Ор, через Дижон, от Соны к Сене; через Бургундские ворота от Соны к Рейну. Водные пути и сухопутные дороги вместе образовывали обширную сеть, от которой и зависело хозяйственное освоение всей территории Франции. Благодаря римским дорогам эта территория вместе с продукцией Галлии сделалась удобным объектом «колониальной» римской эксплуатации. Для римских легионов на первом плане было восточное крыло дорожной сети, позволявшее выйти в Трире или Кельне на беспокойную границу с Германией, проходившую по Рейну, или же через Булонь переправиться на английский остров, завоевание которого развернулось с 85 года после Рождества Христова.

Поль Видаль де ла Блаш одним из первых подчеркнул важность этого прохода, прорезающего насквозь всю Францию. «Уже в глубокой древности,— пишет он,— на нашей территории стало сказываться влияние близко подступающих друг к другу Средиземного и Северного морей. Географически это влияние выражается и закрепляется в дорогах, дальних линиях сообщения. Торговая ось всей Франции,

исходившая из Прованса и заканчивавшаяся в Англии или Фландрии, отличается замечательной устойчивостью. Именно вдоль этой линии размещались главные средневековые ярмарки — в Бокере, Лионе, Шалоне [8], Труа, Париже, Аррасе, Торхауте [9] и Брюгге. Найдется немало примеров, показывающих, сколь много может значить для становления политического единства такая почти нематериальная вещь, как путь сообщения. Италия обрела государственность лишь после того, как все ее концы были связаны между собой Аппиевой и Фламиниевой дорогами. Среди главных британских дорог осевой линией Англии явилась магистраль, ведущая из Лондона к берегам Северна,— Уотлинг-стрит» [10].

Приведенные краткие замечания говорят о том, что в зарождении единой Франции водный путь «Рона — Сона — Сена» (или Рейн) служил одним из действенных факторов (если не главным из них) или же контрольным тестом. В подобной ситуации первым, кого следует призвать к нашему суду, является сама река Рона. С нее мы и начнем наше исследование «возможной Франции».

Вчерашний день Роны (до 1850 года). Свидетелем по делу будет, разумеется, река прежних времен — неистово дикая, своенравная, «беззаконно-капризная» [11] Рона, которую Вобан называл «неисправимой». Ныне, однако, все это осталось в прошлом: в результате грандиозных, лишь теперь завершающихся работ, где современная техника соединилась с потребностями экономики, Рона была полностью преображена, укрощена и сразу же присмирела.

Еще недавно своим быстрым течением она влекла, вместе с холодной водой горных потоков из альпийских снегов и ледников, также и громадную массу песка, грязи и обкатанной гальки, усеивающей сельские дороги, а еще более того улицы приропских городов, и больно впивающейся в ноги животным и людям. Дорожный инженер Шарль Лантерик утверждал в 1892 году, что, «внимательно прислушиваясь в бесшумно плывущей лодке, вполне можно расслышать, если не разглядеть все это движение [по дну реки] и сквозь плеск воды у поверхности различить сплошной треск от непрестанных столкновений миллионов перекатывающихся друг через друга камешков» [12].

Ничего удивительного при этом, что Рона была фантастически мощным фактором эрозии: вогнутые берега ее излучин изрыты глубокими стремнинами [13], а вдоль их выпуклых берегов оставались отмели. Между паводками и маловодьями реку перегораживали каменистые перекаты — настоящие запруды, правда, подвижные, где суда ежемину-

тно рисковали сесть на мель. В сезон маловодья вода почти не прикрывала эти гряды, и примерно на 70 дней в году судоходство становилось невозможным. Наоборот, стоило уровню воды подняться, как течение начинало стремительно увлекать суда. Так, по узкой речной теснине, на протяжении 90 километров от Турнона до Пон-Сент-Эспри, суда летели стрелой, и тем большую беду таил для них проход под слишком тесными арками знаменитого моста Пон-Сент-Эспри, к которому речники и так всегда приближались с опаской. В такой же степени сильным течением затруднялось и плавание вверх по реке. Эта проблема не разрешилась даже с появлением пароходов: в трудных местах паровые буксиры были бессильны, и приходилось пользоваться туерами * [14]. Еще одна трудность — неистовые ветры, гуляющие по узкой речной долине,— в том числе грозный мистраль. Что делать, когда он задует в полную силу? Только стоять под прикрытием островов — к счастью, в ту пору их было много, и они загромождали речной фарватер,— или же покрепче пришвартоваться к берегу, ожидая, пока непогода минует...

Тем не менее по этой опасной реке веками ходило множество судов. Уже в римскую эпоху (а скорее всего и раньше) вниз и вверх по Роне плавали челноки и грузовые лодки (scaphœ, naves onerariœ). В эпиграфических текстах упоминаются бесчисленные корпорации лодочников, тем более что на притоках большой реки — разумеется, на Соне, но также и на Ардеше, Дюрансе, Изере — издревле имелось свое собственное судоходство.

С малозначительными изменениями это речное сообщение просуществовало до середины XIX века, почти до наших дней. Оно с блеском выдержало даже конкуренцию парового судоходства, чьи первые робкие шаги датируются 1829 годом. В результате вплоть до 1850 года Рона неизменно являла собой живописное зрелище снующих вверх и вниз традиционных плоскодонных судов, имевших различные размеры и названия: «пенели» (для перевозки лошадей), «сисланы» или «сисланды» (по названию города Сесселя), «рини», «сапины» или «савоярды» (последние достигали 70 метров в длину), «шенары» или «шены», строившиеся на берегах Соны и служившие обычно для перевозок зерна. В сравнении с луарскими суденышками это настоящие колоссы... Кроме того, были еще специальные пассажирские суда, «водные экипажи» длиной всего метров пятнадцать, где пассажиры, как в дилижансе, сидели на скамейках. Еще более мелкие пассажирские

* Буксирное судно, движущееся при помощи подтягивания цепи или троса, проложенного по дну реки. *(Ред.)*

лодки, так называемые «скорые», двигались иногда и на веслах, тогда как крупные «довольствовались тем, что плыли по течению». Эти мелкие суденышки, называемые также «баркеттами», брали на борт до 250 квинталов груза; от Арля до Лиона они поднимались «за 7 или 8 дней и за 6 дней — от Авиньона до Лиона, в то время как крупные [грузовые] суда, которые обычно ходят по Роне, тратят около месяца на загрузку и еще столько же на плавание вверх по реке» от Арля до Лиона. Вниз по течению ходили быстрее: от Лиона до Авиньона всего за два дня. Но даже и при плавании вниз по реке была еще сильная разница между зимней и летней навигацией [15].

Будучи более скоростным, спуск по реке был также и гораздо более опасным, внушая страх всем путешественникам. В 1320 году Петрарка, прежде чем ехать в Лионский порт, заполненный судами, отплывавшими на ярмарку в Бокер, отправился в Фурвьерскую церковь, дабы вверить себя покровительству пресвятой девы.

Конечно, в скорости имелась и своя привлекательная сторона; по словам позднейшего путешественника, ехавшего в 1704 году из Лиона в Авиньон, «Рона течет вниз с чрезвычайно большой скоростью... и весьма удобна для тех, кто направляется в Лангедок и Прованс» [16],— а также, разумеется, и в Италию. Зато нередко бывали и несчастные случаи: в 1673 году попала в кораблекрушение госпожа де Севинье; зимой 1784 года, в пору маловодья, село на песчаную мель судно, на котором ехала англичанка миссис Крэдок; ей лишь «с трудом» удалось выбраться, потратив на дорогу из Лиона во Вьенн много дней,— чтобы снять судно с мели, потребовалось 32 лошади [17]. Осенью 1799 года генерал Марбо, ехавший в Итальянскую армию, несмотря на маловодье, счастливо преодолел ряд опасных мелей, но на подступах к Пон-Сент-Эспри в дело вмешался мистраль: «Корабельщикам не удалось выгрести к берегу,— писал сын генерала, сопровождавший отца.— Вместо того чтобы работать, они потеряли голову и принялись молиться Богу, в то время как течение и яростный ветер несли судно прямо на мост! Еще миг, и мы врезались бы в мостовую опору и потонули, но тут отец и мы все, схватив багры и едва успев встать с ними на носу, оттолкнулись от опоры, на которую нас сносило. Толчок был таким сильным, что мы повалились на скамейки, зато лодка отклонилась в сторону и чудом сумела пройти под аркой моста...» [18]

Плыть против течения было не столь опасно — зато как же тяжело! «Невозможно передать, каким безумным ремеслом занимались эти люди!» [19] Четыре-пять, а то и более судов сцепляли в один караван; передняя лодка, более узкая и длинная, служила как бы флагманом; на

корме у нее была кабина, где собирались команды остальных судов, чтобы поспать, приготовить пищу, поесть. А по бечевнику, проложенному чаще всего вдоль левого берега реки, шли конские упряжки, насчитывавшие до пятидесяти лошадей зараз: двадцать восемь тянули носовой канат и еще десятка два — кормовой. «Что за великолепные лошади! — восторгается один из авторов.— Кажется, ныне уже не умеют выращивать таких сильных и крупных» [20]. В начале XIX века их было на берегах Роны 6 000 голов. В Лионе их держали в Мулатьерских конюшнях [21] — то была своего рода диспетчерская, откуда их отправляли обратно на юг на плавучих конюшнях-«пенелях», чтобы затем вновь запрячь в бечеву.

У «береговых речников», занимавшихся бечевой тягой, была нелегкая работа: следить за лошадьми (осматривать перед отплытием, при необходимости перековывать, с помощью постромок запрягать по четыре в ряд в бечевой канат, править ими по приказам хозяина, передававшимся с головного судна), натягивать бечеву — «длинный пеньковый канат, привязанный к мачте головного судна»,— перебрасывать его через препятствия, высвобождать его, если запутается в «густом ивняке» по берегам реки... На иных участках канат с постромками растягивался на длину, достигавшую порой километра. Так, в Донзере (речники звали это место «обезьяньей горкой») лошади поднимались вверх по склону на 60 метров над уровнем реки, по которой между тем медленно полз вверх караван судов. Дополнительное затруднение возникало при необходимости время от времени переносить тягу с одного берега на другой — в тех местах, где прерывалась бечевая тропа (бечевник). В таких случаях лошадей заводили на специальные «перевозные» баржи и переправляли на противоположный берег, где они снова начинали тянуть бечеву. При этом судам каравана, естественно, тоже приходилось пересекать реку. 2 мая 1764 года шедший вниз по течению «шен» с грузом зерна врезался в головное судно такого каравана, как раз переплывавшего от одного берега к другому, разломился и затонул... [22] Случалось, что караван увлекало течением,— тогда приходилось спешно рубить канаты, иначе лошадей утащило бы в реку.

Корабельщики почти не покидали своих судов; им не приходилось, как это делали на Луаре и Алье, подниматься пешком обратно вдоль Роны, хотя и бывало, что суда по прибытии в порты Нижней Роны продавались на слом. В целом эти люди составляли не очень многочисленную группу населения — в 1811 году от 3 000 до 3 500 человек [23],— и все они происходили из нескольких селений по берегам реки (ибо река бывала поделена речниками на сектора, подобно тому как морское

побережье традиционно делилось на участки между моряками). В Живоре, Ле-Роше-де-Кондрие, Серьере, Андансе, Бур-Сент-Андеоле «существовали целые династии суровых мужчин, у которых река была в крови» [24]. Эти мужественные и горластые люди держались особняком, объединялись по нескольку родственников для покупки одного или нескольких судов. Были у них и свои моды — золотые кольца в ушах, длинные волосы, заплетенные в косички-«каденетки», свисающие по обеим сторонам лица; был и свой язык, не имевший ничего общего с языком прибрежных жителей; был и свой праздник — Николин день, 6 декабря. У них были даже своеобычные блюда, скажем, «матлот», для приготовления которого следовало накрошить в котел любых речных рыб — их здесь водилось много, и притом превосходных на вкус,— полить добрым красным вином с прионских холмов и все это поджечь наподобие пунша. Наконец, вдоль всей реки у них были излюбленные, практически для них одних работавшие трактиры [25].

К этим людям примыкали, увеличивая их численность, также и береговые речники, о которых уже сказано выше и которые по количеству не уступали речникам настоящим, а также портовые докеры, чернорабочие, грузчики и, наконец, судостроители из Сесселя, Лиона, Вернезона, Живора, Вьенна, Кондрие, Анданса... И это еще не считая тех, что строили «шены» на берегах Соны. Не считая также — ибо они тоже держались совершенно наособицу — плотогонов, которые сплавляли огромные плоты (60—80 метров в длину, 14—15 в ширину), составленные на Арве, Изере или Дюрансе. Молевой сплав по бурным водам Роны был невозможен [26].

В общем, то была развитая транспортная система, способная выполнять перевозки огромного объема, несмотря на множество затруднявших их препятствий.

Вместе с тем, в противоположность судоходству по Сене или Луаре, ронский водный путь почти не разветвлялся по притокам большой реки. Эти притоки либо вообще плохо годились для навигации, либо для них требовались суда иных типов, чем для Роны.

Исключение, и то неполное, составляла одна лишь Сона. Несмотря на грандиозные паводки, ежегодно затоплявшие широкие прибрежные луга, несмотря на ледовые заторы, из-за которых она порой превращалась в бешеный поток, сносивший мосты, топивший лодки, разбивавший в щепки шаланды и смывавший с берега целые дома [27],— это была все же относительно спокойная, полноводная река, судоходная начиная с Пор-сюр-Сон. Однако сообщение между Соной и Роной таило свои сложности. Мало того, что приходилось часто делать пересадки

с одного судна на другое, но в Лионе еще и не было бечевой тропы для подъема по течению, так как здесь к самой кромке воды подступали дома. Имелась специальная корпорация речников, которые занимались тем, что, стоя на палубе судов, подтягивали их канатами, закрепленными на мостах через реку,— корпорация агрессивная и привередливая, обладавшая явной и непомерно большой властью над самым уязвимым участком всей трассы французского перешейка. Волей-неволей приходилось с нею считаться и терпеть ее прихоти и притязания.

По меркам своего времени, грузооборот Роны и Соны был исключительно велик (на Роне — примерно в четыре раза больше, чем на Луаре; сравниться с нею мог только ее «сиамский близнец» Рейн) [28]. Однако эта водная система была недостаточно разветвленной, практически однолинейной, поскольку обе реки, и Рона и Сона, тянутся по одной линии с севера на юг. Верхнее же течение Роны, выше Лиона, где река отклоняется к востоку в направлении Женевы, судоходно только до Сесселя. Правда, при условии перевалки груза этот путь соединялся еще и с путями по Дюрансу и Изеру. А главное, следует иметь в виду и другие виды транспорта — дорожные фуры, вьючные караваны, пассажирские экипажи, маршруты которых от Роны расходились в Центральный массив, Лангедок, Прованс, Дофинэ, Савойю, Лионнэ и даже Юру... Благодаря множеству возчиков («с поводьями в одной руке и с кнутом в другой, в синей блузе и пестром колпаке, в развевающемся на ветру лимузенском плаще и в гетрах») [29] ронское судоходство сообщалось с отдаленными местностями, тем самым завершая транспортную систему Ронской низменности.

Своего наивысшего развития эта система достигла в первые десятилетия XIX века. Грузооборот вырос до 400 000 [30] или 300 000 [31] тонн, считая перевозки как вниз, так и вверх по реке, причем объем первых был примерно вчетверо больше, чем вторых. Если принять, что в среднем на каждой барке перевозилось 40 тонн груза, то получается цифра в 10 000 рейсов в год, если не больше. С другой стороны, по подсчетам Валансской судоходной конторы, «с 1 апреля 1809 года по 30 марта 1810 года вниз по реке прошло 2 250 судов под грузом и 150 порожних; вверх по реке — 1468 под грузом и несколько порожних» [32]. Следовательно, всякие расчеты оказываются гадательными. Сухопутный грузооборот, вероятно, составлял лишь небольшую часть от водного, но и здесь возможны лишь оценочные прикидки [33].

Интенсивность перевозок была велика в обоих направлениях. Действительно, именно по Роне перевозились все товары, закупленные северными провинциями на грандиозной Бокерской ярмарке. В Арле на

ронские суда перегружали с морских кораблей товары Средиземноморья. В дальнейшем на борт брали многочисленные попутные грузы из разных приронских городов — товары зачастую небольшого веса, зато высокой стоимости. Вообще на ронских судах возили все, что угодно, вплоть до самых неожиданных предметов — начиная со статуи Людовика XIV, предназначавшейся для лионской площади Белькур и совершившей целое путешествие из Парижа в Средиземное море через Гавр и Гибралтарский пролив, чтобы удобнее было доставить ее в Лион [34] (где она утонула при аварии в Мулатьерском порту и пришлось поднимать ее со дна!), и кончая приданым (обстановка и наряды) Марии-Каролины, дочери короля Обеих Сицилий, которая в 1816 году вышла замуж за герцога Беррийского.

На первых ролях, как и следует ожидать, были тяжеловесные товары: железо, тесаный камень, кирпич, черепица, а самое главное, важнейшие грузы еще со времен средневековья — пшеница, вино и соль. Пшеницу возили то вниз, то вверх по реке, в зависимости от изменчивых урожаев и потребностей. Как и всюду, ее потребление ориентировалось прежде всего на местную продукцию, но нередки были и дополнительные межрегиональные поставки. Напротив, ввоз хлеба из-за границы практиковался лишь в случае всеобщего кризиса, что также, как известно, случалось нередко. В отношении вин города долгое время довольствовались продукцией своих пригородных виноградников. Но в XVIII веке, с ростом потребления, начались и крупные поставки из тех районов, где выращивались наиболее ценные сорта винограда. Что же касается соли, без которой прожить нельзя никак, то она составляла одну из главных забот государства и крупных капиталистических компаний, занимавшихся ее перевозкой и перепродажей. Целые караваны речных судов, загрузившись на обширных соляных полях в Пеккэ или в Сент-Мари-де-ла-Мер, снабжали соляные склады, расположенные вдоль всей реки. Некоторые из них поднимались до самого Сесселя, где кончается судоходная часть Роны. Сессель разделялся рекой на две части: на французском берегу располагался промышленный поселок, где строились крупные суда из еловых досок и брусьев — уже упомянутые выше «сисланы»,— а на савойском берегу находились таможня и большой склад, откуда соль на подводах везли в Регонфль — озерный порт Женевы.

Торговля солью неизменно служила двигателем речных перевозок. В июле 1701 года предприниматели, собиравшиеся организовать пассажирское сообщение между Лионом и Сесселем на «баркеттах» (три рейса в неделю), размышляли о том, как сделать, чтобы их кораблям

«не приходилось ходить вверх по течению порожняком, с большими затратами и без всякой выгоды» [35]. Что же они придумали? Стали хлопотать о разрешении «перевозить из Пеккэ в Сессель семь-восемь тысяч мино [36] соли по обыкновенной цене».

Благодаря перевозкам, перевалкам, складированию грузов на берегах Роны, по возможности укрываясь от ее опасных вод, вырос целый ряд деятельных городов, которые при благоприятных исторических обстоятельствах порой достигали подлинного расцвета. Таков Арль, надолго переживший римскую Галлию и не утративший с годами своего великолепия; таков Авиньон, долгое время служивший центром всего христианского мира и в те годы развернувшийся во всем блеске... Ярким ореолом обладали здесь даже второстепенные города. Но накануне Революции два из них совершенно затмили все остальные: на юге — Бокер, чьи шумные ярмарки существовали по крайней мере с 1315 года и куда съезжались до 100 000 купцов, покупателей и просто посетителей; на севере же — Лион, чьи ярмарки, не менее славные, чем бокерские, были центрами не только торговли, но и кредита,— Лион, пытавшийся (правда, безуспешно) распространить свое влияние на все королевство и даже задавать тон во всем пока еще несовершенном оркестре европейской экономики.

«Французский перешеек» и единство Франции. Вернемся, однако, к нашей проблеме. Долина Соны — Роны послужила мощным стимулом в жизни Франции: вдоль нее возникали города, районы деловой активности, архитектурные сооружения. «Почему в Бургундии так много аббатств, монастырей, и притом столь величественных? Ясно, какую роль сыграли здесь история и география. Но к этому стоило бы прибавить и великолепие природы»,— так пишет Анри Феске [37]. А еще более очевидны преимущества, обусловленные, так же как и во Франш-Конте, Лионнэ, Дофинэ, Лангедоке, Провансе, близостью торговых путей. Всюду, где есть дорога, вдоль нее вырастает и разветвленная корневая система истории.

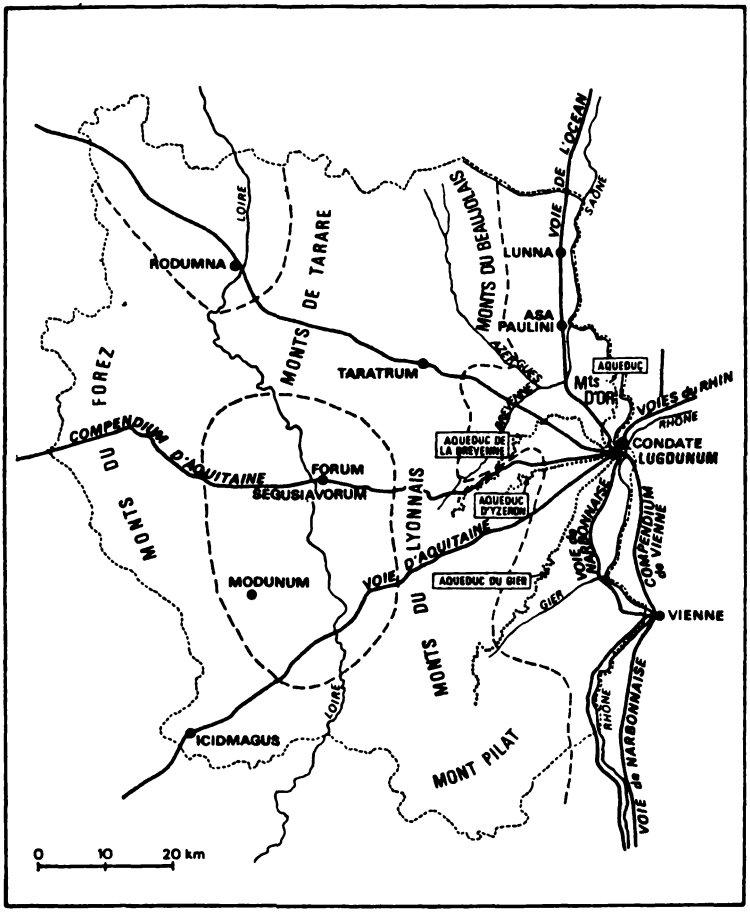
И все же следует ли отсюда, как полагал Видаль де ла Блаш, что все более интенсивное движение судов, то спускавшихся к Внутреннему морю, то медленно поднимавшихся обратно по реке, воплощая в себе порывы средиземноморской цивилизации к северу, сближение и взаимопроникновение культур,— что все это на протяжении французской истории играло первостепенно важную *объединяющую* культурно-политическую роль? Априори именно этого и можно было бы ожидать. Но что же говорит нам история — лучший судья в подобных делах?

Бесспорно, во времена Древнего Рима «французский перешеек» составлял одну из главных магистралей, своего рода пуповину, но служил-то он Империи — той сети больших дорог, городов и цветущих деревень, что возникла с легкой руки римлян в междуречье Мозеля и Рейна. «Перешеек» располагался как бы на окраине Галлии. Лион, связанный с Цизальпийской областью, Средиземным морем, Западной и Северной Галлией, служил в римскую эпоху узловым пунктом всех перевозок; то был главный промежуточный лагерь для легионов, направлявшихся на границу вдоль Рейна. Но, стало быть, Лион служил колониальной столицей, городом, предназначенным для охраны и эксплуатации завоеванных земель? [38]

Еще более ясна ситуация в пору расцвета шампанских и брийских ярмарок — в XII—XIII веках. Будучи связана с морем (начиная с Эг-Морт по ней могли плавать венецианские galere da mercato) * и с альпийскими проходами, которыми пользовались перевозчики из Асти, ронская магистраль занимала как бы особое положение, но все же она находилась на краю королевства, чьи восточные рубежи проходили в то время по «четырем рекам» — Шельде, Маасу, Соне, Роне. Для ронских речников правый берег был берегом французского королевства, la vira de riaume, левый же берег — la vira de pire, берегом Империи, владения которой долгое время простирались до самой Роны [39]. Франции просто повезло, что на этом левом берегу так и не было выстроено чего-либо основательного. Фактически Рона начала жить одной жизнью с Францией лишь в результате медленного и многотрудного продвижения границ нашей страны на юг и восток — после присоединения Лангедока (1271), Лиона (Филипп Красивый вступил в него 13 марта 1311 года) [40], Дофинэ (1349), Прованса и Марселя (1481—1483), центрального Бреса (1601), Эльзаса (1648), Франш-Конте (1678), Лотарингии (1766), Авиньона (1790), Монбельяра (1793), Савойи и Ниццы (1860).

Решающее расширение территории произошло в 1481—1483 годах: именно тогда французский король, овладев Провансом и Марселем, получил свободный выход к Средиземному морю. До этого подобную попытку предпринимал Людовик Святой, разместив свою ставку в Эг-Морт и даже фактически основавший этот город (оттуда он в 1248 году отплыл в Египет, а затем, в 1270-м,— в нынешний Тунис), но все же этот первый прорыв к древнему морю не имел длительных последствий и не идет в сравнение, скажем, с основанием Санкт-Петербурга на Балтике Петром Великим. К тому же Эг-Морт — плохая гавань. Уже в 1248 году,

* Купеческие галеры *(ит.)*.



РИМСКИЕ ДОРОГИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛИОНА

Лион был точкой пересечения крупных римских дорог, обслуживавших коммерческие и политические потребности империи и направлявшихся к Рейну, в Цизальпийскую область, к Средиземному морю, в Западную и Северную Галлию. Карта воспроизводится по книге: Histoire de Lyon et du Lyonnais, publiée sous la direction de André Latreille. 1975.

когда неисчислимый флот Людовика отплывал из Эг-Морт в египетскую экспедицию (VI крестовый поход), этот город был уже отделен от моря широкими песчаными косами и окружен обширными лагунами, образующими как бы внутренние моря, выбраться из которых можно лишь по бесконечной цепи каналов. Что же касается великолепных крепостных стен Эг-Морт, то они были возведены уже после смерти Людовика Святого его сыном Филиппом Смелым, который в то время вел борьбу против арагонцев. Будучи труднодоступным портом и еще менее значительным торговым городом (несмотря на все усилия королевской власти), Эг-Морт не мог тягаться с Монпелье, Нимом и Марселем. В 1248 году Жуанвиль, то ли по природной осмотрительности, то ли по необходимости, отплыл в поход из Марселя; короля он нагнал уже на Кипре [41].

Итак, прославленная дорога по Соне и Роне лишь очень поздно обрела свое прочное место в рамках Франции. По мнению географа Пьера Гуру, «Лотарингское королевство и Германская империя делали магистраль Сона — Рона бесполезной для Франции, несмотря на ее активность в древности, несмотря на выросшую вдоль нее мощную и чарующе прекрасную цивилизацию (Бургундия, Лион, Валанс). В том, что так случилось,— добавляет он,— виновата не «география», но одна лишь история» [42]. Отметим, кстати, это категоричное противопоставление, а также и то, что виной всему здесь признаются события действительно давние: выделение «имперской части» старшему сыну Людовика Доброго Лотарю (по Верденскому договору 843 года, то есть уже более тысячи лет тому назад), а затем распространение владений Оттонидской империи до берегов Роны.

Таким образом, решающим обстоятельством явилось то, что в средневековой Европе Рона очень рано стала *границей*. А раз так, то как же мог «французский перешеек» обладать общенациональной значимостью, на протяжении веков оставаясь за чертой или почти за чертой французской территории? Взять хотя бы расцвет Авиньона в XIV веке, когда там размещалась папская курия: слава этого города, ставшего помимо прочего еще и столицей нарождавшегося гуманизма, была вселенской или, что то же самое, общеевропейской, а не исключительно французской. Так же и Лион XVI века, в пору процветания его ярмарок, являлся прежде всего дополнительным звеном в системе итальянской торговли, городом общеевропейской значимости.

Не приходится ли заключить, что Рона не смогла сыграть должной роли в истории Франции? Или же, вернее, что Франции не удалось в полной мере поставить себе на службу ронский водный путь?

Сказался здесь и еще один фактор. «Французский перешеек», как мы знаем, не является единственным пригодным для сообщения перешейком Европы и, если не считать (да и то с оговорками) римскую эпоху да период ярмарок в Шампани, никогда и не был самым оживленным из них; уже с конца XIII века столбовой дорогой европейской торговли быстро и безоговорочно становится германский перешеек, вдоль которого выстроилась целая цепь городов: на юге это Генуя, Милан, Флоренция, Венеция, в срединной зоне — Аугсбург, Базель, Страсбург, Нюрнберг, Франкфурт, Кельн (все эти города получили мощный толчок к развитию благодаря разработке германских серебряных и медных рудников), наконец, на берегах Северного моря — Брюгге, Антверпен, Гамбург, даже Лондон. Благодаря энергичным селянам-возчикам, использовавшим санный путь по зимнему снегу, Альпы не только не препятствовали товарообмену, но зачастую даже ускоряли его [43].

Поэтому такой город, как Марсель, при всей своей деловитости явно не мог в то время состязаться с Генуей — городом древних исторических и архитектурных традиций, сосредоточившим в себе деловую активность эпохи раннего агрессивного капитализма, или же с Венецией — центром торговли с Левантом, связанным, как и Генуя, альпийскими дорогами с Германией.

Представим себе на минуту все эти могущественные города Италии, Германии, Нидерландов, эти «городские города», солидарные города-компаньоны, связанные друг с другом дорогами, которые расходились по всей прекапиталистической и капиталистической Европе, составляя ее «хозяйственный хребет». Если ни Италии, ни Германии столь долго не удавалось образовать единые национальные государства, то причиной тому именно эта россыпь старинных, автономных, чрезвычайно богатых городов, умевших отстаивать свои вольности. Франция же стояла несколько в стороне от этого общеевропейского процесса: дело в том, что использование проходившего через нее перешейка всецело зависело не от городов Лангедока или же от Марселя и провансальских портов, но лишь от доброй воли и деловой заинтересованности городов Италии, которые в то время служили исходным звеном любой эффективной экономической цепочки.

Все вместе взятое — с одной стороны, первенствующая роль «германского перешейка», а с другой стороны, открытие в конце XIII (1298) и начале XIV века постоянного морского сообщения между Средиземным и Северным морями через Гибралтар [44],— привело к отстранению Франции от активного участия в международном товарообмене и от влияния делавшего свои первые шаги новоевропейского капитализма.

К этой истине нам еще придется возвращаться в дальнейшем, тем более что в традиционных исторических построениях она освещается недостаточно. А между тем это факт первостепенной важности! При всей своей неуемной и неугомонной деятельности (вызванной, быть может, именно неудачами), Франция не сумела найти себе место в наиболее выгодных географических структурах европейского капитализма. Сама ли она тому виной? Случилось ли так из-за ее «врожденной» недееспособности? Или же это сам европейский, чтобы не сказать международный, капитализм безотчетно пренебрег нашей страной — или, того хуже, решительно ее отверг?

Рона — пограничная река. Итак, в конечном счете Рона оказалась границей, разделяющей и разобщающей преградой; Даниель Фоше даже называет ее «врагом» [45]. Причиной тому ее быстрое и опасное течение, ее буйный нрав, но также и поступки людей и превратности истории. Обычно о реках говорят, что они не столько разделяют, сколько объединяют народы, что они созданы для переправ с одного берега на другой — в поисках выгоды или же просто по прихоти. С Роной дело обстояло иначе.

На ней, разумеется, были переправы, и они действовали ежедневно. Но для этого требовались согласованные усилия городов-близнецов, стоявших друг напротив друга по двум берегам; именно им приходилось содержать мосты, перевозные лодки, канатные паромы [46]. На карте, составленной Кассини в XVIII веке, от Женевы до моря на Роне насчитывается около пятнадцати мостов. Много и городов-близнецов: Живор и Шасс, Вьенн и Сент-Коломб, Анданс и Андансет, Турнон и Тэн-л'Эрмитаж, Валанс и Сен-Паре, Авиньон и Вильнев-лез-Авиньон, Тараскон и Бокер, Арль и Тренкетай... [47] В их соперничестве победу одерживал иногда правобережный («королевский»), иногда левобережный («имперский») город. Подобных пар, обусловленных экономической потребностью, было очень много, а значит, для купцов и прибрежных жителей переправа через реку была даже более важным делом, чем плавание вниз или вверх по течению.

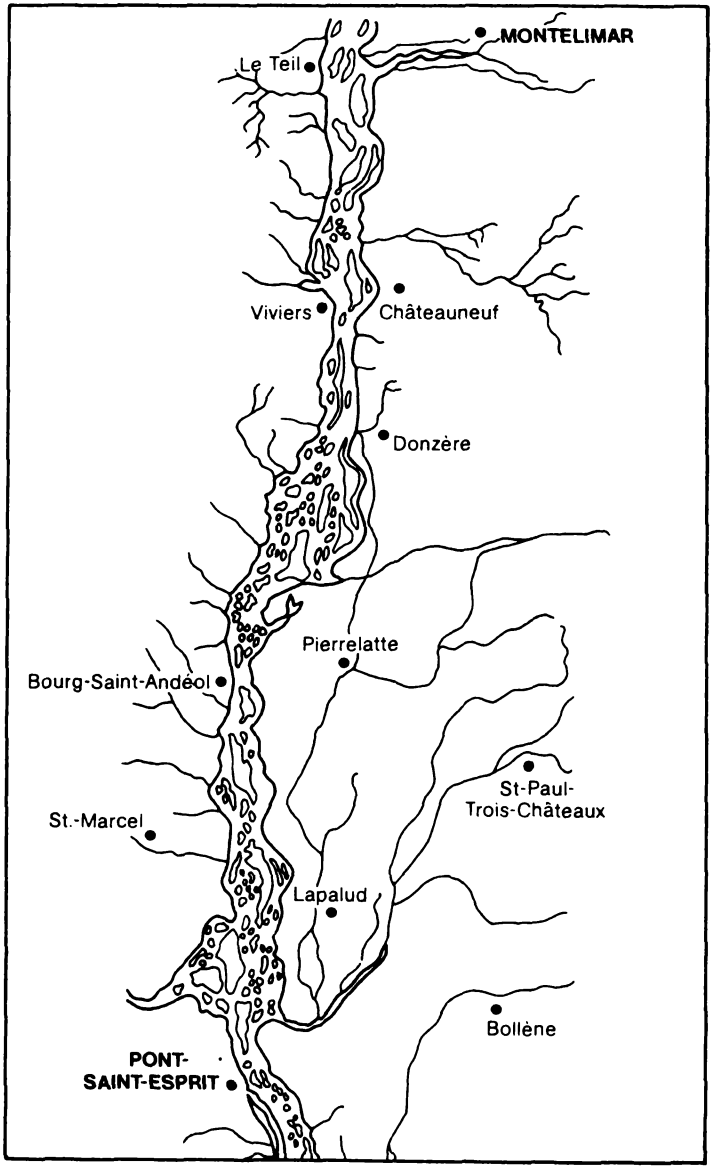
Но политика чуждалась подобных предосудительных слабостей. Конечно, бывают и такие реки, через которые запросто перешагивала политическая или даже просто административная власть. Одни реки — например, Сена или Луара — способствовали укреплению связей между своими берегами (что подтверждается существованием на Луаре *провинций-мостов*, таких как Нивернэ, Орлеанэ, Турень, Анжу, Бретань) [48],

однако другие — Рейн, Рона и даже Сона — напротив того, служили барьером. Ни Прованс, ни графство Венессен, ни крохотное Оранжское княжество, ни Лангедок, ни Виварэ, ни Лионнэ — ни одна из этих областей практически не заходила за Рону. Также и территория Савойи — в те времена, когда герцогство Савойя еще владело Жексом и областями Бюже и Брес, отданными Франции по Лионскому договору 1601 года,— не распространялась за Сону. Да и Бургундия, где скрещивалось множество дорог, лишь едва-едва перешагивала эту тихую реку.

В 1707 году маршал де Тессе, находясь в Дофинэ во главе армии, собранной вновь после разгрома при Турине (см. об этом ниже), ожидал наступления противника в Савойе. Как бы там ни было, Лангедоку вторжение не грозит, успокаивал он себя, ибо «Рона не такая река, чтобы враг преодолел ее с ходу» [49]. Действительно, несмотря на оживленное судоходство, эта река представляла собой «естественную» границу; она служила разломом, крепостным рвом. Ни одно государство либо квазигосударственное образование не могло располагаться сразу на обоих ее берегах. Правда, некогда королевство Прованс овладело было правобережной областью Виварэ, но связь между ними оказалась недолговечной. Вообще по обе стороны реки лежали совсем разные, ни в чем не похожие земли. Даже и сегодня, во время своих довольно частых поездок из Альп в Центральный массив через Пон-Сент-Эспри, я не могу отделаться от постоянного впечатления, что, хотя по обоим берегам вдоль шоссе тянутся виноградники, с переездом через Рону попадаешь в совершенно другой мир.

Контрасты и различия сохранялись и после того, как обоими берегами завладел французский король, сшив воедино эти, как их называли с явным преувеличением, «два края раны» [50]. Народы и провинции с разных берегов терпеть не могли друг друга и постоянно грызлись между собой. Их сосуществование не было мирным. Хотя со временем прямая война между стоявшими друг против друга городами и деревнями несколько «приутихла» [51] и некоторые пары городов даже научились жить в согласии, но все же ссоры, обиды и тяжбы между двумя берегами оставались в порядке вещей.

Относительно принадлежности самой реки споров не было, во всяком случае, не должно было быть. Король Франции уже давно объявил воды Роны и все, что ими окружено, своей собственностью. В частности, в 1380 году, еще задолго до того, как принять на себя титул графа Прованского, король Франции заявил, что «все острова на Роне и иных реках Лангедока принадлежат ему в силу



ОСТРОВА НА РОНЕ

Показанные на карте Кассини (кон. XVIII в.) бесчисленные ронские острова, разбросанные на участке от Монтелимара до Пон-Сент-Эспри, составляли одно из многих препятствий к судоходству.

его суверенитета и по королевскому праву» [52]. Не менее категоричен был и Людовик XI в 1474 году (за несколько лет до того, как получить по наследству Прованс): в своих грамотах он объявлял, «что вся Рона, сколь бы широко она ни разливалась, а равно и все то, что ею опоясано и окружено, принадлежит королю...» [53]

Это правовое положение было прочно зафиксировано, и королевская власть твердо его придерживалась. Дело доходило до того, что, как сообщалось в 1734 году, «когда преступники из Авиньона (принадлежавшего папе) бежали на лодках по Роне, то папские чиновники не имели права их преследовать». Более того, «когда Рона во время наводнения затопила часть Авиньона вплоть до улицы Фюстери, то портовый надзиратель получил приказ установить там щиты с королевским гербом в знак принадлежности этой реки королю» [54].

В то же самое время на реке имелось восемьдесят мытных застав, принадлежавших разным лицам — владельцам речных берегов; в противоположность беглому замечанию Андре Алликса [55], воды Роны отнюдь не были нейтральными и открытыми для свободной торговли.

Река служила предметом споров даже между французскими провинциями. В одном из таких споров, уже около 1760 года, столкнулись Лангедок и Прованс, и в их историко-юридических доводах впору совершенно запутаться [56]. Показательно, однако, что разрешением спора занялся Королевский совет, ибо то, из-за чего тягались две провинции, представленные солидными юристами, в принципе представляло собой королевские владения. То были всевозможные острова и островки — «наносы, осередки, отложения, косы и примоины», возникавшие на Роне из-за непрерывного аллювиального процесса, «плавучие острова, подобные подвижным плотам... или же дрейфующим лодкам» [57]. В чем же предмет спора? — в этих самых клочках суши, из которых некоторые были, конечно, бесплодны, зато другие столь плодородны, что пшеница на них давала урожай сам-десят или сам-пятнадцать [58]. Главное же — в налогах и обязательных податях с тех островов, где имелось постоянное население: кому их собирать — провансальским или же лангедокским откупщикам? Здесь и заключалось основное содержание тяжбы. В посвященной ей длинной докладной записке нам удалось обнаружить лишь одно-единственное упоминание о «двубережных» отношениях — в связи с речниками из Вильнев-лез-Авиньон, имевшими исключительное право переправляться через реку на высоте Авиньона.

Не так важно, что Королевский совет вынес приговор в пользу Лангедока, позволив ему распространить свою юрисдикцию на левый

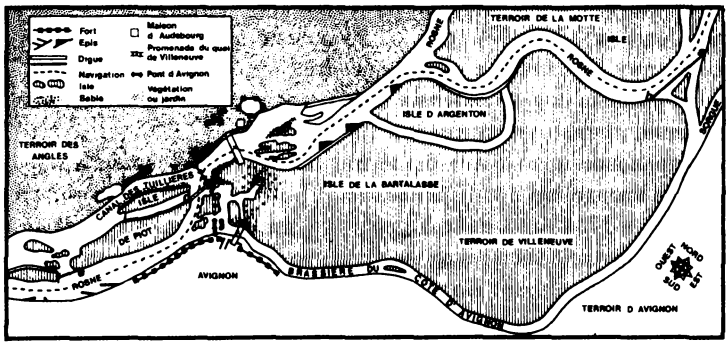


СХЕМА ПРОВОДИВШИХСЯ НА РОНЕ РАБОТ, ПРИЛОЖЕННАЯ К ЗАПИСКЕ ВОБАНА (1686)

Судоходный фарватер реки обозначен пунктиром. Предполагалось отвести грузовые перевозки от левого берега, принадлежавшего папе (от Авиньона), к правому, французскому берегу (Вильневу). Для этого требовалось — или потребовалось бы:

1. Отвести течение реки. С помощью дамб, расположенных по линии a/b (поперек рукава Роны, охватывающего остров Барталас), по линии c/d (между упомянутым островом и островом Пио) и по линии e/f. С помощью треугольных направляющих дамб, отклоняющих воду к правому берегу. Наконец, при помощи расширения двух рукавов — Сен-Пьер и Тюльер. Едва начавшись, работы застопорились: они оказались чрезвычайно трудны и привели к непредвиденным последствиям (эрозия берегов, образование песчаных мелей посреди реки).

2. Оборудовать на вильневском берегу бечевую тропу (см. фрагмент плана на соседней странице). Это успели сделать на участке от Авиньонского моста до дома Одебур (в старину нависавшего прямо над рекой). Оставалась одна сложная задача: пробить бечевую тропу шириной не менее пяти метров (15 футов) в высокой скале, на которой стоит форт Сент-Андре. Мало того, что задача эта трудна сама по себе, вдобавок для ее решения пришлось бы снести «край форта», чтобы отодвинуть его стену примерно на двадцать метров (десять туазов).

Интересно было бы выяснить, что понимала королевская администрация под термином «остров»; ведь остров Барталас очевидным образом «примыкает» к территории Авиньона.

РОНА ОТ КОСЫ ОСТРОВА БАРТАЛАС ДО РАЙОНА ИССАФ.

Старинная карта 1625 г. с проектом изменения русла Роны

берег Роны, по крайней мере на кромку речных наносов, принадлежавших Империи. Суд учел, вероятно, то обстоятельство, что Лангедок был присоединен к владениям короны более чем на два века раньше, чем Прованс, и это давало ему приоритет. Тем самым в разрешении дел, имевших касательство к Роне, ее берегам и островам, были даны некоторые преимущества и прерогативы парламенту Тулузы...

В ходе другого, более крупного спора, в котором едва не столкнулись между собой два государства, появилась на свет, в числе прочих пространных документов, ныне затерянных в папках Национального архива, «Докладная записка, или Мнение господина де Вобана», датированное 22 марта 1686 года [59]. Суть дела объясняется в подписи к схеме работ, которую мы воспроизводим на с. 250. Предполагалось ни больше ни меньше как отвести все водные перевозки по Роне (вниз и вверх по течению) в тот рукав реки, что протекает мимо стоящего на крутом берегу Вильнев-лез-Авиньон, с тем чтобы речное сообщение пошло в обход иностранного порта-соперника на другом берегу — папского Авиньона.

Однако отвести течение реки оказалось делом нелегким, и в конечном счете вся затея потерпела неудачу. Как бы между прочим это предсказывал и Вобан. «До сих пор,— пишет он,— проведены лишь незначительные работы у утеса Сент-Андре, через который, в числе прочих мест, должна пролечь бечевая тропа»,— речь идет, разумеется, о вильневском береге. Правда, было сооружено некоторое количество поперечных дамб, чтобы как можно больше воды направлять в сторону Вильнева и его «канала». «Поскольку Рона и острова полностью принадлежат королю,— говорится в записке,— а дамбы не достигают до венессенского берега, то люди папы ничего не смогут возразить, Рона же всецело будет направлена в сторону Вильнева» [60]. Эта любопытная фраза лишний раз подтверждает, что воды реки и острова на ней принадлежали французскому королю. Под властью папы оставался лишь берег графства Венессен.

Попутно в записке Вобана приводятся и некоторые данные об Авиньонском мосте: «Двенадцати футов в ширину, а длиной в пятьсот туазов... он совершенно не годится для проезда подвод и перевозки тяжелых грузов, что составляет одну из самых непростительных ошибок, какие можно допустить в такого рода сооружениях». Таким же изъяном отличался и расположенный севернее мост Пон-Сент-Эспри: «Он имеет четыреста туазов в длину и пятнадцать футов в ширину... но посередине одной из его арок — пролом, хотя она до сих пор еще не обрушилась»; те подводы, что не могли по нему проехать, приходилось

разгружать и заводить на паром, а поклажу с них передавать носильщикам, которые вновь загружали ее на повозки уже на том берегу» [61]. Одним словом, переправа через Рону была все же не очень-то удобной.

Судьба Лиона. У Лиона была не более простая судьба, чем у реки, на которой он стоит. Вообще каждый город образует сложный организм, а тем более Лион, поражающий историка богатством, резкими метаморфозами, оригинальными и даже причудливыми чертами. С каждым столетием он становился иным, то и дело сменяя один оригинальный облик на другой (правда, скорее поневоле, чем по собственному хотению). Один этот город уже составляет трудную проблему французской истории — быть может, даже ключевую проблему, во всяком случае по своей наглядности.

Лион — город живой, настойчивый, скрытный, стесненный своим положением, немало пострадавший от превратностей истории и повинующийся собственным теченим и ритмам [62]. Это подлинно французский город, связавший свою судьбу — в полном смысле «на радость и на горе»,— с окружающим его обширным краем. Это также город на Роне, испытывавший со всех сторон притяжение ближних и дальних соседей, которым как бы компенсировалась центростремительная сила сливающихся в нем рек. Соответственно на протяжении своего многовекового существования он клонился то в одну, то в другую сторону. Современный географ находит, что его влияние «парадоксальным образом сильнее ощущается в Центральном массиве, чем в самой Ронской низменности» [63]. Правда, Пьер Этьенн в силу ряда старых и новых причин недооценивает ту роль, которую играет для Лиона водный путь Сона — Рона. Чуть ниже мы еще вернемся к этому.

Действительно, своей необычностью город вызывает удивление, сомнение и раздражение у наблюдателя, который при всех стараниях никак не может уловить его сущность, с трудом очерчивает его контуры и ежеминутно вынужден менять линию горизонта и подбирать новые краски. Он-то намеревался осмыслить этот город по привычным меркам, исходя из местных, региональных, общенациональных структур. Но не успеет он сформулировать решение, как оно вновь ускользает или, по крайней мере, задача усложняется.

Лион, конечно же, жил одной жизнью с окружающим его краем Лионнэ: его буржуа владели там землями, виноградниками, загородными домами. Но эта узкая полоса была непропорционально мала сравнительно с внедрившимся в нее городом: Лионнэ оказывался

препятствием для города, тормозил его развитие. Насколько иначе обстояли дела в окрестностях Тулузы или же в Иль-де-Франсе! Их невозможно даже сравнивать.

Способна сбить с толку и логика региональных структур, которая также не проясняет дела. Спору нет, Лион был мощным и процветающим региональным центром с тех самых пор, как он вновь вошел в силу в XVI веке. Сегодня его влияние распространяется на широкий круг далеко отстоящих от него городов, таких как Роанн, Дижон, Шалон-на-Соне, Безансон, Женева (его давняя соперница), Гренобль, Сент-Этьенн, в недавнем прошлом — Вьенн, а ныне — Валанс... Но для полной ясности здесь требовались бы точные исследования, наподобие трудов Андре Пиатье, о которых говорилось в главе II, нужно было бы обследовать объем торговых и финансовых связей между Лионом и этими городами, зависящими от него и с ним же соперничающими.

Что касается общенациональных структур, то их воздействие на Лион представляется нам (исключения лишь подтверждают правило) скорее враждебным, негативным. Ни в экономике, ни в политике Франция либо не захотела, либо не смогла поддержать своим влиянием мощный жизненный порыв Лиона.

Коротко говоря, экономика Франции переориентировала перешеек Соны — Роны в сторону Парижа. Благодаря ей выросла роль сообщения Париж — Лион по старинной дороге через Бурбоннэ (ныне — национальное шоссе № 7). Далее, в Лионе парижская магистраль отходит в сторону от Роны и сразу же направляется в Италию, в Турин и Милан; миновав Шамбери, она углубляется в Морьенскую долину, которая образует здесь единственный крупный путь в Альпы, через легкодоступный перевал Мон-Сени (2 100 метров высотой). В общем, эта диагональная трасса хотя и проходит через Лион, но с ронской магистралью лишь пересекается. Да и вообще в масштабе всей страны, очевидно, не может быть места сразу двум центрам управления, сразу двум очень крупным городам. Париж возобладал над Лионом в силу того простого обстоятельства, что он был и является столицей, куда естественно и непременно сходятся все дела и стекаются взимаемые государством налоги, создавая в Париже постоянный избыток денежной массы.

Тем не менее в экономическом плане Лион довольно долгое время превосходил столицу. Действительно, город на Роне пережил бурный взлет благодаря расцвету своих ярмарок. В XVI веке Париж со своей розничной торговлей являл собою жалкое зрелище по сравнению с лионским оптом и банковским кредитом. Но в XVII веке, когда развитие

Франции замедлилось, миновала и лучшая пора лионских ярмарок. Когда же в XVIII веке все опять пришло в движение, то ярмарки уже были вчерашним днем, и набиравшая обороты экономика выдвинула на первый план Париж; мало-помалу столица отняла у Лиона и его финансовое могущество. К концу века Просвещения это стало уже свершившимся фактом. Честно или нечестно завоеванная, но победа осталась за соперником Лиона. В XIX веке это соперничество продолжалось и углублялось. Ныне столица, чьи аппетиты не знают предела, отняла у Лиона все его капиталы. Быть может, когда-нибудь соотношение сил изменится благодаря противодействию Лионской биржи, созданию в 1983 году (в провинции, как и в Париже) «второго рынка» и возникновению в Лионе некоторых новых многообещающих предприятий? Пока что говорить об этом рано. Лионские промышленники до сих пор, как кажется, все еще очень нерешительны. Здесь, на финансовом уровне, в полной мере встает проблема реальной эффективности политики децентрализации [64].

Здесь нам, пожалуй, становится понятнее, даже нагляднее, судьба Лиона. Драма этого города в том, что свое устройство и условия своего развития он обретал лишь с помощью *международных* связей; он зависел от «структур» очень дальнего радиуса действия, нуждался в содействии извне. Добрые феи, которые ему помогали, были чужестранками.

Так было уже в ту эпоху, когда овладевшие Галлией римляне основали Лион на территории, заселенной мелкими племенами, которые не способны были бороться с победителями,— как бы на нейтральной территории. Новый город стал центром «колониальной» эксплуатации Галлии на благо трансальпийских пришельцев [65].

Конечно, история никогда не повторяется, новое никогда не бывает равно уже пережитому. И все же очевидно, что исключительный расцвет Лиона в конце XV и в XVI веке явился результатом примерно такого же процесса, что и в древности. Лионские ярмарки если и не были основаны (они существовали уже с 1420 года), то, во всяком случае, получили свой международный размах благодаря привилегиям, которые предоставил им Людовик XI (1462—1464) [66], проводивший политику на уничтожение женевских ярмарок. В 1467 году в Лионе обосновались Медичи, а в XVI веке начался бурный подъем; Лион в ту пору был господствующим центром европейской экономики, каким были за несколько столетий до того знаменитые ярмарки в Шампани. Однако творцами его мощи и процветания стали итальянские банкиры — флорентийские, луккские, одно время генуэзские, которым этот

город приносил огромные выгоды — через Лион они эксплуатировали Францию, выкачивали из нее деньги, так как торговое сальдо всегда складывалось в их пользу. Так через много столетий повторилась эксплуатация Галлии римлянами! В то время, пишет Ришар Гаскон, «преобладание чужеземцев сделалось подавляющим. Оно было почти монопольным, так что на долю французов оставались лишь второстепенные функции коммерческих агентов... все более терявших свое значение по мере развития банковского дела» [67]. Луи Буржуа в своей увлекательной книге о Лионе в первой половине XVI столетия (1491—1551) назвал одну из глав «Государство в государстве: «флорентийская нация» [68]. Именно в Лионе жило самое богатое семейство в Европе, но то было итальянское семейство Гваданьи, чья фамилия во французском языке превратилась в Гадань. Вместе взятые, итальянцы образовывали в городе узкую — не более восьмидесяти семей,— господствующую общину, которая жила замкнуто, браки заключала в своей среде, избегая союзов с местными жителями; собственно, это типично и характерно для капитализма во все века.

Своим блестящим процветанием — были ли тому причиной местные жители или чужеземные гости — Лион завораживал Францию и ее королей. В XVI веке для города на Роне было возможно, пожалуй, все — даже сделаться столицей королевства. В то время завоевательный напор французской политики был направлен за Альпы, растрачивая свои силы в Итальянских войнах, а Лион всякий раз служил местом сбора солдат, снаряжения, пушек, денежных кредитов... Лион управлял этой войной и получал от нее доход. А поскольку все в жизни связано, то город познал и блеск Ренессанса, и в культурном плане он мог бы стать столь же блестящей столицей, как и Париж. Да, возможно было все — правда, лишь в царствование Франциска I, самого «итальянского» и, пожалуй, самого «пролионского» из наших королей. Быть может, спускаясь в 1538 году по Роне в Эт-Морт для своей знаменитой встречи с Карлом V, он думал и о переносе столицы в Лион? Остановившись по пути в этом городе, он, как всегда, был им очарован. К несчастью, именно в Лионе неожиданно заболел дофин, простудившись после игры в мяч. Караван отправился дальше на юг, но юного принца пришлось высадить на берег в Турноне, где он и скончался 10 августа. «Так отлетела эта прекрасная юная душа»,— писал Брантом [69].

Быть может, именно из-за этого случая, оказавшегося дурным предзнаменованием, Лион так и не получил короны, которая могла бы к нему отойти? Нет, вряд ли. Сделать Лион столицей могло не чье-то формальное решение, но его фактическое первенство. Свою с самого

начала не задавшуюся игру Лион проиграл по другой, вполне очевидной причине: в те годы, в середине XVI века, Европа разворачивалась лицом на север и к Атлантике, оставляя на заднем плане Средиземное море и Итальянские войны. Окончание этих войн и Като-Камбрезийский мирный договор (1559) принесли поражение Лиону. Этим договором, который так бранило воинственное французское дворянство, сводилась на нет первенствующая роль нашей страны по ту сторону Альп. Генрих II оставил Пьемонт и Савойю, которые были заняты в 1536 году и где уже начинала утверждаться французская власть. Граница королевства вновь придвинулась почти вплотную к Лиону, а к востоку от него территория была изрядно урезана. Представим себе, что Франция одержала победу, утвердившись в Турине или даже в Милане: тогда Лион упрочил бы свое положение богатого центра всей Европы. Одним словом, процветание города длилось лишь до тех пор, пока не было известно, кто выйдет победителем в войне за горами — Валуа или Габсбург.

Так начался упадок Лиона, обнаружившийся уже довольно скоро — особенно резко при банкротстве 1557 года. Но город вовсе не был сразу же исключен из того финансового мира, чьим законам он так долго учился. Мало-помалу он терял Европу, но у него оставалась Франция. На протяжении XVII века, не сулившего особых выгод никому, Лион держал под своим контролем капиталы нашей страны, использовавшиеся весьма нерешительно, а то и вовсе не пускавшиеся в оборот. Эти капиталы стекались в Лион для репортных сделок от ярмарки до ярмарки — из 2 процентов каждые три месяца и, что не менее важно, ради принятого на ярмарке золотого обеспечения: любой выданный здесь вексель обязательно должен был оплачиваться в «золотых экю из чистого золота». Этими рутинными операциями с краткосрочными вкладами — не будем забывать, что в то время ссуда под процент в чистом виде находилась под запретом,— и держались лионские негоцианты, которые отныне были хозяевами лишь у себя дома и делали все свои дела посредством обыкновенных манипуляций с записями в бухгалтерских книгах. Наступила рутина — город превратился в *рантье*.

Но в Лион продолжали стекаться и товарные потоки, он оставался важнейшим центром также и в производственной сфере, что в какой-то мере компенсировало утрату им позиций в области финансовой. Во всяком случае, продукция лионских мануфактур по-прежнему пользовалась спросом на всех рынках Европы. При этом Лион уже давно отдал предпочтение шелкопрядильной промышленности, производившей предметы роскоши, которые охотнее всего покупались за гра-

ницей. Для развития этой отрасли приходилось постоянно пополнять, набирать на стороне рабочую силу, без конца искать квалифицированных и подсобных рабочих для ткацких станков — задача чрезвычайно трудная. Чтобы глубоко объяснить феномен Лиона, необходимо докопаться до материальных корней его промышленной жизни [70]. Быть может, обеспечить себя новыми работниками ему позволяли бедные области, прилегавшие к городу и со стороны Альп и, в еще большей мере, со стороны Центрального массива?

Мощный деловой напор лионских шелкопромышленников ориентировался как во Франции, так и за ее пределами на аристократическую клиентуру. Они исхищрялись предлагать ей все новые и новые великолепные ткани, диктуя всей Европе прихотливо менявшуюся из года в год моду. Экспортные сделки удерживали в Лионе иностранных купцов, которым открывалось обширное поле деятельности на ярмарках и в сфере снабжения города, не говоря уже о завозе шелка-сырца, о валютных операциях, спекуляциях с драгоценными металлами и монетами. Деятельность этих купцов и их предполагаемые связи с заграничными конкурентами постоянно отражаются в деловой переписке купцов лионских. Лионские промышленники не теряли бдительности: их беспокоило, что в Турине тоже начали вырабатывать шелк, что в Цюрихе изготовляют шелковый крепон (1707), что итальянцы в совершенстве имитируют лионские шелковые ткани, получая их образцы целыми пачками. Средство от этого было одно — чаще обновлять модели, так чтобы подделки к моменту своего поступления на рынок оказывались уже вышедшими из моды. Для этой цели лионские шелкопромышленники содержали целые мастерские специалистов-рисовальщиков [71]. В мае 1705 года объявленный королевским двором шестимесячный траур по случаю смерти сына герцога Бургундского вызвал в Лионе панику: это значило, что товарные запасы будут лежать нераспроданными и «все эти товары принесут чистый убыток, так как за шесть месяцев траура мода на такие ткани уже пройдет». В обычное время их еще можно было бы сплавить за границу, но во время войны об этом не приходилось и думать! Невозможно быстро снестись с иностранцами, «да к тому же они с помощью реформатов уже подделали часть товаров наших мануфактур» [72]. Когда в 1706 году французская армия готовилась к захвату Турина (закончившемуся неудачей), то купцы ходатайствовали о закрытии там всех шелковых мастерских, на которых трудились рабочие, переманенные из Лиона.

Таким образом, большею частью Лион по-прежнему жил вне Франции и зависел от заграницы. Его принуждали к этому экономика,

географическое положение, рыночная конъюнктура. Случалось, впрочем, что конъюнктура складывалась и сверхблагоприятно. Так, в годы Первой империи и континентальной блокады Лион вновь оказался в центре сухопутных коммуникаций всей Европы, зона его влияния разрослась. Любопытным образом он опять очутился на перекрестке европейских товарных потоков, контролируя и дорогу через Альпы, и путь вдоль берега Средиземного моря, и линии связи с Рейном, швейцарскими кантонами, Германией, даже Голландией... Но в 1814—1815 годах империя рухнула, и тут же пришел конец подъему Лиона, город вновь попал в зависимое и уязвимое положение. Когда в 1830-е годы появилось паровое судоходство, то достаточно было Рейну опередить в его развитии Рону, чтобы Лион как транспортный узел немедленно поник на фоне бойких германских дорог.

В дальнейшем нам еще придется вернуться к истории Лиона, чью важность трудно переоценить; сейчас мы оставляем ее лишь затем, чтобы вновь обратиться к основной проблеме данной главы, а именно — к происхождению Франции как таковой.

Впрочем, мы, думается, если и не полностью высветили прошлое Лиона, то все же наметили те различные плоскости, в которых одновременно разворачивалась его активность. Судьбой Лиона стало балансирование между этими различными занятиями — как по необходимости, так и по свободному выбору. Чтобы вполне проявить себя, ему, по-видимому, требовалось иное, высшее предназначение, которого не сумела предложить ему Франция и которого все никак не даст ему долина Роны, хотя она так богата населением, средствами производства и так благоприятствует товарным обменам. Хорошо еще, что мощная промышленность предоставляет городу возможность жить безбедно в ожидании лучших времен. А ждать ему в прошлом приходилось не раз. Быть может, и ныне он переживает одну из таких фаз ожидания? По мнению Жана Лабасса (1982) [73], Лион способен снова стать международным городом (каковым он быть перестал), но только если не будет больше замыкаться в рамках Ронско-Альпийского региона, если сумеет избавиться — но возможно ли это? — от роли второстепенного перевалочного пункта, которую навязывает ему Париж.

В наши дни: от Роны до Рейна. Сегодня мы стоим на пороге полного преобразования Ронского водного пути, по своему революционному значению не уступающего введению паровой тяги в прошлом столетии. Недаром пресса уделила так много внимания укрощению этой дикой

реки, перекрытой 19 марта 1980 года Вогрийской плотиной, чем были завершены работы по регулированию Роны от Лиона до моря.

Эти работы заняли тридцать два года, считая от ввода в строй плотины в Женисья (1948). Всего сооружено восемнадцать плотин, тринадцать электростанций, тринадцать шлюзов, шестьдесят четыре турбогенераторных блока. Конечно, все эти технические чудеса — плохая компенсация за утрату прежней, настоящей Роны. Но, по совести, следует признать, что и они тоже на свой лад очень красивы.

На протяжении этой единственной в своем роде трехсоткилометровой водной трассы начинает налаживаться ультрасовременное судоходство — с буксирами-толкачами в 3 000 лошадиных сил, с баржами длиной 80 метров, грузоподъемностью 2 000 тонн и трехметровой осадкой, не считая небольших морских судов, заходящих в реку непосредственно из открытого моря. Обузданная река поставлена на службу людям, и это всего лишь первый этап. Действительно, проектом предусматривается сооружение каскада гидроэлектростанций на Верхней Роне, от Лиона до Женевы, которое должно занять, если все пойдет хорошо, немногим больше пяти лет. Предполагается также связать Марсель с Рейнской Германией, используя течение неторопливой Соны (задача довольно простая, если только устранить кое-какие препятствия — такие, как мост Святого Лаврентия в Маконе: под его арками в половодье не проходят суда, однако город к нему очень привязан), а в дальнейшем проведя полную реконструкцию канала Рона — Рейн (от Сен-Семфорьена), который ныне почти бездействует из-за недостаточной ширины и большого количества шлюзов.

В целом проект грандиозен: Марсель начнет служить одним из выходов к морю для Швейцарии и Южной Германии, встав если и не вровень, то все же в один ряд с крупнейшими портами севера — Гамбургом, Роттердамом, Антверпеном, Руаном, Гавром. Кроме того, логично было бы ждать и промышленного роста в приронских областях, то есть существенных «региональных» последствий. Ведь гидрокаскад на Роне должен вырабатывать огромное количество электроэнергии — 13 миллиардов киловатт!

И все же приходится сделать ряд оговорок.

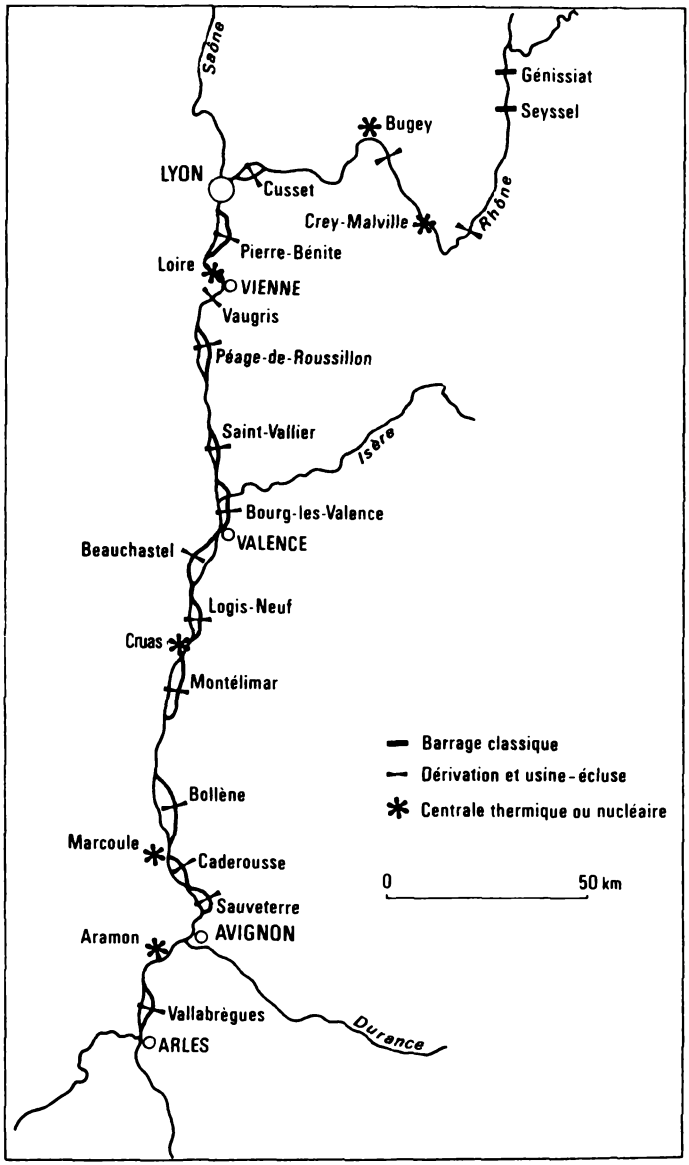
1. Ныне Ронская водная магистраль открыта на протяжении 280 километров от Лиона до Фурка (в 4 километрах от Арля). На этом участке интенсивного судоходства в 1979 году было выполнено 7 356 рейсов судов вниз и вверх по течению; на первый взгляд цифра значительная, но средняя загрузка этих судов составляет 463 тонны (при плавании вверх по реке больше — 589 тонн, при плавании вниз мень-

ше — 243 тонны), то есть общий грузооборот — 3 402 014 тонн, в том числе 1 879 174 тонны нефтепродуктов. В 1980 году общий тоннаж несколько вырос, достигнув 3 554 527 тонн. В 1981-м (экстраполируя на четвертый квартал результаты трех первых) грузооборот должен превзойти 4 миллиона тонн; таким образом, наблюдается рост, но довольно скромный. Напомним, что в Роттердам — как всем известно, это самый крупный порт в мире, с грузооборотом 300 миллионов тонн в 1979 году и 250 миллионов в 1981-м,— ежегодно прибывает 250 000 речных судов! При этом «из 250 миллионов тонн всего грузооборота 122,7 миллиона связаны с разгрузкой или загрузкой речных барж»...[74]

Почему же у Роны такой сравнительно низкий показатель? Может быть, он обусловлен конкуренцией других средств сообщения — таких как нефтепровод Фос — Базель (50 миллионов тонн), а также шоссе и железная дорога? Железнодорожная магистраль Париж — Лион — Средиземноморье держит абсолютный рекорд скорости, а скоростную линию Париж — Монпелье поезд покрывает за пять часов. Средиземное море приблизилось к столице, но этот успех не приходится записывать в актив ронского водного пути. Рона отстает из-за того, что подступы к ней неудобны, что ею почти не пользуется Марсель (с его грузооборотом чуть менее 100 миллионов тонн), что лионские товары традиционно вывозятся по шоссе или железной дороге, а главное, потому, что долина Роны — совсем не чета промышленной Германии, прожорливой глоткой которой служит Роттердам.

Действительно, из нынешних 4 миллионов тонн грузооборота на Роне далеко не все приходится на действительно крупные перевозки. Значительную его часть составляют каботажные мелкие рейсы, без сомнения, весьма полезные для жителей ронских берегов, однако прибыльная эксплуатация столь значительных гидротехнических сооружений невозможна без крупномасштабных перевозок на дальние расстояния. Возможно, такие перевозки развернутся с завершением строительной программы, и тем самым транспортная артерия Роны выйдет из стадии младенчества. В противном случае предстоят дополнительные издержки, которые своим мертвым грузом лишь утяжелят стоимость проекта.

2. Предположим даже, что все замыслы воплотились в жизнь (хотя пока это еще далеко не так — и в отношении гидроэнергетического каскада на Верхней Роне, и в отношении грандиозного плана сообщения между Роной и Рейном, который, похоже, и вовсе буксует) [75],— итак, предположим, что все замыслы воплотились в жизнь. Но ведь в них ничего не предусмотрено для обустройства еще одной — на наш взгляд,



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОНЫ В XX ВЕКЕ

Условные обозначения на карте (сверху вниз): Обыкновенная плотина. Отвод русла и гидроэлектростанция со шлюзом. Тепловая или ядерная электростанция.

важнейшей — ветви ронского перешейка; речь идет о водном пути, связывающем Сону с Сеной через Бургундский канал или же через старый Центральный и Бриарский каналы. А между тем так ведь логично было бы продлить этот наисовременнейший водный путь в нашей стране до самой столицы Франции. Иначе есть опасность, что ронская магистраль снова окажется *окраинной по отношению к французской территории* и будет обслуживать общеевропейскую экономику, вместо того чтобы стимулировать в первую очередь экономическое развитие своей страны. Некоторые из наших автострад хоть и используются англичанами, немцами, бельгийцами и голландцами для транзитных перевозок между их странами и Испанией или Италией, но в еще большей степени они обслуживают наши национальные потребности. Так разве не правы мы, считая, что гидротехническое обустройство Роны должно быть *также* сочленено и с той областью, где находится самое сердце Франции? Мы отнюдь не стремимся любой ценой спасти централизованную Францию и ни в коем случае не против ее полной открытости в Европу. И все же общеевропейская магистраль, проходящая через нашу территорию, должна не просто пересекать ее транзитом, но и разветвляться. Похоже, авторы проекта придерживаются иной точки зрения — главным образом из соображений экономии (потребовались бы чрезвычайно крупные капиталовложения), а также, вероятно, и в связи с неуклонным сокращением водных перевозок во Франции, пораженных настоящим кризисом.

Не воодушевляет даже и нынешний грузооборот по вновь зарегулированной Роне. Быть может, причина как раз в том, что перевозки по Роне оторваны от остальных коммуникаций? Выступая в Роттердаме в сентябре 1982 года, президент Ассоциации водников Жак Флеше без обиняков заявил: «Нужно соединить речную систему Франции с общеевропейской системой. Сейчас опорными пунктами такого соединения выступают французские порты на Рейне и Мозеле — но их недостаточно. С Европой должны быть связаны также и Сена и Рона; Марсель, Гавр, Руан, Париж и Дюнкерк не могут далее оставаться всего лишь портами регионального значения в системе речных коммуникаций. Они должны стать общеевропейскими портами, для чего у них имеются не меньшие возможности, чем у их конкурентов в Северной Европе: через них проходят непрерывные водные пути, проникающие в глубь континента на несколько тысяч километров и по ширине и глубине отвечающие требованиям двухтысячного года» [76]. Таким образом, не мы одни полагаем, что, говоря «Рона, Лион, Марсель», необходимо тут же добавлять «Сена, Париж, Руан, Гавр...»

3. Сказанное выше было написано в ожидании успешных, блестящих результатов ронского проекта, которые, отчасти из-за кризиса, не спешат проявиться. Среди географов утверждается на сей счет неодобрительный пессимизм. Так, Пьер Этьенн вообще ни разу не пользуется понятием «французский перешеек», говоря лишь об «оси», «долине», «коридоре», образуемом Роной и Рейном,— «крупнейшем по размерам, но не сквозном проломе в материке». Современные ученые далеко ушли от спокойствия и обманчивой уверенности Видаля де ла Блаша, и их скептицизм лишь подкрепляет наш тезис: ронская магистраль проходит по границе Франции, в стороне от тех мест, где происходило ее становление. Пьер Этьенн делает еще более радикальные выводы, но прав ли он? Хотелось бы, чтобы он ошибся. «Не следует ли заключить,— пишет он без околичностей,— что ронско-рейнский регион является мифом и разговорами в пользу канала между Роной и Рейном нам лишь морочат голову?» [77] Мы были бы рады, если бы будущее доказало обратное.

II
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПАРИЖА, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНСА И ПАРИЖСКОГО БАССЕЙНА

Невозможно отрицать многостороннюю значимость «французского перешейка» и, в частности, огромную роль, которую он сыграл, начиная с доисторических времен, как путь распространения культуры. Ныне он образует крупнейшую транспортную артерию Франции. Мы лишь утверждаем, что его роль в становлении Франции как единой страны была не столь определяющей, как считали ее в недавнем прошлом.

Лучшее доказательство тому заключается в известном факте, что единая Франция зародилась в совсем другом месте — между Соммой и Луарой, в пределах окружности с Парижем в центре и радиусом, достигающим от него до Орлеана или же Руана; помимо небольшой области Иль-де-Франс, сюда входят также Орлеанэ, частично Шампань, Пикардия и Нормандия. Это как бы родной дом Франции. Не подлежит сомнению, что вся она вышла именно из этого ядра, из этого средостения; единство Франции складывалось, «распространяясь из центральной точки». «Таким образом,— пишет в своем «Дневнике» Мишле,— центральная, наименее самобытная часть Франции присоединила к себе все остальные части. Этой центральной части в наибольшей степени

был присущ французский характер. Более сильное смешение рас, более плоский ландшафт, более унылая природа — все эти три обстоятельства ведут к развитию духа общественности. Иль-де-Франс завоевал всю Францию, Франция — весь мир» [78]. Действительно, до 1789 года «одни лишь старинные провинции, расположенные вокруг Парижа, отождествлялись с Францией» [79], и королевская власть имела наибольшую свободу действий именно на территории «пяти больших откупов», объединенных Кольбером в 1664 году. Нам не кажется, однако, что покорность этих провинций была обусловлена неким «духом общественности». Нельзя согласиться и с тем, что, скажем, берега Уазы или же Луары «унылы»,— это отнюдь не так.

Во всяком случае, верно то, что именно из этих областей и возникла Франция. Франсис Юре даже рисует образ Иль-де-Франса как «царской клетки», мужское ядро которой составляет Париж: одержимые прожорливым инстинктом, не считаясь ни с чем, они осуществляют свою генетическую программу, что и приводит в итоге к образованию французского «шестиугольника» [80]. На деле, как известно, результатом стала резкая дисимметрия...

К подобным идеям запрограммированности следует относиться сугубо скептически: реальный процесс шел далеко не так просто, не следуя никаким долгосрочным расчетам. Свою роль играл случай, скрытые до поры силы. Как бы то ни было, вот результат: на склоне XI века, в пору закладки первых камней собора Парижской богоматери (1072), все уже сложилось или складывалось так, чтобы обеспечить возвышение Парижа, и он быстро сделался крупнейшим, уже тогда непомерно большим, европейским городом.

Перед нами встает одна предварительная проблема: необходимо выяснить, исходил ли этот широкомасштабный центробежный процесс из самого города-центра или же из центральной области. А может быть, оба фактора действовали сразу? Рассмотрим сперва гипотезу о первенстве центрального региона, то есть, по сути, Парижского бассейна.

Первенствующая роль Парижского бассейна. Парижский бассейн — это более четверти современной территории Франции, самая обширная из ее равнинных областей, с наиболее разнообразной и богатой природой, что бы ни говорил на этот счет Мишле, думавший не об экономике, а о пейзаже и писавший об «однообразных пространствах Шампани и Иль-да-Франса... о городах, построенных из дерева и мела и вызывающих в душе тоску и отвращение» [81].

В отношении Парижского генерального округа, занимавшего значительную часть Парижского бассейна, еще в XVII веке признавалось, «что вся его территория для чего-нибудь полезна; ибо там, где не растут пшеница и иные злаки, там делается вино; где нет ни хлеба, ни вина, там есть фрукты, пастбища для скота, леса и рощи, заросли орешника» [82]. По словам Давити (1625), «в окрестностях Парижа нет недостатка ни в пшенице, ни в винах, ни в молочных продуктах, ни в сене, фруктах и кормовых травах, ни в воде, которая здесь имеется повсеместно, и все это делает весьма удобной, даже замечательно удобной жизнь Парижа» [83]. В том же духе можно было бы продолжать еще долго.

Подобные похвалы географы готовы были бы расточать (правда, с серьезными оговорками) и не столь благодатным областям, лежащим к югу от Луары, между Луарой и Центральным массивом. Однако они не преминули бы специально отметить исключительное преимущество Парижа, которое заключается в окружающих его известковых возвышенностях: на таких почвах дождевые воды сами собой просачиваются под землю и никогда не застаиваются и, следовательно, не мешают хлебопашеству, а в случае засухи впитавшаяся в землю вода поднимается на поверхность силой капиллярного натяжения и не дает растениям зачахнуть. Кроме того, на этих возвышенностях (Бос, Бри, Суассоннэ...) сохранился поверхностный слой чрезвычайно рыхлой наносной почвы, которая благодаря своей легкости для вспашки влекла к себе со всей Европы первые *земледельческие* народы доисторической эпохи [84].

Во всех этих объяснениях есть доля истины. И все же они не дают нам окончательного ответа. Действительно, плотность населения в Парижском бассейне была исключительно высока (в масштабах будущей Франции), а перенаселенностью можно многое объяснить. Однако и сама перенаселенность нуждается в объяснении. Мы видим ее последствия, но не ее причину.

Так, избыток населения имел место уже к моменту крушения римской Галлии, и, вероятно, потому-то римские порядки дольше всего продержались именно в Иль-де-Франсе — до тех пор, пока в 487 году римский наместник Сиагрий не потерпел поражение от Хлодвига. С другой стороны, это обстоятельство и само по себе, видимо, оказало свое влияние: лишний век в условиях римского уклада тоже значил немало [85].

Благодаря избытку, изобилию населения Иль-де-Франс и соседние с ним области послужили впоследствии опорой для грандиозных «транснациональных» завоеваний, предпринятых Каролингами. Последние долгое время старались не разделять, не разбивать на уделы этот единый регион в сердце своих владений, которым и питалось их

могущество. Ж. Дон даже считает, что именно с разделом Иль-де-Франса в 837 году и иссяк источник власти Каролингов; но это, конечно, преувеличение.

Еще более смелый, блестящий и спорный тезис выдвинут Эдвардом У. Фоксом. Вслед за некоторыми другими историками он указывает, что арабское вторжение в Европу удалось остановить в битве при Пуатье (732) лишь благодаря тяжелой коннице, созданной франками при Карле Мартелле. Примерно в ту же самую эпоху в земледелии вошел в употребление тяжелый колесный плуг без отвала, а затем начал внедряться и трехпольный севооборот, что сделало вполне возможным развивать земледелие на твердых почвах Севера; наконец, в ту же самую эпоху получили распространение и стремена, без которых не обойтись тяжеловооруженному всаднику. Итак, «в распоряжении Каролингов... оказалось сразу два новых, взаимодополняющих преимущества: во-первых, стремя, а во-вторых, возможность прокормить (благодаря выращиванию овса) беспрецедентно большое число лошадей» [86] — «могучих тяжеловозов, благодаря которым при франкских королях конница обрела такую боевую мощь, какой не ведали римские стратеги» [87].

По всем этим причинам Каролингам-де ничего не оставалось, как отступить в северные края, где выращивают овес и разводят лошадей. А значит, долой устарелое и одностороннее объяснение Анри Пиренна! Вовсе не ислам временно оттеснил державы Запада от Средиземного моря — они по доброй воле подались на север, в поисках «самых глубоких и жирных почв во всей Западной Европе, на которых еще и сегодня снимают больше пшеницы с гектара, чем почти во всех других регионах мира». Решающим фактором явились, таким образом, «почвы [бассейнов] Сены и Темзы, включенные в хозяйственный оборот с появлением нового плуга» [88].

Подобные аргументы не лишены веса. Кто станет отрицать боевую мощь тяжелой конницы? С нею открывается новая длительная стадия в военной истории Европы. Стремительно несущийся всадник нес на острие своего копья необоримую силу, которую Уильям Х. Мак-Нил, любитель смелых сопоставлений, сравнивает с мощью «тяжелых танков в 1940 году — ибо даже немногочисленный отряд конницы был способен решить исход целой битвы» [89].

Возвращаясь, однако, к интересующему нас пространству между Луарой, Сеной и Соммой, стоило бы внимательнее проверить вероятные даты этих исторических сдвигов — таких, как появление вышеупомянутых сельскохозяйственных приемов Севера, которые, несомненно, древнее Карла Мартелла.

Рассматриваемая историческая гипотеза опять-таки основывается на данных той стадии развития, когда все процессы уже набрали ход. Констатируя или же предполагая наличие передового сельского хозяйства — а как следствие, и избыточного сельского населения,— она, однако, еще не объясняет генезис этих явлений.

Между тем в такой старой стране, как наша, ни одна проблема, связанная с народонаселением, не может быть понята без учета весьма длинной цепи фактов, начало которой теряется далеко за рамками традиционной истории. Действительно, события развивались на протяжении тысячелетий, облик которых начинает проясняться для нас только теперь, благодаря недавним достижениям в изучении доисторических обществ.

В доисторические времена через территорию будущей Франции двигались, говоря упрощенно, два миграционных потока — один с берегов Средиземного моря, другой из глубин Центральной Европы. В данный момент нам достаточно будет рассмотреть второй из этих процессов, обеспечивший решающий приток населения из Центральной Европы, которое в конечном счете оседало в Парижском бассейне; это, если угодно, и был зародыш Франции языка «ойль». Бескрайние пространства доисторической Центральной Европы были по преимуществу «крестьянским материком», языковые следы которого сохранились «от Енисея до Финистера» [90]. На этой обширной территории выделяются народы, которые волна за волной двигались на запад и в ходе своих миграций вбирали в себя другие народы, подчиняя или же увлекая их за собой. Они несли с собой навыки разведения крупного рогатого скота и хлебопашества. На землях Парижского бассейна, частично истощенных в результате хищнической эксплуатации прежним населением, эти народы в IV тысячелетии до нашей эры создали высокоэффективное сельское хозяйство, сосредоточенное вокруг крупных деревень. Под влиянием природных условий на этих открытых равнинах быстро появилось избыточное население. По мере новых миграций с востока накапливалась все большая людская масса, достигшая критического предела после широкого расселения кельтов в первом тысячелетии до нашей эры. В то же самое время возникла система неогороженных участков, предвещавшая средневековое «общинное землепользование с упорядоченным севооборотом» [91]. Таким образом, шел живой процесс формирования Галлии — если угодно, пра-Франции.

Таким образом, уже в доисторические времена создалось первоначальное единство территории, которой суждено было послужить основой для нового единства. Все очень логично, не правда ли?

Но почему же именно Париж? Но почему же все-таки зиждущим центром всей Франции сделался именно этот остров Сите, расположенный именно в этой излучине Сены? Почему им не стал, например, Мелен, где также есть свой остров и своя речная излучина, а вокруг точно такая же плодородная равнина? Почему им не стал Санлис, или Реймс, или хотя бы Орлеан, который, судя по всему, и оказывался временами политическим центром зарождавшейся Франции? Луара в качестве объединяющего фактора Франции ничем не уступала Сене; по ней можно было плавать не только (что само собой разумеется) вниз, но, благодаря западным ветрам, также и вверх по течению. Однако Орлеан зажат между лесами на севере и болотами Солони на юге.

А почему не Руан? Мишле писал, что «Париж, Руан и Гавр (основанный, как известно, Франциском I в 1517 году) — все это один город, главной улицей которого является Сена» [92]. Переиначивая историю по воле своего воображения, мы вполне можем представить себе, что центр Франции сместился к Ла-Маншу и утвердился в Руане, сделав еще крупнее этот рано расцветший город, которому лишь позднее стало не хватать места на берегу реки. В Англии примером подобного цветущего города может служить Лондон, расположенный недалеко от устья Темзы. Одним словом, не было «ничего закономерного в том, что Париж стал Парижем» [93].

А раз так, то не стоит толковать, что его местоположение хоть «не выбиралось сознательно, но в итоге было выбрано чрезвычайно удачно» [94],— то же самое можно было бы с чистой совестью утверждать и о любом другом городе, выйди он победителем в этом невидимом состязании. Конечно, Париж удачно расположен вблизи крупных транспортных путей по Сене и ее притокам — Йонне, Марне, Уазе; к его причалам беспрерывно спускались по реке суда с пшеницей, лесом, бочками вина, баржи с целыми стогами на борту, сюда сплавлялась молем древесина.

В то же время столица Франции, к своему неудобству,— город континентальный. То, что она оказалась прочно включенной, как бы вросшей во внутренние районы страны, имело важные последствия: вслед за ней это случилось и со всей Францией — если только не считать, что сама Франция после долгих колебаний сделала подобный выбор, согласившись сознательно и добровольно стать чисто сухопутной державой.

А ведь у Франции имелось все необходимое для завоевания океана, где суждено было решаться судьбам современного мира,— и морские порты, и потомственные мореходы, и жившее в нищете население,

которое можно было использовать для любых дел, для любых дерзаний. «Здесь была,— справедливо замечает Пьер Бонно,— значительная и мобильная людская масса, позволявшая осуществлять широкомасштабную колонизацию новых земель,— гораздо большая, чем та, которой могла располагать Англия. И пусть не возражают, что французы-де не выказывали склонности покидать родину: ведь королевское правительство отнюдь не стесняло себя принципом добровольности, не останавливаясь ни перед облавами, ни перед принудительными и насильственными «переселениями», ни перед депортациями по судебному приговору» [95]. Все так, да только правительство и само смотрело на мир с сухопутной колокольни.

Воображая какую-либо иную судьбу Франции, мы пытаемся осмыслить ту судьбу, что определила ей история. Примерно так поступает и Мишле (правда, не доводя своей мысли до конца), когда пишет в своем дневнике за август 1831 года: «Гавр... вид с северного мола. Океан [так!] спокоен, берега маловыразительны; видно побережье Нижней Нормандии. Отлив. Океан принадлежит Англии. Грустно было думать, что этот великолепный вольный простор — достояние иного народа, чем наш... Как бы ни жили сейчас наши порты, но по бесчисленным нормандским церквам видно, что жизнь Франции в те времена была сдвинута к западу. В XI, XII, XIII веках Англия несколько раз переживала иноземные вторжения, а на море в то время, кажется, преобладала Франция» [96]. Лично мне это сомнительно. Сомнительно также, чтобы Океан воплощал в себе вольность: он заключает в себе богатство, а значит, и неравенство. Но настоящая проблема в другом. Если представить себе иную Францию, то придется вообразить, что Парижский бассейн, из которого родилась вся наша страна, обратился лицом к северу и западу, избрав центром, опорной точкой своих усилий Руан, а не Париж или Орлеан. На протяжении всей французской истории встает вопрос об этом ее несбывшемся, едва лишь наметившемся призвании — быть морской державой. Может быть, осуществиться ему помешал Париж — «эта бездонная прорва», по словам Вобана? И да и нет. Ведь Париж — в такой же мере следствие, как и причина.

Несомненно другое — что преобладающее влияние Северной Франции отметило нашу страну печатью искривленности, почти катастрофической асимметричности. Но могло ли бы случиться иначе, если бы столицей Франции стал Руан, Лион или Тулуза? Всякое национальное единство — фактор надстроечный, это как бы сеть, наброшенная на несхожие друг с другом регионы. Края сети зажаты в кулаке, в привилегированном центре. Так само собой возникает неравенство. Еще неиз-

вестно, была ли когда-нибудь на свете хоть одна нация, не страдавшая подобной асимметрией.

Остается еще выяснить, возможно ли было бы — на наш взгляд, нет,— обойтись вообще без унитарного государства, на месте которого продолжали бы существовать отдельные области; некогда они были автономны и могущественны, но затем утратили такое положение, и случилось это в силу необходимости. Я верю, что народы развиваются в соответствии с определенной логикой.

III
РЕШАЮЩИЙ ТЕСТ: ГРАНИЦА

Чтобы жить, надо иметь свой дом. Франция очень рано обзавелась границами, собственным домом,— еще прежде, чем сама формально появилась на свет. Эти границы, которые переходили по наследству, завоевывались и отвоевывались вновь, охватили собой огромное пространство (конечно, в сравнении с медлительностью тогдашних путей сообщения). В этом плане Франция долгое время являлась «монстром», «целым континентом», сверхкрупным государством, ее политическое пространство, непомерно обширное, словно целая империя [97], объединяло регионы, лишь с трудом удерживаемые вместе; единство страны приходилось защищать от опасностей изнутри, равно как и от угроз извне. Все это требовало колоссальных затрат сил, огромного терпения и бдительности. В 1756 году Анж Гудар имел основание говорить о войнах Людовика XIV: «После его побед на суше Франция превратилась в страну крепостей, для удержания которых требовались многочисленные гарнизоны; границы королевства раздвинулись, и умножилось число ключей к нему. Отныне не стало более разницы между миром и войной: ведь поскольку сухопутная армия увеличилась соразмерно новым владениям, то солдат ей потребовалось столько же, как и для войны» [98].

Граница истощала Францию на протяжении всей ее истории, заставляя ее тратить на себя всю ее мощь и «всю денежную наличность» [99]. Опять-таки прав был Анж Гудар, когда писал в 1756 году — в год начала так называемой Семилетней войны: «Численность наших регулярных войск несообразно велика по сравнению с прочими европейскими странами. В сей части нашего государственного устройства имеется разорительный преизбыток. Сухопутные войска Голландии и Англии

вместе насчитывают немногим более сорока тысяч человек; мы же держим даже в мирное время более ста пятидесяти тысяч солдат. По сравнению с этими двумя государствами у нас в армии сто десять тысяч человек лишних» [100]. Данная цифра отнюдь не представляется преувеличенной, так как при вступлении Людовика XIV на престол (1661) одна лишь пехота насчитывала «двести восемнадцать тысяч солдат... из них двадцать шесть тысяч в гарнизонах» [101]. Разумеется, в зависимости от обстановки цифры менялись. Кроме того, к численности собственно армии следует прибавить еще и мобилизованных для военных нужд крестьян, землекопов (так называемых «пионеров»), ополченцев; предпринимателей, закупавших и доставлявших в войска хлеб или лошадей; вербовщиков, набиравших в армию — зачастую грубой силой — новых рекрутов, каковые сплошь и рядом сопротивлялись и норовили дезертировать. Наконец, при исчислении затрат на армию нельзя забывать и вербовку, в случае необходимости, наемников, а также закупку амуниции, оружия, лошадей, артиллерии...

Если Голландия (то есть Нидерланды) и Англия тратили на свою армию не так много, как Франция, то лишь потому, что Англия была защищена от врагов морем, а Голландия — своим компактным расположением и плотной завесой крепостей [102]. Франция же была обречена расплачиваться за свою огромную территорию, за свой покрестьянски ненасытный аппетит к приобретению все новых и новых земель.

Нелегкая жизнь порубежья и пограничья. Слово frontière (граница) происходит от имени прилагательного, никогда не употреблявшегося в мужском роде,— frontier, frontière (фронтовой). Оно появилось в весьма раннюю эпоху, поскольку «в «Словаре старофранцузского языка» Фредерика Годфруа (1881—1902) приводится следующий текст из Гиара (начало XIV века): Li navrés vuident les frontières, то есть «раненые покидают передовую линию и уходят в тыл» [103]. Сделавшись именем существительным, это слово по-прежнему предполагало наличие двух противников, стоящих лицом к лицу по обе стороны разделяющей их линии фронта [104]. В таком значении оно долгое время конкурировало с рядом других слов: латинским fines, fins, confins, mètes (от латинского metae — «мета», «предел»), bornes, termes, limitations... В конце концов оно вытеснило их и с той поры служит главным термином, обозначающим внешние рубежи любого государства с определенной территорией.

Государства ведут себя, в общем, так же, как и отдельные лица. Каждый человек старается отграничить пределы своего жилища, так же как и каждое животное на воле отстаивает то, что считает своими владениями. В 1673 году Вобан в письме к Лувуа [105] советовал убеждать короля, чтобы он, подобно заботливому землевладельцу, «выравнивал квадрат своего луга» * вдоль северной границы страны, где вновь завоеванные французами крепости оставались анклавами среди испанских земель. «Поверьте мне, монсеньер, следует все время заботиться о квадратуре не круга, но луга; ничего нет приятнее и полезнее, чем возможность крепко держать в руках свое владение». Государства упорно стремятся обезопасить себя — очертить свои пределы, рубежи, огородить свой дом. Всех их — и едва появившихся на карте, и уже состарившихся, прошедших сквозь многие испытания — подстерегает, неотвязно и властно преследует «комплекс китайской стены». А над нашими суждениями о прошлом, внося путаницу во все построения, еще долго будет тяготеть злосчастная судьба нашей «китайской стены» — линии Мажино.

Строительство крепостей не всегда свидетельствовало о страхе, беспокойстве или осмотрительности, оно служило также доказательством богатства и мощи державы. Иные крепости строились исключительно ради престижа, по мере расширения единого французского государства, демонстрируя его растущее могущество. Так было еще задолго до Вобана: уже при Капетингах была возведена Луврская башня, строились замки в долине Эпты и в долине Сены, Ла-Рош-Гюйон напротив Шато-Гайяра.

Всякая административная, а тем более государственная граница, будучи однажды проведена, имеет тенденцию сохраняться, увековечиваться. Во Франции так произошло с епархиальными границами, повторяющими древние границы территорий, подчиненных тому или иному галло-римскому городу: возникнув в докаролингскую эпоху, они сохранились в неизменности до самой Революции 1789 года.

Долговечность же государственных границ очевидна всем. Так, при территориальных размежеваниях колониальной Америки, решавшихся в Мадриде или Лиссабоне, была фактически вычерчена и карта ее будущих независимых государств XX века: таким образом, эти государства обзавелись границами еще до рождения, причем границами подчас парадоксальными, неудачными. Точно так же и у нас на глазах новые государства независимой Африки разместились в старых колониальных

* Идиоматическое выражение, означающее «округлять свои владения». *(Ред.)*

границах; в одних случаях эти границы им подходят, в других нет; бывают границы невыгодные, порождающие конфликты, бывают, напротив, выгодные — например, границы независимого Алжира, который вместе с трансафриканскими путями сообщения, проложенными через колониальный Алжир, получил в свое распоряжение Сахару и сахарскую нефть...

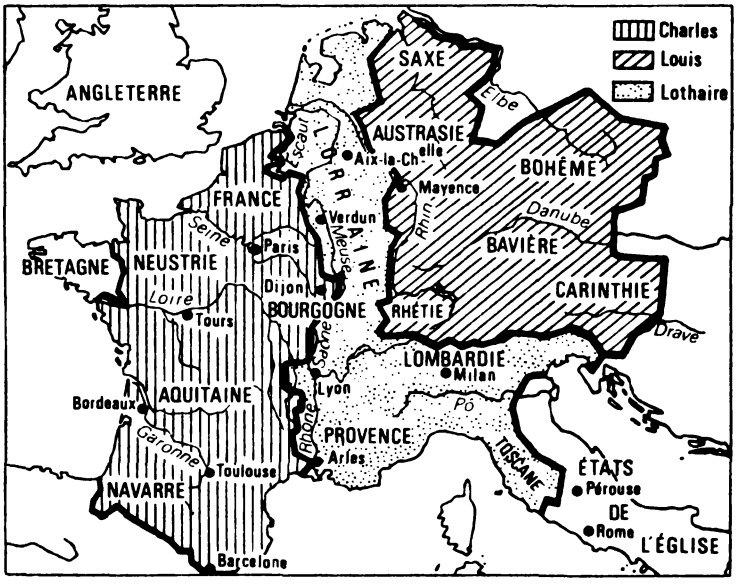
Таким образом, история тяготеет к закреплению границ, которые словно превращаются в природные складки местности, неотъемлемо принадлежащие ландшафту и нелегко поддающиеся перемещению.

С другой стороны, для того чтобы граница закрепилась и вросла в землю, должно пройти какое-то время. Вокруг своего савойского домика я высадил черенки канадского тополя; через тридцать лет, разросшись, они, пожалуй, станут настоящей оградой. В процессе же формирования и закрепления границы тридцать лет — срок ничтожный. Прошло чуть больше тридцати лет с тех пор, как по живому телу Европы были прочерчены ялтинские границы. Потребуется не меньше столетия, чтобы выяснить, насколько долгая жизнь им суждена.

Верденский договор (843). Важнейшей особенностью священного Верденского договора (август 843 года) оказалось, очевидно, то, что с теми или иными уточнениями он действовал на протяжении многих веков и со временем становился лишь прочнее.

Действительно, уже более тысячи лет прошло с тех пор, как непомерно обширная империя Людовика Доброго была поделена между тремя его сыновьями: Людовику досталось Восточнофранкское королевство, то есть Германия; Карлу Лысому — Западнофранкское королевство, ставшее впоследствии первоначальным ядром Франции; между ними разместилось нежизнеспособное государство Лотарингия, отошедшее к старшему сыну — Лотарю, который принял титул императора и получил в свой удел обе имперских столицы (на севере Аахен, на юге Рим), а для связи между ними также и несообразно вытянутую полосу земли шириной примерно 200 километров и длиной около 1 500.

Этот диковинный «перепеек» пересекал Альпы и тянулся дальше в Италию — до Беневенто и еще дальше. Составлявшие договор «эксперты» (как именует их Роже Дион) [106] вычленили эту полосу для того, чтобы сохранить идею Империи. А, скажем, Майнц и часть рейнского левобережья они отдали Людовику Германскому лишь затем, чтобы он имел под рукой собственные виноградники,— поистине королевский дар!



РАЗДЕЛ ИМПЕРИИ КАРЛА ВЕЛИКОГО
ПО ВЕРДЕНСКОМУ ДОГОВОРУ 843 ГОДА

Из книги: Bertier de Sauvigny G. Histoire de France.

Что и говорить, все эти конъюнктурные и в принципе сиюминутные причины не могут объяснить необыкновенную долговечность, которая была суждена статьям Верденского договора. Ведь восточным рубежом Франции на долгие века так и осталась «граница по четырем рекам» — Роне, Соне, Маасу и Шельде (хотя, за исключением Шельды, она фактически имела к ним лишь небольшие выходы или даже вовсе никаких). Правда, полоса Лотарингии оказалась неустойчивой и просуществовала менее столетия, а в 936 году была поглощена Германией, которая вскоре превратилась в Священную Римскую империю германской нации и превосходила по своему могуществу державу последних Каролингов и первых Капетингов. Таким образом, линия «четырех рек» стала для Франции «германской» границей.

Конечно, до тех пор, пока у французской монархии были связаны руки со стороны Атлантики и Ла-Манша (откуда грозили английские вторжения) — до тех пор восточная граница была достаточно тихой. К тому же по обе стороны она буквально тонула в невероятно мелкой

россыпи феодальных владений, кишевших, словно крошечные одноклеточные существа. Тем не менее восточная граница была настоящей, живой границей. Несмотря на все феодальные конфликты и войны, вылазки и распри, непрекращавшиеся тяжбы — или же как раз благодаря такого рода инцидентам,— местное население, поневоле участвуя в этих играх, прекрасно знало, где пролегает граница. Например, через Аргоннский лес протекает речка Бьем — крохотная речушка, упоминаемая разве что в связи с размещенными вдоль нее стеклоплавильными мастерскими. Однако по Верденскому договору ей выпала честь на коротком участке служить границей между королевством и Империей (первоначально — владениями Лотаря), а также и между епархиями Вердена и Шалона-на-Марне. Отвечая на расспросы в 1288 году, местные жители очень хорошо умели различать: «Что по сю сторону означенной речки — то имперское, а что по ту сторону означенной речки — то во Французском королевстве» [107]. Этим доказывается, что граница королевства была вполне реальна для людей, которым приходилось ее пересекать или жить вблизи от нее. А речка Бьем еще и поныне отделяет департамент Марна от департамента Мёз, поскольку же каждому департаменту соответствует своя церковная епархия, то она разделяет и две епархии — Верденскую и Шалонскую.

Но до сих пор мы лишь констатировали, а не объясняли факт долговечности границ. Можно прочесть, что Верденский договор «явился компромиссом между притязаниями трех соперников — сыновей Людовика Благочестивого. Участников дележа более всего заботило, чтобы все три удела были равны. В качестве границ они взяли водные рубежи, то есть чисто географические разделительные линии», исходя из их удобства [108]. Следует согласиться с этими замечаниями Гастона Зеллера, равно как и с соображениями Роже Диона, которые также носят географический характер. Но все-таки, коль скоро такой раздел обрел некий смысл, коль скоро он закрепился в длительной временной перспективе — значит, уже и в IX—X веках определились и лингвистические рубежи, проходившие примерно там же, где и ныне, спустя почти десять веков. Тем самым игра политических интересов получила опору в виде уже существовавших «на местности» культурных реалий. А потому за Страсбургскими клятвами (14 февраля 842 года), произнесенными за полтора года до Верденского договора, приходится признать все то важное значение, какое придавала им историческая традиция. Перед лицом своих армий в полном сборе братья Лотаря связали себя клятвой, причем Карл Лысый произнес ее на языке «тудесков», а Людовик (позднее названный Германским) — на романском, войска

же присягали каждое на своем наречии. Так перед нами происходит зарождение и первое, еще слабое взаимосоприкосновение *двух* национальных общностей, формирующихся по ту и другую сторону от полосы лотарингских земель и заявляющих о себе в языковых различиях. Конечно, тут еще нельзя говорить о национальностях, о точных лингвистических границах; и тем не менее Сена у своего истока в Сен-Жермен-ла-Фейль — уже Сена! Недаром ведь еще и в 1914 году мы, французы и немцы, сражались друг с другом за обладание Лотарингией.

Четыре решающих года: 1212, 1213, 1214, 1216. Как демонстрирует на материале более поздней эпохи Ив Ренуар [109], история границ развивалась как бы в замедленном темпе. По его концепции, политическая карта Западной Европы раз навсегда «определилась» в течение четырех решающих лет — 1212, 1213, 1214, 1216. За эти четыре года зафиксировалось взаимное положение и соотношение постепенно вызревавших до тех пор сил.

Действительно, в начале XIII века сразу четыре сверхкрупных государства могли вот-вот выйти из своих берегов-границ. Испания, где правила арабская династия Альмохадов, продвинула свои рубежи далеко на север, объединив под властью ислама Северную Африку и значительную часть Испании; анжуйская империя Плантагенетов присоединила к Англии часть Ирландии, а также все морское побережье Франции от устья Бреля до устья Бидассоа; благодаря соглашению между Тулузой, Сарагосой и Барселоной зародилась, по крайней мере в потенции, Окситанская империя, питавшая честолюбивый замысел завладеть также и Провансом, уже по ту сторону Роны; наконец, еще одно потенциальное сверхгосударство создавалось в результате победы Филиппа-Августа, который, сорвав замок с ворот Шато-Гайяра, 24 июня 1204 года вступил в Руан; вопрос был в том, удастся ли ему завладеть и морем.

Однако все эти сверхгосударства одно за другим потерпели неудачу в своих стремлениях; как бегун спотыкается о протянутые на его пути веревки, так и они запутались в переплетениях старинных границ. Крушение их было стремительным. Испанских Альмохадов разгромили войска христиан при Лас-Навас-де-Толоса (1212). В 1213 году Симон де Монфор в сражении при Мюре победил графа Тулузского и Педро II Арагонского. В 1214 году в Бувинском сражении Филипп-Август одержал верх над коалицией союзников Иоанна Безземельного. Тем самым

произошло резкое возвышение Франции: Иоанн Безземельный попал в трудное положение, мятежные английские бароны добились от него Великой хартии вольностей (1215), а на следующий год призвали себе на помощь сына Филиппа-Августа, будущего Людовика VIII Льва, и тот высадился в Англии. Но рухнули и эти честолюбивые замыслы: после смерти Иоанна Безземельного английские бароны заключили союз с его сыном Генрихом III, а Людовику пришлось отступить обратно во Францию.

Таким образом, все эти эпизоды имели одинаковый финал. Старинные границы выдержали испытание, им суждена была долгая жизнь. Очевидно, это связано с тем, что в начале XIII века (а пожалуй, и ранее) Европа уже составляла внутренне целый организм, единую общность, в рамках которой сложились политические субъекты, и они взаимно сдерживали, связывали друг друга взаимным давлением. Следует согласиться с Вальтером Кинастом [110], что уже *очень задолго* до появления самого понятия возникло нечто подобное «европейскому равновесию» — механизм для пресечения любых попыток к гегемонии, к созданию «мировой монархии», как стали выражаться позднее, в XVI веке. Вся беспокойная история Европы обозначена вехами несостоявшихся империй.

И действительно, в таком взаимном сдерживании проявляется действие глубинных исторических сил.

Начнем с битвы при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 году: в ней христианская цивилизация, закрепившаяся на Иберийском полуострове (и присутствовавшая даже в мусульманской части Испании в лице христиан-мосарабов [111]), отбросила вспять силы ислама, второй, уже ослабевшей и почти изнемогшей из двух цивилизаций полуострова.

Полная ясность имеется и в отношении Англии и Франции. После битвы при Гастингсе (1066) и нормандского завоевания Англия перестала быть островом; ей хватило ума и удачи вновь им стать (да и то скорее поневоле) лишь в 1558 году, после того как Франсуа де Гиз отвоевал у англичан Кале (им бы следовало поставить ему памятник как творцу величия их страны). В средние века Франция и Англия — по крайней мере их правящие классы — жили одной общей судьбой: Плантагенеты, как слышно уже в их певучем имени, были французскими князьями. Все так, и тем не менее в глубине, под покровом внешних событий — таких как феодальные распри, второе замужество Альеноры Аквитанской, преходящий гнев и недальновидный героизм Ричарда Львиное Сердце, ошибки и даже трусливые поступки Иоанна Безземельного, осторожная, хитрая и удачливая политика Филиппа-Августа,— под

этим покровом формировалась самостоятельная Англия и самостоятельная Франция. Взяв Руан, Филипп-Август рассек надвое извилисто протянувшуюся вдоль моря империю Плантагенетов. Англия же, избавившись от присутствия будущего французского короля Людовика, сумела отбросить Францию за Ла-Манш. Проведенный тем самым разрез возвестил о том, что по обе стороны «Английского канала» зарождаются самобытные национально-культурные организмы, которым было суждено долгое вызревание, зато и большое будущее.

Аналогичные, еще более сложные проблемы возникают в связи с крестовым походом против альбигойцев; в отличие от предыдущих походов, направлявшихся вовне, то был взрыв внутри христианского мира.

Тем не менее все ясно и здесь. На первый взгляд был восстановлен порядок: ересь побеждена, а Лангедок в 1271 году по праву наследства присоединен к владениям французской короны. Да, конечно, и тем не менее в итоге этой войны двух цивилизаций все же устояла (хотя и была нарушена) граница языка «ок» — длинная незаживающая рана, ключевая проблема всей нашей истории, так и не нашедшая и не допускающая никакого идеального разрешения.

«Естественные» границы. Сказанное выше помогает нам правильнее поставить щекотливую и, быть может, даже ложную проблему так называемых «естественных» границ — границ древней Галлии, являвшейся территориальным прообразом Франции, то есть границ по Рейну, Альпам, Средиземному морю, Пиренеям, Атлантике, Ла-Маншу, Северному морю. В римскую эпоху эти границы были закреплены, и позднее, под властью меровингских и каролингских государей, Галлия продолжала жить в тех же самых обширных пределах. Она отстаивала их неприкосновенность на юге, в Пиренеях (и даже расширяла свои владения за счет Испанской марки), в Альпах и в Италии (завоевание лангобардской Италии Карлом Великим), вдоль берегов Рейна и по своим нескончаемым морским побережьям (свирепствовавшие там начиная с IX века нормандские пираты в конце концов исчезли, так и не став тем вселенским бедствием, о котором впоследствии толковали историки). Таким образом, Галлия на протяжении веков почти полностью сохраняла свою территориальную целостность, а тем временем эта территория тесно срослась с судьбой Франции, в ее пределах успели перемешаться расы и цивилизации, научившись уживаться друг с другом.

Анри Мартен без колебаний заявляет в своей «Истории Франции»: «Новая Франция, старая Франция, Галлия — все это один и тот же духовный индивидуум» [112]. Не будем придираться к выражению «духовный индивидуум», которого я бы сам не стал употреблять; несомненный факт заключается в том, что здесь имела место непрерывная связь, преемственность реалий, исторически сменявших и обусловливавших друг друга.

Не следует, однако, представлять дело так, будто постоянной задачей завоевательной политики Франции является выход на рубежи древней Галлии, на «наши» «естественные» границы,— будто этой «генетической программе» один за другим следовали правители нашей страны, четко-де представлявшие себе, какую территорию им должно отвоевать. Нет, политика наших королей была подчинена случаю, воле обстоятельств, переменчивой удаче. Добившись того или иного успеха, они задним числом начинали подыскивать ему оправдание — всякий раз иное,— а вслед за тем рождались новые соблазны.

Дело в том, что древняя Галлия, как ни странно, длительное время находилась вне исторической памяти нашей страны, была полностью забыта. У средневековых историков и хронистов прошлое Франции представало как беспорядочная смесь летописей королевских династий, которым подбирались самые несообразные родоначальники. Например, Никола Жиль в своем сочинении «Изящнейшие и обширнейшие анналы и хроники всехристианнейших и превосходнейших властителей воинственных Галлий» (появившемся в 1492 году и вплоть до 1621-го много раз переиздававшемся) хотя и упоминает в заголовке о «Галлиях», но в самом тексте толкует вовсе не о Галлии и галлах, а единственно о королях Франции и об их происхождении, возводя оное к достославным преданиям о Приаме, Гекторе и Франкионе — троянских героях, объявленных родоначальниками франков!

Для французов той эпохи не существовало горделивой формулы «наши предки-галлы»: как писал Фердинанд Лот, «история нашей страны начиналась с прихода франков» под водительством Франкиона. «Люди даже не задавались вопросом, кто жил в Галлии до франков... или, вернее, они отвечали — римляне» [113]. И только Этьенн Пакье первым понял (в 1560 году), что некоторое представление о Галлии и ее обитателях можно составить, изучая записки Цезаря. Слегка огрубляя, можно сказать, что тогда-то галлы и «вошли в историю» Франции. Да воздастся же Этьенну Пакье и горстке его современников (в их числе столь необыкновенному человеку, как Лапопелиньер) за то, что они положили начало новой историографии, которая была уже не эпичес-

кой песней или легендарной хроникой, но документальным исследованием [114]. К сожалению, эта новая история, плод французского гуманизма, погибла, едва родившись на свет, и наступившая в XVII веке реакция, переиначив «шиворот-навыворот» [115] созданный новыми историками образец, вновь окутала все дымовой завесой. «Еще в 1714 году эрудит Никола Фрер был посажен в Бастилию за попытку доказать, что франки были германцами!» А ведь эти преступные мысли он развивал всего лишь в Академии надписей и изящной словесности... [116]

В таких условиях, знать ничего не зная о Галлии, как же можно было говорить о естественных границах — то есть границах Галлии? Вплоть до заявлений периода Революции о них и не было речи, а встречающиеся кое-где намеки на это понятие мало что значат. Это лишь камешки, разбросанные вдоль большой дороги.

Например, в 1444 году, еще не успев закончить Столетнюю войну с Англией, Карл VII, а затем и его сын Людовик XI предприняли поход в Лотарингию и Эльзас до самого Базеля; сделано это было вследствие разного рода интриг и обязательств, а главным образом в тайном желании вывести из Франции лишние войска, заодно и поставив заслон экспансионистским замыслам герцога Бургундского Филиппа Доброго, который, со своей стороны, мечтал возродить узаконенное Верденским договором королевство Лотаря. По этому случаю Карл VII заявил, что Французское королевство уже много лет как лишено своих естественных границ, доходивших до Рейна, и пришла пора восстановить над ними власть, поскольку территории, «расположенные по сю сторону Рейна... по праву и обычаю принадлежали предшественникам нашим, королям Франции» [117]. Из контекста явствует, что этими «предшественниками» были короли великого Франкского государства — Хлодвиг и в особенности император Карл Великий, герой средневековых хроник и эпических песен, которого наши короли именовали своим «родоначальником». Людовик XI даже учредил к концу своей жизни нечто вроде культа святого Шарлеманя (Карла Великого), объявив 28 января его праздником, который надлежало отмечать во всех городах Франции. Кстати, к XV веку восходит и следующий странный церемониал: «При своей коронации каждый новый король Франции посылал в Аахен погребальный саван своего предшественника, дабы его расстелили на могиле Карла Великого» [118]. Обычай этот соблюдался до кончины Людовика XV в 1774 году. Понятными становятся и слова Гаспара де Со [119], который в своих «Мемуарах» сожалеет, что рейнский поход Генриха II (1552) привел к завоеванию лишь Трех Епископств — почему же не всего Эльзаса и Лотарингии? «Тем самым,— пишет он,— было бы

восстановлено королевство Австразия» — наследственное владение одного из сыновей Хлодвига, которое в дальнейшем несколько раз присоединялось к Французскому королевству. Таким образом, французские короли, отстаивая в некотором смысле свои наследственные права, опирались не столько на понятие естественных границ античной Галлии, сколько на достославную память о королевстве франков и империи Карла Великого.

К немногочисленным свидетельствам в пользу естественных границ мы можем отнести лишь один любопытный намек, относящийся к 1558 году, и еще одну недвусмысленную формулу 1642 года.

Намек принадлежит перу малоизвестного бургундца по имени Жан Лебон, писавшего: «Из Рейна пить Париж хотел — то был бы Галлии предел» («Галлия» означает здесь «Франция», «новая Галлия»; «предел» — «граница») [120].

Недвусмысленная же формула содержится в завещании Ришелье. «Целью моего правления,— говорится в нем от имени кардинала,— было возвратить Франции те рубежи, что определила ей природа... дабы Франция совпала с Галлией и всюду, где была древняя Галлия, простиралась бы Галлия новая». Подобный текст никак не страдает двусмысленностью. Но ведь всем известно, что завещание это — апокрифическое, да к тому же еще и переведенное с латыни. Его историческую ценность лишь отчасти спасает то, что оно все же было составлено в непосредственном окружении Ришелье, так что данная формула возникла в самом сердце французской политической жизни. Возможно, и так. Однако до 1642 года сходного текста нигде не найти, да и после 1642 года слова, приписываемые Ришелье, зазвучали вновь лишь в прокламациях Французской революции.

Но если монархическая Франция не пользовалась удобной ссылкой на естественные границы, а между тем присоединяла к себе некоторое количество территорий, то как же она оправдывала эти аннексии? Зачастую никак не оправдывала — просто-напросто захватывала земли, аннексировала их, а там пускай себе говорят кто что хочет. Есть, конечно, и исключения, но и они лишь подтверждают правило.

В 1601 году у герцога Савойского были отторгнуты области Бюже, Брес и город Жекс с окрестностями. Своим новым подданным Генрих IV объявил: «По всей справедливости выходит, что коль скоро родной язык ваш французский, то и подданными вы должны быть французского короля. Пускай себе испанский язык остается в Испании, а немецкий в Германии, но все, кто говорит по-французски, должны быть у меня» [121].

Однако же подобное рассуждение — вообще говоря, не лишенное смысла, хотя и нельзя сказать, чтобы справедливое или что-либо оправдывающее,— не было, против ожидания, использовано при завоевании и присоединении (по Неймегенскому договору 1678 года) Франш-Конте, первоначально занятого войсками французского короля еще в 1674 году (правда, то были швейцарские наемники). Не было оно использовано и в 1766 году, при аннексии Лотарингии после смерти Станислава Лещинского. Ну, а что можно было сказать в 1648 году, когда Франция установила свою власть над Эльзасом — областью, где говорили на германском диалекте? Этому захвату не было представлено вообще никакого оправдания, да он почти и не вызвал интереса в тогдашнем французском обществе. В 1659 году, по выгодному для себя Пиренейскому мирному договору, Франция аннексировала Руссийон и Сердань — исконную часть Каталонии. Тогда-то весьма кстати были вновь помянуты древние границы — «Пиренейские горы, которые в древности отделяли Галлию от Испании и отныне впредь также будут разделять эти два королевства» [122]. Впрочем, Галлия упоминается здесь скорее случайно. Во время последующих переговоров о прохождении границы, начавшихся в Сере (март — апрель 1660 года) и завершившихся в Льивии (ноябрь 1660 года), с обеих сторон выдвигались одни лишь чисто юридические доводы, не было речи ни о природном рельефе, ни о древней Галлии [123]. Столетие спустя, в 1752 году, назначенный инспектировать границу в Руссийоне маркиз де Поми в своем докладе напоминает: «Итак, в качестве рубежа были приняты [в 1659 году] вершины и гребень Пиренейского хребта, с тем чтобы горный склон, обращенный к внутренней части Руссийона, принадлежал Франции, а склон, прилегающий к испанским провинциям,— испанской короне, причем должно было соблюдаться правило естественного водного стока, как это делалось при проведении границы по Альпам» [124]. Здесь, конечно, задним числом упрощается реальное положение вещей.

В итоге теория естественных границ возобладала при оправдании лишь территориальных захватов революционной поры. Век Просвещения как раз ввел в моду понятие *природы*, и этот аргумент звучал неотразимо.

«Франция есть самодовлеющее целое,— заявлял в 1792 году аббат Грегуар,— ибо Природа со всех сторон оградила ее своими барьерами, избавив от необходимости разрастаться вширь, так что наши интересы согласуются с нашими принципами». То же самое повторял и Дантон 31 января 1793 года, сразу после бесцеремонной аннексии Бельгии: «Рубежи Франции обозначены самой природой. Мы выйдем на них

по всем четырем направлениям — у Океана, у Рейна, в Альпах, в Пиренеях» [125].

В отношении Рейна возражения с немецкой стороны последовали далеко не сразу. В 1746 году Фридрих II даже сделал следующее странное — по крайней мере для нашего слуха — заявление: «Достаточно взять в руки географическую карту, дабы убедиться, что естественные пределы сей монархии [французской], по всей видимости, простираются до Рейна, чье русло словно нарочно создано для того, чтобы отделять Францию от Германии» [126]. Противоположная позиция была сформулирована в Германии лишь в «Песнях» Эрнста Морица Арндта (1813): «Der Rhein, Deutschlands Strom aber nicht Deutschlands Grenze» — «Рейн, германская река, а не германская граница» [127].

Нам не представляется, таким образом, что направляющей линией французской политики было стремление к естественным границам страны. Оставим в стороне словеса, аргументы, официальные речи: независимо от них, в реальности происходила и постоянно беспокоила Европу непрерывная французская экспансия. Не приходится спорить ни с Огюстеном Тьерри, ни с Анри Мартеном, ни с Альбером Сорелем, проследившими историческую преемственность этой политики: так, Революция лишь продолжила, хотя одновременно и испортила, политику старого режима. Начиная с рейнского похода 1552 года Франция только о том и думала, как бы закрыть, крепко запереть свои ворота в Восточную Европу.

Выход к морю — неторопливый и незавершенный. В исследованиях, посвященных границе, нечасто заходит речь о море. Даже здесь сказывается суеверное почтение к суше! А между тем, если считать границей разрыв, разлом в пространстве, то ведь каждому отплывающему из Кале или прибывающему в Дувр ясно, что он выезжает или же въезжает за границу. «Человек — существо сухопутное»,— утверждал Видаль де ла Блаш [128]. Даже Чарльз Дарвин, хоть и был англичанином и именитым путешественником, «после кругосветного путешествия на «Бигле» [1831] уверял, что люди уходят в море лишь поневоле и по принуждению» [129]. И все-таки моря существуют, существуют морские берега, существуют моряки и флоты. И существуют морские границы, причем они-то как раз являются бесспорно естественными. Итак, наша задача — выяснить, как в ходе многовековой истории Франции человек распоряжался бесконечными морскими побережьями, охватывающими страну.

К сожалению, если исключить многие славные, но изолированные эпизоды, в целом достижения Франции на морях не могут сравниться с теми великими делами, что мы вершили на суше. Здесь имелось явное несоответствие. Как уже сказано выше, будучи стиснута между морем и сушей, Франция отдавала предпочтение суше. «Французам неведомы морские пути»,— огорченно заявлял Филипп-Август, который в 1204 году, завладев богатой приморской Нормандией, распахнул перед своей политикой широкие морские горизонты, до той поры заслонявшиеся империей Плантагенетов. В том же самом году французы, «словно подтверждая его правоту, сами признавали во время штурма Константинополя [вместе с воинами IV крестового похода], что «не умеют столь же хорошо действовать на море, как на суше» (слова Жоффруа де Виллардуэна) [130].

Действительно, лишь в 1246 году Франция получила в свое владение якорную стоянку в Эг-Морт — «окно» во Внутреннее море. В те времена, если не считать Нормандии, во Франции не было сколько-нибудь многочисленного населения, привычного ходить в море. Не оттого ли спустя век, в начале войны, получившей имя Столетней, французы сразу же проиграли сражение при Слейсе (24 июня 1340 года) и тем самым утратили бесценно важное для них господство на море — а в результате этой катастрофы Франция оказалась беззащитной против высадки англичан? А если в 1369 году обстановка на море и изменилась, то не благодаря Карлу V или Дюгеклену, а благодаря галерам короля Кастилии Генриха Трастамарского, отряженным на помощь Дюгеклену; они-то огнем своих бомбард (новинка по тем временам) и разгромили английский флот на рейде Ла-Рошели (1373). Эта победа облегчила «отвоевание областей Пуату, Сентонж и Ангумуа» [131]. В декабре того же года Карл V назначил адмиралом Франции Жана де Вьена. Тот сформировал флот из «современных» кораблей и начал успешные экспедиции в Бретань и к берегам Англии, наводя страх в Лондоне. Пользуясь поддержкой кастильских и португальских кораблей, французский флот действовал эффективно и нередко одерживал победы. Но вскоре обстановка ухудшилась: Жан де Вьен оставил свой пост, а в 1396 году погиб в бою с турками при далеком Никополе.

После того как Франция восстановила контроль над своей территорией, а в 1481—1482 годах, с присоединением Прованса и Марселя, окончательно закрепилась на берегах Внутреннего моря (Лангедок был присоединен к владениям короны еще в 1271 году), она неизбежно оказалась в затруднительном положении в силу того, что ее береговая линия разбита между двумя морскими бассейнами. С одной стороны, это

Атлантика, Ла-Манш и Северное море — оперативное пространство будущего, где вскоре стали плавать одни только круглокорпусные суда; с другой стороны — Средиземное море, бассейн древних торговых путей и длиннокорпусных галер, которые, за немногими блестящими исключениями, утратили всякую роль в океане уже с окончанием XVI века.

Таким образом, Франции требовались не один, а два флота. В результате ей приходилось либо все умножать на два, либо — как чаще всего и получалось — все на два делить. Испания, столкнувшись с той же самой проблемой (при том выгодном отличии, что океан и Внутреннее море соединяются у ее берегов, в Гибралтаре), еще в 1617 году, по совету неаполитанского вице-короля герцога Осунского, стала использовать как в океане, так и в Средиземном море галионы [132]. В дальнейшем повсеместно пришлось ставить на вооружение линейный корабль — плод компромисса между круглокорпусным и длиннокорпусным судном. Но и упростив таким образом состав своего флота, Франция по-прежнему стояла перед неразрешимой проблемой, усугублявшейся еще и тем, что командование вечно не решалось сосредоточить все военно-морские силы по ту или другую сторону, как этого подчас требовала обстановка. Например, в 1692 году французский флот был разбит в сражении при Ла-Уг — тогда как «если бы Тулонская эскадра могла соединиться с Брестской, то Турвиль получил бы в свое распоряжение более восьмидесяти кораблей — учитывая их боевые качества, более чем достаточно, чтобы разгромить девяносто девять кораблей англо-голландской эскадры» [133]. Такая же трагедия разыгралась и в 1805 году, при попытке подготовить десант в Булонском лагере. Таким образом, военно-морская мощь Франции страдала своего рода структурным недугом. Чтобы преодолевать его, требовались грандиозные усилия всей страны, к которым ее могла принудить лишь твердая воля государства; но такую волю оно проявляло редко. Правда, Ришелье и Кольбер немало потрудились для воссоздания военного флота, но зато ни Людовик XIV, ни тем более Регент (вообще упразднивший военный флот вместе с торговым), ни Людовик XV не сознавали, сколь высоки ставки в этой игре. Действительно, на протяжении долгого полувекового периода от Утрехтского (1713) до Парижского договора (1763) «военно-морские силы Франции существовали только на картинах господина Верне» [134]. Людовик XVI (настоящим хобби которого, пишет Ален Гийерм, было вовсе не слесарное, а морское дело) попытался было исправить положение, но, к сожалению, слишком поздно.

Великолепно расположенная в центре Европы для ведения континентальных войн, Франция в военно-морской области пала жертвой

своего географического положения. Она так и не смогла или не сумела в полной мере реализовать те козыри, которыми на первый взгляд наделила ее природа и история. Природный заключался в том, что, как пишет Пьер Гуру, «ни одна страна в Европе не обладает столь протяженным, разнообразным и удобным морским побережьем. Сколько здесь отличных гаваней, расположенных в устье широких рек, что ведут в глубь страны!» [135] Исторический же козырь состоял в том, что с присоединением Нормандии, Бретани, Лангедока, Прованса Франция одновременно приобрела и целые народности потомственных мореходов. Корабли Жана де Вьена плавали рядом с кастильцами и португальцами, вместе с баскскими корсарами... Со включением же во Французское королевство Бретани (окончательно состоявшимся в 1532 году) союзниками Франции стали лучшие европейские мореплаватели XVI века. И, однако, все эти дары судьбы оказались во многом бесполезными!

На самом деле причина тому заключалась не только в неблагоприятном факторе «двух морей». Для ведения и планирования широкомасштабной политики на морях Франция должна была бы выполнить одно непременное условие — вырваться из осиного гнезда беспрерывных сухопутных войн, с тем чтобы, подобно англичанам, вести только одну войну — на море, и иметь только один военный бюджет — военно-морской. Для подобного выбора требовались не только прозорливость, удачливость, настойчивость, но и способность противостоять давлению воинственного дворянства, готового в любой момент выступить в поход по дорогам Европы. В волнующем по сей день «Историческом учебнике внешней политики» Эмиля Буржуа [136] повествуется об этих драматических колебаниях Франции между сушей и морем, всякий раз получавших неверное разрешение. Еще в 1740 году, в самом конце своей нескончаемо долгой жизни, старый кардинал де Флери упрямо боролся за то, чтобы остановить начинавшуюся войну за австрийское наследство. Но для Франции без войны на суше — и жизнь не в жизнь. А разве Европа могла отказать ей в таком удовольствии?

Таким образом, военно-морской потенциал Франции зачастую оставался невостребованным, или востребованным не в полной мере, или искусственно подорванным. Предоставленные самим себе, наши моряки поступали на службу в иностранные флоты, которые вечно страдали от нехватки экипажей. Стоило же Франции начать вновь снаряжать свой флот, как они возвращались на родину, дезертируя с испанских, мальтийских, английских, а чаще всего — голландских кораблей, «преисполненные сожаления о долгих своих скитаниях и горячего желания оста-

ток своих дней с пользой послужить королю, вознося хвалы господу за то, что после столь длительного пренебрежения мореплаванием» [137] Франция наконец-то одумалась. В пору снаряжения флота Кольбером во Францию вернулось чуть ли не 30 000 моряков; скорее всего эта цифра, названная французским послом в Гааге, преувеличена, но массовый возврат на родину действительно имел место.

И все-таки главная беда была не в том, что все ресурсы отнимала сухопутная война. Пьер Виктор Малуэ [138], который, прежде чем стать депутатом Генеральных штатов и Учредительного собрания, долгое время служил во флоте (целых семь лет — порядочный срок! — он занимал пост морского интенданта в Тулоне, куда был назначен 1 ноября 1781 года), указывал на основное препятствие, которого так и не смогла преодолеть политика французского государства. «Сам Кольбер, при всей своей высочайшей просвещенности,— пишет он,— слишком спешил добиться крупных успехов на море, не успев утвердить самые основы морской мощи; а ведь он лучше, нежели кто-либо иной, понимал, что создать флот и набрать в него моряков возможно лишь при наличии широкой экспортной торговли. Это доказывают нам все его шаги, направленные к созданию и поощрению мануфактур; но едва лишь благодаря ему у нас в стране появились матросы торгового флота, как он сам же забрал их во флот военный, так что бурный рост нашей военно-морской мощи быстро прекратился за недостатком пищи; между тем соперники наши, опередив нас в строительстве морского флота на два столетия, смогли сохранить и даже увеличить свои силы». Итак, наша неудача носила экономический характер. Скажем даже яснее — то была неудача французского «капитализма». И действительно, тот же Малуэ продолжает: «Морская торговля не может процветать при режиме абсолютной власти и под бременем налогов, порождаемых потребностями роскошества и почти непрерывным состоянием войны. Только свобода промышленности и спекуляции способна создать класс богатых капиталистов, в отсутствие которых никогда не развернется широко коммерческая деятельность, благоприятствующая приумножению и вывозу за границу производимых в стране товаров; между тем ни в собраниях наших, ни в народных нравах мы до сих пор не видали того духа предприимчивости и экономии, какой потребен для создания и содержания крупного торгового флота — этой непременной и прочной основы военно-морской мощи» [139].

Сказано справедливо, хотя и жестковато. Вообще главная беда состояла в том, что Франции так и не удалось сколько-нибудь надолго стать первой экономической державой Европы, то есть ее *центром*.

Исключая — да и то с оговорками — лишь *«континентальный»* век шампанских ярмарок, европейское богатство никогда не концентрировалось во Франции. Отсутствие же этого важнейшего фактора лишало Францию и многих других преимуществ, в том числе главного. Мы имеем в виду избыток экономических ресурсов, превосходство в кредитах, интенсивность деловой жизни, крупные накопления капиталов, широкомасштабные морские перевозки — одним словом, экономическое могущество, дающее средства для долгосрочных проектов. Анж Гудар, говоря о положительном влиянии Ришелье на судьбу нашего флота, справедливо пишет: «Чтобы сделать Францию великой морской державой, потребовалось бы столетие»[140].

26 октября 1761 года хорошо осведомленный наблюдатель сообщал из Тулона: «Франции никогда не быть могучей державой, вызывающей страх и уважение у соседей, если только она не станет владычицей морей, и... на этой водной равнине армия в двадцать тысяч человек снискала бы ей больше чести и выгоды, нежели двухсоттысячная армия на суше. Одним словом... кто владеет морем, тот владеет всем миром» [141]. Подобную роль Франция так и не смогла сыграть до конца.

IV
ЗАРИСОВКИ КРУПНЫМ ПЛАНОМ: ЕСТЬ ЛИ В НИХ НУЖДА?

Для решения трудных проблем бывает полезно представить крупным планом тот или иной фрагмент прошлого. Таким образом удается сократить ученый труд, которому иначе не было бы видно конца. Возможно, к числу подобных проблем относится и наша проблема границ: ведь она охватывает всю историю Франции и включает в себя такую массу известных науке фактов, которую ни один историк не смог бы одолеть в одиночку. В таких условиях желанным выходом из положения как раз и может оказаться исследование крупным планом — при всей его неполноте и приблизительности.

Понятно, что эта операция не решит проблему раз и навсегда, но по крайней мере она доставит нам удовольствие понаблюдать вблизи и изо дня в день, как жили в прошлом наши границы. А такой опыт полезен и поучителен.

Чтобы не слишком увлекаться наблюдениями и повествованием, мы ограничимся здесь всего двумя путешествиями. Одно из них — в Мец, на сухопутную границу, второе — в Тулон, на границу морскую. Они

убедительно продемонстрируют нам то, что еще никогда не было понято в должной мере,— насколько трудную, сложную, тягостную задачу составляло управление Францией и ее оборона. Ведь по большей части править приходилось вслепую, и будущее всегда оказывалось неожиданностью — когда приятной, а когда и нет.

Северо-восточная и восточная границы. Но почему мы выбрали именно Мец?

Большинство границ Франции принадлежат к числу тех, которые можно почти с чистой совестью охарактеризовать как «естественные»: моря, Пиренеи, Альпы, Юра — все эти границы защищены самой природой, существенно облегчившей людям их задачу. В 1940 году, при небывалом военном крушении, постигшем Францию, ее альпийская граница *устояла* [142].

Искусственная же и уязвимая граница Франции тянется от Северного моря до Рейна. Эту границу кроили и перекраивали политики, полководцы, военные инженеры, бесчисленные исторические случайности. На первый взгляд ее завершением на северо-востоке служит Рейн — на самом же деле он не имеет ничего общего с «Английским каналом». Он создает лишь видимую, иллюзорную защиту; к тому же французы добились выхода к нему только в 1648 году (в Эльзасе), занять же весь его левый берег от Базеля до моря удавалось лишь временами — в 1795—1814 и 1919—1930 годах [143], когда все рейнское левобережье было оккупировано Францией и ее союзниками.

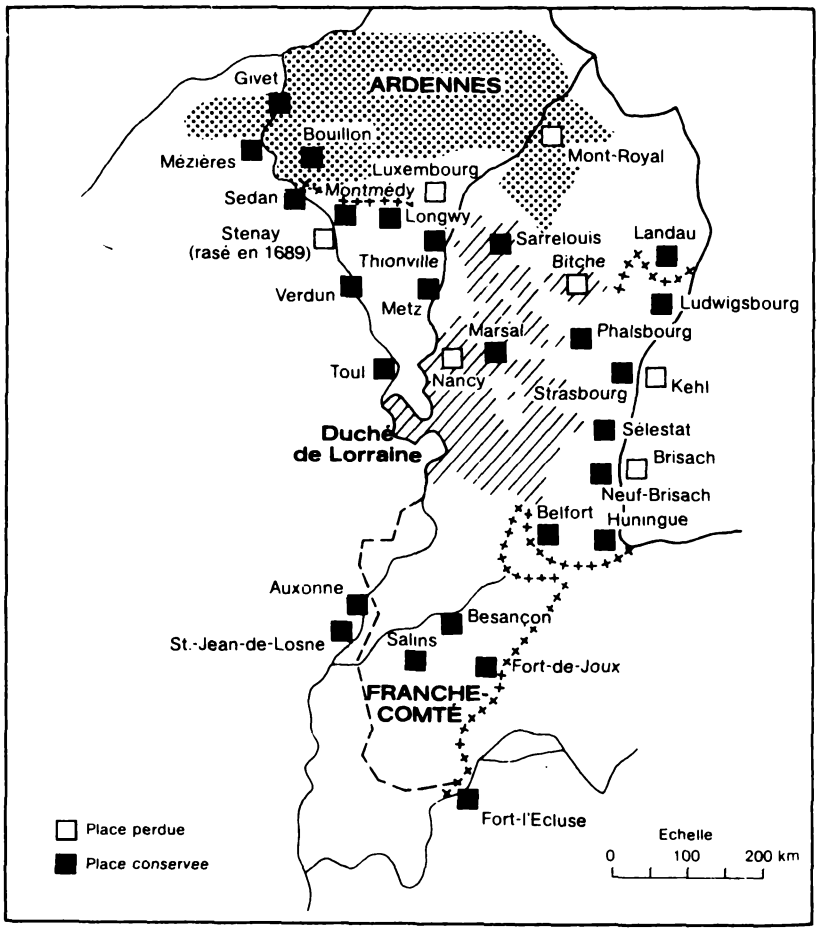
Эта ненадежная северо-восточная и восточная граница являлась также самой беспокойной и оживленной; ее защитники всегда были начеку — именно в силу опасности со стороны агрессивных и грозных соседей. Последние давно уяснили себе, что, ломясь во французский дом с этой стороны, имеешь много шансов высадить дверь. Первым доказательство тому представил Карл Пятый в 1544 году: выступив из Люксембурга, он дошел до Сен-Дизье, взял его и вдоль Марны продвинулся до Мо, расположенного у самых ворот Парижа. Доказательство представлялось вновь и в 1557, 1596, 1636, 1708, 1814, 1870, 1914, 1940 годах. Не так уж правы те, кто утверждает, что история, по природе своей необратимая, никогда не повторяется. Нет, зачастую ей не хватает выдумки, и она действует по привычке.

Граница, о которой идет речь, походила на все границы, какими они были до XIX века. Ни в коем случае не следует представлять ее себе в виде современной границы-линии — ведь линейная граница («жесткая

и резкая», по словам Эрнеста Лависса) [144] с двойным таможенным кордоном появилась лишь «в недавнем прошлом. Даже по договорам, заключавшимся Людовиком XV, территории государств находили одна на другую множеством «анклавов» и «эксклавов», а стало быть, представления о границе как линии в ту пору еще не существовало» [145]. В 1771 году двум французским географам, Шошару и Жолли, было поручено под руководством генерала де Граппре составить карту границы от Дюнкерка до Ландау (на севере Эльзаса). Им пришлось работать в полосе шириной от трех до четырех лье [146].

Таким образом, граница имела вид широкой и, как правило, нечетной черты. Легко догадаться, какие последствия это влекло за собой. Эксклавы и анклавы (каковые фактически суть одно и то же — достаточно лишь взглянуть с другой стороны) часто представляли собой целые деревни, группы деревень, городки и даже небольшие города; каждый из них служил крепостью, воздвигнутой на вражеской земле, постоянно открытыми воротами в глубь территории противника. Само собой разумеется, что повседневная жизнь анклавов и эксклавов обеспечивалась лишь существовавшим по обе стороны границы режимом свободного обмена; в отношении границы между Францией и Испанскими Нидерландами это даже формально предусматривалось статьей 16 Неймегенского мирного договора (1678). Отсюда неизбежно проистекали конфликты, инциденты, локальные войны. В ноябре 1682 года откупщик фламандских владений короны (представьте-ка себя на его месте) пытался добиться, чтобы жителям приграничных селений — подданным короля — было запрещено «посещать [сельские] кабачки Испании [так], расположенные в ближней округе, куда они ходят постоянно, под тем предлогом, что выпивка там стоит дешевле, нежели в кабачках, подлежащих власти Его Величества, и причиняют тем значительный ущерб его [короля] правам» [147]. Что делать, возражал ему интендант Демадри, так положено по Неймегенскому договору. Впрочем, в 1689 году, в связи с началом очередной войны, испанцы сами запретили свободный переход границы. Что ж,— отвечал тогда интендант,— за нами дело не станет, мы со своей стороны поступим так же, если, конечно, на то будет воля короля [148].

Неужто нельзя было покончить с таким положением и провести границы по линейке, как это и сделали позднее? Нет, нельзя — мешала сила вековых привычек. Кроме того, на зыбкой северо-восточной и восточной границе сказывалось и небескорыстное двуличие сопредельных государств, особенно французской монархии (ведь в долг верят только богатым). Названная монархия пользовалась малейшим предлогом для



КРЕПОСТИ НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ

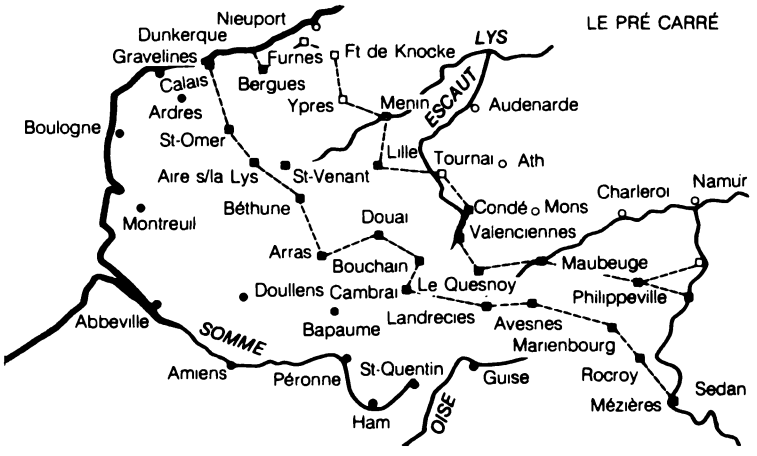
Крепости вдоль «уязвимой» границы в Арденнах, Лотарингии, Эльзасе и Франш-Конте обозначаются белым квадратиком, если они переходили в руки противника в ходе бесконечных войн XVII— XVIII веков, и черным квадратиком — если удерживались французами. Из книги полковника Роколя: 2000 ans de fortification française. 1973.

пограничных споров и ссор, порождавшихся и даже предопределявшихся неточной демаркацией рубежей, путаницей в охранных и вассальных правах, неясностями в системе спорных феодальных зависимостей, наконец, крючкотворством законников, которые тоже не упускали ни единого повода для кляуз. Так и тянулась монотонная, нескончаемая комедия, разыгрывавшаяся для того, чтобы хитростью и лукаво-бесчестными подлогами под маской юридической добросовестности отстоять какое-нибудь надуманное право. По словам историка Нелли Жирар д'Альбиссен, французские власти «терпеть не могли каких-либо договоров о границе, предпочитая иметь в своем распоряжении не ясные тексты, под которые трудно подкопаться, а множество благовидных предлогов для новых аннексий, порождаемых феодальными установлениями; такая политика достигла своего апогея в период деятельности особых палат для присоединения новых территорий» [149]. Этот период (в частности, присоединение Страсбурга в 1681 году) совпадает по времени с ростом французского могущества после Неймегенского мира (1678), что, естественно, создавало сильный соблазн завладеть под тем или иным предлогом и Страсбургом вместе с его мостом через Рейн. Действительно, ведь имперские войска дважды, в 1675 и 1676 годах, получали от этого города разрешение свободно пройти через мост — и оба раза заходили в тыл армии Тюренна.

Любая граница, хорошо или дурно проведенная, порождала более или менее сходные оборонительные проблемы, которым в основном и подчинялась чрезвычайно дорогостоящая, но все равно ненадежная работа по ее укреплению. Искусство современной фортификации, заново открытое в начале XVI века итальянскими инженерами, быстро распространилось по всей Европе; все основные оборонительные элементы крепостей стали зарывать в землю; повсеместное применение получили бастионы, кавальеры, равелины, перекрестный огонь. Наступил век Вобана — еще раньше, чем родился сам маршал (1633—1707).

На протяжении от Северного моря до Рейна граница распадается на два больших сектора.

Сначала от Дюнкерка до реки Маас (до Живе и Мезьера) тянется так называемая «железная граница», в значительной своей части оборудованная Вобаном или, по крайней мере, по его замыслу; с его легкой руки полковник Роколь называет этот район «квадратным лугом» [150]. В действительности главная инициатива этих грандиозных работ исходила от самого короля. Как явствует из карты на с. 294, граница представляла собой двойную линию крепостей [151]. Еще южнее тянулась третья линия, образуемая старыми крепостями на Сомме — вдоль прежней границы



«КВАДРАТНЫЙ ЛУГ»

Из книги полковника Роколя: 2000 ans de fortification française.

королевства. Эти устаревшие крепости сами по себе плохо годились для обороны. И все же в 1712 году, накануне Денненского сражения, вверяя Виллару последнюю остававшуюся у Франции армию, Людовик XIV объяснял ему, что в случае поражения намерен отступить за Сомму. «Я знаю эту реку,— говорил он,— ее очень трудно перейти; на ней стоят крепости, и я рассчитываю отойти в Перонн или Сен-Кантен, собрать там все войска, какие удастся, предпринять вместе с вами последнее усилие и либо всем погибнуть, либо спасти государство, ибо я никогда не примирюсь с тем, чтобы неприятель подступил к моей столице» [152].

Итак, то был обширный укрепленный район, а не сплошная оборонительная линия, подобная римским limes, Китайской стене или даже нашей линии Мажино; мощную защиту ему обеспечивали разбросанные на широком пространстве опорные пункты. Их задачей было блокировать, сдерживать, стеснять, рассекать силы потенциального агрессора.

Напротив того, между Маасом и Рейном, то есть от Мезьера до Ландау, не было столь плотной фортификационной системы. Обстановка, таким образом, с зеркальной точностью соответствовала той, в которой оказалась Франция в 1940 году: тогда наша страна, наоборот, воздвигнула мощные укрепления во «втором секторе» (от Монмеди до Рейна), но не прикрыла линией Мажино вобановский «квадратный луг»,— за что и поплатилась.

Следует признать, что во времена Вобана граница между Маасом и Рейном была защищена мощной природной преградой (за исключением южного участка, где она была вообще уязвимой — и в историческом, и в политическом, и в стратегическом плане). Эту преграду от Живе до Бича образовывали Арденны — низкое, сложенное из древних скал плато, скудное, местами болотистое, покрытое низкорослым, но густым и плотным лесом, где лишь изредка встречались поляны с убогими городами [153] (Люксембург, Арлон) и еще более нищими деревнями. От Мезьера и Живе вплоть до Люксембурга лес представлял собой серьезное препятствие, и его бескрайние заросли не сократились даже после массовых вырубок в XIX и особенно XX веке. Заметим все же, что, например, в мае 1794 года генерал Журдан, выступив из Арлона, сумел пройти через южную часть Арденн и соединиться с Северной армией, что позволило ему 26 июня одержать во многих отношениях решающую победу при Флерюсе.

Но куда удобнее было преодолевать эту преграду по одному из двух узких проходов, образуемых долиной Мааса и долиной Мозеля (аналогичных, хотя и уступающих в грандиозности «героическому пролому», проделанному Рейном сквозь рейнский сланцевый массив, западной частью которого и являются Арденны).

Вдоль этих-то двух проходов и стояли крепости: Верден, Стене (снесенная в 1689 году), Мезьер, Буйон и Живе — на Маасе, Мец, Тионвиль [154] и Мон-Руаяль — на Мозеле.

Если учитывать также опорные пункты вдоль притоков Мозеля — Шьера и Саара, то оставалась лишь одна определенно слабая зона, простиравшаяся от Саарлуи или же Бича до Рейна, то есть практически до Ландау. Именно здесь неприятельские войска и вторгались во Францию в 1792 и 1814 годах.

Все эти пограничные пункты на востоке — как слабые, так и сильные — находились под неусыпным надзором французской армии, тем более что в тылу французских позиций, на юге, располагалась в принципе независимая и безусловно враждебная, постоянно подстрекаемая извне Лотарингия. В этом огромном политическом пространстве, заключенном между Шампанью, Бургундией, Франш-Конте, Эльзасом, владениями архиепископа Трирского и Люксембургом, выступали подобно архипелагу посреди моря Три Епископства — Мец, Туль и Верден (или, как нередко говорят, Мецский генеральный округ). «Мы находимся посреди Лотарингии...— в очередной раз объясняли королю 3 мая 1707 года городские эшевены Меца.— Владений города недостаточно, чтобы прокормить его жителей... даже в течение трех месяцев. Весь строительный лес, хлеб и вообще все потребное для жизни поступает к нам из

Лотарингии» [155]. Таким образом, Лотарингия была житницей, откуда город черпал себе хлеб насущный,— такого соседа приходится терпеть и беречь. Но она составляла также и вечную угрозу: стоило на миг ослабить бдительность, как враг мог одним ударом прорваться до самого Нанси и закрепиться там. Поэтому при всякой угрозе войны французы почитали за лучшее оккупировать лотарингские земли и располагались там как в завоеванной стране — занимали крепости, взимали в свою пользу налоги, взимавшиеся обычно герцогом Лотарингским, без колебаний вводили новые подати, продавали должности, назначали новым чиновникам жалованье на целый год вперед... И так далее. Лотарингия оккупировалась французами в 1633—1661, 1670—1697, 1702—1714 годах — на протяжении пятидесяти семи лет из восьмидесяти одного! Таким образом удавалось если не полностью устранить, то по крайней мере отвести угрозу с юга.

Чем интересен Мец? Стратегическое значение Меца в том, что он стоит на относительно слабом, а потому особо чувствительном участке границы. Людовик XIV, которого зачастую ошибочно представляют себе жившим только в Лувре или Версале, шесть раз посещал Мец и подолгу там оставался. Вобан говорил ему: «Прочие крепости королевства служат для прикрытия отдельных провинций, тогда как Мец — для прикрытия всего государства» [156], то есть всей Франции. «Дабы ускорить фортификационное оборудование всей этой крепости,— утверждал маршал,— каждый настоящий француз должен был бы принести туда по корзине камней и земли». Не менее категоричен был и Тюренн: «Только Мец способен выручить нас в случае беды и военных поражений — принять в свои стены отступающую армию, защитить окрестные края и прикрыть тыловые пути сообщения. Только эта крепость, если привести ее в должный вид, могла бы дать отпор сразу всем объединенным силам Империи» [157] (подразумевается, конечно, Священная Римская империя германской нации, грозившая в любой момент бросить огромные войска на Эльзас и Лотарингию через Пфальц и Люксембург).

В тот период своей истории, который представляется нам подходящим для рассмотрения крупным планом,— грубо говоря, от Голландской войны 1672 года до окончания войны за Испанское наследство (1714) — Мец находился в стороне от непосредственных военных действий. Такую сравнительно спокойную жизнь обеспечили ему заблаговременно принятые меры и другие обстоятельства — в частности, ввод

французских войск в стратегически важные пункты, такие как Люксембург (1684), или же тактика выжженной земли, методически применявшаяся в городах и селах Пфальца в 1688—1689 годах,— жестокое военное преступление, так и не принесшее, кстати, ожидаемых результатов. Когда началась война за Испанское наследство (1702—1714), самая драматическая из всех войн Людовика XIV, Мец оказался на второстепенном направлении. Бои шли в Нидерландах и на вобановском «квадратном лугу», на правом берегу Рейна до самой Баварии и на Дунае, в Италии и Испании... Таким образом, Мец был вдали от крупных военных операций. Его тревожили лишь отдельные вылазки имперских гусар, которые время от времени «шалили» в сельских окрестностях, порой доходя до ближних деревень в двух-трех лье от города; направление ударов подсказывала неприятелю лотарингская измена.

В таком случае, быть может, лучше было бы взять в качестве материала не Мец, державшийся начеку, но все время видевший противника лишь издали, подобно героям «Татарской пустыни»,— а, скажем, Ипр или Лилль, ставший французским в 1668 году и укрепленный по проекту Вобана? Последнее обстоятельство не помешало взятию этого города принцем Евгением 23 октября 1708 года и его занятию голландцами [158]; однако войска союзников наткнулись на другие опорные пункты «квадратного луга» и после бойни при Мальплаке (11 сентября 1709 года) уже не смогли наступать дальше на Париж, имея у себя в тылу все еще сохранявшую силы французскую армию (она-то и разбила их потом при Денене 12 июля 1712 года). Одним словом, Лилль находился в самом центре драматически развивавшихся событий, в которых упорная оборона французов в конце концов принесла им успех. Но как раз поэтому в Лилле (как и в городе, выбранном для второго анализа крупным планом,— Тулоне) мы оказались бы в исключительных обстоятельствах, обусловленных войной. Преимущество Меца в том, что здесь перед нами проходят обыденные, однообразно-повседневные заботы, которых постоянно требует обычная охрана границ,— строительство укреплений, снабжение войск, перемещения воинских частей и гарнизонов, разведывательные действия. На примере Меца можно уяснить себе больше, чем на примере Лилля,— так, во всяком случае, представляется нам.

Война в замедленном изображении. Мец «представляет собой головную крепость и пакгауз» [159]. На современном языке мы бы сказали, что

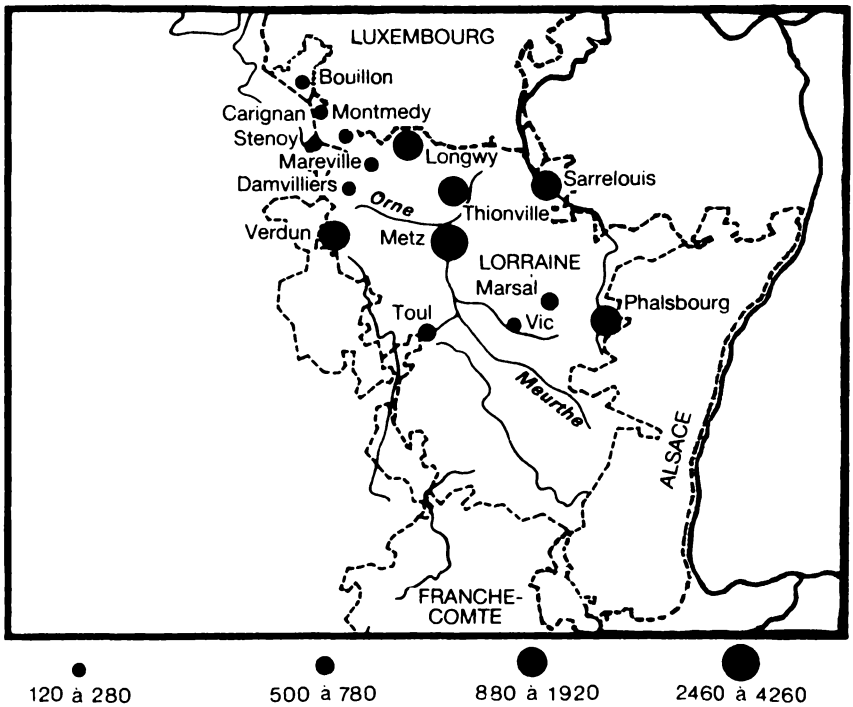
это узел обороны, служащий одновременно базовым складом, а также конечным и отправным пунктом всех маневров. Сюда беспрестанно стекались вооружение, провиант, лошади, подводы, деньги, солдаты... Именно прохождение солдат, перемещение частей и составляло для города проблему номер один. Перед глазами жителей Меца в то время постоянно двигались войска — прибывали, уходили, вставали на постой в самом городе и в округе; и подобное соседство было, конечно же, беспокойным.

Один мецский адвокат рассказывает в своем «Собрании ежедневных записей» [160] (дело происходит в ноябре 1683 года, еще до возобновления военных действий): «В ту пору в Меце перед приходом войск начинали бить в набат, а чтобы знать, через какие ворота войска вступают в город, после сигнала тревоги давали еще один удар колокола, если они шли через ворота Сен-Тьебо, два удара — через Мозельские ворота, три — через Немецкие, четыре — через Понтифруа и пять ударов — через Пон-де-Мор; кроме того, на колокольне большой церкви вывешивали флаг либо зажигали фонарь белого цвета, если шла пехота, и красного — если кавалерия...» По-видимому, для таких предупреждений звонили в большой колокол по прозвищу Ла-Мютт [161], поднятый в 1605 году на башню ратуши.

Из числа прибывавших войск некоторые части были «проходящими», направляясь порой в весьма далекие края — либо в сторону Фландрии, либо в сторону Эльзаса, смотря по обстановке. Естественно, горожане легче мирились с ними, нежели с войсками «постоянными», которые каждый год в пору «зимних квартир» вызывали переполох и наводили страх на весь город. Как в военное, так и в мирное время город регулярно переполнялся пехотинцами, кавалеристами, лошадьми, и каждый солдат искал себе жилище.

Для этих зимних квартир в городе имелось (исключая из счета жилища привилегированных граждан, освобожденных от обязанности селить у себя ратных людей) всего две тысячи четыреста домов, подлежавших реквизиции; дома эти были низкие и тесные, среди них не набиралось и сорока двухэтажных. Разумеется, в Меце разыгрывалась та же драма, что и во всех гарнизонных городах: «Войска приходят в великом множестве... места же для их размещения весьма мало» [162]. Волей-неволей приходилось тесниться.

В мае 1693 года в одном из донесений сообщалось: «В нынешнем году в Вердене и Меце мало кому из жителей приходилось всю зиму содержать у себя на постое менее шести пехотинцев или кавалеристов, и лишь у наибеднейших хозяев стояло по трое» [163].



ЧИСЛЕННОСТЬ ГАРНИЗОНОВ МЕЦСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА

Величина кружков пропорциональна числу солдат в гарнизоне того или иного города, которое подсчитано по количеству солдатских пайков, расходовавшихся каждый день. (Из книги: Duby G. Atlas historique).

Представьте себе, каково было разместить этих троих солдат в тесной мастерской какого-нибудь ремесленника! В 1691 году могильщики из мецского предместья Сент-Круа (беднейшие из бедных) в отчаянии заявляли: «...каждый из нас имеет для жилья одну лишь маленькую каморку, [каковую] мы вынуждены отдавать на милость ратных людей, всякий раз когда... они приходят на постой...» [164]

Случалось, что даже и счастливцев, избавленных от постоя, невзирая на их права заставляли отворять двери своих жилищ. Так, в 1707 году добрый пример подало духовенство во главе с самим епископом Тульским. Подобная самоотверженность помогала укротить упрямых и предотвратить возмущения, но зато и отпугивала потенциальных

покупателей должностей, которые как в Меце, так и в других городах зачастую входили в столь обременительные траты лишь постольку, поскольку приобретаемая должность, независимо от своей доходности, освобождала от воинского постоя.

Само собой разумеется, что солдаты в домах местных жителей часто вели себя нагло и бесцеремонно. Из-за своего скудного жалования они были опасны для окружающих. Сплошь и рядом они занимались жульничеством — торговали билетами на постой [165], продавали контрабандный табак, участвовали в широко распространившейся по всей Франции соляной контрабанде [166]. Воинское начальство старалось поддерживать среди них дисциплину и иногда карало за проступки, но без особого прилежания, ибо у солдат и без того имелись причины для недовольства — прежде всего невыплата «займов», скудное и скверное питание. В 1710 году поставленный гарнизону Мецской цитадели «пайковый» хлеб продавался по непомерно высокой цене, а выпекался «наполовину из ячменя, наполовину из овса» [167].

В войсках то и дело вспыхивали волнения. 14 января 1712 года, пока мецский интендант Сен-Контест обедал у себя дома, на улице и во дворе собралось «три сотни солдат местного гарнизона». Обратившись к ним, интендант узнал, что им задерживают выплату жалования и «что нынче утром они разграбили все местные рынки и некоторые лавки». Столпясь перед домом, они «размахивали шпагами... и швырялись камнями и кусками льда, так что люди мои не могли выйти из дверей». Но все кончилось благополучно: «Услышав шум, явились несколько господ офицеров из гарнизона и разогнали бунтовщиков ударами шпаг» [168].

В самом городе было еще сравнительно спокойно: здесь муниципальные власти и полицейские стражники следили за порядком, за соблюдением комендантского часа. Другое дело — в деревнях, особенно расположенных вблизи районов боевых действий и соприкасавшихся с неприятелем. Там царила полная вседозволенность. Тот же мецский интендант не строил никаких иллюзий в отношении опасностей, которым неизбежно подвержены жители городских окрестностей: «Все наши [приграничные] деревни неминуемо будут страдать от грабежей и пожаров, предотвратить же сие никак не возможно». Единственный выход для местного населения — заплатить неприятелю контрибуцию, своего рода страховку. «Сам я запрещаю платить контрибуцию,— объясняет Сен-Контест,— однако убежден, что втайне ее уже предлагали неприятелю и вскоре она будет выплачена по всему генеральному округу. Мне даже приходится встречать весьма достойных людей, которые как ни в чем не бывало говорят мне: что же нам делать? чем позволять, чтобы

наше имущество сожгли и разграбили, мы уж лучше заплатим контрибуцию» [169].

Разумеется, и королевские войска вели себя одинаково что на своей, что на чужой территории. Борьба солдата и крестьянина — это самая настоящая классовая борьба, не знавшая передышек. Как правило, победа оставалась за солдатом, но подчас и крестьянину удавалось взять реванш. Отличались ли лотарингские крестьяне-«вогезцы» особой жестокостью — или просто ожесточились? Их, как говорится в одном явно пристрастном документе, «называют «шенапанами»... они беспощадно расправляются с королевскими солдатами и офицерами, совершающими зимние переходы, так что кое-кого из этих негодяев пришлось казнить на колесе, прочим же, ввиду их многочисленности, даровать амнистию» [170]. В этом донесении не сообщается, почему же крестьяне покинули свои жилища и принялись охотиться на солдат. Очевидно, они очутились в таком же положении, что и жители Пфальца, жестоко опустошенного французскими войсками в 1688—1689 годах: там «разоренные крестьяне... бродят по обе стороны от Доннерсберга [171]; эта высокая гора длиной в семь-восемь лье и шириной в три-четыре лье расположена между Эбернбургом [172] и Кейзерслутром [173]; она сплошь покрыта лесом, и ведут туда очень узкие дороги, на которых крестьяне устроили мощные завалы; там и укрываются при малейшей тревоге все жители равнины вместе со своим скотом. Те, кому нечего терять, а таких наберется четыреста — пятьсот человек, нередко делают маленькими отрядами по семь-восемь человек вылазки в близлежащие деревни на поиски съестного...» [174]

Конечно, Мец, все время державшийся настороже, был не так подвержен прямой опасности нападения, как какая-нибудь деревня. Приходилось, однако, ни на миг не ослаблять бдительности, проверять боеготовность войск и крепостного гарнизона; при этом выяснялось, что у солдат не хватает обуви и белья, а также и оружия, что офицеры чрезмерно молоды, что такой-то батальон не в состоянии выступить в поход; и все это требовало принятия мер... [175] На 25 августа 1702 года «в расквартированном в Меце Руэргском батальоне оружие имеется менее чем у двухсот солдат, так что батальон вынужден остаться в городе», тогда как предполагалось перебросить его в небольшую лотарингскую крепость Марсаль. То же замечание сделано и на следующий день в отношении Форезского батальона, также стоявшего гарнизоном в Меце: «Много низкорослых, дурно сложенных солдат. По-видимому, из всего батальона можно будет отобрать не более ста пятидесяти человек» [176].

Другая забота — городские укрепления, которые постоянно требовалось обновлять и достраивать. Спешно возводились частоколы, расчищались подступы к батареям, чтобы освободить пространство для стрельбы,— при этом уничтожались огороды и сады, шли под топор великолепные плодовые деревья. Мобилизовывались целые армии крестьян; за смехотворную плату — пять су в день [177] (в то время как наем лошади стоил 25 су в день) [178]— они должны были работать заступом и лопатой в городе и вокруг него; косить несозревшую пшеницу, чтобы, когда поспеет урожай, неприятелю нечем было бы поживиться [179], или же вырубать деревья вдоль лесных дорог для предотвращения засад.

Нужно было также заниматься новобранцами (снабжать их обмундированием), вновь прибывавшими ополченцами, больными, пленными. А сверх того, еще и городское хозяйство — снабжение, создание запасов, организация необходимых перевозок, головоломные проблемы с платежами. В общем, море скучных, неотложных, постоянно повторяющихся мелких забот. Надо было вновь и вновь пересчитывать и пополнять запасы — мушкетные фитили, широко применявшиеся при строительстве мостов веревки, ядра и порох (селитра для него поступала из Люксембурга), а равно и необходимую для всего этого тару (скажем, бочки для перевозки свинца). Как разрешить все эти проблемы без помощи извне? Например, потребности в веревках не могли удовлетворить малочисленные местные канатчики; напротив, с сапогами острых трудностей не возникало. Для производства стали в Меце в 1706 году соорудили доменную печь и кузницу — все бы хорошо, да только от кузнечного молота было так много грохота, что жители Меца стали громко протестовать; тем самым возник вопрос о переносе кузницы в другое место [180].

В одном отношении мецские интенданты не знали забот: в их распоряжении было достаточно лошадей, которые во множестве использовались в войсках, как под седлом, так и в упряжке; из всех провинций королевства Лотарингия и Эльзас имели наилучшие условия для коневодства. Если требовалось для армии, лошадей из Меца отправляли, бывало, даже в Италию. Оставалась лишь одна проблема, но важная — обеспечить их кормом; гарнизонных лошадей надо было кормить на месте, а части, находившиеся в походе, и того хуже — снабжать фуражом на расстоянии. 18 мая 1702 года мецский интендант писал: «Я со всею поспешностью займусь под рукой [то есть с соблюдением максимальной секретности] сбором запасов овса, дабы скупить его как можно больше и по наиболее выгодной цене» [181]. Он лишь спрашивает: следует ли отправлять обозы на Маас — то есть для королевской армии,

действовавшей во Фландрии, или же на Мозель — то есть для армии, воевавшей в Германии? Гарнизонной кавалерии требовалось также огромное количество овса, и для лошадей заранее готовили «фуражные квартиры», подобно тому как для личного состава в известное время года выделялись «зимние квартиры».

С провиантом для людей возникали, конечно, еще более сложные проблемы, хотя солдатский рацион легче сократить, чем лошадиный. Трудности были со всем. Мясо, за неимением местных поставок, приходилось везти из Франш-Конте, Лотарингии, Швейцарии [182]. Заготовки зерна шли сами собой лишь в урожайные годы — например, в 1699-м [183],— но в здешних краях, как и всюду (даже и в плодородной долине Мааса), урожайные годы случались редко. В 1698 году был неурожай, и уже начиная с осени хлеб стал труднодоступен. Мецские купцы-евреи, объединившись под руководством Серфа Леви и Абрахама Шауба [184], закупили во Франкфурте 17 000 мешков пшеницы и предложили эту партию интенданту Меца Тюрго (деду великого Тюрго). В контракте цена пшеницы вместе с доставкой в Мец устанавливалась в 22 ливра за мешок, то есть общая сумма сделки составляла 374 тысячи ливров. Интендант был в сомнении: можно ли, ввиду срочной нужды, подписать такой контракт собственной властью, не дожидаясь указаний из Версаля? В конечном счете он решился это сделать и 9 октября 1698 года [185] просил генерального контролера «объяснить Его Величеству неотложные причины, каковые заставили меня действовать столь дерзко, стремясь не ставить под угрозу пропитание его народа и воинских частей». Принимая во внимание сотни примеров прирожденной осторожности интендантов, вечно старавшихся снять с себя ответственность, можно по справедливости оценить как смелость Тюрго, так и степень нужды, в которой оказался в тот момент его «департамент». Конечно, в Меце, как и всюду, имелись хлебные монополисты, но, пользуясь мощной поддержкой властей (чаще всего они сами были королевскими агентами), они наносили ущерб не столько этим властям, сколько потребителям [186].

Для такой хозяйственной системы, конечно, постоянно требовались мощные средства сообщения — суда, плававшие по Мозелю или же по Маасу (из Вуа, Коммерси или Вердена). На Маасе судоходство было более оживленным, чем на Мозеле, однако здесь работало слишком много мельниц; при проходе судов мимо них груз подмачивался, так что мука, изготовлявшаяся в Намюре [187] или Льеже из доставленной таким образом пшеницы, получалась некачественной [188]. Основной же грузооборот приходился не на суда, а на двухосные лотарингские подводы,

отправлявшиеся из Вердена или из окрестностей Меца, где их сотнями реквизировали в деревнях. В июле 1675 года на 1 500 подводах из окрестностей Меца было перевезено в Саверн 750 сетье пшеницы. Спустя двадцать лет шампанскую пшеницу пришлось возить из Вердена в Мец на 800 подводах [189]. На следующий год 1 500 подвод направились в Саверн каждая с грузом 12 мешков овса [190]. Снабжение крепости Бонн, одно время занятой французами, осуществлялось с помощью 70 судов, каждое из которых обходилось в 500 ливров за один рейс из Меца в Бонн и обратно; отплыв из Меца 6 января 1702 года, они 11-го числа доставили боннскому гарнизону порох, свинец, инструменты, 4 000 мешков для земли, формы для отливки пуль к мушкетам «французского калибра». Второй караван спустя несколько дней пришвартовался в Мертене, близ Трира, «где с него предстоит сделать перегрузку на 350 подвод» [191].

И все это, конечно, стоило денег, больших денег. Золото и серебро возили целыми подводами — в счет «чрезвычайных военных расходов» (или же доходов). Причем на каждую такую подводу, упомянутую в доступных нам документах («40 мешков по 1 000 ливров в каждом новыми монетами в экю и пол-экю, 1 мешок с 1 000 ливров перечеканенными монетами в 4 су, 8 мешков по 500 ливров в каждом перечеканенными монетами в 4 су») [192] приходилось десять — двадцать таких, о которых мы не знаем. Мецский монетный двор, который с 1663 года выпускал уже не монеты городского чекана, а только денежные знаки французского королевства, выбрасывал на рынок большое количество мелочи, предназначенной для расчетов с солдатами. Поэтому на страсбургский и мецский монетные дворы непрерывно поставляли в качестве сырья испанские серебряные монеты. Эта эмиссия предпринималась с тем, чтобы воспрепятствовать постоянному наплыву мелких иностранных денег, особенно шиллингов и полушиллингов из Голландии и Испанской Фландрии. Поскольку плохие деньги вытесняют хорошие, то в силу проницаемости пограничной полосы вместо этих шиллингов из королевства утекали золотые монеты, вывозившиеся в Германию или Соединенные Провинции. Вот почему в 1706 году Сен-Контесту было предложено отчеканить в Меце пятьдесят миллионов шиллингов [193]. Разумеется, наряду с этими деньгами в обращении находилась также и масса бумажных купюр-«ассигнаций», которыми государство расплачивалось с поставщиками и кредиторами, а те уже сами должны были обращать их в полноценные деньги — задача зачастую не из легких... Военные расходы — это настоящая прорва, которую никогда не заполнишь до края.

Во всех этих неотложных заботах ценнейшие услуги оказывала интенданту еврейская община Меца, владевшая в 1712 году 800 домами [194] и насчитывавшая в 1697 году от четырех до пяти тысяч человек [195]. За немногим исключением она состояла из рассудительных и искусных в своем деле людей, приносивших несравненную пользу при закупках зерна и скота, при авансовых платежах, при сборе информации. Самые высокопоставленные из них добились в Меце такого успеха, что напоминали Hofjuden * при дворах германских князей [196]. Помимо прочего они добивались выдачи им паспортов для поездок в Париж, а еще лучше в Версаль,— в чем им обыкновенно отказывали; целью их было обзавестись корреспондентами в этих городах, чтобы выписывать на них платежные поручения и получать кредиты, а также и проникнуть в окружение генерального контролера королевства. Их сила заключалась в связях: выписанные ими векселя принимали и в Лионе, и в Амстердаме, и во Франкфурте... Вместе с тем городские власти были обеспокоены ростом их численности: некоторые монастыри жаловались на то, что со всех сторон окружены еврейскими домами [197]. А раз так,— говорится в ходатайстве, адресованном в январе 1702 года интенданту Сен-Контесту,— то не уместно ли будет принять меры на сей счет, «запретив впредь новым евреям селиться в черте здешнего департамента»? [198] «Не думаю,— отвечал интендант,— чтобы в настоящее время было приемлемо кого-либо из них изгонять... Это лишь разорило бы здешний край, где денег и без того очень мало. Но я полагал бы разумною мерой препятствовать впредь поселению новых, ибо их и так уже живет здесь слишком много» [199].

А что же война? Как мы уже предупреждали, войны здесь не было; здесь был *тыл*. Лишь иногда случались рейды имперских гусар, которые жгли дома, грабили и убивали крестьян в деревнях «епископского» края. Время от времени и в городе играли тревогу, проводили военные операции и маневры по всем правилам науки. И все время нужно было быть начеку — могло случиться все что угодно. Например, маршал де Креки поспешно отступил в Трир; занятый французами город был осажден неприятелем, но тут 11 августа 1675 года в гарнизоне случилась измена, и Трир сдался немецко-лотарингским войскам. Через пять дней, 16 августа, в Мец уже явились самые проворные из беглецов: «В город ежечасно приходили солдаты в одной рубашке — их ограбили крестья-

* Придворные жиды *(нем.)*.

не, пока они скрывались по лесам» [200]. Столь же жалкий вид имела и основная масса солдат, отступившая к Мецу уже после формальной капитуляции. Одержав победу, немцы и лотарингцы не стали соблюдать условий сдачи, согласно которым кавалерия и пехота могли беспрепятственно покинуть крепость пешком и без оружия. «Не считаясь с тем, здешний герцог [то есть герцог Лотарингский] велел дочиста обобрать при выходе из города всех, как солдат, так и офицеров, вследствие чего сюда они явились в понедельник 9-го числа названного месяца [сентября] в самом плачевном состоянии — большинство в одной рубашке, босиком и с непокрытой головой, у иных же и вовсе нагота была ничем не прикрыта, кроме обвязанной вокруг тела соломы или мешковины да старого тряпья, а кое-кто поверх рубашки обвязался сеном, дабы предохраниться от холода и дождя. По прибытии сюда их разместили в конюшнях, построенных ранее вдоль крепостных стен и в иных местах, и там устроили для них стоянку... [201] Поскольку условия капитуляции Трира нарушены были со стороны неприятеля, а тем самым и трирский гарнизон освободился от выполнения оных, то, вместо того чтобы отправиться в Витри [202], он остался здесь, и в Меце были заказаны для него мундиры, сапоги и башмаки, дабы люди могли снова встать в строй».

На этой комической ноте данный эпизод не завершился. 18 сентября, уже должным образом обмундированные, трирские беглецы были выстроены для смотра. Но ведь среди них находились и предатели, впустившие в Трир врага. «Выведя из строя сорок кавалеристов и драгун... их заставили метнуть жребий, и те пятеро, что, на беду свою, вытянули черный билет, были тут же повешены и удавлены» [203].

В то время такая жестокая, на наш нынешний взгляд, процедура воспринималась, к сожалению, как нечто обыденное, и особенно в Меце. Действительно, городу принадлежала печальная привилегия принимать в своих тюрьмах осужденных скорым военным судом — тех, что не были казнены на месте. «Городская королевская тюрьма,— сообщалось в записке могильщиков из предместья Сент-Круа,— постоянно забита дезертирами, галерниками и прочим военным людом, будучи главным местом сбора, куда приводят арестантов из Эльзаса, с Рейна, из крепостей на Самбре, Маасе и Мозеле» [204]. Могильщики жаловались, что не получают платы за погребение этих бедолаг, «большею частью умерших от заразных болезней» в своей ужасной тюрьме. В этой тюрьме стоял такой холод, что узники отмораживали себе ноги, а воду долгое время можно было добывать лишь из неудобного колодца — до тех пор, пока в 1691 году не оборудовали «фонтан» [205]. Однажды, в марте 1695

года, вдруг запылал сарай, полный соломы,— то ли случайно, то ли из-за чьей-то мести [206]. Узники этой тюрьмы имели все шансы отправиться из нее на королевские галеры. Так, 2 февраля 1691 года [207] на галерную каторгу повели «цепь» из шестидесяти осужденных, по большей части молодых, крепко сложенных и, как сказано в документе, «крупной стати»; все или почти все они были приговорены к пожизненным галерам за дезертирство. Происходили они из всех частей Франции. Список открывали пять заключенных с отрубленными ушами, с изуродованным носом, да еще вдобавок и «меченные знаком лилии»...

Насколько печальна участь Меца? Безусловно, Мец жил далеко не нормальной жизнью и страдал от своего изнурительного воинского ремесла; солдаты были для него незваными и обременительными гостями, за которыми нужен глаз да глаз; близость границы грозила опасностью и налагала ответственность. Далее, расходы города регулярно превышали его доходы (теоретически — 100 000 ливров) [208]; отсюда хронические долги. Впрочем, какой же город во Франции не имел в то время долгов? К тому же за счет этих расходов жило и трудилось множество народу — даже если брать только тех, что строили и охраняли укрепления, поддерживали безопасность и порядок в городе.

С другой стороны, крупные денежные суммы, расходовавшиеся на месте королевской администрацией, были манной небесной для купцов, ремесленников, предпринимателей и ростовщиков. В городе процветали все ремесленные корпорации — имелось, например, много мясников, да и сапожники не могли пожаловаться на недостаток работы. В Мецe было восемь книжных лавок — кое-кто считал, что этого мало [209], но так, конечно, не считала корпорация местных книгопродавцев, а также и власти, опасавшиеся расширения подобной торговли: ведь это грозило и ростом продажи запрещенных книг, тем более что «в Мецe... приграничном городе, населенном людьми, многие из которых принадлежали к R. P. R. [210], торговать и злоупотреблять такими книгами легче, нежели в любом ином». Несомненным признаком оживленной торговли может служить деятельность в Мецe восьми королевских нотариусов и тридцати восьми нотариусов местных, так называемых «аманов» [211]. Своим немалым богатством город привлекал к себе большое количество иммигрантов из Швейцарии [212]. Да, в Мецe можно было жить, и даже жить неплохо.

Город имел также и свои привилегии; в частности, в нем были должности для значительного числа высокопоставленных королевских

чиновников, не считая основанного в 1632 году городского парламента. Буржуа и судейские получали доходы прежде всего от своих пригородных виноградников — неудивительно, ведь рынок Меца был открыт только для вина, произведенного непосредственно у городских ворот, и на него пытались даже не допускать продукцию некоторых близлежащих деревень [213]. У города имелись на то веские основания: «Территория, окружающая город Мец, представляет собой холмистую местность с песчаною почвой, засаженную одним лишь виноградом и непригодную для выращивания чего-либо иного. Единственное достояние большинства жителей составляют фермы с виноградниками. Самые богатые горожане, приобретающие государственные должности,— это те, кто имеет более всего таких участков... Вино, производимое в здешних местах, не самого отличного качества. Его хвалят только те, кто сам же его и вырабатывает. У него слабый вкус и окраска, оно чуть терпкое и обладает особенным местным привкусом, а оттого не годится для вывоза за пределы края». Тем более имелось причин воспротивиться требованиям синдика бургундских штатов, который возмущался тем, что вино из его провинции не допускают на городской рынок в Мече. В самом деле, ведь даже самое заурядное бургундское вино настолько выше по качеству, что это означало бы разорение для всех мецских виноградарей. И почему, собственно, Мец не вправе закрыть свой рынок для чужих вин, как это делают Бордо, Бон, Макон, Витри-ле-Франсуа, Сен-Дизье? [214] Да и потом, у пехотинцев и кавалеристов был не больно-то тонкий вкус. Надо думать, именно благодаря им в окрестностях Меца и в Лотарингии получила мощное развитие также и перегонка вин и виноградных отжимков на спирт [215]. Разве можно представить себе крепость в конце правления Людовика XIV без спиртного?

Как и положено, в Меце были и бедняки: простой народ в нем, как и всюду, впадал в нищету, стоило только случиться недороду и подняться цене на хлеб. В 1699 году в городе насчитывалось «4 225 бедняков, в числе коих много стыдливых бедняков» [216], скрывающих свою бедность. Но в каком же французском городе при Людовике XIV не было своих стыдливых бедняков и нищих, не говоря уже о штурмующих его ворота пришлых бродягах? С 1676 года город стал принимать специальные меры на сей счет, постановив, чтобы «указанным беднякам» впредь «не дозволялось просить милостыню». Тех, что являлись «уроженцами города и здешнего края», надлежало помещать в приют святого Николая, где они будут «иметь общий стол» [217]. Что же касается «чужих бедняков», то их следовало, оделив милостыней, «отправлять прочь из города, запретив возвращаться в него и нищенствовать под страхом

наказания кнутом, а также штрафа в пятьсот ливров, каковой наложен будет на всякого буржуа, кто даст им поддержку или кров». Подобные меры были распространены повсеместно; в действенности же их позволительно сомневаться. В XVII веке нищенство было подобно наводнению, от которого не могла оградить даже самая предусмотрительная и суровая политика города.

Война составляла для Меца повседневный способ существования и влекла за собой как неизбежные неудобства, так и выгоды — тем более что настоящая война, как правило, не доходила до его ворот и грозила больше сельским окрестностям, чем самому городу. К тому же в дореволюционной Европе во время войны не прерывалась торговля, даже торговля с неприятелем. Таким образом, для Меца было все равно — что мир, что война; это положение не изменилось и при Людовике XV, когда город процветал и преображался под «просвещенным» управлением маршала де Бель-Иля: он перестраивался на современный лад, в нем разбивались просторные площади, во множестве возводились новые здания. Город стал краше — его содержание стало обходиться еще дороже. Впрочем, оно обходилось весьма недешево уже и в конце правления Людовика XIV!

Второе путешествие — в Тулон. Что касается морских границ, то здесь перед нами три города на выбор: во-первых, это Брест, опорный пункт Франции в Бретани и на Атлантическом океане; во-вторых, Дюнкерк, «построенный из чего придется» Вобаном,— окошко, хитроумно распахнутое в Северное море [218]; в-третьих, Тулон, единственная база французского флота на Средиземном море. Наш выбор остановился на Тулоне в особенный, исключительный момент его истории — а именно в течение лета 1707 года [219], когда город был блокирован англо-голландской эскадрой, базировавшейся на Йерских островах, а одновременно на плохо защищенную крепость стремительно наступала армия «господина Савойского», который не сомневался, что возьмет Тулон без боя. Угроза, таким образом, была с двух сторон — с суши и с моря. На сей раз в нашем изложении не обойдется без драматического элемента, и будет даже наличествовать, как в классической пьесе, единство места (осажденная Тулонская крепость) и почти полное единство времени (всего несколько недель лета 1707 года — с 26 июля по 24 августа). На самом деле все, конечно, было сложнее: Тулон оказался в центре широкого наступления, спланированного в Лондоне, Гааге, Вене и Турине и угрожавшего не только Провансу, но и всей Франции.

Природное положение Тулона великолепно. Город располагает двойным рейдом для приема кораблей — большой рейд, простирающийся между мысами Сепе и Брюн, открывается непосредственно в море, и его огромная поверхность служит как бы преддверием города, его авансценой; малый же рейд подступает к самым стенам города и арсенала, здесь имеются две гавани — два бассейна, огороженных молом, и сверх того еще дополнительная гавань к востоку от города, у Мурийонской впадины, обыкновенно использовавшаяся для ремонта подводной части кораблей.

Разросшись благодаря постоянному базированию в нем королевского морского флота, город тем не менее не претерпел больших перемен; его по-прежнему плотно, до удушья стягивало, не давая простора для развития, кольцо крепостных стен. В 1543 году, когда Франциск I впустил в этот город, предварительно очистив его от жителей, мусульманский флот и солдат Барберусса (всего более ста галер, бесчисленное множество вспомогательных судов и несколько тысяч человек, нуждавшихся в пропитании: они занимали город с 29 сентября 1543 года по конец марта 1544-го) [220], в нем насчитывалось всего несколько сот домов и максимум пять тысяч человек населения [221], но старинные стены уже тогда не столько защищали, сколько душили его.

В 1589 году эти оковы были сброшены — и что же, город вздохнул свободно? Да, но ненадолго. Несколько лет вдоль новых стен еще сохранялись деревья и пустыри, но затем все свободное пространство было застроено, и город вырвался наружу из кольца стен, образовав пять или шесть предместий — «бо́рков», где дома так же плотно теснились друг к другу. Это изначальное неудобство в планировании города не было устранено и в ходе позднейшей реконструкции крепостных стен по указаниям Вобана. В начале XVIII века город по-прежнему являл собой цепь несообразно узких, извилистых улочек, которые зачастую так никуда и не выводили, заканчиваясь тупиками или сомнительными притонами; всюду были сточные канавы, распространявшие зловоние... Дома, вплотную прижатые друг к другу и необыкновенно узкие (всего по одной комнате на этаж), свечками тянулись вверх, поддерживаемые внешними опорами, которые соединялись между собой балками, перекинутыми через улицу прямо над головой у прохожих. Не было ни одной площади для построения войск, за исключением так называемого Бранного поля, на котором как раз 25 июля — в день, когда к городу подступил неприятель,— «дрались [на дуэли] капитан береговой стражи г. маркиз де Восс с лейтенантом галер шевалье де Гримальди, и были оба убиты, получив по удару шпагой — один

в сердце, а другой насквозь туловища. Они приходились друг другу двоюродными братьями» [222]. В каком-либо другом месте города им просто негде было бы скрестить шпаги.

Впору диву даваться, что в 1589 году город насчитывал 10 000, в 1668-м — 20 000, а накануне Революции — 30 000 жителей. Летом 1707 года, считая три полка постоянного гарнизона, расселенного за неимением казарм по частным домам, в Тулоне находилось 60 000 человек — судя по данным одного письма, которое, правда, не во всем вызывает доверие [223]. В это число входило множество крикливых, склонных к панике женщин, большое количество детей, солдат, девок, толпы нищих, которых тщетно пытались выдворить вон официально состоявшие на городской службе «прогоняльщики бедных». Сюда же входили и уволенные на берег матросы — люди скорые на расправу, чуть что начинавшие махать абордажными тесаками, которые они всегда носили на боку, отчаянные драчуны и рисковые игроки, люди непокорного «вольного нрава» и — при нужде — великой храбрости.

Вокруг города раскинулась чудесная местность, которая приводит в восторг всех приезжих: повсюду сады, цветы, оливы, апельсиновые деревья, пальмы, виноград, деревни, нивы... Одним словом, «рай земной». Но здесь же и множество гор — опаленных солнцем, безлесых, «лысых», как писал Вобан, «плотно сдавливавших собой крепость» [224]. В знойные дни июля и августа 1707 года люди и лошади в городе испытывали страшный недостаток питьевой воды, поступавшей из Рагасского источника. «Я предполагал,— пишет один из защитников Тулона,— что врагами моими будут только неприятель да [его] провиант» [225]; сражаться, однако, пришлось и с «еще одним противником, которого мы не предвидели,— с нехваткой воды». Внутри городских стен имелись, конечно, колодцы, но в них просачивалась соленая морская вода, вызывавшая понос. Приходилось «все время ставить рядом с ними часовых, чтоб из них никто не пил и не поил лошадей» [226]. Таким образом, места были хоть и красивые, но, в сущности, бедные, неспособные прокормить много ратных людей, да и заселявшие их крестьяне были себе на уме и в глубине души не питали никаких теплых чувств к королю Франции. Недаром, приведенные работать на городских укреплениях, они «уже через два дня дезертировали, и так же поступают все те, кого набирают в ополчение и кто прибывает без оружия» [227].

Надо признать, что и тулонские военачальники, в большинстве своем присланные с севера, не всегда умели заставить себя слушаться. Тут требовалось особое искусство, и им, очевидно, не владел тот, кто

писал 20 июля: «Никогда не встречал я столь непокорного народа, как здешние жители. Сколько им ни приказывай, они не делают и четвертой части того, что требуется» [228]. Напротив, у старого графа де Гриньяна, вице-губернатора Прованса и местного уроженца, не возникало никаких проблем с тулонским населением.

Дело в том, что Прованс, как и все окраинные провинции Франции, жил по своим собственным обычаям. Его еще только предстояло сделать действительно французским. Получив его по наследству еще в 1481—1483 годах, король даже и спустя два столетия не был в нем полновластным хозяином. Провансальские города имели свои привилегии и держались отчужденно — особенно Марсель, но также и Арль, Экс. Конечно, в июле 1707 года никто здесь не принял сторону герцога Савойского, хотя тот, вторгаясь в Прованс, рассчитывал чуть ли не поднять восстание среди местных протестантов. Провинция оставалась нейтральной, в роли стороннего наблюдателя; дворянство ничего не предпринимало, духовенство тоже, крестьяне выжидали... Впрочем, не случайно ведь командующий французской армией маршал де Тессе, еще находясь в Дофинэ до начала кампании, предупреждал короля, что на провансальцев «рассчитывать не приходится», ибо, будь они даже верны короне, у них нет ни пороха, ни ружей [229].

Кроме того, в 1706 году, за год до нападения на Тулон, Прованс, как видно, попал в тяжелое положение. Так, Марсель спешил пожаловаться на то, что «пиастры», необходимые ему для торговли с Левантом, не поступают непосредственно «по морю, все их мы получаем из Лиона, куда их присылают из Байонны и с острова Олерон через Бордо и Тулузу» [230]. Быть может, имелось в виду, что средиземноморские пути стали опасными из-за морской войны у берегов Испании? Но главным бедствием для Прованса оказалась тяжелая зима с проливными дождями и наводнениями. Вышла из берегов Рона, затопив Тараскон и Арль и причинив огромный ущерб. Арль настойчиво просил о помощи, но помощь требовалась не только ему, тем более что этот город находился в привилегированном положении, «будучи освобожден от податей, от воинского постоя и от соляного налога» [231]. Действительно, от стихийного бедствия пострадали все: «В провинции не осталось ни одного церковного прихода, который не понес бы урона». Водой смыло «посевы, а местами и землю» (то есть плодородную почву с полей), «там же, где ее не унесло, то засыпало камнями или песком» [232].

1706 год оказался бедственным также и для войск Людовика XIV. В ходе войны за испанское наследство французские армии рассыпались по всей Европе, но вследствие ряда поражений были вынуждены от-

ступать обратно к своим границам. Еще в 1704 году после поражения при Хёхштедте французская армия потеряла Баварию и отошла на левый берег Рейна; в 1705 году в Барселоне с помощью англичан высадился соперник Филиппа V эрцгерцог Карл, после чего вся Каталония восстала; армия Мальборо, одержав победу при Рамийи (23 мая 1706 года), овладела Бельгией — Испанскими Нидерландами — и вышла на «железную границу» Франции, к Лиллю и Дюнкерку; немногим позже, 7 сентября, маршал де ла Фейяд был разбит у стен Турина — в результате оказались сочтены дни французских гарнизонов в герцогстве Миланском, а Пьемонт пришлось очистить незамедлительно. В Испании, правда, удалось вновь взять Мадрид (3 августа 1706 года), и маршал де Бервик одержал там ряд побед, поправив безнадежное положение французов, но оно все равно оставалось тяжелым.

Итак, состарившийся король более не был непобедим, и его войска «начали привыкать к поражениям и паническим отступлениям». В начале 1707 года, незадолго до наступления весны, генеральный контролер финансов (с 1699 года) и статс-секретарь по военным делам (с 1701 года) Мишель де Шамильяр «признавался, что не в состоянии должным образом обеспечить открывающуюся военную кампанию» [233].

Между тем войска, эвакуированные из Италии, заняли оборону в Альпах, от все еще занятой ими Савойи до захваченных французами в апреле 1703 года Ниццы (ее цитадель была взята в январе 1704-го), Вильфранша и Антиба; таким образом, они удерживали все графство Ниццское к западу от Тандского перевала.

31 января 1707 года [234] король назначил командующим этой, можно сказать, Альпийской армией маршала де Тессе, несмотря на то что тот пользовался дурной репутацией из-за двух недавних неудач — снятия осады Гибралтара (1705) и снятия осады Барселоны (1706). 28 февраля маршал прибыл из Гренобля в Брианson, где и разместил свою ставку.

Трудно сказать, был ли этот человек, которому предстояло сыграть одну из главных ролей в излагаемых ниже событиях, действительно таким, каким его описывает Сен-Симон,— чудаковатым фанфароном и одновременно донкихотом, вызывавшим улыбку у короля своими посланиями. Как знать? Ведь Сен-Симон безжалостен ко всем без исключения. Пьер Дюбуа, тщательно изучивший переписку маршала, рисует его совсем иным — безусловно, невеликим воином, зато тонким дипломатом, добродушным и не лишенным юмора, сумевшим по своем приезде в Тулон загасить там конфликты, которые были порождены резким нравом и необдуманными распоряжениями коменданта города Сен-Патера.

В оправдание маршала де Тессе следует признать тот факт, что к моменту его прибытия в Бриансон отсутствовал какой-либо четкий и связный план обороны в Альпах: действия армии сводились к переброске пехотных батальонов или кавалерии для отражения угроз противника. Противник перемещался — перемещались и они; с обеих сторон шла игра ложных маневров.

Маршала извиняло также и то, что в армии, которой он располагал, даже вместе с солдатами, вернувшимися из герцогства Миланского (они были эвакуированы с разрешения противника по Туринскому соглашению, заключенному с императором 23 марта 1707 года), насчитывалось не более 30—40 тысяч человек. Более того, она еще и страдала от постоянного дезертирства, из-за которого иные полки недосчитывались половины личного состава. Один из заместителей командующего, де Бройль, писал 2 июля 1707 года, что пришлось прибегнуть к примерному наказанию: «Трем десяткам солдат-дезертиров [235] раскроили череп. Сие примерное наказание, устроенное своевременно и безжалостно, было вполне успешным: вот уже две недели, как мне не сообщали более ни об одном случае дезертирства». Допустим, ну а дальше? Дезертирство было «профессиональной болезнью» всех армий; для него даже имелись отлаженные каналы — беглые солдаты через швейцарские кантоны возвращались к себе домой, затем, в случае набора добровольцев с выплатой премии, записывались в местное ополчение, после чего начинали по новому кругу. Вообще армия дурно оплачивалась, дурно питалась, не имела ни амуниции, ни сапог.

Против нее стояла армия герцога Савойского Виктора-Амедея II, усиленная имперскими войсками принца Евгения; в этом многочисленном воинстве служили, между прочим, и 4000 французов, более или менее насильственно загнанные в него после разгрома под Турином. Герцог создал три «лагеря» — один в Ивреа, на дороге в Аостскую долину, к Малому Сен-Бернару и в область Верхний Тарантез; второй — напротив двух небольших крепостей, которые удерживались французами у подножия пьемонтских Альп,— Пинероло и Сузы; третий — близ Кунео, с задачей держать под контролем дорогу на Барселоннет и Тандский перевал, за которым открывается Ницца и далее — Прованс.

Таким образом, маршал де Тессе был вынужден держать оборону сразу по трем направлениям — в Савойе, Дофинэ и Провансе. Он знал — об этом говорили все приготовления противника,— что подвергнется атаке. Но где? В Провансе — писали ему в конце апреля осведомители из Италии. Сам не веря в это, он все же известил королевский

двор. «Глупости,— отвечали ему,— будьте бдительнее в Савойе!» Даже после того как на юге уже начались боевые действия и защитники Тулона стали просить об отправке им на помощь всей Альпийской армии, Тессе ворчливо отвечал: «Выходит, во всем Провансе, Лангедоке, Дофинэ и Савойе кроме Тулона и оборонять нечего?» И прибавил: «Уверяю вас, что король думает совсем иначе» [236]. Возможно, это и было правдой. Возможно, в Версале все еще опасались удара в Савойе.

В то лето 1707 года во Франции вообще было неспокойно. Неприятель полагал, что сопротивление французов иссякает, да и тайные переговоры, которые настойчиво и безрезультатно вел Людовик XIV, лишь укрепляли в этом мнении. В действительности же Франция держалась стойко. Так, в Северном море и Ла-Манше, где действовали ее главные противники, англо-голландскому флоту наносили тяжелые потери дюнкеркские корсары, между тем как Мальборо колебался, не решаясь наступать ни на Лилль, ни на Дюнкерк. Тут-то и возник план быстрого, относительно легкого отвлекающего удара в далеком Провансе — этом мягком подбрюшье французской обороны; по своей организации последняя явно не способна была прикрыть Тулон, Марсель, Экс и, далее, Лангедок,— а там, в Севеннах, неприятель рассчитывал вновь разжечь восстание протестантов-«камизаров», не без труда подавленное в 1704 году Вилларом, а затем в 1705-м Бервиком. В Бокере было перехвачено направляющееся повстанцам оружие, а вождь крестьян-«камизаров» Кавалье находился в савойской армии и обедал за столом самого герцога.

Имелся, таким образом, детальный план, разработанный в ходе длительных переговоров, документальные следы которых можно обнаружить в Лондоне, Гааге, Вене и Турине [237]. Сухопутную часть операции взял на себя герцог Савойский, получивший подкрепление в виде войск принца Евгения. Честолюбивый Виктор-Амедей готовился к походу со всей тщательностью и в строжайшем секрете. Тем не менее ни принц, ни герцог не могли скрыть передвижения своих войск, и даже если эти передвижения не всегда были ясно видны маршалу де Тессе с его альпийских высот, то сведения о них все равно просачивались во Францию через Сан-Ремо [238] и Геную. Вскоре распространился слух о неотвратимой угрозе, нависшей над Провансом и Тулоном, а поскольку вести из Тулона или Марселя быстро — за восемь, а то и четыре дня — достигали Версаля, то 15 июня двор наконец убедился, что вторжение готовится именно в Прованс [239]. Оба командующих тулонскими военно-морскими силами, де Вовре и маркиз

де Ланжерон, находившиеся в тот момент в Версале, были спешно направлены к месту службы; в Прованс они прибыли лишь 23 июня.

Наконец, в начале июля передовые части савойской армии — несколько крупных отрядов по 4000 человек, а следом за ними огромные обозы по 5000 мулов в каждом,— один за другим перешли через Тандский перевал, и во всем Провансе была объявлена тревога. Одновременно, 2 июля, комендант Ниццы маркиз де Сальи оставил город — быть может, по решению Тессе, но вряд ли,— и с пятью батальонами пехоты (около 2000 человек), а также ополченцами занял позиции за рекой Вар, которая как раз вышла из берегов. Однако ему не удалось воспрепятствовать противнику 11 июля форсировать эту небольшую реку (правда, с потерей многих солдат, которые утонули в ее вздувшихся от дождей водах), а 12-го — соорудить через нее мост для артиллерии.

Между тем, заняв Ниццу, Виктор-Амедей задержался там до 13-го числа. Отчего такая потеря времени? Оттого, что в гавань Ниццы вошел англо-голландский флот. «Господин Савойский,— рассказывает в своих «Мемуарах» Сен-Симон [240],— посетил эскадру и потребовал обещанных ему денег. Англичане, опасаясь, что денег не хватит, препирались с ним целый день, пока не миновал час, назначенный для отплытия [флота]. В конце концов, видя, что герцог упрям и не двинется с места, пока не получит плату, они отсчитали ему миллион [241], который он собственноручно и получил. Эта задержка на один день спасла Тулон, да, можно сказать, и всю Францию: благодаря ей двадцать один батальон пехоты успел вовремя дойти до Тулона».

Объяснение это правдоподобно, но все же не вполне точно. Начиная с 11 июля армия вторжения продолжала наступать, независимо от того, находился ли при ней сам командующий. Противостояли ей лишь редкие части пограничной завесы. Тем не менее продвигалась она с трудом — из-за летнего зноя, нехватки воды, трудностей с добычей провианта,— и, сверх того, вела себя сугубо сдержанно, так как герцог старался не обижать провансальцев. Ему хотелось предстать перед ними в образе избавителя, готового освободить их от французского ига. С городскими властями Канна, Сен-Тропеза, Фрежюса и Грасса он заключал полюбовные соглашения, требуя с них в качестве контрибуции лишь провизию и фураж, в которых ему никто не отказывал. Забавная история вышла во Фрежюсе. Местный епископ выказал рвение сверх всякой меры: приняв герцога в своей церковной резиденции, он «облачился в праздничные ризы, выставил у соборных врат сосуды со святою водой и ладаном и принялся петь «Тебя, Господи, хвалим»

в честь взятия» города. Что же здесь забавного — спросите вы? Да просто этот самый епископ Фрежюсский впоследствии сделался кардиналом де Флери, наставником Людовика XV, и по милости своего августейшего воспитанника правил всей Францией в 1726—1740 годах. Каким же образом «этому ничтожеству, в равной мере созданному для того, чтобы обманывать и самому быть обманутым [242] (так характеризует его Сен-Симон), удалось потом загладить свой неуместный «коллаборационизм»? Судя по всему, без особого труда...

Все это отнимало время у наступавших. «Господин Савойский,— сообщал Тессе,— раздает приказы, принимает присяги на верность, добывает провиант и наводит в занятой им части Прованса такой порядок, какого не мог бы навести и королевский интендант... У народа здесь нет ни ружей, ни пороха, ни сил; в глубине души эти люди верны королю, однако же покоряются господину Савойскому и дают ему хлеб, чтобы не давать денег, каковых он до сих пор старается с них и не требовать» [243]. В результате савойские отряды, тянувшиеся гуськом друг за другом, лишь 21 июля дошли до Кюэра — последней почтовой станции в трех лье от Тулона; да и то это был всего лишь авангард. Небольшой отряд морской пехоты даже сумел внезапным ударом захватить кое-кого из савойских солдат, пока они спали в домах местных жителей [244]. А у стен Тулона савойские войска появились только 24-го. Они покрыли 150 километров за четырнадцать дней — скорость далеко не рекордная! [245]

Тем временем в Тулон отряд за отрядом прибывали солдаты армии Тессе: 21-го — 11 батальонов, то есть 4000 человек; 22-го — 8, 23-го — 9, 25-го — то ли 13, то ли 14 [246]. 22 июля подошли также и части маркиза де Сальи, отступавшие с берегов Вара; они встали лагерем за городской стеной, среди оливковых садов. Наконец, 7 августа из Савойи пришли шесть батальонов пехоты и сорок два эскадрона кавалерии и драгун под командованием графа де Медави [247]; их разместили в Сен-Максимене, откуда им было удобно наносить беспокоящие удары по савойским частям и коммуникациям. Таким образом, французским войскам удалось опередить противника. Маршал де Тессе, непрерывно разъезжавший верхом («на собственных ягодицах», как он выражался) из Систерона в Тулон и Экс и обратно в Систерон, сумел успешно провести эту гонку, не считаясь с издержками.

Но еще и до прихода подкреплений Тулон, в котором серьезнее, чем в Версале, восприняли слухи о надвигающемся вторжении в Прованс, начал самостоятельно укреплять свою оборону как с суши (да здравствует армия!), так и с моря (да здравствует флот!). Как водится, флот

и армия плохо понимали друг друга, и все же дело у них спорилось. В их распоряжении было три недели отсрочки, в течение которых вся крепость преобразилась в результате лихорадочных работ. Важнейшую роль здесь сыграл граф де Гриньян. Он сумел завоевать сердца жителей Тулона и окрестных деревень, так что все, и ополченцы и волонтеры, упорно трудились, усиливая оборону. Были снесены дома, загромождавшие откос перед крепостной стеной, достроена тянувшаяся вдоль стены крытая галерея, а на самой стене установлены 200 пушек, извлеченных из морского арсенала,— правда, то были железные пушки, которые даже при уменьшенном заряде грозили разорваться (и в самом деле разрывались), нанося оборонявшимся бóльшие потери, чем неприятельские ядра. Главное же, на высотах к северу от города, между крепостной стеной и Фаронской горой, вокруг небольшой часовни святой Анны, был срочно создан укрепленный лагерь, который также обладал мощной артиллерией. Во время осады, оставаясь в руках оборонявшихся, он не давал наступающим подвести к городу свои батареи и боевые порядки.

До проведения всех этих работ «Тулон не стоил ни гроша» [248]. Вернее, вся его оборона была сориентирована исключительно в сторону моря, а с суши город оставался беззащитен или почти беззащитен, что прекрасно знал герцог Савойский. Потому-то его так раздосадовало, а вскоре и обескуражило [249] то, что перед ним оказалась крепость, полная солдат, ощетинившаяся пушками, имевшая в достатке амуниции, ружей, ружейных кремней, штыков и пороха, располагавшая огромными флотскими складами. На этих складах было вдоволь всего: и солонины, и свежего мяса (только для офицеров), и вина. Не хватало разве что башмаков, но ведь жарким провансальским летом можно обойтись и без них! Во всяком случае, защитников крепости хорошо кормили [250], а поскольку вино продавалось по два су за кувшин, то настроение у них было приподнятое; каждый вечер устраивались пляски под звуки флажолета, на котором играл, сменив инструмент, полковой барабанщик [251]. Держалось бодро — по крайней мере приободрилось — и начальство: вскоре после начала боевых действий Тессе уже твердо заявлял, что герцога Савойского прогонят обратно за Вар.

А между тем армия герцога все продолжала подтягиваться к стенам города, и лишь утром 2 августа она овладела высотами у часовни святой Екатерины [252]. Фактически осаждающие развернули свои боевые порядки лишь с востока от города; город не был взят в кольцо, то есть по-настоящему и не осажден.

Быстрее действовал англо-голландский флот, уже к 10 июля заня-

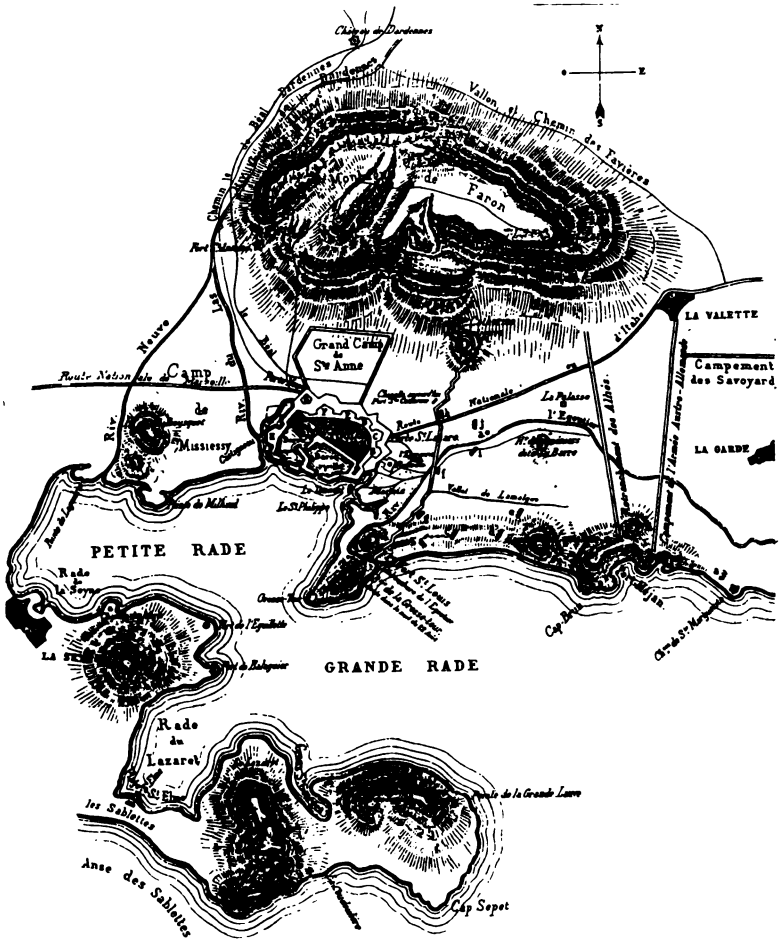
вший позиции на Йерских островах. Он был вынужден дожидаться подхода савойских войск, чтобы выгрузить для них на берег провиант и артиллерию, и все это время страдал от мистраля, который дул так сильно, что не давал войти в тулонские прибрежные воды.

Опасность была грозной, и тулонская эскадра срочно усиливала оборону порта. Более всего приходилось опасаться соединения сухопутных и морских сил противника: как спасти корабли, стоящие на якоре в гавани, если они попадут под огонь *береговой* артиллерии, а неприятельский флот закроет им выход в море? К тому же для такого выхода корабли пришлось бы снаряжать, а это дело долгое и *дорогостоящее*. Далее, как спасти огромные запасы на складах морского арсенала? Командующий эскадрой маркиз де Ланжерон, порой в согласии, а порой и наперекор другим начальникам, решительно раздавал приказы, рыча и бранясь, обвиняя всех подряд и вполне выказывая свой прескверный характер. Поначалу, правда, приехав в Тулон 23 июня, он вообще считал оборону города безнадежной. Поэтому первым делом он постарался по возможности вывезти из Тулона все ценное — чугунные пушки, мортиры, такелаж, паруса, снасти; все это спешно переправлялось в Арль семьюдесятью двумя барками. Часть пушек и корабельных канатов затопили в море, с тем чтобы впоследствии достать их обратно; привели в готовность береговые батареи, оборонявшие рейды; с кораблей сняли мачты и, как только к Тулону подступил неприятель, их затопили, чтобы он не мог сжечь их артиллерийским огнем или, того хуже, захватить. Семь галер, вернувшихся от берегов Италии, были, несмотря на протесты командовавшего ими маркиза де Руа, отосланы в Марсель. Стоя на тулонском рейде, они представляли бы собой слишком удобную мишень, но, с другой стороны, из-за этого решения город лишился огневой мощи их тяжелых кормовых пушек, которые могли бы служить подвижными батареями, а главное, лишился полезной рабочей силы в лице галерных гребцов. Все эти меры были спорными и многими оспаривались. И все же, как мы вскоре увидим, они оказались полезными и разумными, а одна из них — просто гениальной: речь идет об использовании двух кораблей первого ранга [253], «Тоннан» и «Сен-Филипп», имевших на борту 90 пушек каждый. «Тоннан», прикрытый специально затопленными рядом с ним старыми судами, был сам посажен на илистую отмель напротив Мурийона; своим убийственным огнем он должен был отсекать от города осаждающие войска, которые наступали с востока, по Ниццской дороге. Корпус корабля укрепили бревенчатой броней, и он мог, подтягиваясь на шварговых, вращаться вокруг своей оси — давал залп из орудий левого

борта, а затем, пока они перезаряжались, разворачивался батареями правого борта. «Сен-Филипп», оставленный на плаву, стоял западнее, на траверсе Кастиньяка, и при необходимости мог подойти к Мурийону. Этот маневр он и выполнял в ходе боевых действий.

Если отметить на карте передовые укрепления Тулона со стороны моря, у входа на большой рейд (на юге — артиллерийские позиции на мысе Сепе, а на севере — форты Сент-Маргерит и Сен-Луи на мысе Брюн), то можно проследить за ходом первых осторожных операций, предпринятых мощным англо-голландским флотом. Действительно, этот флот довольствовался захватом лишь внешнего обвода обороны. Сначала были взяты батареи на мысе Сепе, но вскоре оставлены, так как воспользоваться ими осаждающие не сумели. Затем удар был перенесен на мыс Брюн. 16 августа эскадра овладела замком Сент-Маргерит, гарнизон которого составляли всего 48 человек; форт Сен-Луи, который защищали около ста солдат, продержался под непрерывной бомбардировкой до 18-го, после чего гарнизон эвакуировался по морю. Таким образом, достижения осаждающих были невелики: так, форт Сент-Маргерит сдался вследствие недостатка воды [254]. Чтобы проникнуть на малый рейд, расположенный в сердце обороны, эскадре пришлось бы прорываться сквозь огонь с Большой башни (это старинное укрепление было реконструировано и оснащено артиллерией), а на юге справиться с двумя другими фортами — Балагерской башней и фортом Этюийет; такие операции оказались не под силу союзному флоту, деморализованному быстрым и явным провалом савойского наступления на суше.

Савойские войска развернулись двумя параллельными линиями, от Мальгской горы на юге до высот Сент-Катрин на севере, перерезав таким образом дорогу из Тулона в Ниццу. В течение первых дней августа их действия ограничивались ружейными и артиллерийскими перестрелками и изнурительным рытьем окопов. Страдая от недоедания и тяжкой работы, савойские солдаты то и дело дезертировали и перебегали к французам, хотя за ними и зорко следила мощная военная полиция. В общей сложности перебежчиков (их называли «сдавшимися в плен») набралось несколько тысяч — эти бравые солдаты были хорошо экипированы, но жаловались на голод. Принимали их радушно и после тщательного допроса отсылали в Марсель, выдавая каждому по экю. Проиграв в гонке к Тулону и потеряв шансы на легкую победу, савойская армия разлагалась сама собой. В такой обстановке 15 августа «на рассвете» защитники крепости предприняли атаку, опрокинув первую боевую линию осаждавших на участке от Круа-Фарон до высот



ПЛАН ТУЛОНА И ПОДСТУПОВ К НЕМУ В ПЕРИОД ОСАДЫ 1707 ГОДА

(Составлен дорожным инженером Эдмоном Миллу).

Сент-Катрин. Более тысячи солдат противника было убито, ранено или взято в плен: напротив, потери атакующих оказались минимальными — человек сорок. Спустя четырнадцать часов французы оставили захваченную линию — то есть вылазка была проведена лишь для острастки. Но для савойцев удар оказался тяжким, и они так и не стали вновь

занимать потерянную позицию. На следующий день их артиллерия вела чисто карательный огонь, метая «бомбы» на жилые кварталы; было разрушено восемь домов, а «господина епископа ночью чуть не задавило у себя в постели». Почти все население в панике покинуло город.

На самом же деле это означало конец боевых действий, и уже 19-го по предложению осаждавших состоялся обмен пленными. Отряженные для этой цели французские офицеры были приглашены к столу принца Евгения, после чего их «весьма учтиво» принял герцог Савойский и угостил обедом. Беседа шла о ходе операций, о двух «жеромах» — так почему-то (в документе нет пояснений) назывались «Тоннан» и «Сен-Филипп». Герцог угощал шампанским из собственных запасов, извиняясь, что оно вряд ли сравнится с вином командующего тулонским гарнизоном господина де Вовре, слывшего большим хлебосолом [255]. Любому офицеру было ясно, что теперь воевать будут только для проформы. Через два дня, чтобы облегчить свое уже предрешенное отступление, савойцы принялись грузить имущество, артиллерию и увечных солдат на корабли союзного флота.

Англо-голландской эскадре довелось сыграть и последний акт всей драмы — то был отнюдь не решительный натиск. В ночь с 21 на 22 августа до пяти часов утра пять ее галиотов бомбардировали Тулон, после чего вновь присоединились к эскадре, и на следующую ночь та подняла паруса. Эта бомбардировка причинила куда более серьезный ущерб, нежели ядра и бомбы сухопутных батарей, потому что галиоты продвинулись вперед до самой бухты у форта Сен-Луи. В порту загорелись от попаданий два старых корабля, и их отбуксировали на середину гавани, чтобы огонь не перекинулся на другие суда; зато для противника они сразу оказались великолепным световым ориентиром. Получили повреждения два фрегата, а еще одна бомба вызвала пожар на корабле «Диаман», который, к счастью, удалось потушить. «В городе разрушено много домов, несмотря на то что две трети неприятельских бомб не разорвались либо разорвались в воздухе,— в противном случае урон оказался бы еще значительнее».

А герцог Савойский, избавившись от своей артиллерии и от раненых и покалеченных солдат, скорым ходом двигался назад по той же дороге, по которой он вторгался в Прованс. Это «торопливое» отступление сопровождалось грабежами и поджогами деревень, взиманием контрибуции с городов или же их разграблением. Маршал де Тессе преследовал отступающих, но отставал на семь-восемь часов и не мог идти за ними по пятам. Ему не хватало не столько людей, сколько лошадей и подвод,

а отступавшая армия не оставляла позади себя ничего — ни провианта, ни фуража. На грабителей нападали сбегавшиеся отовсюду крестьяне под предводительством дворян, ополченцев и даже местных священников — «так что на всем пути была сплошная цепь засад с непрерывными атаками и перестрелками; они не прекращались весь день и ночь, в течение которых неприятель проходил через Эстерельский массив, и засевшие там шесть или семь тысяч ополченцев перебили в его войсках много народу. Впрочем, не обошлось и без потерь с их стороны, а те, кого неприятелю удалось схватить, были повешены на деревьях, что, однако, не устрашило остальных и не принудило их замедлить преследование» [256].

В ходе провансальской авантюры армия вторжения потеряла половину своего личного состава. На дальнейшем пути она так же варварски, как и в Провансе, разграбила принадлежавшее герцогу Савойскому графство Ниццское и в конце концов скрылась за Тандским перевалом в направлении Пьемонта. «Здорово же я обделался»,— вздыхал 26 августа герцог Савойский.

Каковы уроки? Явилась ли осада Тулона победой французов? Сказать так было бы преувеличением. Угрозу удалось отвести, но ценой очевидных потерь. Правда, герцог Савойский, как утверждали, получил в виде контрибуций не более 200 000 ливров, но его армия все время жила за счет оккупированного края, жестоко разоряя его. Впрочем, Прованс залечил свои раны, как это бывает с наступлением мира в любой пострадавшей от войны стране. Жизнь пошла своим чередом, и уже на следующий год в знак покорности и доброй воли провансальцев — или даже их «верности», по выражению вице-губернатора графа де Гриньяна,— провансальские штаты постановили выплатить миллион ливров налогов, которые провинция обыкновенно платила королю. Здешний край куда сильнее пострадал от морозной зимы 1709 года, когда погибли многие тысячи оливковых деревьев — гораздо быстрее, чем от рук грабителей и порубщиков 1707 года.

С другой стороны, побежденные при Тулоне сумели взять реванш. Армия Тессе альпийскими дорогами возвратилась на оставленные перед тем позиции в Дофинэ и Савойе, но шла она не торопясь, и на сей раз противнику удалось ее опередить. Принц Евгений, выступив из Пьемонта, внезапным ударом взял Сузу, которую французы оккупировали на восточном склоне Альп, на пьемонтской территории. Городская цитадель продержалась дольше города, но и она пала 3 октября. Тем самым Франция лишилась удобных ворот, позволявших свободно выйти через

ОСАДА ТУЛОНА В 1707 ГОДУ

Альпы в Пьемонт (правда, в ее руках оставались Пинероло и Фенестрелла). Возможно, именно вследствие этой неудачи или же из-за чьих-то доносов (в сухопутной армии вечно шла грызня) маршал де Тессе впал в немилость и был заменен на посту командующего.

Однако взятие Сузы все же имело второстепенное значение. Более важные и трудно поддающиеся оценке последствия осада Тулона имела для военно-морского флота. Обычно всю вину за это возлагают на командование Тулонской эскадры, главным же козлом отпущения служит маркиз де Ланжерон. Мы воздержимся от подобных выводов, ибо судьба флота Людовика XIV решалась не при осаде Тулона.

Спору нет, после снятия осады Тулонский порт выглядел печально. «Прекрасные корабли, еще недавно составлявшие гордость всего порта, ныне, лишенные мачт, завалились на левый или правый борт или же погрузились в воду носом либо кормой; сомнительно, чтобы из них еще можно было когда-либо составить боевую эскадру». При их подъеме обнаруживалось, «что они страшно пострадали; от пребывания в столь неблагоприятном положении разошлись все швы, появились трудноустранимые течи, и во всех частях усилилось гниение» [257].

Так, может быть, маркиз де Ланжерон понапрасну погубил свои корабли? Но кто же мог предвидеть, что осада окажется столь молниеносной, по сути опереточной? Он-то имел в виду настоящую осаду — длительную блокаду города, прорыв неприятельского флота на рейды, беспрепятственный обстрел вражескими батареями сгрудившихся в гаванях кораблей... Исходя из такой вполне вероятной обстановки, он просто следовал тем правилам, что внушал ему опыт. Аналогичным образом в Тулоне, как и в других городах, готовясь к осаде, разбирали булыжные мостовые, чтобы при обстреле их камни не разлетались губительными осколками. Освободив корабли от балласта (для быстроты его выбрасывали прямо за борт), их лишь притопили, но не пустили ко дну, а сразу после отступления противника один за другим стали поднимать на поверхность. В своих письмах маркиз де Ланжерон отмечал каждую из этих судоподъемных операций как новую победу, а заодно, конечно, и новое оправдание для себя лично.

30 августа он пишет Поншартрену: «Нынче утром начал откачку воды из «Фудруайяна» — одного из тех кораблей, которые в письме из Марселя вам расписали в самых мрачных красках; еще до полудня корабль уже был на плаву...» [258]

6 сентября: бесчестные люди «уверяли, будто он [то есть сам Ланжерон] пустил ко дну тяжелые боевые корабли короля» [259]. Это ложь, «он затопил их водой лишь до первой пушечной палубы. А если бы

и пришлось пустить ко дну какой-либо тяжелый корабль, его за четыре дня подняли бы обратно».

15 сентября: «...из кораблей «Фудруайян», «Солей руаяль», «Триомфан» и «Адмирабль» вода откачана полностью, не осталось ни капли...» Скоро будут подняты на поверхность также и «Террибль» и «Энтрепид»... Что касается героев осады — «Сен-Филиппа» и «Тоннана»,— то первый из них вообще не затапливался, а второй поднят; «другое дело, что среди всех королевских кораблей нет двух других настолько прогнивших; они прогнили столь сильно, что я не поручился бы за них в летнюю кампанию» [260]. Наконец, 9 октября — победа, «работы закончены» [261].

Это не значит, что в Тулоне опять появилась первоклассная эскадра. Но была ли в нем такая эскадра до осады? Тут-то и заключается вся проблема.

Сомнения на сей счет порождает записка Арнуля, адресованная графу Поншартрену 11 августа [262], еще до снятия осады: «Вы справедливо полагаете, монсеньор, что 30—40 боевых кораблей оказали бы более действенную поддержку Тулону, нежели посылка туда любых войск, так как господин герцог Савойский не решился бы осаждать эту крепость, если б знал, что в море имеется хотя бы 20 кораблей, способных напасть на флот, доставлявший его армии часть провианта, а также артиллерию и боеприпасы, потребные для подобного предприятия. Наиприскорбнейшее несчастье состоит, однако, в том, что наш флот был к этому неспособен, отчего и оказался, можно сказать, в двух шагах от полной гибели». Арнуль был тем «инспектором», что сумел навести порядок в Брестском порту, и в Тулоне он тоже, не будучи моряком, находился в качестве проверяющего; правда, руководители обороны остерегались приближать его к себе. Он был умен, внимателен, не слишком доброжелателен. Зато он больше, чем тулонские моряки, говорит обо всей военно-морской политике Версаля, который жертвовал флотом ради армии, а после поражения при Ла-Уг (1692) сделал всю ставку на корсарские действия, почти полностью отказавшись от слишком дорогостоящей эскадренной войны. Было ли это решение короля продиктовано необходимостью? Возможно, ведь в морской войне корсарство неизбежно становится оружием слабейшего. В данном случае Тулон не имел нехватки ни в людях (будь то моряки или арсенальские рабочие), ни в материальном снабжении, вплоть до особо длинных и толстых мачтовых бревен, которые сплавляли по Изеру и Роне. Не хватало другого — денег, кредитов, без которых невозможно было бы ни ремонтировать, ни снаряжать корабли [263].

После осады финансовые трудности в Тулоне сделались очевидны: в нем стали тормозиться всякие работы. Корабли, которые до тех пор поддерживались на плаву благодаря утомительному труду каторжников, приставленных к ручным помпам, теперь легли на илистое дно рейда. Это означало для них прямой путь на кладбище, на слом — они годились уже только на дрова. Конечно, во всех гаванях Европы состарившиеся суда точно так же кончали свой век под воздействием коварно тихой портовой воды. Из таких выбракованных судов получались и те английские понтоны, где во время войн Революции и Империи содержали французских пленных. Однако в Тулоне замерла также и деятельность арсенала, а среди его рабочих катастрофически распространилась безработица. И все же из порта еще выходили корабли и барки, прикрывавшие французскую торговлю с Левантом или поставки зерна в Северную Африку. В Тулоне снаряжались также корсарские корабли, отдававшиеся государством на откуп или напрокат частным лицам, которые снаряжали их уже за свой счет. Как мы выразились бы сегодня, происходила приватизация национализированного сектора. Так, в конце марта 1712 года из Тулона вышли три боевых корабля, три фрегата и еще два судна под командованием Кассара — одного из искуснейших моряков Франции, но за свою фанатичную преданность дисциплине всячески поносившегося своими подчиненными. Маленькая эскадра миновала Гибралтар, подошла к принадлежавшему Португалии острову Сантьягу в архипелаге Зеленого Мыса, захватила и разграбила его. Далее, сделав остановку на Мартинике, она внезапно напала на голландские колонии Суринам, Эссекибо и Бербис, наложив на них выкуп, а затем атаковала английские владения — острова Монсеррат и Сен- Кристоф, которые были разграблены дочиста. В конце концов она возвратилась в Тулон.

Однако такого рода корсарские действия, порой блестящие, хотя и не всегда прибыльные, не должны никого вводить в заблуждение. Как раз в 1708 году англичане захватили у испанцев остров Менорку и Порт-Маон. Порт-Маон, в зимнюю непогоду самый надежный порт на Средиземном море, находился под угрозой нападения англичан с самой их высадки в Барселоне в 1705 году и оставался до поры свободным только благодаря французам, которые обеспечивали его снабжение через Тулон. Завладев этой базой, английский флот приобрел возможность вести на Средиземном море зимнюю кампанию. В результате в 1711 году ему удалось захватить и разграбить город Сет — успех, который можно оценить в полной мере, лишь зная об общем упадке французского флота.

Свидетельством этого упадка может служить одна опись, датированная 11 марта 1713 года, то есть месяцем раньше подписания Утрехтского мирного договора (11 апреля 1713 года),— опись судов, стоявших в Тулонском порту. В ней значится 32 крупных корабля (первого, второго, третьего и четвертого рангов), которые все вместе несли на борту 2318 пушек, то есть имели огромную огневую мощь. Но все это — старые корабли. Старейший из них, «Шеваль марен», был построен уже почти пятьдесят лет тому назад, в 1664 году; он бы уже не плавал, если бы не капитальный ремонт, пройденный им в Бресте. Возраст 22 кораблей составлял от 29 до 20 лет; возраст восьми — от 19 до 5 лет. Только один корабль, «Конкеран», прошел капитальный ремонт уже после осады Тулона, в 1712 году,— причем то был корабль второго ранга (74 пушки). Шесть посудин, признанных негодными к дальнейшей службе, следовало отправить на слом; между тем они-то как раз и были самыми крупными по водоизмещению. В среднем их возраст составлял около 20 лет. Вообще в то время суда тем быстрее приходили в негодность, чем больше они были по размерам. Так, в 1704 году пришлось выбраковать самый блестящий корабль тогдашнего флота «Руаяль Луи» [264], вооруженный 110 пушками. Построенный в 1692 году, он прослужил всего двенадцать лет [265].

Насколько можно понять «положение дел», отраженное в документе 1713 года, в море еще выходили всего лишь семь кораблей [266].

Подлинную проблему, более широкую, чем проблема военных кораблей, составляет оценка суммарного веса тогдашней французской экономики. Ведь именно от этого зависело все остальное. Так вот, действительно ли экономика в начале XVIII века переживала такую депрессию, как это утверждают некоторые историки? На наш взгляд, в последние годы войны за испанское наследство внутренние области страны были более жизнеспособны, чем это пытались представить. Также и в Средиземном море по-прежнему шла торговля через Марсель и провансальские порты, по морю возили хлопок, пшеницу и кожу из Леванта, зерно и кожи из Северной Африки. Так, может быть, недоставало просто воли к борьбе? Быть может, Франция Людовика XIV сделала ложный выбор, отказавшись от дальнейшей войны на морях (хотя, вообще говоря, могла продолжать ее) в надежде добиться победы одними лишь действиями сухопутной армии; собственно, именно так и случилось в Тулоне.

ПРОСТРАНСТВО И ИСТОРИЯ: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Путешествием в Тулон завершается наше ретроспективное исследование французской географии. Оно позволило нам наметить общие контуры, в рамках которых развивалась история Франции, показать неоднородность страны (первая глава), зачатки единства, обусловленные ее географической средой, и, наконец, историческую роль границ, которые, не изолируя страну от внешнего мира, скрепляли ее воедино и связывали между собой ее части (глава третья). Тем самым мы вновь и вновь подчеркивали извечную оппозицию единичного и множественного. Единичное — это постепенно созидавшееся единство Франции, которой неизбежно приходилось демонстрировать силу на окраинах своей территории. Ведь Франция должна была ассимилировать вновь приобретенные периферийные провинции, укрощать и покорять их, длительной дрессировкой приучать к повиновению. Она должна была также оборонять, стеречь, раздвигать длинную полосу своих границ. Отсюда ее мощные усилия на суше, отсюда же — ее мощные усилия на море.

Отметим, что уже сами по себе эти усилия составляют объединяющий фактор; они так или иначе пронизывают и мобилизуют всю страну, а не только ее приграничные области.

Мы по необходимости подробно остановились на не осуществленных в полной мере возможностях нашей страны на море. Задача, стоявшая перед Францией, была сложной, очень часто почти непосильной, и все же французы непрерывно и упорно старались ее решить. Во Франции не было ни одной крупной реки, по которой не сплавляли бы древесину или мачтовые стволы для нужд флота; ни одной плавильни, отливавшей пушки или ядра, которая не работала бы для флота; ни одного военного порта, где не строились бы новые корабли,— и корабли эти со времен Кольбера стали лучшими кораблями в Европе, наравне с английскими. Пришел конец превосходству голландских кораблестроителей! И, конечно же, флот был бы невозможен без постоянного, мучительного рекрутского набора во всех областях, как-то связанных с морем,— Нормандии, Бретани, Лангедоке, Провансе... В 1632 году,

в правление Ришелье, был введен «набор под нажимом» [267], но этого оказалось недостаточно. Впрочем, Англии и Голландии тоже никогда не удавалось укомплектовывать экипажи своих кораблей одними лишь собственными моряками; они были вынуждены призывать в свой флот, порой с помощью грубой силы, иностранных матросов. От некомплекта флотских экипажей страдала и Франция. Насильно набранные матросы пользовались любой оплошностью вербовщиков, чтобы улизнуть [268]. При Людовике XVI за неимением лучшего стали мобилизовывать во флот речных лодочников. Ну, а каторжники отправлялись в Тулон, словно в адское пекло. То был, конечно, способ избавиться от преступников — или сочтенных таковыми,— но мощи королевского флота это почти не усиливало, даже на Средиземном море, ибо галеры, где трудились осужденные, уже отслужили свой век.

Сухопутные войска не знали такого численного недостатка. Франция — страна многолюдная, и она всегда щедро подпитывала свою армию. В дореволюционную эпоху не было ни одной провинции, даже самой удаленной от границ, которая не принимала бы участия в наборе рекрутов и в обеспечении войск всем необходимым,— не исключая даже Берри, Лимузена, Оверни, Веле, Бурбоннэ... Не было такой провинции, через которую войска каждый год не проходили бы походом и не давили бы ее (слово вполне подходящее) необходимостью расселять пехотинцев и кавалеристов — причем не обязательно на грозные «зимние квартиры».

Эти воинские части стягивались не для противостояния внутренним угрозам. Их редко привлекали к подавлению волнений и беспорядков. Правда, уже одним своим присутствием они были способны усмирить какой-нибудь город или провинцию, хотя интенданты и не решались в полной мере использовать их силу. В большинстве случаев такая преувеличенно мощная реакция властей грозила бы попросту разорить всю область, между тем как с приближением солдат даже мелкие правонарушители спешили убраться куда подальше. Таким образом, постоянная передислокация войск служила превентивной мерой. Франция, как и другие государства Европы, как и европейские нации позднейших времен, была обречена содержать мощную военную машину.

Для этого ей приходилось мобилизовывать все свои ресурсы, все население, жившее на ее территории. Полки именовались по названиям провинций — Бресский полк, Ангулемский полк... Но уже довольно скоро они утрачивали всякий реальный контакт с провинциями, давшими им свое имя, так как воинский набор, перемешивая уроженцев разных краев Франции, приводил в брожение всю эту людскую массу,

заставляя людей, даже не говоривших на одном языке, приспосабливаться друг к другу, порывая со своей родной средой [269].

Итак, наряду с королевской администрацией, армия сделалась активнейшим орудием формирования унитарной Франции. В начале XIX века, согласно приблизительным, но в целом верным подсчетам, по Франции каждый год странствовало 150 000 мигрантов — рабочих на все руки, специалистов по сезонным работам, которые также способствовали перемешиванию населения. В то же время армия (например, в 1709—1713 годах) срывала с мест от 500 000 до миллиона человек [270]. Таким образом, в эти последние мрачные годы войны за испанское наследство произошло нечто сравнимое с будущей массовой мобилизацией II года Республики. А с началом национальных войн XIX и XX веков ненасытные, исполинские аппетиты армии стали и вовсе непомерными.

Итак, в процессе объединения Франции действовали и переплетались разнообразные исторические силы: социальные, экономические, государственные, культурные (а именно — французский язык, вышедший из Иль-де-Франса и ставший языком власти, административного упорядочения страны). Все эти реальности придется иметь в виду в следующих главах, ибо без них не понять того грандиозного и неспешного движения к единой Франции, для становления которой потребовалось столь долгое время.

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ

ВВЕДЕНИЕ

[1] Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. T. 1. P. 29.

[2] Péguy Ch. Avertissement aux: «Petites garnisons. La France vue de Laval» // Cahiers de la Quinzaine. 12-me cahier, 5-me série. 1904. P. 9. Цит. по.: Weber E. Peasants into Frenchmen. The Modernization of rural France, 1870—1914. 1977. P. 3. фр. пер.: La Fin des terroirs: la modernisation de la France rurale, 1870—1914. 1983.

[3] Braudel F. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. 1949, 1966, 1976; Civilisation matérielle et capitalisme. 1967; Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV—XVIII siècles. 1979. Vol. 1—3 (рус. пер.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв. М., Прогресс, 1988—1992. Т. I—III).

[4] Taine H. Les Origines de la France contemporaine. 1875, rééd. 1972. P. 6: «Сочиняя эту книгу, я словно присутствовал при превращении куколки в бабочку».

[5] Tocqueville A. de. L'Ancien Régime et la Révolution Française. 1-re éd. 1856, 1952—1953; rééd. 1960, 1963.

[6] Michelet J. Histoire de la France, 1833—1867. Vol. 1—17; rééd.: Flammarion, 1893—1898, Vol. 1—40.

[7] Lavisse E. Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution. 1903—1911. T. 1—9 (en 18 volumes).

[8] Lavisse E. Louis XIV. Tallandier, 1978. Vol. 1—2.

[9] Histoire de la France. Collection dirigée par Robert Philippe. 1970—1973.

[10] Madaule J. Histoire de France, 1943, 1945, 1966. Vol. 1—3.

[11] Romier L. L'Ancienne France des origines à la Révolution. 1948; Explication de notre temps. 1925.

[12] Iorga N. Histoire du peuple français. 1919 (éd. en roumain).

[13] Curtius E. R. Essai sur la France. 1941 (traduction française).

[14] Cavaignac E. Esquisse d'une histoire de France. 1910.

[15] Письмо Клода-Фредерика Леви от 14 сентября 1981 года.

[16] Sartre J.-P. // Les Temps modernes, octobre 1957. P. 681.

[17] Goubert P. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 á 1730. 1960. P. 359.

[18] Цит. по: Leuilliot P. L'Alsace au début du XIX siècle. 1960. Vol. III. P. 340.

[19] Lestocquoy J. Histoire du patriotisme français des origines à nos jours. 1968. P. 14. О сравнительно позднем возникновении понятия «нация» см.: Weber E. La Fin des terroirs (chapitres VII et XVIII).

[20] Michelet J. Oeuvres complètes. 1974. Vol. IV. P. 383.

[21] Bloch-Morhange J. // Informations et conjoncture; со своей стороны, Анри Мандра (Henri Mendras) пишет: «Основы национальной саги преподаются в начальной школе» (In: La Sagesse et le désordre. France 1980. 1980. P. 35).
[22] Malet et Isaac, rééd. sous le titre: L'Histoire. Marabout, 1980. Vol. 1—4.
[23] Toynbee A. La Civilisation à l'épreuve. 3-me éd. 1951. P. 75.
[24] Цит. по: Bastide R. Sociologie et psychanalyse. 1972. P. 162.
[25] Zeldin Th. Histoire des passions françaises, 1848—1945. Vol. 1—5. Traduction française: 1978—1979.
[26] Fossaert R. La Société. II. Les Structures économiques. 1977. P. 447.
[27] Bordeaux M. Voies ouvertes à l'histoire des coutumes par l'hématologie géographique // Annales E. S. C. Novembre-décembre 1969. P. 1275—1286.
[28] Bloch M. Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien, 1949.
[29] Цит. по: Callot E. Ambiguités et antinomies de l'histoire et de sa philosophie. 1962. P. 121.
[30] Morand P. Venises. 1971. P. 101.
[31] Quinet E. Introduction // Herder J. G. von. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité. 1827. Vol. I. P. 7.
[32] Zeldin Tn. Français, vous êtes comme ça! // Paris-Match, 30 mai 1980.
[33] Landes D., Fohlen C. Formation du capital dans les premières étapes de l'industrialisation. Introduction // Deuxième conférence internationale d'histoire économique. 1962. P. 565.
[34] Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. II. Du groupe à l'histoire. 1960. P. 557, 755; цит. по: Gurvitch G. Dialectique et sociologie. 1962. P. 163.
[35] Durkheim E. Sociologie et sciences sociales // De la méthode dans les sciences. Paris, 1909; republié in: Filloux J.-C. La Science sociale et l'action. 1970. P. 157, note 1.
[36] Fossaert R. La Société. I. Une théorie générale. 1977. P. 32.
[37] Dumont F. Anthropologie, 1981. P. 17.
[38] Rudorff R. Le Mythe de la France. 1971.
[39] Unamuno M. de. L'Essence de l'Espagne. Traduit par M. Bataillon. 1923.
[40] Ganivet Garcia A. Obras completas. I. Granada la Bella. Idearium español. 1943.
[41] Ortega y Gasset J. España invertebrada. 1934.
[42] Gurvitch G. La Vocation actuelle de la socilologie. 1963. Vol. I. P. 73 ss.
[43] Lot F. La Gaule. 1947. P. 170.
[44] Gracq J. Lettrines. 1974. Vol. II. P. 71.
[45] Sartre J.-P. // Les Temps modernes. Septembre 1957. P. 403, note 3.
[46] Я заимствовал это прекрасное выражение у Мишеля Ларана (Laran), замечательного знатока древней и новой России, обаятельного человека, ушедшего от нас слишком рано... но не могу разыскать в его работах соответствующее место.
[47] Chappey J. Histoire de la civilisation en Occident. I. La Crise de l'histoire et la mort de l'idée de civilisation. 1958. P. 38.
[48] Kriedte P., Medick H., Schlumbohm J. Industrialisierung vor der Industrialisierung. 1977. P. 21.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ПЕРВОЙ

[1] Gonon M. Les Institutions et la société en Forez au XIVe siècle d'après les testaments. 1960; La vie familiale en Forez au XIVe siècle et son vocabulaire d'après les testaments. 1961.
[2] Berthe M. Le Comté de Bigorre, un milieu rural au bas Moyen-Age. 1976.
[3] Béteille R. La Vie quotidienne en Rouergue au XIXe siècle. 1973.
[4] Merle L. La Métairie et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine. 1958.
[5] Belotte M. La Région de Bar-sur-Seine à la fin du Moyen-Age, du début du XIIIe siècle au milieu du XVIe siècle. 1973.
[6] Febvre L. Que la France se nomme diversité. A propos de quelques études jurassiennes // Annales E. S. C. 1946. P. 271—274.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] Musset R. La géographie de l'histoire // Histoire de France. P. p. Marcel Reinhard. 1954. Vol. I. P. 36.
[2] Gascar P. La France. 1971. P. 11.
[3] Pitte J.-R. Histoire du paysage français. 1983. Vol. I. P. 14.
[4] Ibid. P. 13.
[5] Le Bras H., Todd E. L'Invention de la France. 1981. P. 7.
[6] A. N., F[10], 1c.
[7] AN., G[7] 449, Poitiers, 23 novembre 1684.
[8] Croix A. La Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles. 1981. Vol. I. P. 33.
[9] Bogros E. A travers le Morvan. 1878. P. 108.
[10] Duhem G. Un petit village du Haut-Jura, Lamoura // A travers les villes du Jura. 1963. P. 541.
[11] Mgr Lustiger // Paris-Match, 24 avril 1981. P. 9.
[12] Febvre L. Op. cit.
[13] Weber E. Op. cit. Passim et pp. 689 sq.
[14] В декрете от 21 сентября 1792 года речь идет о единой и неделимой Республике, что примерно соответствует единой и неделимой Франции.
[15] См.: Fourastier J. Les Trente Glorieuses, ou la Révolution invisible de 1946 à 1975. 1979.
[16] Le Bras H., Todd E. Op. cit. P. 7.
[17] Florenne Y. // Le Monde, 9 avril 1981.
[18] Giono J. Ennemonde et autres caractères. 1968. P. 8.
[19] Debraye H. Avec Stendhal sur les bords du Rhône. 1944. P. 86.
[20] Aumoine P., Dangeau Ch. La France a cent ans... Sommes-nous nés en 1865? 1965. P. 297.
[21] Spade H. Et pourquoi pas la patrie? 1974. P. 107.
[22] Roche D. Le Peuple de Paris. 1981. P. 6.
[23] Андре Маре (Marez), преподаватель перпиньянского лицея, умерший в 1978 году.
[24] Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté. 1970. P. 29.

[25] Bénévent E. La vieille économie provençale // Revue de géographie alpine. 1938. P. 533.
[26] Ibid. P. 535.
[27] Письмо Пьера Гуру (Gourou) от 27 июня 1978 года.
[28] Chapelot J., Fossier R. Le Village et la maison au Moyen Age. 1980. P. 161; по поводу деревни Пелиссан (Буш-дю-Рон).
[29] Bénévent E. Op. cit. P. 542.
[30] Giono J. Ennemonde. P. 14.
[31] Рецензия Фредерика Госсена (Gaussen) на книгу: Frémont A. Paysans de Normandie. 1981 // Le Monde, 4 octobre 1981.
[32] Gaussen F. Ibid.
[33] Fillipetti H. Maisons paysannes de l'ancienne France. 1979. P. 79.
[34] Berthe M. Op. cit. P. 43.
[35] Цит. по: Francastel P. L'Humanisme roman. 1942. P. 26.
[36] Эти края подробно описаны в кн.: Vincenot H. La vie quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine. 1976.
[37] Barthes R. Michelet par lui-même. 1-re éd. 1954, 2-me éd. 1965.
[38] Fillipetti H. Op. cit. P. 10.
[39] Gracq J. Lettrines. Vol. II. P. 35.
[40] Rouvière H. de. Voyage du tour de la France. 1713. P. 11—12.
[41] Fillipetti H. Op. cit. P. 84.
[42] Meillet E. 1963. P. 157 — цит. по: Jean-Bruhnes Delamarre M. Le Berger dans la France des villages. 1970. P. 213.
[43] Словом savarts обозначают в Арденнах и в «бесплодной» Шампани невозделанные плато, используемые почти исключительно в качестве пастбищ для овец; трава на этих плато — прежде всего из-за недостаточной влажности — растет весьма худосочная. Продажа или сдача внаем таких невозделанных земель совершалась «с голоса» (à la holée): единицей измерения участка служило расстояние, на котором можно было услышать голос торговца (Crouvezier G. Petit Vocabulaire du langage champenois. 1975). О «шампанском чуде» — чудесном преображении «бесплодной» Шампани см.: Garnotel J. L'Ascension d'une grande agriculture — Champagne pouilleuse — Champagne crayeuse. 1985.
[44] Poète M. Une première manifestation d'union sacrée. Paris devant la menace étrangère en 1636. 1916.
[45] Bonnamour J. Le Morvan, la terre et les hommes. Essai de géographie agricole. 1966. P. 243.
[46] Levainville J. Le Morvan, étude de géographie humaine. 1909.
[47] Renan E. Oeuvres complètes. 1960. Vol. IX. P. 1344.
[48] Giono J. Ennemonde... P. 127.
[49] Anglade J. L'Auvergne et le Massif Central d'hier et de demain. 1981. P. 16.
[50] Gachon L. La Vie rurale en France. 3-me éd. 1976. P. 11.
[51] Anglade J. La Vie quotidienne dans le Massif Central. 1971. P. 37. См. ниже, в главе второй.

[52] Leroux A. Le Massif Central. 1898. Vol. I. P. XV.
[53] Deffontaines P., Gravier J.-F. La France // Géographie universelle Larousse. P. p. Pierre Deffontaines et Muriel Jean-Brunhes Delamarre. 1959. Vol. I. P. 129.
[54] Demangeon A. La France économique et humaine. 1946. Vol. I. P. 81—107.
[55] Pasquet D. Histoire politique et sociale du peuple américain. I. Des origines à 1825. 1924. P. 74.
[56] В Суайоне, на правом берегу Роны. Faucher D. L'Homme et le Rhône. 1969. P. 49 (карта).
[57] Young A. Voyages en France. 1937. Vol. II. P. 529. *Чижник* (paliurus) — растение из семейства крушиновых, колючий средиземноморский кустарник.
[58] Racine J. Lettres d'Uzès. Ed. de 1929. P. 57.
[59] Masanelli J.-C. Gaujac à l'époque de Louis XIV. 1981. P. 83.
[60] Sorre M. Les Fondements biologiques de la géographie humaine. 1943. Vol. I. P. 14.
[61] Vidal de la Blache P. Tableau de la géographie de la France. 1913, rééd. 1979. P. 226.
[62] Ibid. P. 131.
[63] Jouan M.-H. Les originalités démographiques d'un bourg artisanal Normand au XVIII siècle: Villedieu-les-Poêles (1711—1790) // Annales de démographie historique. 1969. P. 87—124.
[64] Braudel F. Civilisation matérielle... Vol. II. P. 278 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. II. С. 313).
[65] Poitrineau A. La vie rurale en Basse-Auvergne au XVIII siècle (1726—1789). 1965, rééd. 1979.
[66] Baud H., Mariotte J.-Y. Histoire des communes savoyardes. II. Le Faucigny. 1980. P. 392—393.
[67] Lemaitre N. Ussel ou la difficulté de vivre: familles urbaines et rurales aux XVIIe et XVIIIe siècles // Entre faim et loup... Les problèmes de la vie et de l'émigration sur les hautes terres françaises au XVIIIe siècle. 1976. P. 11, 16.
[68] Lemaitre N. Un horizon bloqué, Ussel et la montagne limousine aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1978. P. 86 sq.
[69] Chatelain A. Les Migrants temporaires en France de 1800 à 1914. 1976. P. 73.
[70] Schelle G. Oeuvres de Turgot et documents le concernant. 1914. Vol. II. P. 4—5.
[71] Fonds du docteur Morand, Bonne-sur-Ménoge (Haute-Savoie).
[72] Reynaud A., Cazes G. Les Mutations récentes de l'économie française. De la croissance à l'aménagement. 1973. P. 9.
[73] Demangeon A. La France économique et humaine. Vol. I. P. 40.
[74] Etchemendy P. Les Paysans d'Espelette (Pays Basque) du XIXe siècle à nos jours. 1981. P. 21.
[75] Le Quotidien de Paris, 3 février 1982.
[76] Gurvitch G. Déterminismes sociaux et liberté humaine. Vers l'étude sociologique des cheminements de la liberté. 1955. Passim.
[77] Rétif de la Bretonne N.-E. La Vie de mon père. 1779, rééd. 1963. P. 143.

[78] Taine H. Les Origines de la France contemporaine. P. 11.

[79] A. N., G[7] 101; Murat, 26 mai 1683.

[80] Goubert P. L'Ancien Régime. 1969. Vol. I. P. 110.

[81] См. ниже, в главе второй, о развитии Гондрекура.

[82] A. N., H 1515; Metz, 21 avril 1768: соотношение хлебопашцев и работников в различных городках и деревнях департамента Трех Епископств (Мец, Туль и Верден):

Населенный пункт	*Хлебопашцы*	*Работники*
Мец	789	3750
Туль	1921	1924
Верден	1395	2679
Седан	429	1787
Монмеди	836	1767
Лонгви	145	442
Тионвиль	954	2706
Саарлуи	452	729
Вик	1192	2707
Саарбург	448	1177
Фальсбург	91	236
	8652	**19904**

[83] Vidal de la Blache P. La France de l'Est. 1917. P. 18: «Все статистики XVII и XVIII веков сходятся на том, что оно [количество *работников*] существенно, по меньшей мере в два раза, превосходит число *хлебопашцев*».

[84] Taine H. Op. cit. P. 16.

[85] Richard J.-M. La Vie privée dans une province de l'Ouest. Laval aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1922. P. 355 sq.

[86] Ibid. P. 4—5.

[87] A. N., H 2933; Mémoire sur les péages. P. 9—20.

[88] A. N., G[7] 449; 29 mai 1683.

[89] A. N., G[7] 347, 29; 6 août 1695.

[90] Richard J.-M. Op. cit. P. 3—4.

[91] A. N., G[7] 356.

[92] Teneur J. Les commerçants dunkerquois à la fin du XVIIIe siècle et les problèmes économiques de leur temps // Revue du Nord, 1966. P. 18 sq.

[93] Цит. по: Marion M. Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1923, rééd. 1976. P. 296.

[94] Fréville H. L'Intendance de Bretagne (1689—1790), essai sur l'histoire d'une intendance en pays d'états au XVIIIe siècle. 1953. Vol. I. P. 95.

[95] A. N., G[7] 382; Metz, 29 août 1708.

[96] A. N., F[14] 158. Navigation du Rhône.

[97] Poitrineau A. Op. cit. P. 38.

[98] Sigmann J. La Révolution de Maupeou en Bourgogne, 1771—1775. D. E. S. Dijon, 1935, dactyl., notamment p. 30.

[99] A. N., G[7] 239; Grenoble, 31 juillet 1679.
[100] Dubois P. Histoire de la campagne de 1707 dans le Sud-Est de la France, dactyl. P. 28—29.
[101] Marion M. Op. cit. P. 429.
[102] О Лионе см.: Braudel F. Civilisation matérielle... Vol. II. P. 418 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 472); о Монпелье см.: Chaussinand-Nogaret G. Les Financiers du Languedoc au XVIIIe siècle. 1970. P. 235 sq.
[103] Противопоставление это проявляется во все эпохи; так, в связи с религиозными войнами см.: Hurstfield J., Koenigsberger H. G. // The New Cambridge Modern History. III. The Counter-Reformation and Price Revolution, 1559—1610. 1968. P. 131, 290.
[104] Racine J. Lettres d'Uzès. P. 3. (письмо Лафонтену от 11 ноября 1661 г.). Ibid. P. 7 (письмо М. Витару от 15 ноября 1661 г.).
[105] Documents de l'histoire du Languedoc. 1969. P. 239.
[106] Zeldin T. Op. cit. II. Orgueil et intelligence. 1978. P. 52.
[107] Реминисценция из кн.: Thibaudet A. Les Princes lorrains. 1924.
[108] Kimmel A., Poujol J. Certaines idées de la France. 1982. P. 67.
[109] Renan E. La Réforme intellectuelle et morale // Oeuvres complètes. 1947. Vol. I. P. 349.
[110] Stendhal. Mémoires d'un touriste, 1838, rééd. 1927. Vol. I. P. 185.
[111] Debraye H. Op. cit. P. V.
[112] Van Gogh V. Lettres à son frère Théo. 1956. P. 364, 374, 394, 403, 412, 393—394, 368; Darragon E. Van Gogh, Tartarin et la diligence de Tarascon // Critique, janvier 1982. P. 42—60.
[113] Braudel F. Méditerranée... Vol. I. P. 217 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. I. С. 259 и др.).
[114] A. д. С. Гênes. Lettere Consoli, 28; 20 juin — 10 juillet 1673.
[115] Martel Ph. Les Occitans face à leur histoire: Mary-Lafon, le grand ancêtre // Amiras. Repères occitans. I. Janvier 1982. P. 10.
[116] Debraye H. Op. cit. P. 39, 76, 77, 79 (курсив Дебре).
[117] Gazier A. Lettres à Grégoire sur les patois de la France (1790—1794)... 1880. P. 292.
[118] Certeau M. de, Julia D., Revel J. Une politique de la langue. La Révolution Française et les patois: l'enquête de Grégoire. 1975. P. 162.
[119] Gazier A. Op. cit. P. 128.
[120] Ibid. P. 107.
[121] Ibid. P. 137—139.
[122] Ibid. P. 222.
[123] Ibid. P. 213, 224.
[124] Ibid. P. 282, 287.
[125] Les Patois // L'encyclopédie. Vol. XII. 1765. P. 174.
[126] Жоашен Тротте де ла Шетарди (Trotté de la Chétardie; 1636—1714), автор «Буржского катехизиса» (Catéchisme de Bourges, 1708).
[127] Certeau M. de, Julia D., Revel J. Op. cit. P. 163.
[128] Gazier A. Op. cit. P. 57.

[129] Ibid. P. 91.
[130] Ibid. P. 90.
[131] Albert A., abbé. Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d'Embrun. 1783. Vol. I. P. 93.
[132] Stouff L. // Habiter la ville. P. p. M. Garden et Y. Lequin. 1984. P. 11.
[133] Ibid.
[134] Gazier A. Op. cit. P. 137.
[135] Bonnaud P. Terres et langages. Peuples et régions. 1981. Vol. I. P. 44.
[136] Stevenson R. L. Voyage avec un âne dans les Cévennes. 1879, rééd. 1978. P. 205.
[137] Bonnaud P. Op. cit. P. 2—4, 8, 408 sq.
[138] Ibid. P. 63.
[139] Specklin R. Etudes sur les origines // Acta geographica. 1982.
[140] Sugaut F. Formes et évolution des techniques, multigr., 70 p. (Rapport au Congrès d'Histoire Economique de Budapest, arrêt 1982, section «grand domaine et petite exploitation»). P. 63.
[141] Flandrin J.-L. Familles, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société. 1976. P. 7.
[142] Le Bras H., Todd E. Op. cit. P. 23—28.
[143] Ibid. P. 40—45.
[144] Ibid. P. 53—54.
[145] Gutton J.-P. Villages du Lyonnais sous la monarchie. XVIe — XVIIIe siècles. 1978. P. 9.
[146] Le Bras H., Todd E. Op. cit. P. 107—108.
[147] Baulant M. La famille en miettes: sur un aspect de la démographie du XVIIe siècle // Annales E. S. C. 1972. P. 959—968.
[148] Ibid. P. 967.
[149] Laslett P. Un monde que nous avons perdu. Les structures sociales préindustrielles. 1969. P. 26—27.
[150] MacFarlane A. The Origins of English Individualism. The Family Property and social Transition. 1978. P. 138 sq.
[151] Это ясно показывает последняя, еще не опубликованная работа Эрве Ле Бра «Три Франции» (Le Bras H. Les Trois France). Большая патриархальная семья изображена здесь как основная сила, которую юг противопоставляет унифицирующей мощи центральной власти.
[152] Le Monde, 24 mai 1981.
[153] Le Monde, 24 mai 1981.
[154] Mémoires de Jean Maillefer, marchand bourgeois de Reims (1611—1668). 1890. P. 15.
[155] Le Bras H., Todd E. Op. cit. P. 76.
[156] Duval P.-M. Archéologie et histoire de la Gaule // Annuaire du Collège de France. 1967. P. 453.
[157] Brandi K. Kaiser Karl V. 1937. P. 326.
[158] Ibid. P. 443—444.
[159] 18 сентября 1544 г.

[160] Brandi K. Op. cit. P. 448.
[161] Marquise de la Tour du Pin. Journal d'une femme de cinquante ans. II. 1778—1815. 1923. P. 339.
[162] Mouton L. Le Duc et le Roi: d'Epernon, Henri IV, Louis XIII. 1924. P. 133 sq.
[163] A. N., G[7] 1691, 85.
[164] Héron de Villefosse R. Histoire des grandes routes de France. 1975. P. 185.
[165] Marbot M. de. Mémoires.
[166] A. N., F[10] 226, 23 ventôse an II.
[167] Marbot M. de. Op. cit. 1891. Vol. I. P. 45—56.
[168] Lebrun F. Op. cit. Vol. I. P. 163. Vol. II. P. 143—144.
[169] Dussourd H. Les Hommes de la Loire. 1985. P. 89.
[170] Stendhal. Journal de voyage de Bordeaux à Valence en 1838. Rééd. 1927. P. 3.
[171] Héron de Villefosse R. Op. cit. P. 230.
[172] Gorce P. de la. Histoire du Second Empire. 1894. Vol. I. P. 223.
[173] Fadini F. Caporetto dalla parte del vincitore. 1974. P. 449.
[174] Dion R. La part de la géographie et celle de l'histoire dans l'explication de l'habitat rural du Bassin Parisien // Publications de la Société de géographie de Lille. 1946. P. 32.
[175] Mireur F. Etats Généraux de 1789. Cahiers des doléances des communautés de la sénéchaussée de Draguignan. 1889. P. 118.
[176] Assemblée provinciale de l'Ile-de-France. 1787. P. 212.
[177] Albert A., abbé. Op. cit. P. 91—92.
[178] Gazier A. Op. cit. P. 287.
[179] Nicolas J. et R. La vie quotidienne en Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1979. P. 313—315.
[180] Gazier A. Op. cit. P. 278.
[181] Demangeon A. Op. cit. P. 398.
[182] Muchembled R. Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe — XVIIIe siècles). 1978. P. 54.
[183] Philippe R. Tome III. **Источник цитаты не обнаружен.**
[184] Muchembled. Op. cit. P. 22.
[185] Dupâquier J. La Population rurale du Bassin Parisien à l'époque de Louis XIV. 1979. P. 204.
[186] Rétif de la Bretonne N.-E. Monsieur Nicolas. Ed. 1959. P. 179—180.
[187] Fasano Guarini E. Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano // Ricerche di storia moderna. 1976. Vol. I. P. 1—94.
[188] Zeldin G. **Источник не установлен.**
[189] Gramont S. de. Les Français, portrait d'un peuple. 1970. P. 454.
[190] Ferro M. La Grande Guerre, 1914—1918. 1969. P. 24.
[191] Michelet J. **Источник не установлен.**
[192] Bourricaud F. Le Bricolage idéologique. Essai sur les intellectuels et les passions démocratiques. 1980. P. 24.
[193] Guéhenno J. La Mort des autres. 1968. P. 178, 184.

[194] Речь идет об Антуане де Бурбоне.
[195] La Noue F. de. Mémoires. 1838. P. 593—594.
[196] Ibid. P. 605.
[197] Tilly A. de. Mémoires. Ed. 1965. P. 226.

ГЛАВА ВТОРАЯ

[1] Sartre J.-P. Journal. P. 22.
[2] Bonnaud P. Op. cit. Vol. I. P. 24.
[3] Buvat J. Journal de la Régence. 1865. Vol. II. P. 287.
[4] A. N., K 1219, N° 62.
[5] Buvat J. Op. cit. Vol. II. P. 332.
[6] Ср.: Braudel F. Civilisation matérielle... Op. cit. Vol. II. P. 98 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. II. С. 107).
[7] Gaultier P. L'Ame française. 1936. P. 9.
[8] Deléage A. La Vie économique et sociale de la Bourgogne dans le Haut Moyen Age. 1941. Vol. I. P. 101.
[9] Lamprecht C. Etudes sur l'état économique de la France pendant la première partie de Moyen Age. Ed. fr. 1889.
[10] Под «фермой» я на протяжении всей этой книги подразумеваю деревенское хозяйство, где имеется одна-единственная группа построек.
[11] Lamprecht C. Op. cit. P. 9.
[12] Résultats statistiques de recensement de la population française. 1891. P. 64, 86.
[13] Zarka Chr. Evolution de l'habitat champenois // Actes du colloque de Châteauroux. Bouges-le-Château, Levroux, 27—29 octobre 1978. P. p. Olivier Buchsenschutz. 2-me partie: L'Evolution de l'habitat en Berry. 1981. P. 251.
[14] Bonnaud P. Op. cit. Vol. II. P. 93.
[15] Benoit F. La Provence et le Comtat Venaissin. 1949. P. 41.
[16] Tay M. Une commune de l'ancienne France, monographie du village de Rognes. 1985. P. 5; Baratier E., Duby G., Hildesheimer E. Atlas historique de Provence. 1969. P. 78—79 et carte 230.
[17] Merle L. Op. cit. P. 63 sq.
[18] Leclercq R. Garéoult: un village de Provence dans la seconde moitié du XVI siècle. 1979.
[19] Chamson A. Castanet. 1979. P. 68.
[20] A. N., F^{lc} III; Finistère I.
[21] A. N. F^{20} 187; Mémoire sur la statistique du département du Finistère. 1789 et An 9.
[22] Latouche R. Un aspect de la vie rurale dans le Maine au XIe et au XIIe siècle: l'établissement des bourgs // Le Moyen Age. 1937. № 1—2. P. 21.
[23] Ibid. P. 18, note 62.
[24] Ibid. P. 17.
[25] Dion R. La part de la géographie et celle de l'histoire dans l'habitat rural de

Bassin Parisien // Publications de la Société de géographie de Lille. 1946. P. 49—50.

[26] Croix A. Vol. I. P. 23.

[27] Dion R. Op. cit. P. 50.

[28] Croix A. Op. cit. Vol. I. P. 147, 153.

[29] Perpillou A. Cartographie... P. 93.

[30] Corbin A. Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845—1880. 1975. Vol. I. P. 247.

[31] Ibid. Vol. I. P. 287—300.

[32] Le Roy Ladurie E., Zysberg A. Géographie des hagiotoponymes en France // Annales. 1983. P. 1304 sq.

[33] Guilaine J. La France d'avant la France. P. 36—42.

[34] Saint-Jacob P. de. Etudes sur l'ancienne communauté rurale en Bourgogne. III: La banlieue du village // Annales de Bourgogne. Vol. XVIII. Décembre 1946. P. 239, note 2.

[35] Piatier A. Radioscopie des communes de France. Ruralité et relations villes-campagnes. Une recherche pour l'action. 1979. P. 55.

[36] См. замечательное сообщение: Coulet N. La survie des communautés d'habitants des villages disparus: l'exemple d'Aix et du pays d'Aix aux XIVe et XVe siècles // Villes d'Europe; colloque de Nice, 1969 // Annales de la Faculté des Lettres de Nice. 1969. № 9—10. P. 81—91.

[37] Thünen J. H. von. Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. 1826.

[38] Dion R. Op. cit. P. 21.

[39] Dufournet P. Une communauté agraire sécrète et organise son territoire à Bassy (Province de Génevois, Haute-Savoie). 1975. P. 422.

[40] Demangeon A. Géographie économique de la France. Vol. I. P. 192.

[41] A. N., H 1514; 1787.

[42] Яровые (пшеница, ячмень, овес, просо и проч.), высеваемые в марте.

[43] Goudar A. Les Intérêts de la France mal entendus... 1756. Vol. I. P. 90.

[44] Gachon L. La Vie rurale en France. 1967. P. 58.

[45] Rouche M. L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, 418—781. Naissance d'une région. 1979. P. 184.

[46] Dufournet P. Op. cit. P. 72.

[47] Chapelot J., Fossier R. Op. cit. P. 33.

[48] A. D. Meuse, C 1480, I v°; 27 octobre 1789.

[49] Разумеется, размежевания производились и прежде. Приведем хотя бы один пример: в 1652 году делили землю приходы Мартинье и Сен-Бертевен (ныне — департамент Майенн).

[50] Agulhon M. La Vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la Révolution. 1970. P. 33.

[51] A. N., G[7] 1649, 53.

[52] Bonnamour J. Op. cit. P. 235.

[53] Gachon L. France rurale d'aujourd'hui. I. Dans les massifs cristallins

d'Auvergne. La ruine du paysage rural et ses causes // Annales E. S. C. 1950. P. 452.

[54] Эскандорг — вулканическое плато в районе Монпелье.

[55] Источник не установлен.

[56] Tollemer A., abbé. Journal manuscrit d'un sire de Gouberville et du Mesnil-au-Val, gentilhomme campagnard... Etude publiée dans le Journal de Valognes du 17 février 1870 au 20 mars 1872. P. 384.

[57] A. N., MM 928.

[58] Anglade J. L'Auvergne et le Massif Central... P. 54.

[59] A. N., G^7 434.

[60] Mémoires des intendants sur l'état des généralités dressé pour l'instruction du duc de Bourgogne. I. Mémoire de la généralité de Paris. P. P. A. M. de Boislile. 1881. P. VI, note 5, lettres des 29 juillet 1704, 1er et 22 mai 1706, et 13 juin 1707.

[61] Argenson, marquis d'. Journal et Mémoires. 1864. Vol. VI. P. 181.

[62] A. N., H 1462; Versailles, 13 mars 1787.

[63] Mireur F. Op. cit. P. 79.

[64] Цит. по: Dumont R. Nouveaux Voyages dans les campagnes françaises. 1977. P. 385.

[65] Dornic F. L'Industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux (1650—1815). 1955. P. 20.

[66] Vincenot H. La Billebaude. 1978. P. 48.

[67] Richet D. Une famille de robe: les Séguier avant le chancelier (thèse manuscrite). P. 91.

[68] О месте леса в экономике см.: Braudel F. Civilisation matérielle... Vol. I. P. 321 et note. (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. I. С. 392 и примеч.).

[69] Bonnaud P. Op. cit. Vol. I. P. 51.

[70] Jeannin F. L'industrie du verre en Argonne // Patrimoine et culture en Lorraine. P. p. Y. Lemoine. 1980. P. 84.

[71] Sade D.-A.-F. de. Justine, ou Les malheurs de la vertu. 1791.

[72] A. N., G^7 237; Châlons, 31 janvier 1715.

[73] A. N., G^7 432, 20 novembre 1704.

[74] A. N., G^7 501; Rouen, 6 juin 1712.

[75] A. N., G^7 419.

[76] A. N., G^7 433; juillet 1706.

[77] A. N. MM 928, f° 15; 1698.

[78] Reinhard M., Armengaud A., Dupâquier J. Histoire générale de la population mondiale. 1960. P. 268.

[79] Dion R. Op. cit. P. 62.

[80] Burguière A. Endogamia e comunità contadine sulla pratica matrimoniale a Romainville nel XVIII secolo // Quaderni storici. 1976, septembre-décembre. P. 1073—1094.

[81] Sutter J., Tabah L. Les notions d'isolat et de population minimum // Population. 1951. № 3, juillet-septembre. P. 486—489.

[82] Clement-Janin M.-H. Sobriquets des villes et des villages de la Côte d'Or. 1876, passim.
[83] Jones P. M. Political Commitment and Rural Society in the Southern Massif Central // European Studies Review. 1980. P. 343—344.
[84] Croix A. La Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles. Vol. 1. P. 33.
[85] Мое воспоминание о Люмевиле (департамент Мез), относящееся к 1907 г.
[86] Cressot J. Le Pain au lièvre. 1973. P. 113.
[87] Ibid. P. 117.
[88] Juge Saint-Martin J.-J. Changements survenus dans les moeurs des habitants de Limoges depuis une cinquantaine d'années... 1817. P. 14.
[89] Bercé Y.-M. Histoire des croquants. Etudes des soulèvements populaires au XVIIe siècle dans le Sud-Ouest de la France. 1974. P. 297.
[90] Corbin A. Op. cit. Vol. I. P. 98.
[91] Vaquier A. Ermont... I. Des origines à la Révolution française. 1965. P. 144 sq.
[92] Petit J. Un registre: un village, une époque... Contribution à l'histoire sociale et économique du monde rural au début du XXe siècle. 1980.
[93] A. N., F[10] 222.
[94] Braudel F. Civilisation matérielle... Vol. III. P. 240, note 13 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 285).
[95] Chaland, abbé. Mémoires de Saint-Julien-Molin-Molette. 1852. P. 5—6.
[96] Coornaert E. Un centre industriel d'autrefois. La draperie-savetterie d'Hondschoote (XIVe — XVIIIe siècle). 1930. P. 249, note 2.
[97] Ср. об Оржеле: Corbin A. Op. cit. Vol. I. P. 298, note 136. О Верхних Пиренеях ср.: Poussou J.-P. Sur le rôle des transports terrestres au XVIIIe siècle // Hommages à P. Wolff. Annales du Midi, 1978. P. 407—408.
[98] Gascon R. Grand Commerce et la vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands (environs de 1520 — environs de 1580). 1971. Vol. I. P. 327—328.
[99] Сведения, полученные от Мишеля Гранжака (Granjacques) из Сен-Никола (Верхняя Савойя), родившегося в 1896 году. Как и его отец Жан-Экарист, Мишель Гранжак был именно таким комиссионером (barlotier).
[100] A. N., G[7] 377; Metz, I juillet 1695.
[100] A. N., G[7] 1651; Soissons, 4 juin 1709.
[102] Filippini J.-P. Les Conséquences économiques de la guerre de Succession d'Autriche, Thèse dactyl. P. 58—62.
[103] Rameau H. A l'orée des plateaux de la Haute-Saône, le village d'Andelarre. 1974. P. 32—33.
[104] Dinet D. Quatre paroisses de Tonnerois // Annales de démographie historique. 1969. P. 62—84.
[105] Gaxotte P. Mon village et moi. 1968. P. 129.
[106] Beaumier S. Un homme, un village — les travaux et les jours dans le Haut-Diois au XIXe siècle // Le Monde alpin et rhodanien. 1978. P. 1—2.
[107] Petit J. Le Chant de mon enfance. Dactylogramme. P. 31.
[108] Chapuis R. Une vallée franc-comtoise: la Haute Loue // Annales littéraires de l'Université de Besançon. 1958. Vol. 23. P. 105—106.

[109] Vincenot H. La Vie quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine. 1976. P. 397—401.
[110] Dupuy F. L'Albine. 1977. P. 11.
[111] Beaumier S. Op. cit. P. 41.
[112] Laverrière J.-P. Un village entre la Révolution et l'Empire, Viry-en-Savoie (1792—1815). 1980. P. 23—24.
[113] Théâtre d'agriculture et ménage des champs. 1675. P. 113; цит. по: Lutfalla M. Aux origines de la pensée économique. 1981. P. 22.
[114] Les Mille Visages de la campagne française. 3-me éd, 1976. P. 242.
[115] Bonnin B. Les caractères des migrations dans les régions de montagne du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles // Entre faim et loup. Op. cit. 1976. P. 19.
[116] Legrand d'Aussy P.-J.-B., père. Voyage fait, en 1787 et 1788, dans la ci-devant Haute et Basse Auvergne... An III. Vol. I. P. 474—483.
[117] **Мы привели этот пример в назидание. Не стоит считать его редкостным исключением. Ведь семьи были первыми ячейками общества, ячейками наиболее жизнестойкими и плодовитыми. Замкнутые семейные кланы населяли некогда обширные территории; мы замечаем их присутствие в сравнительно поздние эпохи, но образовались они гораздо раньше. Среди контрактов, заверенных нотариусами из Жинеста** (Cayla P. Essai sur la vie des populations rurales à Ginestas... au début du XVIe siècle (1519—1536). 1938. P. 12—13) **встречаются договоры о «братании»** (effrayramentum), **иначе говоря, о том, что «две семьи обязуются имуществом, им принадлежащим, пользоваться сообща, также сообща исполнять все работы и повинности и сообща же пользоваться своими правами». Итак, люди, не бывшие братьями по крови, могли побрататься, заключив соответствующий договор. Причем началось все это, разумеется, не в XVI веке, а гораздо раньше.**
[118] Le Roy Ladurie E. Les masses profondes: la paysannerie // Histoire économique et sociale de la France. I: De 1450 à 1660. II: Paysannerie et croissance. P. p. Fernand Braudel et Ernest Labrousse. 1977. P. 669.
[119] Duby G. La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. 1971. P. 99.
[120] Romier L. Explication de notre temps. 1925. P. 41—42.
[121] Carorguy J. Mémoires. 1582—1595. 1880. P. 3.
[122] A. N., F 20 206.
[123] Beaumier S. Op. cit. P. 121—122.
[124] Chéreau C. Huillé, une paroisse rurale angevine de 1600 à 1836. S. d. Vol. I. P. 2.
[125] Drouot M. Thann à l'époque mazarine (1658—1789), histoire politique et administrative. 1961. P. 8—9.
[126] A. N., G[7] 501; 19 octobre 1711.
[127] См. ниже.
[128] A. N., G[7] 237.
[129] Bichet R. Un village comtois au début du siècle. 1980. P. 130—132.
[130] См. ниже.

[131] Wylie L. Un village du Vaucluse. 1968. P. 30—31.
[132] A. N., G[7] 158.
[133] Lemoine H. Département de la Meuse, géographie physique, économique, historique et administrative. 1909. P. 287.
[134] Jamerai-Duval V. Oeuvres. 1784. Vol. I. P. 58 (automne 1709).
[135] A. N., F[20] 119.
[136] A. D. Meuse, L 343; 1790.
[137] Согласно записям гражданского состояния Люмевиля-ан-Орнуа — архив департамента Мез.
[138] A. N., H 1515. См. примеч. 82 к главе второй.
[139] См.: Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française. 1895. T. 8.
[140] Histoire des villes de France, récueil. Op. cit.
[141] A. E., M. et D., France, 815.
[142] Ardouin-Dumazet V.-E. Voyages en France. 2-me série. 1906. P. 270.
[143] Источник не установлен.
[144] Benoit de Toul F. Pouillé, ecclésiastique du diocèse de Toul, 1911. Vol. II. P. 265—284.
[145] Jouvin A. Le Voyageur d'Europe. 1622. P. 31—32.
[146] A. N., F[20], 177, Statistique de la Côte-d'Or. Ныне в Нюи насчитывается 21 700 жителей.
[147] Cayla P. Essai sur la vie des populations rurales à Ginestas... au début du XVIe siècle (1519—1536). 1938. P. 217.
[148] Bierry R. Rouvray. Un relais sur le grand chemin. 448—1976. 1976. P. 57.
[149] См. ниже.
[150] Goudar A. Op. cit. P. 37.
[151] A. N., F[1c] III Vaucluse, 9, 173[3]; 7 плювиоза IV года.
[152] Ackerman E. The Commune of Bonnière-sur-Seine in the eighteens century // Annales de démographie historique. 1977.
[153] Aghulon M. Op. cit. P. 20.
[154] Hébert M. Tarascon au XIVe siècle. 1979. P. 28—32.
[155] Le Roy Ladurie E. La destruction du monde plein // Histoire économique et sociale de la France. 1977. P. 499.
[156] Coulet N. Population et société à Pourrière. 1368—1430. Premier bilan d'une enquête // Etudes rurales. № 51. 1973. P. 86—111.
[157] Schremmer E. Die Wirtschaft Bayerns. 1970. P. 26.
[158] Häpke R. Brügges entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt, 1908.— Цит. по: Braudel F. Civilisation matérielle. Economie et capitalisme. Op. cit. T. I. P. 444.
[159] Lacroix A. Romans et le Bourg de Péage. 1897. P. 296.
[160] A. N., G[7] 415—416; Нанси, 9 мая 1693 года.
[161] Dunoyer J.-M. 7 milliards d'hommes pour l'an 2000 // Diagrammes 33. Nov. 1959. P. 3.
[162] Duby G. Histoire de la France urbaine. 1980. T. II. P. 478.
[163] Baud H. // Dictionnaire des communes savoyardes. 1981. T. II. P. 37.

[164] Perrin Ch.-E. // Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. 37e année. T. 33. 1924.
[165] Histoire de Besançon, p. p. Claude Fohlen. 1964. T. I. P. 145.
[166] Ibid. P. 39.
[167] Duval P.-M. Art. cit. P. 453.
[168] Histoire de Besançon, op. cit. T. II. P. 10.
[169] Gollut L. Les Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. 1592. Edit. Duvernoy. 1846. P. 272.
[170] Brelot J. Histoire de Besançon. Op. cit. T. II. P. 10.
[171] Gollut L. Op. cit. 1592; Цит. по: Fietier Roland. Recherches sur la banlieue de Besançon. 1973. P. 39.
[172] Histoire de Besançon. Op. cit. 1964. T. I. P. 468; приведенная цитата взята из муниципальных эдиктов, датирующихся XVI веком.
[173] Всего 300 садов и виноградников, принадлежавших как духовенству, так и мирянам. См.: Brelot J. // Histoire de Besançon. Op. cit. T. I. P. 585.
[174] Histoire de Besançon. Op. cit. T. I. P. 587.
[175] Braudel F. La Méditerrannée..., op. cit. T. I. P. 458.
[176] Histoire de Besançon. Op. cit. T. I. P. 494—495.
[177] Ibid. T. II. P. 41—43.
[178] Gresset M. Les débuts du régime français en Franche-Comté (1674—1675) // Provinces et états dans la France de l'Est. Colloque de Besançon, 3 et 4 octobre 1977, publié en 1979. P. 19—37.
[179] Gresset M. Le Monde judiciaire à Besançon de la conquète par Louis XIV à la Révolution française (1674—1789). 1975. P. 1235.
[180] Histoire de Besançon. Op. cit. T. II. P. 147—149.
[181] A. N., KK 944.
[182] Histoire de Besançon. Op. cit. T. II. P. 147.
[183] Pouchenot M. Le Budget communal de Besançon au début du XVIIIe siècle. 1910. P. 3.
[184] A. N., D IV bis 47.
[185] Histoire de Besançon. Op. cit. T. II. P. 337.
[186] Ibid. P. 299.
[187] Ibid. Fig. 113. P. 584.
[188] D'Urfé H. Oeuvres complètes.
[189] Annuaire statistique du département de la Loire, 1809. P. 187.
[190] Так случилось, например, в 1705 году с прудом в Буази, имении герцога де Фейяда; вся тамошняя рыба оказалась на суше. A. D. Loire, bailliage ducal de Roanne, B 460.
[191] Annuaire statistique du département de la Loire. Op. cit. P. 187.
[192] Ibid.
[193] Luya D. L'Axe ligérien (Loire-Allier) dans les pays hauts, 1682-1858 (thèse). 1980. P. 46.
[194] A. N., H 1510[1]; около 1788 года. Замечания о недостатках, свойственных земледелию на Форезской равнине.

[195] Luya D. Op. cit. P. 205.
[196] Brackenhoffer E. Voyage en France, 1643—1644, p. p. par Henry Lerr. 1925. P. 141—142.
[197] A. N., G[7] 406; 14 августа 1687 года.
[198] A. D. Loire; baillage ducal de Roanne, B 455, 1704.
[199] A. N., F[20] 206; IX год.
[200] Имеется в виду аренда, или испольщина, по четырем видам зерновых — пшенице, ржи, ячменю, овсу.
[201] Tomas F. Problèmes de la démographie historique. Le Forez au XVIIe siècle // Cahiers d'histoire. 1968. P. 395. № 47.
[202] Extrat Ch. Images et réalités de la vie coopérative agricole dans la Loire de 1945 à 1979. Машинопись. 1981. P. 16.
[203] Tomas F. Art. cit. // Annuaire statistique du département de la Loire.
[204] 11 сентября 1982 года река была перекрыта плотиной близ Виллере — См.: Guyotat R. // Le Monde, 11 septembre 1982.
[205] Dontenwill S. Rapports ville-campagne et espace économique microrégional: Charlieu et son plat pays au XVIIIe siècle // Villes et campagnes XVe — XXe siècle. 1977. P. 162.
[206] Gonivet M. Histoire de Roanne et de sa région. 1975. T. 3. P. 131.
[207] Бандолье — «лесной вор, нападающий ватагой и с огнестрельным оружием» (словарь Фюретьера).
[208] Reure Ch. Le vin de Garambeau et la question des vins du Roannais au XVIIe siècle // Bulletin de la Diana. 1908. P. 5, 6.
[209] Annuaire statistique du département de la Loire, 1809. P. 181.
[210] Записка лионского интенданта (1762); цит. по: Labouré M. Roanne et le Roannais. Etudes historiques. 1957. P. 466.
[211] Annuaire statistique du département de la Loire. Op. cit.
[212] Luya D. Op. cit. P. 91.
[213] Gonivet M. Histoire de Roanne. Op. cit. T. I. P. 21.
[214] Luya D. Op. cit. P. 14.
[215] Bonnaud P. Essai d'histoire locale. La navigation à Roanne. 1944. P. 27.
[216] Fournial E. Roanne au Moyen Age, essai d'histoire urbaine. 1964. P. 70, 73 et carte p. 72.
[217] Demangeon A. Géographie universelle p. p. P. Vidal de la Blache et L. Gallois. T. VI. La France; 2e partie: France économique et humaine. 1958. P. 769.
[218] Brackenhoffer E. Op. cit. P. 137—138 et 138, n. I.
[219] Lyonnet M. Gens du métier à Nevers à la fin de l'Ancien Régime. 1941. P. 367.— Цит. по: Billacois F. La batellerie de la Loire au XVIIe siècle // Revue d'histoire moderne et contemporaine. Juillet — sept. 1964. P. 67.
[220] Luya D. Op. cit. P. 75, note 35.
[221] Histoire de la navigation sur l'Allier en Bourbonnais. 1983. Passim, et p. 34—35.
[222] Labouré M. Op. cit. P. 354.
[223] Gascon R. Op. cit. T. I. P. 140.
[224] A. N., G[7] 1646, 373, 7 апреля 1709 года.

[225] A. N., G[7] 1647, 335; 11 июня 1710 года.
[226] В Париже в одном фунте считалось 2 марки (полуфунтовых меры). Фунт был вдвое больше марки и делился на 16 унций.
[227] A. N., G[7] 1647.
[228] Luya D. Op. cit. P. 280—281.
[229] Regazzol Th., Lefebvre J. La Domestication en mouvement. 1981. P. 149 et 152—153.
[230] Mahaut A. L'Idée de la Loire navigable combattue. 1909; цит. по: Dussourd H. Les Hommes de Loire. 1985. P. 27.
[231] Biton G. Bateaux de Loire. 1972. P. 2 et 3.
[232] Dussourd H. Op. cit. P. 36 et 56—57; Biton G. Op. cit. P. 5.
[233] A. N., G[7] 1651, 336; 14 сентября 1709 года.
[234] Dussourd H. Op. cit. P. 26.
[235] Dulaure J. A. Description des principaux lieux de France. 1789. T. 6. P. 107.
[236] A. N., F[14], 1199 A; 1761 год.
[237] Fraysse J. et C. Les Mariniers de la Loire en Anjou // Le Thoureil. 1978. P. 47; Цит. по: Luya D. Op. cit. P. 18, note 27.
[238] A. D. Loire, bailliage ducal de Roanne.
[239] A. N., F[14] 559[2]; Nevers 18 мая 1813 года.
[240] Brackenhoffer E. Op. cit. P. 140.
[241] Lefebvre G. Op. cit. T. I. P. 84.
[242] Рене I Добрый (1409—1480), герцог Барский, герцог Анжуйский и граф Прованский, а также номинальный король Неаполитанского королевства, которое он унаследовал от жены и тщетно пытался завоевать.
[243] Chaussard P. Marine de Loire et mariniers digoinais. 1970. P. 26.
[244] Gonivet M. Op. cit. T. I. P. 181—182.
[245] Chaussard P. Op. cit. P. 27.
[246] Ibid.
[247] A. N., F[14] 1199 A.
[248] Luya D. Op. cit. P. 34.
[249] Ibid. P. 223.
[250] A. N., F[20] 243.
[251] Dulaure J. A. Op. cit. P. 106—107.
[252] A. N., G[7] 360, 21; 8 июля 1705 года.
[253] A. N., F[14], 1200; Мулен, 11 ноября 1765 года.
[254] Braudel F. Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Op. cit. T. II. 1979. P. 317 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. II. С. 357).
[255] Ibid. P. 327.
[256] Luya D. Op. cit. P. 232.
[257] A. N., F[14] 1200.
[258] Histoire générale des techniques, p. p. Maurice Daumas. T. 3. L'Expansion du machinisme. 1968. P. 30 sq., 68—69.
[259] Luya D. Op. cit. P. 237.
[260] Labouré M. Op. cit. P. 377—378.

[261] Dontenwill S. Roanne au dernier siècle de l'Ancien Régime. Aspects démographiques et sociaux. // Etudes foréziennes. 1971. P. 49—73.
[262] Dontenwill S. Art. cit. P. 72, note 61.
[263] Houssel J.-P. Le Roannais et le Haut-Beaujolais. 1978.
[264] Luya D. Op. cit. P. 11.
[265] A. N., H 1510[1], около 1788 года.
[266] Braudel F. Civilisation matérielle... T. I.
[267] Vidal de la Blache P. Tableau de la géographie de la France. Op. cit. P. 324.
[268] Примечание утрачено.
[269] A. N., K 1516; 28 декабря 1788 года.
[270] В отличие от такого города, как Сомюр (если только имеющиеся документы точны). Очевидно, водный путь по Луаре имел первостепенное значение для соляной контрабанды.
[271] A. N., G[7] 521; 1682.
[272] A. N., G[7] 521; Майенн, 19 и 29 ноября 1693 года; Сомюр, 14 января 1693 года; Лаваль, 1 марта 1693 года.
[273] A. N., G[7] 521; Лаваль, 24 мая и 3 июня 1693 года.
[274] Laurain E. Le département de la Mayenne à la fin de l'an VIII // Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne. 1938—1939. P. 118.
[275] A. N., F[10] 242.
[276] Richard J.-M. La Vie privée dans une province de l'Ouest. Laval aux XVIIe et XVIIIe siècles. Op. cit. P. 126.
[277] A. N., F[10] 242.
[278] Ibid.
[279] Musset R. Le Bas-Maine. 1917. P. 320—321.
[280] Ibid. P. 323.
[281] A. N., F[14] 1207, 234; 20 сентября 1769 года.
[282] A. N., K 1252.
[283] A. N., F[12] 1259 D.
[284] A. N., F[12] 1259 D; 27 брюмера IX года.
[285] Laurain E. Op. cit. P. 119.
[286] Savary des Brulons J. Dictionnaire du commerce. T. V. Colonne 163.
[287] Ibid. P. 163; сведения из: Journal de commerce, mars 1762, p. 112.
[288] Dornic F. Op. cit. P. 1—5.
[289] Richard J.-M. Op. cit. P. 289—290.
[290] Ibid. P. 291.
[291] Ibid. P. 301.
[292] Ibid. P. 295 sq.
[293] Ibid. P. 298.
[294] Ibid. P. 301 sq.
[295] Ibid. P. 344 et 345, note 2.
[296] Ibid. P. 114.
[297] Dornic F. Op. cit. P. 44.
[298] Richard J.-M. Op. cit. P. 289.

[299] Perrot J.-C. Genèse d'une ville moderne. Caen au XVIIIe siècle. 1975. T. I. P. 145.
[300] Ibid. T. I. P. 211.
[301] Demangeon A. Géographie universelle, p. p. P. Vidal de la Blache et L. Gallois. T. VI. La France. 2e partie. France économique et humaine. Op. cit. P. 591.
[302] Perrot J.-C. Op. cit.
[303] Подробнее излагаемые ниже объяснения см: Perrot J.-C. Op. cit. T. I. P. 181 sq.
[304] Ibid. T. I. P. 185 sq.
[305] Ibid. T. I. P. 213.
[306] Ibid. T. I. P. 216.
[307] Ibid. T. I. P. 217.
[308] Ibid. T. I. P 217—218, note 159.
[309] Ibid. T. I. P. 219.
[310] Ibid. T. I. P. 241.
[311] Jouan M.-H. Art. cit. P. 87—124.
[312] Perrot J.-C. Op. cit. T. I. P. 358. Это богатство как раз и не дало возможности сельскому хозяйству Нормандии стать на службу промышленности.
[313] Ibid. T. I. P. 359, note 55.
[314] Ibid. T. I. P. 360 (продолжение примечания 55).
[315] Ibid. T. I. P. 360—366.
[316] Ibid. T. I. P. 8.
[317] Ibid. T. I. P. 518—519.
[318] Ibid. T. II. P. 948.
[319] A. N., DIV bis 47.
[320] См. ниже.
[321] A. N., G[7] 360; 10 февраля 1706 года.
[322] Metra A. Il Mentore perfetto de'negozianti. 1977.
[323] A. N., F[20] 198, 130; Châteauroux.
[324] Romon Ch. Mendiants et vagabonds à Paris, d'après les archives des Commissaires du Châtelet (1700—1784); машинопись.
[325] Monnier R. Le Faubourg Saint-Antoine, 1783—1815. 1981. P. 195—201.
[326] Roche D. Op. cit. P. 18.
[327] Ibid. P. 31.
[328] A. N., G[7] 432; 6 февраля 1704 года.
[329] Journal du voyage de deux Hollandais à Paris en 1656—1658, p. p. A. P. Faugère. 1899. P. 29.
[330] Voyages promenades aux environs de Paris avec Caroline Tullié. № 29. 1790—1792.
[331] Fourquin G. Les Campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen Age. 1964. P. 220.
[332] Boislisle A. M. de. T. I. P. 285.
[333] Курсив мой.

[334] Hérisson, comte d'. Souvenirs intimes et notes du baron Mounier. 1896. P. 35.
[335] Mémoires de la comtesse de Boigne. 1971. T. I. P. 215.
[336] Achard Ch. La Confession d'un vieil homme du siècle. 1943. P. 24.
[337] A. N., K 1252.
[338] Piatier A. Radioscopie des communes de France. 1979. P. 23—25 et 253 sq.
[339] Bonnaud P. Passim.
[340] Mendras H. Op. cit. P. 37.
[341] Ibid. P. 19.
[342] Béteille R. La France du vide. 1981; Gravier J. Paris et le désert français. 1re éd. 1947; 2e éd. 1972.
[343] Mendras H. Op. cit. P. 19—20.
[344] Rochefort M.; цит. по: Piatier A. Op. cit. P. 8.
[345] Piatier A. Op. cit. P. 6.
[346] Ibid. P. 56.
[347] Ibid. P. 6.
[348] Ibid.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[1] Vidal de la Blache P. Tableau de la géographie de la France, op. cit. P. 7.
[2] Vidal de la Blache P. Op. cit. P. 8.
[3] Febvre L. La Terre et l'évolution humaine. 1949. P. 25.
[4] Martonne E. de. La France physique // Géographie universelle. 1942. P. 1.
[5] Curtius E. R. Op. cit. P. 70, 205.
[6] Le Lannou M. Les sols et les climats // La France et les Français, p. p. Michel François. 1972. P. 3.
[7] Renouard Y. Etudes d'histoire médiévale. 1968. T. II. P. 721—724.
[8] Dubois H. Les Foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du Moyen Age (vers 1280 — vers 1430). 1976.
[9] Торхаут находится в Бельгии, между Гентом и морем.
[10] Vidal de la Blache P. Op. cit. P. 52.
[11] Pardé M.; цит. по: Faucher D. Op. cit. P. 64.
[12] Lenthéric Ch. Le Rhône, histoire d'un fleuve. 1892. T. II. P. 505.
[13] Это так называемые вымоины — впадины на речном дне между наносными отмелями.
[14] Bayle P. Histoire de la navigation fluviale à Lyon et le long de sa Majesté «Vallée Impériale». 1980. P. 35. На Луаре, как мы видели, «ту» называлась небольшая лодка, которая плывет впереди судна, промеряя дно.
[15] A. N., G7. 359; около 1701 года.
[16] Rouvière H. de. Voyage du Tour de la France. Op. cit. P. 232—233.
[17] Faucher D. Op. cit. P. 187.
[18] Mémoires du général Marbot. Op. cit. T. I. P. 51.
[19] Perroud C. Le Rhône de nos pères. 1974. P. 47.
[20] Ibid.
[21] Bayle P. Op. cit. P. 17.

[22] Perroud C. Op. cit. P. 50—51.
[23] Faucher D. Op. cit. P. 189.
[24] Ibid.
[25] Perroud C. Op. cit. P. 70.
[26] Faucher D. Op. cit. P. 193.
[27] A. N., ссылка утеряна.
[28] Faucher D. Op. cit. P. 190.
[29] Ibid. P. 199.
[30] Ibid. P. 197.
[31] Lenthéric C. Op. cit. P. 512.
[32] Faucher D. Op. cit. P. 196.
[33] Lenthéric C. Op. cit. P. 512.
[34] Bayle P. Op. cit. P. 17.
[35] A. N., F^{12} 1512 B.
[36] Мино — мера соли, равная по весу ста фунтам.
[37] Fesquet H. // Le Monde. 5 juin 1980.
[38] Bonnaud P. Op. cit. T. I. P. 431.
[39] Perroud C. Op. cit. P. 73.
[40] Faucher D. Op. cit. P. 90.
[41] Lenthéric C. Le Littoral D'Aigues Mortes au XIIIe et au XIVe siècles. 1870. P. 29—30.
[42] Личное письмо Пьера Гуру (Gourou), апрель 1980 года.
[43] Braudel F. Civilisation matérielle. Op. cit. T. III. P. 93; La Méditerannée. Op. cit. T. I. P. 188—189 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 108).
[44] Doehaerd R. Le galères génoises dans la Manche et la mer du Nord à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle // Bulletin de l'Institut historique belge de Rome. 1938. P. 5—76.
[45] Faucher D. Op. cit. P. 84.
[46] С просмоленным канатом, который направляет паро́м и удерживает его, чтобы не снесло течением.
[47] Estienne P. La France. Les montagnes françaises et l'axe Rhône-Rhin. 1978. P. 189.
[48] Châtelain A. Les fondements de la région historique // Revue de géographie de Lyon. 1955. № 1. P. 45.
[49] Dubois P. Histoire de la campagne de 1707 dans le Sud-Est de la France (машинопись). P. 67.
[50] Faucher D. Op. cit. P. 184.
[51] Faucher D. Op. cit. P. 178.
[52] Жалованные грамоты Карла VI (1380); цит. по: A. N., K 1219, 37. P. 6.
[53] Faucher D. Op. cit. P. 157.
[54] De Basville. Mémoires pour servir à l'histoire du Languedoc. 1734. P. 279.
[55] Allix A. Le trafic en Dauphiné à la fin du Moyen Age // Revue de géographie alpine. 1923. P. 373—408.

[56] A. N., K 1219, n° 37.
[57] A. N., K 1219, 37. P. 27.
[58] A. N., G[7] 300.
[59] Ibid.
[60] Ibid. В то время Ларош-Сен-Андре находился недалеко от Роны.
[61] Ту же мысль разрабатывает Д. Фоше в своей цитировавшейся выше работе (p. 199).
[62] Gascon R. Grand Commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Op. cit.— по поводу лионского кризиса 1575—1580 гг., который не связан ни с нантским, ни с ларошельским кризисом.
[63] Estienne P. La France. Les montagnes françaises et l'axe Rhône-Rhin. Op. cit. P. 147.
[64] Labasse J. Lyon, ville internationale. Rapport destiné à la Datar. 1982; Léridon Y. Lyon, la place du second marché // Le Point. 26 novembre 1984.
[65] Bonnaud P. Op. cit. T. I. P. 430—431.
[66] Bergier J.-F. Les Foires de Genève et l'économie internationale de la Renaissance. 1963. P. 369 et 374—387.
[67] Gascon R. Op. cit. P. 287—288.
[68] Bourgeois L. Quand la Cour de France vivait à Lyon (1491—1551). 1980. P. 143.
[69] Bourgeois L. Op. cit. P. 155.
[70] Garden M. Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle. 1975.
[71] Poni C. Compétition monopoliste, mode et capital: le «marché» international des tissus de soie au XVIIIe siècle (communication au colloque de Bellagio).
[72] A. N., G[7] 360; Аниссон, лионский выборный, 5 мая 1705 года.
[73] Labasse J. Op. cit. P. 20.
[74] Grosrichard F. Rotterdam dans la bataille des conteneurs — la mer scellée au fleuve. // Le Monde. 23 sept. 1982. P. 37.
[75] О строительстве гидроэнергетического каскада на Верхней Роне см.: La polémique sur l'aménagement du Rhône: décision prochaine du gouvernement // Le Monde. 28 août 1982. P. 13; о плане сообщения между Роной и Рейном — Régent C. Rhône-Alpes. Inquiétude au conseil régional: le canal mer du Nord-Méditerrannée à tout petits pas // Le Monde. 15 sept. 1982.
[76] Grosrichard F. Op. cit.
[77] Estienne P. Op. cit. P. 148.
[78] Michelet J. Journal. T. I. P. 76; 28 апреля 1830 года.
[79] Zeldin Th. Histoire des passions françaises. 1978. T. II. P. 8.
[80] Huré F. // Le Monde. 23 juillet 1980.
[81] Цит. по: Febvre L. Michelet et la Renaissance, неопубликованное сочинение, готовящееся к печати. P. 131.
[82] Фонд Флоримона. A. N., K 1242, 1 пачка; цит. по: Boislisle A. M. de (p. p.). Mémoire de la généralité de Paris. 1881. T. I. P. 284.
[83] Davity (1625). Etats de l'Europe. Pp. 64—65 et 81—82; цит. по: Boislisle A. M. de. Op. cit. P. 558.
[84] Dion R. La part du milieu..., art. cit. P. 9.

[85] Roblin M. L'époque franque // Histoire de l'Ile-de-France et de Paris, p. p. Michel Mollat. 1971. P. 56.
[86] Fox E. W. L'Autre France. 1973. P. 52.
[87] Dion R. A propos du traité de Verdun // Annales E. S. C. 1950. P. 463.
[88] Fox E. W. Op. cit. P. 52.
[89] McNeill W. H. Venice, the Hinge of Europe, 1081—1787. 1974. P. 1.
[90] Bonnaud P. Op. cit. T. II. P. 28.
[91] Pitte J.-R. Histoire du paysage français. T. I. P. 41—42 et 47—48.
[92] Michelet J. Histoire de France. Op. cit. T. IV. P. 33.
[93] Личное письмо Пьера Гуру (1980); см. также Gourou P. Pour une géographie humaine. 1973. P. 290.
[94] Musset L. La géographie de l'histoire // Histoire de France, p. p. Marcel Reinhard. T. I. 1954. P. 32.
[95] Bonnaud P. Op. cit. T. I. P. 438.
[96] Michelet J. Journal. Op. cit. T. I. P. 82.
[97] Wallerstein I. Le Système du monde du XVe siècle à nos jours. I. Capitalisme et Economie-monde, 1450—1640. 1980. P. 34.
[98] Goudar A. Les Intérêts de la France mal entendus... Op. cit. T. III. P. 34.
[99] Ibid. P. 35.
[100] Регулярными частями называются войска, в которых служат на постоянной основе, в отличие от городского и сельского ополчения, от вооруженных крестьян, которые служат лишь в определенных обстоятельствах.— Goudar A. Op. cit. T. III. P. 72—73.
[101] Corvisier A. La France de Louis XIV, 1643—1715. 1979. P. 61.
[102] Parker G. El Ejercito de Flandes y el caminto español, 1567—1659. 1976. P. 48—49; Цит. по: Braudel F. Civilisation matérielle. Op. cit. T. III. P. 170 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 201—202).
[103] Febvre L. Frontière. // Bulletin du Centre International de Synthèse. 1928. P. 32.
[104] Ibid. P. 31 sq.
[105] A. N., G 337, f° 65; цит. по: De Rochas. T. II. P. 89 // Zeller G. L'Organisation défensive des frontières du Nord et de l'Est au XVIe siècle. 1928. P. 60.
[106] Dion R. A propos du traité de Verdun. Op. cit. P. 462.
[107] Guenée B. Les limites // La France et les Français. Op. cit. 1972. P. 52.
[108] Zeller G. La France et l'Allemagne depuis dix siècles. 1932. P. 6.
[109] Renouard Y. 1212—1216. Comment les traits durables de l'Europe occidentale se sont définis au début du XIIIe siècle // Annales de l'Université de Paris. 1958. P. 5—21; перепечатано в кн.: Renouard Y. Etudes d'histoire médiévale. Op. cit. T. I. P. 77 sq.
[110] Kienast W. Die Anfänge des europäischen Staaten Systems im späteren Mittelalter. 1936; цит. по: Braudel F. Civilisation matérielle. Op. cit. T. III. P. 43, note 87 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 50).
[111] Испанские христиане, которые в пору мусульманского владычества сохранили свою религию.

[112] Martin H. цит. по: Lefebvre G. La Naissance de l'historiographie moderne. 1971. P. 186.
[113] Lot F. La Gaule, op. cit. P. 7.
[114] На эту тему см.: Huppert G. L'Idée de l'histoire parfaite (фр. пер. 1972). Эта книга была уже в печати, когда я познакомился с превосходной работой: Beaune C. Naissance de la nation France. 1985; мы еще вернемся к ней.
[115] Выражение принадлежит Лапопелиньеру; цит. по: Huppert G. Op. cit. P. 177, note 2.
[116] Ibid. P. 78 et 91.
[117] Ordonnances des rois de France. T XIII. P. 408; цит. по: Babelon E. Le Rhin dans l'histoire. T. II. 1917. P. 207.
[118] Paris G. Histoire poétique de Charlemagne. P. 62; цит. по: Babelon E. Op. cit. T. II. P. 219.
[119] Цит. по: Babelon E. Op. cit. P. 240.
[120] Le Bon J. Adages. 1577; цит. по: Benoit A. Notice sur Jean Le Bon. 1879. P. LXVII.
[121] Longnon A. La Formation de l'unité française. 1922. P. 325.
[122] Guenée B. Op. cit. // La France et les Français. Op. cit. P. 59.
[123] Aribaud M. Céret autrefois. 1932. P. 119 sq.
[124] Библиотека Арсенала, рукопись № 4574, f° 205.
[125] Grégoire, abbé; цит. по: Rousseau Ch. Les Frontières de la France. 1954. P. 12.
[126] Фридрих II; цит. по: Rousseau Ch. Op. cit. P. 10.
[127] Эрнст Морис Арндт; цит. по: Rousseau Ch. Op. cit. P. 13.
[128] Vidal de la Blache P.; цит. по: Sorre M. Les Fondements de la géographie humaine. II, op. cit. II. P. 461.
[129] Чарльз Дарвин; цит. по: Sorre M. Op. cit. T. II. P. 461.
[130] Villehardouin G. de. La Conquête de Constantinople. Ed. de 1872. P. 90.— Цит. по: Roncière Ch. de la. Histoire de la marine française. 1899. I. Pp. 2—3.
[131] Collet N. Le malheur des temps 1348—1440 // Duby G. Histoire de France, dynasties et révolutions de 1348 à 1852. T. II. 1971. P. 23.
[132] Примечание утеряно.
[133] Guillerm A. La Pierre et le Vent. Fortifications et marine en Occident. 1985. P. 166.
[134] Guillerm A. Op. cit.
[135] Пьер Гуру, личное письмо (4 февраля 1982 года).
[136] Bourgeois E. Manuel de politique étrangère.
[137] Roncière Ch. de la. Op. cit. P. 14—15; B. N., Fr 17 308, f° 21. О 30 000 возвратившихся на родину французских моряков см.: Braudel F. Civilisation matérielle. T. III. P. 161 (Бродель Ф. Материальная цивилизация... Т. III. С. 191).
[138] Malouet P.-V. Mémoiers publiées par son petit-fils. 1868. T. I. P. 173.
[139] Ibid. P. 173—174.
[140] Goudar A. Op. cit. T. III. P. 31.

[141] A. N., Marine D² 45. Быть может, речь тут идет о некоем Ганье? Мы не беремся это решать.
[142] Plan E., Lefevre E. La Bataille des Alpes 10—25 juin 1940. 1982.
[143] Войска союзных держав покинули левый берег Рейна 30 июня 1930 года.
[144] Lavisse E.; цит. по: Rousseau Ch. Op. cit. P. 7.
[145] Vallaux C. Le Sol et l'Etat. 1911. P. 364.
[146] Girard d'Albissin N. Genèse de la frontière franco-belge. Les variations des limites septentrionales de la France de 1659 à 1789. 1970. P. 313.
[147] A. N., G⁷ 269; Ипр, 3 ноября 1682 года.
[148] A. N., G⁷ 256; Лилль, 5 декабря 1689 года.
[149] Girard d'Albissin N. Op. cit. P. 26.
[150] Rocolle colonel, 2000 ans de fortification française. T. I. 1973. P. 214 sq.
[151] Ibid. T. II, схема № 134.
[152] Lavisse E. Histoire de France. Op. cit. 1908. T. VIII, l. 1. P. 131.
[153] A. N., G⁷ 377; 28 марта 1694 года.
[154] Тионвиль был уступлен Франции Испанией в 1659 году. Его знаменитый крытый мост через Мозель — в 1673 году.
[155] A. N., G⁷ 381; Мец, 3 мая 1707 года.
[156] Bellard A. Deux siècles de vie française. Metz, 1648—1848. 1910. P. 5.
[157] Ibid. P. 6.
[158] Trénard L. Histoire de Lille. 1981. T. II. P. 420; Braure M. Lille et la Flandre wallonne au XVIIIe siècle. 1932. P. 87 sq.
[159] Военный архив, A 1 1583, Готье д'Оно, Мец, 17 декабря 1701 года.
[160] Ancillon J. Recueil journalier de ce qui s'est passé de plus mémorable dans la cité de Metz, pays Messin et aux environs depuis le mois de juin 1674 jusqu'à 1683 inclusivement. Ed. de 1866. T. II. P. 138.
[161] Bellard A. Op. cit. P. 31.
[162] A. N., G⁷ 381; 15 июля 1706 года.
[163] A. N., G⁷ 376; май 1693 года.
[164] A. N., G⁷ 375; 7 сентября 1691 года.
[165] A. N., G⁷ 378; 21 августа 1697 года.
[166] A. N., G⁷ 382; 22 ноября 1709 года.
[167] Военный архив, A 1 2243, 147; 16 июля 1710 года.
[168] Военный архив, A 1 2395, 12; 14 января 1712 года.
[169] Военный архив, A 1 1583, 116; 16 июня 1702 года.
[170] Фонд Дубровского, FR 14 4° f° 30 et 30 verso, 1698. РНБ (Спб.).
[171] Горный массив в Пфальце.
[172] Современное название — Эберсберг (в Пфальце).
[173] Современное название — Кайзерслаутерн (расположен в рейнской Баварии).
[174] Военный архив, A 1 967, 78; 22 января 1690 года.
[175] Военный архив, A 1 469, 188; 13 октября 1675 года.
[176] Военный архив, A 1 1574, 143 et 146; 25 и 26 августа 1702 года.
[177] Ancillon J. Op. cit. T. II. P. 4, 10.

[178] A. N., G⁷ 382; Мец, 21 июня 1710 года.
[179] A. N., G⁷ 376; 25 февраля 1693 года.
[180] Военный архив, A 1 1955, 16; 19 марта 1706 года.
[181] Военный архив, A 1 1583, 88; 18 мая 1702 года.
[182] Военный архив, A 1 1583, 141; 1 июля 1702 года.
[183] A. N., G⁷ 379; 20 июля 1699 года.
[184] A. N., G⁷ 378; 31 октября 1698 года.
[185] A. N., G⁷ 378; 9 октября 1698 года.
[186] A. N., G⁷ 377; 13 декабря 1695 года.
[187] Во время осады Намюра было таким образом доставлено туда 15 731 сетье пшеницы. A. N., G⁷ 376; 27 декабря 1692 года.
[188] Военный архив, A 1 1583, 89; 22 мая 1702 года.
[189] A. N., G⁷ 1633; 194; 7 марта 1694 года.
[190] A. N., G⁷ 377; 27 июля 1695 года.
[191] Военный архив, A 1 1559, 104 bis; 11 января 1702 года; A. N., G⁷ 376, 383.
[192] A. N., G⁷ 415—416; 20 марта 1692 года.
[193] A. N., G⁷ 381. Сен-Контест не согласен с этим предложением.
[194] Военный архив, A 1 2395, 104; 16 июня 1712 года.
[195] A. N., G⁷ 378; 16 марта 1697 года.
[196] «Придворные жиды» — евреи-финансисты, состоявшие при дворе германских князей XVIII века.
[197] A. N., G⁷ 378; 16 марта 1697 года.
[198] Военный архив, A 1 1583, 68; 14 апреля 1702 года.
[199] В 1670 году было якобы совершено ритуальное убийство христианского ребенка — несомненно ложное обвинение. См.: Ancillon J. Op. cit. T. I. P. 63.
[200] Ibid. T. II. P. 16.
[201] Стоянка, или «этап», включала в себя жилище и провиант, предоставлявшиеся войскам на один день.
[202] Имеется в виду Витри-ле-Франсуа (департамент Марна).
[203] Ancillon J. Op. cit. T. II. P. 19—20.
[204] A. N., G⁷ 375; 7 сентября 1691 года.
[205] A. N., G⁷ 375; 27 октября 1691 года.
[206] A. N., G⁷ 377; 18 марта 1695 года.
[207] A. N., G⁷ 375; 2 февраля 1691 года.
[208] A. N., G⁷ 376; 1693 год.
[209] Военный архив, A 1 1955, 239; июль 1706 года.
[210] «Religion prétendument réformée» — «так называемая реформатская религия».
[211] A. N., G⁷ 375; 3 апреля 1691 года.
[212] A. N., G⁷ 382; 24 ноября 1708, 5 июля 1709 года.
[213] Таких, например, как Маранж. A. N., G⁷ 377; 1691 год.
[214] A. N., G⁷ 378; 26 октября 1697 года.
[215] A. N., G⁷ 377; 19 ноября 1696 года.
[216] A. N., G⁷ 379; 3 января 1699 года.

[217] Ancillon J. Op. cit. T. II. P. 37—38.
[218] Guillerm A. Op. cit. P. 152.
[219] Эта книга была уже набрана в типографии, когда мне удалось познакомиться с рукописью незаурядной и чрезвычайно тщательной работы Пьера Дюбуа, эрудита из департамента Вар: Dubois P. Histoire de la campagne de 1707 dans le Sud-Est de la France. К сожалению, этой работой я смог воспользоваться лишь для дополнения и уточнения некоторых частных деталей в своем изложении.
[220] Teissier O. Histoire des divers agrandissements et des fortifications de la ville de Toulon. 1873. P. 12—14.
[221] Ibid. P. 17.
[222] Военный архив, A 1 2041, 271.
[223] Военный архив, A 1 2041, 235; 20 июля 1707 года.
[224] Teissier O. Op. cit. P. 146.
[225] Имеется в виду тактика выжженной земли — сжигание на корню урожая при приближении армии противника.
[226] Военный архив, A 1 2042, 121.
[227] Ibid. A 1 2041, 235; 20 июля.
[228] Ibid.
[229] Dubois P. Op. cit. P. 53 (машинопись).
[230] A. N., G[7] 469; 1 января 1706 года.
[231] Военный архив, 15 марта 1706 года.
[232] Военный архив, 26 марта 1706 года.
[233] Lavisse E. Histoire de France, op. cit. T. VIII. P. 103 et 106.
[234] Mémoires et Lettres du Maréchal de Tessé. 1806. T. II. P. 235.
[235] Они были захвачены в Савойе — в ряде случаев с помощью местных крестьян, получавших за это вознаграждение.
[236] A. N., Marine B 3 150.
[237] Туринский архив, Materie Militari, 1707.
[238] Итальянский портовый город близ французской границы.
[239] Maréchal de Tessé. Op. cit. T. II. P. 239.
[240] Saint-Simon L. de. Mémoires (1702—1708). Ed. Pléiade. 1969. T. II. P. 906—907.
[241] Миллион ливров.
[242] Saint-Simon L. de. Op. cit. T. II. P. 907.
[243] Военный архив, A 1 2041, 279; Экс, 26 июля 1707 года.
[244] Военный архив, A 1 2041; A. N., Marine B 3 150.
[245] Военный архив, A 1 2041, 266.
[246] A. N., Marine B 3 149.
[247] Tessé. Op. cit. T II. P. 258.
[248] Saint-Simon L. de. Op. cit. T. II. P. 906.
[249] Военный архив, A 1 2041, 233; 31 июля 1707 года.
[250] Военный архив, A 1 2042, 49; 5 августа 1707 года.
[251] Военный архив, A 1 2042, 51; 4 августа 1707 года.

[252] Военный архив, A 1 2042, 14; 2 августа 1707 года.

[253] В старину боевые корабли подразделялись по рангам в зависимости от своей величины и вооружения.

[254] Dubois P. Op. cit.P. 193 (машинопись).

[255] Военный архив, A 1 2042, 170; 6 августа 1707 года.

[256] Военный архив, A 1 2042, 366; Гриньян, Марсель, 31 августа 1707 года.

[257] Brun V. Guerres maritimes de la France: Port de Toulon, ses armements. T. I. 1861. P. 125—126.

[258] A. N., Marine B 3 149; 30 августа 1707 года.

[259] Военный архив, A 1 12042; 6 сентября 1707 года.

[260] Военный архив, там же, 20 октября 1707 года.

[261] Военный архив, там же, 9 октября 1707 года.

[262] Военный архив, A 1 2042, 116 bis; 11 августа 1707 года.

[263] В 1707 году на содержание шести кораблей, имевших 2460 человек экипажа, в течение двух месяцев отводилось 158566 ливров (88200 — на денежное довольствие и 70366 — на пищевое). К этому следует прибавить расходы на материальную часть.

[264] Не путать с другим кораблем «Руаяль Луи», который был построен в Тулоне в 1667 году и стал первым кораблем, несшим на борту 120 пушек.— Maurel P. Histoire de Toulon. 1943. P. 102.

[265] Brun V. Op. cit. T. I. P. 110.

[266] Ibid. T. I. P. 145—146.

[267] «Набор под нажимом» — принудительный набор матросов.

[268] Москва, Архив внешней политики России, 93/6—497—34V°; Бордо, 27 августа 1787 года.

[269] Corvisier A. L'Armée française de la fin du XVIIe siècle au ministère de Choiseul. 1964. T. I. P. 241—242.

[270] А. Корвизье, выступление на коллоквиуме в Прато (готовится к печати).

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ

СПИСОК-УКАЗАТЕЛЬ КАРТ, СХЕМ, ДИАГРАММ, РИСУНКОВ
(по алфавиту главных объектов изображения)

Безансон — Город Безансон 164
Интенсивность телефонной связи в окрестностях Безансона (1956—1958) 173
Бургундия — «Края» Бургундии 33
Версаль — Происхождение женатых жителей Версаля (1682—1689) 157
Галлия — Граница, проходящая по центру Галлии (около 400 года) 79
Гасконь — Многоликая Гасконь 30
Гондрекур — Гондрекурский кантон и его окрестности 140—141
Население Гондрекура и окружающего его кантона 146
Деревни — Разреженная застройка (деревушки, деревни и секции коммун) в 1981 году (по департаментам) 107
Кан — Окрестности Кана 210
Карла Великого империя — Раздел империи Карла Великого по Верденскому договору 843 г. 275
«Квадратный луг» — 294
Крепости — Крепости на восточной границе 292
Кровельные покрытия — Типы кровельного покрытия в разных районах Франции 37
Лион — Римские дороги в окрестностях Лиона 243
Иммиграция в Лион (1529—1563) 161
Лотарингия — Пути продвижения римлян по Лотарингии и зона распространения средиземноморской черепицы 143
Луара — Большая луарская шаланда 186
Марсель — Неравномерное и неполное использование французского рынка марсельскими торговцами 159 снизу
Местные говоры — Медленное исчезновение местных говоров 73
Мец — Численность гарнизонов Мецского департамента 299
Овернь — Региональная специализация сезонных рабочих в Оверни накануне революции 131
Откупа — Территория пяти главных откупов 53
Париж — Некоторые пути снабжения Парижа в конце средневековья 223

Растения южные — Северная граница распространения некоторых южных растений 44
Религиозные войны — Религиозные войны не могли охватить разом всю территорию Французского королевства 91—92
Роанн — Город Роанн в середине XVIII века 183
Изменение социопрофессионального состава населения Роанна 191
Перехват Роанном торговых перевозок через Шарлье 180
Рона — Острова на Роне 248
Схема проводившихся на Роне работ, приложенная к записке Вобана (1686) 250
Рона от косы острова Барталас до района Иссаф. Старинная карта 1625 г. с проектом изменения русла Роны 251
Гидротехническое оборудование Роны в XX веке 262
Руан — Неравномерное и неполное использование французского рынка руанскими торговцами 159 сверху
Савойя — Провинция и ее «края»: Савойя в XVIII столетии 27
Семья — Сорок пять департаментов с наиболее сильным преобладанием больших семей 82
Средиземноморье — «Среднероманская средиземноморская зона» 78
Тулон — План Тулона и подступов к нему в период осады 1707 года 321
Осада Тулона в 1707 году 324
Экс-ан-Прованс — Иммиграция в город Экс-ан-Прованс в XVIII веке 155

СПИСОК ЦВЕТНЫХ РЕПРОДУКЦИЙ НА ВКЛАДКЕ

1. В средневековом лесу: сбор желудей. Свиньи ищут пропитание под присмотром свинопасов. Поль де Лимбург. Роскошный часослов герцога Беррийского. Музей Конде. Шантийи. Репродукция Телярди-Жиродона.— *Первая полоса вкладки.*
2. Сельский труд с течением времени почти не меняется. Пьер де Кресан. Сельский календарь. Музей Конде. Шантийи. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Разворот второй — третьей полос вкладки.*
3. Вблизи столицы: сторож из Виллер-Котре охраняет хлебное поле. Картина Кармонтеля. Музей Конде. Шантийи. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Четвертая полоса вкладки.*
4. В кабачках Парижа и его окрестностях французы веселятся за бутылкой доброго местного вина. Вывеска торговца вином. Музей Карнавале. Париж. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Пятая полоса вкладки.*
5. Рынок скота в Онфлере в 1823 году привлекает на побережье крестьян из края Ож и Верхней Нормандии. Картина А. Кс. Лепренса. Лувр. Париж. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Разворот шестой — седьмой полос вкладки.*

6. Прокладка дороги. Картина Жозефа Верне. Лувр. Париж. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Разворот восьмой — девятой полос вкладки.*
7. Процветающий и полный сил город Руан в XVIII веке. Картина Пьера-Дени Мартена. Музей изящных искусств. Руан. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Развороты десятой — одиннадцатой и двенадцатой — тринадцатой полос вкладки; на втором развороте — деталь картины.*
8. Покорение Монтобана в 1629 году: магистраты и представители городских цехов сдаются на милость Ришелье. Картина неизвестного художника. Версальский дворец.— *Разворот четырнадцатой — пятнадцатой полос вкладки.*
9. Осада Безансона армией Людовика XIV. Картина Ж.-Б. Мартена де Батая. Музей изящных искусств. Кан. Репродукция Лоро-Жиродона.— *Шестнадцатая полоса вкладки.*

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Алфавитный порядок рубрик в указателе — «буква за буквой», т. е. по алфавиту букв независимо от того, сколько слов в их заголовках. Пример:

Ларань
Ла Реоль

При порядке «слово за словом» эти рубрики шли бы в обратном порядке — сначала по буквам первых слов, затем по буквам вторых и т. д.

Инверсия применена только в случаях, когда в качестве первого слова названия использовано прилагательное, которое не является частью официального или принятого географического названия, например: *Шампань беррийская* вместо *беррийская Шампань*.

Ссылки на страницы с основными, наиболее существенными сведениями о географическом объекте выделены полужирным шрифтом и выдвинуты на первое место, а ссылки к разделу «Примечания...» — курсивом.

Если название повторяется на странице несколько раз, у ссылки в индексе стоит цифра, обозначающая число повторов: 180_3 — на странице название повторяется три раза в разных строках.

Из подписей и надписей к картам и схемам в указатель включены только названия из основной надписи (подписи); названия же географических объектов на картах и схемах (даже если они переведены в легенде подписи) в указателе не отражены.

Вошли в указатель и географические названия из заглавий произведений печати, описания которых даны в разделе «Примечания...»

(ссылки на них с индексами — номерами примечаний выделены курсивом).

Указатель отражает и такие сочетания, как *лотарингская деревня* или *провансальские крестьяне* (соответственно в рубриках *Лотарингия* и *Прованс*), поскольку подобные сочетания характеризуют и географические объекты, а также сочетания типа *юг Франции* или *север Франции* — в рубриках *Южная Франция* и *Северная Франция*.

Если название состоит из двух слов типа *Южный Эльзас*, то оно отражается и в рубрике названия полного объекта, т. е. в данном случае в рубрике *Эльзас*.

На французском языке дублируются только названия французских географических объектов.

Принятые сокращения в подзаголовках рубрик и подрубрик или у ссылок на страницы:

в — верхний (у индексов с номером примечания, если на странице два одинаковых номера)
возвыш. — возвышенность
деп. — департамент
дол. — долина
к — карта (при номере ссылки на страницу, где напечатана карта)
лат. — латинский
н — нижний (у индексов с номером примечания, если на странице два одинаковых номера)
назв. — название
о-в — остров
оз. — озеро
р. — река
совр. — современный
фр. — французский

Аахен 274, 281
Аваллон / Avallon 39
Аверон / Aveyron, деп. 74, 124, 136
Авиньон / Avignon 66, 93, 152_3, 165, 179, 236_3, 241, 242, 244, 246, 249_3, 252
Авраншен / Avranchen 32
Адриатика, Адриатическое море / Adriatique 232
Ажан / Agen 67
Азен / Azun, дол. 32
Аквитания средиземноморская / Aquitaine médiévale 117, 342_{45}
Аквитанский бассейн / le bassin d'Aquitaine 218
Акку / Accous 96
Алансон / Alençon 32, 203
Алес / Alès 179
Алжир 100, 274_2
Алье / l'Allier, р. 42, 90, 93, 179, 184_2, 187, 188_2, 199, 237, 348_{221}
Альпы / l'Alpes:
  влияние на Прованс 28
  войны 256, 257, 313, 314_2, 323, 325, 357_{142}
  граница 42_2, 65, 279, 283, 284, 290
  дороги 93, 245, 254, 259_2
  население 49, 258
  приручение 42_2
  разные части 27, 28, 29, 45, 46, 74, 95, 101, 108, 132_2, 153, 247

разных стран 232_2, 274
селения 42, 126
торговля 130, 219, 245
Амбер / Ambert 184
Амбрюнуа / Embrunois 95
Америка 43, 188, 205, 217_2, 273 *см. также* Новый Свет
—Испанская 205, 217 (испано-португальская)
Амплепюи / Amplepuis 217
Амстердам 217, 305
Амьен / Amiens 38, 183, 208, 225
Ангитар / Anguitard 57
Англия:
взаимоотношения с Францией 170, 215, 217, 234, 278_3, 279_2, 285
войска 271, 272
дороги 234
завоевание Древним Римом 233
особенности 23, 33, 67, 68, 75, 83, 86_2, 97, 216, 234, 269, 270_3, 277
флот 330
Ангулем / Angoulême 57
Ангумуа / Angoumois 285
Андалусия 110
Анданс / Andance 238_2, 246
Андансет / Andancette 246
Андело / Andelot 144_2
Анделяр / Andelarre 128
Андрезье / Andrézieux 187
Анды 42
Анже / Angers 190_2, 203_3, 226
Анжу / Anjou 95, 123, 135, 202, 246
Анмас / Annemasse 34
Антверпен 245, 260
Антиб 313
Антильские острова 205, 217
Аостская долина / val d'Aoste 314
Апеннины 42
Аппиева дорога 234
Апремон / Apremont 184
Апт / Apt 137_3, 152_2
Арбуа / Arbois 27, 171_2
Арбуа / Arbois, гора 46
Арв / l'Arve, р. 238
Аргентинская пампа 47
Аргонны / Argonne 36_2, 121, 276, 343_{70}
Арденнские леса / forêts de l'Ardenne 122
Арденны / les Ardennes 36, 41, 292к, 295_3
Ардеш / l'Ardèche, р. 235
Аржансские холмы / collines d'Argences 212
Аржантене / Argentenay 128
Арк / l' Arc, р. 29
Аркашон / Arcachon 127
Аркей / Arcueil 115
Арлон / Arlon 295_2
Арль / Arles 29, 40, 68, 74_3, 179, 236_2, 239, 241, 246, 260, 312_3, 319
Армансон / Armançon 128
Армиссан / Armissan 70
Арморикансий массив / massif Armoricain 110_2
Арморикансное плоскогорье / les bas plateaux d'Armorique 41, 111
Арпажон / Arpajon 119
Аррас / Arras 56, 234
Арру / Arroux, дол. 126
Арсезэ / Arcesais, край 32
Асп / Aspe, дол. 96
Аспак-ле-Ба / Aspach-le-Bas 136
Аспак-ле-О / Aspach-le-Haut 136
Аспр / l'Aspre, террасы 46, 106 (руссийонская)
Асти / Asti 242
Атенуа / Atenois, край 32
Атлантический океан 42, 217, 218, 232, 233, 257, 275, 279, 286_2, 309
Аугсбург 245
Африка 158, 273, 277, 327, 328
Ашер / Achères 119

Бавария 297, 313, *357*$_{173}$
Базель 149, 170, 171, 217, 245, 261, 281, 290
Байонна / Bayonne 90, 206, 312
Балканы 172
Балле / Ballée 204
Балтийское море 158, 217, 232, 242
Бар / Bar 129, 149 (герцогство)
Бар «королевский» / Barrois mouvant, часть герцогства Бар 127, 149$_2$, 150
Барасе / Baracé 135
Бареж / Barèges, дол. 32
Бар-ле-Дюк / Bar-le-Duc 138, 144, 145, 147$_2$, 148$_4$, 149
Барруа / Barrois, плато 139, 142
Барселона 277, 313$_2$, 327
Барселоннет / Barcelonnette, высокогор. равнина 108, 314
Бар-сюр-Об / Bar-sur-Aube 136$_2$
Бар-сюр-Сен / Bar-sur-Seine 134
Бар-сюр-Сен / Bar-sur-Seine, край, *то же, что* «секванский Бар» 19, *334*$_5$
Баруа / Barrois 225
Бассиньи / Bassigny, край 32, 138
Басюргер / Batsurguère 32
Баттан / Battant 165
Безансон / Bésancon **160—174**, 27, 60, 138, 164к, 173к, 174, 178, 254, *347*$_{165, 171, 179, 183}$
Безье / Béziers 67
Белен / Belin 127
Бельвиль / Belleville 179, 182, 185
Бельгард / Bellegarde 27
Бельгия 9, 283, 313
Бельфор / Belfort 162, 171
Беневенто 274
Бербис 327
Берлин 218
Берри / Berry 22, 181, 330
Бессен / Bessin 32
Бефор / Belfort 136
Бигорр / Bigorre 19, 334$_2$
Бидассоа / la Bidassoa, p. 277
Бич / Bitche 295$_2$
Бичвиллер / Bitschwiller 136
Блезуа / Blésois, край, *то же, что* Блуа / Blois 138
Блуа / Blois, замок 89
Блуа / Blois, край, *то же, что* Блезуа / Blésois 138
Бове / Beauvais 205, *332*$_{17}$
Бовези / Beauvaisis 30
Бож / Bauges 81
Божё-на-Соне / Beaujeu sur la Saône 182$_2$
Божоле / Beaujolais, горы 176, 177$_3$, 182, *350*$_{263}$
Божоле / Beaujolais, край 182, 192
Бокер / Beaucaire 70$_2$, 158, 234, 236, 239, 241$_2$, 246, 315
Бом-ле-Дам / Baume-les-Dames 171$_2$
Бомон-сюр-Уаз / Beaumont-sur-Oise 222
Бон / Beaune 38$_2$, 71, 308
Бонваль / Bonneval 135
Бонвиль / Bonneville 34, 156
Бонди / Bondy, лес 121—122
Бонн / Bonn 304$_3$
Боннан / le Bonnant, p. 46
Бонне / Bonnet 117$_2$, 144, 147$_2$
Бон-сюр-Менож / Bonne-sur-Ménoge *336*$_{71}$
Боньер / Bonnières *то же, что* Боньер-сюр-Сен / Bonnière-sur-Seine 153$_2$, *346*$_{152}$
Бордо / Bordeaux **64**, 22, 50, 59, 63, 64$_3$, 75, 93, 127, 200, 208, 216$_2$, 217$_2$, 218, 222, 308, 312, *340*$_{170}$
Бордоский округ / district de Bordeaux 71
Бос / Beauce, край 35, 56, 184$_2$
Бос / Beauce, плато 35, 99, 266
Ботуа / Bauptois 32
Бофор / Beaufort 95
Бразилия 47

Бре / Bray 22, 30, 47_2
Брель / la Bresle, p. 277
Брес / Bresse, край 156, 242 (центральный), 247, 282
Брес / Bresse, низменность, равнина 35, 71, 167
Брест / Brest 216, 309, 326
Бретань / Bretagne:
географические особенности 112, 118, 201, 309
деревня 105, 106
дороги 111
защитник католицизма 67
литература о ней *334_8*, *337_{94}*, *344_{84}*
население 60_2, 72, 74, 83_2, 95, 110—111, 329
присоединение к Франции 285, 287_2
разнообразие частей 26_2
экономика 201_2, 215, 225, 246
Бри / Brie, край 36, 56
Бри / Brie, плоскогорье 36, 37, 266
Бриансон / Briançon 313, 314
Бриансоннэ / Briançonnais 132
Бриарский канал / le canal de Briare 181—182, 193, 196_2, 263
Брив-ла-Гайярд / Brive-la-Gaillarde 200_3
Бриеннуа / Briennois, край 32
Бриньоль / Brignoles 109
Брионнэ / Brionnais 179
Брове / Brovès 120
Брюгге 154, 234, 245
Брюн / Brun, мыс 310, 320_2
Буази / Boisy 197, *347_{190}*
Бувин / Bouvines 277
Буйон / Bouillon 122, 295
Булонь / Boulogne 233
Бульк / Boulc 135
Бурбоннэ / Bourbonnais 81, 157, 176, 184, 199, 254, 330, *348_{221}*
Бургундия / Bourgogne:
вино 192
герцогство и графство 138
деревни 51, 54
доход с гектара земли 222
карта 33
крестьяне 120
литература о ней *335_{36}*, *337_{98}*, *341_8*, *342_{34}*, *343_{60}*, *347_{169}*
мигранты 156, 221, 225
монастыри 241
парламент 62
площадь 87, 247
пограничная земля 295
разнообразие частей 26, 32_3
расцвет 244
Сона в ней 247
язык 71
Бургундские ворота / la porte de Bourgogne 233
Бургундские штаты / Etats de Bourgogne 308
Бургундский канал / le canal de Bourgogne 263
Бур-Сент-Андеоль / Bourg-Sainte-Andéol 238
Буш-дю-Рон / Bouches-du-Rhône *335_{28}*
Бьем / la Biesme, p. 276_2
Бюже / Bugey, край 247, 282
Бюиссон д'Аманти / Buisson d'Amanty 138

Валанс / Valence 43, 65, 69, 93, 154, 244, 246, 254, *340_{170}*
Валансьенн / Valenciennes 128
Вале / Valais 126
Валлаж / Vallage, край 32, 138
Валлеспир / Vallespir 26, 46
Валлорб / Vallorbe 172
Валуа / Valois 45
Вальдаон / Valdahon 27
Вальзерина / la Valsérine 27
Вальреас / Valréas 152
Вандранж / Vendranges 135
Ванту / le Ventoux, гора 29

Вар / Var, деп. *359*$_{219}$
Вар / le Var, р. 65, 316, 317, 318
Везле / Vézelay 19, 38, 39
Везле / Vézelay, холм 39
Везонтион / Vesontio, лат. назв. Безансона 162$_2$, 163
Везуль / Vesoul 128, 167, 171$_2$
Вексен / Vexin, край 30
Веле / Velay 41$_2$, 44, 330
Великий Французский путь / Grande Voie Française 179, 182
Вена 218, 309, 315
Венессен / le Comtat-Venaissin, графство 247, 252, *341*$_{15}$
Венеция 97, 220, 245$_2$, *333*$_{30}$, *355*$_{89}$
Верден / Verdun **274—276**, 128, 145, 149, 295$_2$, 298, 303, 304$_2$, *337*$_{82}$, *355*$_{87}$
Вернезон / Vernaison 238
Версаль / Versailles 60, 63, 157к, 216, 217, 225, 296, 303, 305, 315$_2$, 316, 317, 326, *343*$_{62}$
Верхние Альпы / les Hautes-Alpes 95, 132$_2$
Верхние Пиренеи / les Hautes-Pyrénées 127, *344*$_{97}$
Верхний Лангедок / le Haut-Languedoc 103
Верхний Ливенак / Livinhac-le-Supérieur (ныне Livinhac-le-Haut) 124
Верхний Прованс / la Haute-Provence 108
Верхний Тарантез / la Haut Tarentaise 314
Верхняя Дива / le Haut-Diois *344*$_{106}$
Верхняя Луара / la Haute-Loire 187
Верхняя Нормандия / la Haute-Normandie 29, 214
Верхняя Овернь / la Haute-Auvergne 49
Верхняя Рона / la Haut Rhône 260, 261, *354*$_{75}$
Верхняя Савойя / la Haute-Savoie, деп. 126, 156
Верхняя Савойя / la Haute-Savoie, край 16, 40, 50, 95, 132, *336*$_{71}$, *342*$_{39}$, *344*$_{99}$
Верхняя Сона / la Haute-Saône *344*$_{103}$
Верхняя Шампань / la Haute-Champagne 35
Верхняя Юра / la Haut-Jura 166, *334*$_{10}$
Виварэ / Vivarais 44, 132, 247$_2$
Вик / Vic *337*$_{82}$
Виллере / Villerest 179, 181, *348*$_{204}$
Виллер-Котре / Villers-Cotterets 74
Виллет / Villette 222
Вильдье-ле-Пуаль / Villedieu-les-Poêles 48, 213, *336*$_{63}$
Вильнев-лез-Авиньон / Villeneuve-les-Avignon 246, 249, 252$_3$
Вильфранш / Villefranche 182, 313
Виньоль-лез-Аттоншатель / Vigneulles-lès-Hattonchâtel 144, 145
Вир / la Vire, р. 30
Вири / Viry 132, *345*$_{112}$
Виро / Vireaux 128
Виссенбург / Wissembourg 26
Витри / Vitry 306
Витри-ле-Франсуа / Vitry-le-François 225, 308, *358*$_{202}$
Виттельшайм / Vittelsheim 136
Виши / Vichy 90, 184, 198
Внутреннее море / la mer Intérieure, неофиц. назв. Средиземного моря 217, 232, 233, 241, 285$_2$, 286
Во / Vaux 117, 138
Вогезы / les Vosges, горы 41, 119, 136 (эльзасские), 162
Вогрийская плотина / barrage de Vaugris 260
Воклюз / Vaucluse, деп. 152, *346*$_{131, 151}$

Вокулер / Vaucouleurs 144
Вольвик / Volvic 184
Восточная Европа 41, 116, 284
Восточная Франция / L'Est de la France 55, 109, 115, 167, *337*$_{83}$
Вуа / Void 143, 144$_2$, 303
Вуад / Voide 138
Вутон-О / Vouthoh-Haut 142, 144, 147
Вьенн / Vienne 236, 238, 246, 254
Вье-Танн / Vieux-Thann 136

Гаага 288, 309, 315
Гавр / Havre 211, 240, 260, 263$_2$, 269, 270
Галлия:
  города 241, 255$_2$
  границы 279, 281$_2$, 282$_2$, 283$_2$
  Западная 242
  завоевание Римом 15, 43$_2$, 111, 255
  карта 79
  литература о ней *333*$_{43}$, *339*$_{156}$
  население 162, 266, 280
  провинции 43
  связь Франции с нею 9$_4$, 268, 279, 280$_4$, 282, 283
  Северная 242
  территория 87, 242$_2$, 279
  христианство в ней 163
  эксплуатация Римом 233, 255, 256
Гамбург 218, 232, 245, 260
Гап / Gavots 132
Гард / Garde, оз. 97
Гаренн / Garennes 119
Гареуль / Garéoult 109, 109—110
Гаронна / la Garonne, р. 39, 65, 71, 218, 232—233
Гасконский залив / golfe de Gascogne 232
Гасконь / Gascogne 30—31к, 32$_2$, 71, 74, 85
Гаст / Gast 205
Гастингс 86, 278
Гатин / Gâtine 19, 109, *334*$_{4в}$
Гатинэ / Gâtinais 23
Гвинея 206
Гебвиллер / Guebwiller 154
Гевенайм / Guewenheim 136
Генуэзский залив 232
Генуя 68, 245$_3$, 315
Германия:
  география 23, 97, 217, 245$_2$, 259, 261, 282
  города 245
  государство 250, 274, 275
  империя 244
  и Франция 217, 260, 284$_2$, 303, 304, *355*$_{108}$
  население 83, 95
  связи 199, 217$_3$, 232, 233
  Южная 50, 51, 260
Гибралтар 240, 245, 286, 313, 327
Гибре / Guibray 158, 215
Гийенна / Guyenne 71, 85
Гландаж / Glandage 135
Голландия см. Нидерланды
Гондрекур / Gondrecourt **138—150**, 146к
Гондрекурский кантон / canton de Gondrecourt 140—141к
Грасс / Grasse 316
Гре / Gray 136, 166, 167, 170, 171$_2$, 173
Грез-ан-Буар / Grez-en-Boire 204
Гренель / Grenelle 221
Гренобль / Grenoble 63$_5$, 67, 68, 154, 254, 313, *337*$_{99}$
Гриньян / Grignan *360*$_{256}$
Гро-Кайу / Gros-Caillou 221

Давантег / Davantaygue 32
Дальний Восток 158, 217
Данвиллер / Damvillers 144$_2$, 145
Данмари / Dannemarie 136
Деманж-оз-О / Demange-aux-Eaux 144, 147

Денвиль-о-Форж / Dainville-aux-Forges 147
Денен / Denain 297
Ден-сюр-Мез / Dain-sur-Meuse 144
Десиз / Decize 90, 175_2, 192
Див / la Dives, p. 211, 216
Дива / le Diois, массив 129, 132
Дивская пойма / les rives humides de la Dives 212
Дигуэн / Digoin 192, 198
Дижон / Dijon 62, 63, 71, 89, 156, 171, 172, 173_2, 233, 254
Доль / Dole 60, 164_2, 165, 167, 169, 171_2, 172, 173_2
Домре / Daumeray 135
Домреми / Domremy 123
Донзер / Donzère 237
Доннерсберг / Donnersberg 301
Донфрон / Domfrontais 211
Дофинэ / Dauphiné 65, 85, 103_2, 128, 154_2, 157, 184, 221, 239, 241, 242, 247, 312, 314, 315, 323, *353_{55}*
Драгиньян / Draguignan 94, 120, *340_{175}*
Дрё / Dreux 100, 225
Древний Рим 15 (Рим), 226 (Римская империя), $242_{вр}$
Ду / Doubs, p. 162_4, 163, 165, 166_3, 167, 174
Дувр / Douvres 284
Дунай 297
Дюнкерк / Dunkerque 13, 59, 263, 291, 293, 309, 313, 315, *337_{92}*
Дюранса / la Durance, p. 93, 109, 235, 238, 239
Дюрталь / Durtal 135_2

Египет 93, 242
Енисей 268

Жеводан / Gévaudan 48, 55
Жекс / Gex, край 27, 138, 247, 282
Женева 27, 34, 70, 101, 113, 239, 240, 246, 254, 260, *354_{66}*
Женевское озеро 80, 101, 162
Женисьа / Génissiat 260
Живе / Givet 293, 295_3
Живор / Givors 238_2, 246
Живорский канал / canal de Givors 198
Жинеста / Ginestas 151, *345_{117}*
Жонк / Jonques 28
Жуанвиль / Joinville 144
Жуанн / Jouanne, p. 206
Жуаньи / Joigny 225
Жунь / Jougne 165
Жьен / Gien 226
Жюин / la Juine, p. 35
Жюйяк / Juillac 71

Западная Галлия 242
Западная Пикардия 108
Западная Франция / France de l'Ouest 39, 203, *337_{85}*
Зеленого Мыса острова 327

Иберийский полуостров 278
Ивреа / Ivrée 314
Иврийские холмы / les côteaux d'Ivry 221
Игранд / Iguerande 176
Иемуа / Hiemois 32
Изер / l'Isère, оз. 154
Изер / l'Isère, p. 235, 238, 239, 326
Иль-де-Франс / Ile-de-France 23—24, 36_2, 94, 218, 254, 264, 265_3, 266_2, 267, 331, *340_{176}*, *355_{85}*
Ипр / Ypres 297, *357_{147}*
Ирландия 277
Испания:
войны 14, 168, 277_2, 278, 279, 297, 312, 313
географические особенности 23, 45, 69, 97, 283
история страны 13—14, 14

и Франция 50_2, 95, 169, 184, 218, 263, 291, *357_{154}*
литература о ней *333_{39-41}*, *357_{154}*
«сущность» 14
флот 286
язык 282
Испанская Фландрия 304
Испанские Нидерланды 313
И-сюр-Тиль / Is-sur-Tille 124
Италия:
войны 279, 297, 313, 314_2, 319
генуэзские купцы, возвращение в нее 168
географические особенности 23, 45, 97
города 200, 245_2
история становления как государства 234, 245
и Франция 68, 93, 127, 165, 172, 183, 217, 236, 254, 263, 274, 302, 304
семья 83

Йер-ле-Шатель / Ieure-le-Châtel 122
Йерские острова 309, 319
Йонна / l'Yonne, p. 219, 233, 269

Кавайон / Cavaillon 137
Кагор / Cahors 233
Кадис 205, 206, 218
Кайенна / Cayenne 123
Кайзерслаутерн, совр. назв. Кейзерслутра 301, *357_{173}*
Кале / Calais 278, 284
Камарга / Camargue 40_2
Камаргская равнина / platitudes de la Camargue 24
Кампан / Campan, дол. 127
Кампания 163
Кан / Caen **208—216**, 29, 32, 56, 59, 152, 153, 203, 205, 210к, *351_{299}*
Канада 206, 217
Канада / Canada, фр. деревня 123
Кане / Canet 151
Канн / Cannes 66, 316
Канская равнина / plaine de Caen 32
Капоретто 93
Каркассонн / Carcassonne 157
Карпантра / Carpentras 137, 152_3, 153
Касси / Cassis 29
Кастеллубон / Castelloubon 32
Кастилия 285
Кастиньяк / Castignac 320
Каталония 283, 313
Кашан / Cachan 115
Кейзерслутр, преж. назв. Кайзерслаутерна 301, *357_{173}*
Кельн 233, 245
Кенже / Quingey 171_2
Кипр 244
Клермон-Ферран / Clermont-Ferrand 51, 198, 199, 200
Ко / Caux, край 22, 30, 47
Кольмар / Colmar 154
Коммерси / Commercy 303
Компьень / Compiègne 90, 225
Кондрие / Condrieu 238
Константинополь 285, *356_{130}*
Контамин / Contamines 50
Конфлан / Conflent, край 40
Корби / Corbie 38
Корлуа / Corlois 32
Корнуай / Cornouaille 23
Коррез / Corrèze, деп. 71, 94, 112, 127
Корсика / Corce 66
Коссе / Cossé 204
Котантен / Cotentin 30
Кот д'Ор / la Côte-d'Or, возвыш. 233
Кот д'Ор / Côte-d'Or, деп. 124, 151, *344_{82}*, *346_{146}*
Котре / Cauterets 67
Котре / Cauterets, дол. 32

Кран / Kraon 208
Крезо / Creusot 51
Крейе / Creyers 135
Крепи-ан-Лаоннуа / Crépy-en-Laonnois 88
Крозон / Crozon 112
Круа-Фарон / Crois Faron 320
Крым 93
Куломье / Coulommiers 225
Кунео 314
Кур / Cours 177
Кюр / la Cure, p. 38
Кюэр / Cuers 317

Лаваль / Laval 200—208, 56_2, 58, 212, 213, 215, *337_{85}*, *$350_{272, 273, 276}$*
Лавальский округ / l'arrondissement de Laval 204_2
Лаведан / Lavedan 32
Лаймбах / Leimbach 136
Ла-Манш / la Manche 211_2, 217, 225, 269, 275, 279_2, 286, 315, *353_{44}*
Лангедок / Lahguedoc:
влияние на страну 67
— — него Тулузы 218
войны 247, 315_2
города 70, 217, 218, 245
граница 247
деревня 85
дороги 187, 236, 239, 241
литература о нем *$338_{102, 105}$*, *353_{54}*
население 45, 64, 329
присоединение к Франции 242, 252, 279, 285, 287
реки 247
сельское хозяйство 117, 132
споры с Провансом 249
чума 103_2
Лангр / Langres 124, 149, 162
Ландау 291, 294, 295
Ландиви / Landivy 201
Ландреси / Lendrecies 128
Ланды / Landes 71
Лаов / Lauw 136
Ларань / Larange 29
Ла Реоль / La Réole 65
Ларзак / la Larzac, плато 118
Ла-Рош-Гюйон / La Roche-Guyon 273
Ла-Рошель / La Rochelle 233, 285, *354_{62}*
Ларош-Сен-Андре / La Roche-Saint-André *354_{60}*
Ласкен / Lascun 96
Лас-Навас-де-Толоса 277, 278
Ла-Уг / La Hougue 286, 326
Лациум 163
Лачуги / Loges 123
Левант 158, 183, 245, 312, 327, 328
Лезин / Lézinnes 128
Ле-Крозе / Le Crozet 179
Ле-Ман / Le Mans 203_3, 205, 208, 226
Леон / Léon 23, 71
Ле Понтье / Les Ponthieux 16
Ле-Пюи / Le Puy 179_2, 190
Лер / Lhers 96
Ле Рери / Les Rairies 135
Ле-Роше-де-Кондрие / le Rocher de Condrieu 238
Ле Руаз / Les Roises 144
Лилль / Lille 208, 216, 217_2, 297_4, 313, 315, *$357_{148, 158}$*
Лиме / Limay 119
Лимож / Limoges 67, 152, *344_{88}*
Лимузен / Limousin 22, 50_2, 65, 80_2, 85, 110, 112, 125, 126, 130, 156, 221, 239, 330, *342_{30}*
Линьи-ан-Барруа / Ligny-en-Barrois 138, 143, 144, 147_3, 148_2, 149, 150
Линьон / le Lignon, p. 174
Лион / Lyon **253—259**
большой город 173, 174, 208
«вольный уголок» 61

генуэзские купцы в нем 168_3
голод 184
дороги 50, 93, 162, 166, 174, 178, 179_2, 181, 182, 183, 185_3, 186, 187, 188, 189, 195, 199, 200, 217, 233, 236_5, 237, 239_2, 240_3, 242, 260_3, 261, 263, 312
жители 70, 95, 216, 238
«заграничный Милан» 217
и Роанн, перевозки 184, 185
карты 161, 243
колониальная столица 242
конюшни 237
литература о нем *338_{102}*, *344_{98}*, *352_{14}*, *353_{48}*, *$354_{62, 64, 68, 70}$*
Наполеон в нем 93
порт 236, 253, 263
правители 58_2, 64
привилегии 61
приграничный город 217
присоединение к Франции 242
промышленный центр 177
расцвет 244
соперник других городов 59, 173, 174, 181, 198_2, 219_3, 270
торговый центр 205, 217
финансовый центр 219, 305, 312
ярмарки 219, 234, 241_2, 244, 254
Лионнэ / Lyonnais 239, 241, 247, 253_2, *339_{145}*
Лионский залив / golfe du Lyon 232
Лиссабон 206, 273
Ло / le Lot, p. 42
Лодевуа / Lodévois 118
Лозанна 162
Лозер / Lozère 101_2
Лонгви / Longwy *337_{82}*
Лондон 66, 69, 234, 245, 269, 285, 309, 315
Лон-ле-Сонье / Lons-le-Saunier 167, 168_2, 171_2
Лорьян / Lorient 136
Лотарингия / Lorraine:
борьба за обладание ею 275, 277, 281_2, 283, 296_2
герцогство 149
государство 274, 275, 295_2, 302
деревни 51, 105, 106, 108, 115, 123
дома 142
житница Меца 296, 303
карты 143, 292
королевство 244
литература о ней *338_{107}*, *347_{164}*
мигранты 221, 225
присоединение к Франции 242, 296
разнообразие частей 26
сел. хозяйство 139, 142, 308
флюгера 34
экономическая диктатура Парижа 225
экспорт 225
Лу / la Loue, p. 27, 138, 162, 165, *344_{108}*
Луара / Loire, деп. 135, *347_{189}*, *$348_{202, 209}$*
Луара / la Loire, p.:
берега 201, 246_2
верховье 75, 117, 179
водораздел между нею и Роной 182_2
граница лингвистическая между севером и югом 65
— экономической диктатуры Парижа 225
грузооборот 239
дорога вдоль нее 199
жители к северу от нее 64, 69_2, 71, 72, 86
— — югу от нее 64, 70, 71, 72, 74, 86_2

земли между нею, Сеной и Соммой 86, 264, 266, 267
— к югу от нее 266
коварство ее 175_2
корабли 42
литература о ней *340_{169}*, *348_{219}*, *$349_{230, 231, 237, 238, 243}$*, *$350_{270}$*, *$352_{14}$*
луга 123
обводный канал 198
объединяющий для Франции фактор 86, 179_2 181, 269
переправа через нее 98—90, 175, 196
плавание по ней **182—193,** 93_2, 174, 181_2, 202, 233_2, 237, 238
притоки 177
путь к ней от Соны 182_2, 233
русло 175, 176, 177
рыба 174
связь с Роной и Сеной 179, 181, 187
снабжение по ней товарами 184_2, 202
схема большой луарской шаланды 186
Луаре / Loiret, деп. 23, 226
Лурд / Lourdes 67
Луэнский канал / canal du Loing 196
Льеж 303
Льивия / Lluvia 283
Люберонская горная цепь / Lubéron 109
Люксейль / Luxeuil 168, 174
Люксембург 290, 295_2, 296, 297, 302
Лю-ла-Круа-От / Lus-la-Croix-Haute 135
Люмевиль-ан-Орнуа / Lumévile-en-Ornois 139, 147, *344_{85}*, *346_{137}*
Люр / Lure, горная цепь 29
Лютербах / Lutterbach 136
Маас то же, что Мез / la Meuse, p. 142, 144_4, 242, 275, 293, 294, 295_2, 302, 303_2, 306
Маглан / Magland 51
Мадагаскар 47
Мадлен, горы / les monts de la Madeleine 176, 177_3
Мадри / Madrie 32
Мадрид 90_2, 218, 273, 313
Майенн / Mayenne 203
Майенн / la Mayenne, p. 200, 202, 203, 205, *342_{49}*, *$350_{272, 274}$*
Майи, воен. лагерь / Mailly-le-Camp 35
Майнц 162, 274
Макон / Mâcon 198, 260, 308
Маконнэ / Mâconnais 71, 133
Малый Сен-Бернар / Petit Saint-Bernard 314
Мальгская гора / la montagne de la Malgue 320
Мальплаке / Malplaquet 297
Манглон / Menglon 135
Манд / Mende 55
Мант / Mantes 119, 225
Мант-ла-Жоли / Mantes-la-Jolie 153
Маранж / Marange *358_{213}*
Маре / Marais 224
Марна / Marne, деп. 276, *358_{202}*
Марна / la Marne, p. 88_2, 89, 144, 219, 225, 233, 269, 290
Марсаль / Marsal 301
Марсель / Marseille:
войны 88, 312_2, 315_2, 319, 320, 325
карты 158—159
крупный город 208, 244, 245_2
литература о нем *360_{256}*
население 216_2
порт 59, 184, 217_2, 244, 261, 263, 328
правители 58
присоединение к Франции 242_2, 285

своеволие 218, 312
сообщение с другими нас. пунктами 93, 260_2
торговля 158, 165
чума 103
Мартиника 206, 327
Мартиньи / Martigny 126
Мез / Meuse, деп. 26, 55_2, 117, 129_2, 138_3, 142, 144, 276, *344_{85}*, *$346_{133, 136}$*
Мез / la Meuse, плато 139_2
Мез *то же, что* Маас / la Meuse, p. 142, 144_4, 242, 275, 293, 294, 295_2, 302, 303_2, 306
Мезьер / Mézieres 293, 294, 295_2
Мелан / Meulan 136
Мелен / Melun 225, 269
Мен / Maine, деп. 111_2, 200, 203, 208, *341_{22}*, *343_{65}*
Мен / la Maine, p. 202, *341_{22}*, *343_{65}*
Мениль-о-Валь / Mesnil-au-Val 119, *343_{56}*
Менорка 327
Мертен / Merten 304
Мец / Metz **296—309**
губернатор 89
епископство 295
иммигранты-купцы 158
карта 299
литература о нем *$337_{82, 95}$*, *344_{100}*, *$357_{155, 156, 159, 160}$*, *358_{178}*
население 216
независимость, утрата ее 61_3
окрестности 55, 122, 148, 295
пограничный город-крепость 217_2, 289, 290, 295
экономика 295
Мецский генеральный округ / La généralité de Metz 295
Миаж / le Miage, гора 46
Миале / Mialet 110
Мижу / Mijoux, дол. 28
Милан 245, 257
Миланское герцогство 313, 314
Мильваш/ Millevaches, плато 200
Миссисипи / Mississippi, фр. деревня 123
Михельбах / Michelbach 136
Мо / Meaux 85, 88, 225, 290
Моваж / Mauvages 145, 147
Мозель / la Moselle, p. 233, 242, 263, 295_3, 303_3, 306, *357_{154}*
Монастье / Monastier 75
Монбельяр / Montbéliard 162, 171_2, 242
Монблан / Mont-Blanc 34, 101
Монбланский туннель / tunnel du Mont-Blanc 34
Монбризон / Montbrison 176
Монжуа / Montjoie, дол. 46, 50
Монистроль / Monistrol 192_2, 195_3
Монмеди / Montmédy 294, *337_{82}*
Монпелье / Montpellier 64, 168, 179, 216, 244, 261, *338_{102}*, *343_{54}*
Мон-Руаяль / Mont-Royal 295
Мон-Сени / Mont Cenis, перевал 254
Монсеррат / Montserrat 327
Монсо / Monceau 221
Монстьернеф / Monstierneuf 57
Монтаржи / Montargis 196, 226
Монтезюр / Montésurs 204
Монтелимар / Montélimar 44
Монтеро / Montereau 225
Монтинье / Montigné 135
Монтобан / Montauban 58, 71, 74
Монтрейль / Montreuil 221
Монтье / Montiers 144
Монтье-сюр-Со / Montiers-sur-Saulx 144
Монферран / Montferrand 179
Монфокон-ан-Аргонн / Montfaucon-en-Argonne 144
Монфор / Montfort 225
Мор / les Maures, горн. массив 28
Моранн / Morannes 135

Морван / Morvan 23, 38_2, 39_6, 71, 125, 126, 129, *334_9*, *$335_{45, 46}$*
Морванский национальный парк / le parc national du Morvan 38_2
Морзин / Morzine 126
Морьен / la Maurienne, высокогор. район 95
Морьенская долина / la vallée de la Maurienne 254
Москва 218
Муассак / Moissac 67_3
Мулен / Moulins 198, *349_{253}*
Мурийон / Mourillon 319, 320
Мурийонская впадина / la fosse du Mourillon 310
Мьеж / Mièges, дол. 28
Мюлуз / Mulhouse 173, 197, 199
Мюре / Muret 277

Намюр / Namur 303, *358_{187}*
Нанси / Nancy 66, 156, 171, 173, 174, 296, *346_{160}*
Нант / Nantes 59, 93_2, 184, 188, 196_2, 200, 202, 203, 205, 208, 216, 217_2, 218, 219
Нантюа / Nantua, ущелье 27
Нарбонеза 43
Нарбонн / Narbonn 151_2
Неаполь 150
Небур / Neubourg 32
Невер / Nevers 175, 179, 182, *348_{219}*
Нейи / Neuilly 224_2
Нелизское плато / plateau de Neulise 176, 192
Немур / Nemours 196, 225
Неронд / Néronde 179
Нефшато / Neufchâteau 144
Ниверне / Nivernais 157, 246
Нидерланды 68, 127, 170, 214, 216, 217_2, 232, 259, 271, 272_2, 291, 297, 304, 313, 330
Нижний Коррез / Básse-Corréze, деп. 127
Нижний Лангедок / Bas-Languedoc 103
Нижний Лимузен / Bas-Limousin 110, 112, 125
Нижний Мен / Bas-Maine 200, 203, 204, 205, 208, *350_{279}*
Нижний Прованс / Basse-Provence 108_2, 109
Нижний Пуату / Bas-Poitou 96
Нижняя Нормандия / Basse-Normandie 29, 209, 214, 270
Нижняя Овернь / Basse Auvergne 50, 132, *336_{65}*
Нижняя Рона / Bas-Rhône 237
Никополь 285
Ним / Nimes 67, 179, 216, 217_2, 233, 244
Ницца / Nice 242, 243, 313, 314, 316_3, 319, 320
Ниццское графство / le comte de Nice 313, 323
Но / Naux 135
Ноайи / Noailli 177
Новый Свет 109, 158, 208
Новый Свет / Nouveau Monde, фр. деревня 123
Ножан / Nogent 225
Ножан-на-Сене / Nogent-sur-Seine 122
Ноле / Nolay 38
Ноньер / Nonières 129
Нормандия / Normandie 29_2, 30, 32, 59—60, 66, 108, 120, 122_2, 156, 157, 201, 214_3, 215, 225, 264, 270, 285_2, 287, 329, *335_{31}*, *336_{63}*, *351_{312}*
Норузский проход / le seuil de Naurouze 70, 232_2
Нуайон / Noyon 90
Нюи / Nuits 151_2, *346_{146}*
Нюрнберг 245

Об / l'Aube, p. 88, 233

Овернь / Auvergne:
Верхняя 49, *345*$_{116}$
вулканические извержения 41
горы 44
деревня 85
дороги 179, 184
земля 117$_2$
карта 130—131
литература о ней *335*$_{49}$, *336*$_{63}$, *342*$_{53}$, *343*$_{58}$, *345*$_{116}$
Нижняя 50, 132, *336*$_{65}$, *345*$_{116}$
овернцы в Париже 221
переселенцы 50
профессии 156$_2$
«пустыня» 51
разнообразие частей 80$_3$
рекруты 330
товары 184
транспорт 175
штаты 60
язык 65, 74, 80$_3$
О-Дива / Haut-Diois, край 135
Одон / l'Odon, p. 209
О-Ду / Haut-Doubs 28
Ож / Auge, край 30, 212
Окситания / Occitanie 69, 277, *338*$_{115}$
Олерон / Oléron, о-в 312
Они / Aunis 81
Оранж / Orange 152$_2$, 179
Оранжское княжество / principauté d'Orange 247
Оре / Auray 136
Оржеле / Orgelet 127, 171$_2$, *344*$_{97}$
Орийяк / Aurillac 49
Орлеан / Orléans 23, 35, 93, 181, 184$_2$, 188, 189, 202, 203, 216, 218, 225, 226$_3$, 264, 269$_2$, 270
Орлеанский канал / canal d'Orléans 196
Орлеанский лес / forêt d'Orléans 121, 122
Орлеанэ / Orléanais / 246, 264
Орн / Orne, p. 30, 209$_2$, 212
Орнан / Ornans 27, 138, 171$_2$
Орнен / l'Ornain, p. 117, 138, 142, 144
Орнский обводной канал / canal latéral à l'Orne 209
Орнуа / Ornois, край 26, 138
Осонн / Auxonne 138
Оссен / Ossun 127
Отен / Autun, 19, 38$_3$, 39$_2$, 126$_3$
От-Лу / Haute-Loue, дол. 138
Отский лес / forêt d'Othe 36
Оттонидская империя 244
Отценвиллер / Otzenwiller 136
О-Фосиньи / Haut-Fauciny, край 46
Ош / Auch 67$_2$, 71, 74$_2$

Павия 150
Панисьер / Panissières 177
Париж / Paris **219—226, 269—271**
внешний вид 11
войны 38, 88$_4$, 282, 297
воздействие на Орлеан, Реймс, Тулузу 218
— — другие города 226
воплощение Франции 24
выборы правителей 58
дороги 35, 93$_2$, 100, 101$_2$, 153$_3$, 171, 172$_2$, 178, 179$_2$, 181, 182, 187, 189$_2$, 193, 196, 203, 240, 254$_3$, 261$_2$, 263$_2$
защитник католицизма 67
карта 223
крупнейший город 208, 209, 217$_2$, 218, 265
купцы 64, 305
литература о нем *334*$_{22}$, *335*$_{44}$, *351*$_{324, 325, 329, 330}$, *352*$_{342}$, *354*$_{82}$, *355*$_{85}$
местоположение 36
Наполеон в нем 93
окрестности 51, 86, 115, 119$_2$, 122$_2$, 123, 128$_4$, 136, 166, 221—225, 266$_2$, 290, *351*$_{331}$
отопление 121

парижане 26, 50, 51_2, 64, 95, 97, 156, 216_3, *334_{22}*
реки 38, 221_2
снабжение 178, 184, 186, 187, 190—193, 193, 194
соперник Лиона 59, 219_2, 254_2, 255_2, 256, 259
соперники Парижа 218, 219
социальное устройство 59
старый 25
столица государства 75, 190
урбанистическое чудовище 104
центр Франции 264, 265_2
ярмарки 234
Парижский бассейн / Bassin Parisien **265—268**, 41, 46, 49, 55, 77, 85_2, 111, 114, 218, 225, 265, 270, *$340_{174, 185}$*, *341_{25}*, *351_{331}*
Парижский генеральный округ / la généralité de Paris 266
Париньи / Parigny 193
Паси / Pacy 128
Пассе / Passais 32
Пейран / Peyrane 137
Пейроль / Peyrolles 28
Пеккэ / Peccais 240, 241
Пелиссан / Pélissane *335_{28}*
Перигё / Périgueux 67_2, 156
Перигор / Périgord 130, 157
Перонн / Péronne 22, 294
Перпиньян / Perpignan 101, *334_{23}*
Пертуа / Perthois, край 32
Петербург *то же, что* Санкт-Петербург 218, 242
Пиаченца 168
Пиза 97
Пикардия / Picardie 38, 108, 214, 221, 225, 264
Пинероло 314, 325
Пинон / Pinon 133
Пиренеи / les Pyrénées 32, 42, 46, 49, 88, 96, 127, 130, 218, 279_2, 283_2, 284, 290, *344_{97}*
Питивье / Pithiviers 122, 226_2
По / le Pau, p. 32
Полиньи / Poligny 168, 171_2
Польша 184
Пон-де-Се / Pont-de-Cé 190
Пон-Сент-Эспри / Pont-Saint-Esprit 235_2, 236, 247, 252
Понтарлье / Pontarlier 27, 138, 162 (ущелье), 167, 171_2, 172
Понтуаз / Pontoise 125, 225
Пор-Сент-Мари / Port-Sainte-Marie 206
Порсьен / Porcien, край 32
Пор-сюр-Сон / Port-sur-Saône 238
Порт-Маон / Port-Mahon 327
Португалия 327
Пра / Praz 95
Прадель / Pradel 132
Прадель / Pradelles 44
Прованс / Provence
Верхний 108
влияние на страну 67
войны 88, 309, 312_3, 314_3, 315_3, 316_2, 317_2, 322, 323_2
графство 190
деревни 29, 46, 85, 105, 109, 110
дороги 187, 236, 239, 241
королевство 247
крестьяне 55, 110, 117, 120, 128
литература о нем *$341_{15, 16, 18}$*, *342_{50}*
наследство Людовика XI 249
Нижний 108_2, 109
обычаи 312_2
порты 245
претензии на него Окситанской империи 277
присоединение к Франции 242_2, 252, 285, 287
разнообразие частей 26, 28_4
разобщенность краев 29
рекрутирование во флот 329
ремесленники 128

споры с Лангедоком 249_2
территория 247
торговля 233—234
чума 103_2
экономика 28, 29_2
язык 24
Провансальское плато / alpin de Provence 24
Провен / Provins 225
Провинэ / Provinais, край 32
Пти-Ко / Petit Caux 30
«Пуатевенская равнина» / «la plaine poitevine» 108
Пуатевенский залив / gofle poitevin 80
Пуату / Poitou 19, 22, 57, 85, 118, 184, 285
Пуатье / Poitiers 57, 267, 334_7
Пуйи-ле-Ноннен / Pouilly-les-Nonnains 177
Пуйи-на-Луаре / Poully-sur-Loire 185
Пуйи-су-Шарлье / Pouilly-sous-Charlieu 192
Пфальц 296, 297, 301, $357_{171, 172}$
Пьемонт 257, 313, 323_2, 325
Пьемонтские Альпы 314
Пюи / Puy 75

Равель-э-Феррье / Ravel-et-Ferriers 135
Рамберкур-о-По / Rembercourt-aux-Pots 127
Рамийи / Ramillies 313
Раммерсмат / Rammersmatt 136
Ревиньи-сюр-Орнен / Revigny-sur-Ornain 129
Регонфль / Regonfle 240
Реймс / Reims 87, 149, 208, 216, 218, 225, 269, 339_{154}
Рейн:
величественная река 26
войны 297, 313
в эпоху плиоцена 162
граница по нему 162, 233, 242, 247, 279_2, 281_2, 282, 284_4, 290_2, 293_2, 294_3, 295_3, 306
грузооборот 239
канал с Роной 172, 260, 261, 263, 264
литература о нем 353_{47}, $354_{63, 75}$, 356_{117}, 357_{143}
междуречье его и Мозеля 242
наносы 167
области его 179
переход германских племен через него 9
порты 263
путь к нему через Безансон 162
— по нему 232, 233_2, 234, 259_2
связь его с Соной 233
старый 19
судоходство 259
торговцы 219
Рейнская Германия 260
Ремуа / Rémois, край 32
Ренезон / Renaison 177, 178
Рененг / Reiningue 136
Ренн / Rennes 58, 63, 152, 203_3
Ренс / Rhins 182
Ренси / Raincy 224_2
Ривоттское ущелье / cluse de Rivott 162
Рим 182, 274
Римская империя 226 *см. также* Древний Рим
Рио-де-Жанейро 206
Роанн / Roanne **181—193, 193—197, 197—200**
брод между ним и Десизом 90
город или городок 136, 174, 175, 193_2
горы вокруг 176, 177_2
граница между Юж. и Сев. Францией 179_2
дефицит зерна 176, 212

дороги 178, 179, 184, 187_2
жители 56, 175
и Лион 184, 185, 254
карты 180—181, 183, 190—191 (диагр.)
литература о нем *$348_{198, 206, 210, 215, 216}$, 350_{261}*
мост каменный 175
порт 184
промышленность 213
расположение 174
соперники 203
судьба 179
торговля 194, 195
Роаннская равнина / la plaine de Roanne 177
Роаннский остров / l'île de Roanne 198
«Роаннский склон» / côte roannaise 177, 178
Роаннэ / Roannais **174—181,** 181, 184, 196, 197, 198, *$348_{208, 210}$, 350_{263}*
Родез / Rodez 124
Родерен / Roderen 136
Розе-ан-Бри / Rozay-en-Brie 225
Розьер-ан-Блуа / Rosières-en-Blois 147
Роман / Romans 154, 155, 156
Романия срединная / Romanie médiane 65
Ромей / Romey, дол. 28
Роменвиль / Romainville 123, 221, *343_{80}*
Рона / le Rhône, р. **223—241, 246—253, 259—264**
берега 43, 153, 156, 218, 242_3, 244, 247, 254, 256, 277
верховья 156, 260
вид 27
влияние на Прованс 28
водораздел с Луарой 182_2, 187
выгоды Лиона от слияния ее с Соной 219
граница 242, 244, 275
дельта ее — конец «фр. перешейка» 232
деревни в ее долине 108
долина 179, 183, 241, 259
дорога вдоль нее 200
жизнь с Францией 242
канал с Рейном 172, 260
— с Сент-Этьеннским бассейном 198
карты 248, 250—251, 262
литература о ней *334_{19}, 336_{56}, 337_{96}, $352_{12, 19}$, 353_{47}, $354_{63, 75}$*
мост Гийотьерский в Лионе 179
паводки 312
переправа через нее 89
перешеек ее и Соны 254
плавание по ней 66, 69, 93, 188, 236
путь по ней 232, 233, 244_2
— — — Соне, Сене, Рейну 234, 253
роль в жизни Франции 244
— в сообщении Париж — Лион 181
Савойские районы 117
связь с Луарой и Сеной 181
соперничество Рейна 259
сплав леса 238, 326
старая 19
суда 235—236
Ронская низменность / le sillon Rhodanien 233, 239, 253
Ронско-Альпийский регион / la région Rhône-Alpes 259
Ронь / Rognes 109_3, *341_{16}*
Роньон / le Rognon, р. 144
Роттердам 260, 261_2, 263, *354_{74}*
Руан / Rouen:
влияние его 216
возможная столица Франции 269_2, 270_2
война 277, 279

доминанта Верхней Нормандии 29
дороги 153
карта 158—159
крупный город 208
купцы 208
литература о нем *343*$_{74}$
население 216
отбелка суровых тканей 205
покорность Парижу 218, 219
порт 59, 184, 217, 225, 260, 263$_2$
приграничный город 217, 264
промышленность 214, 215
снабжение пшеницей 225
торговля 158к
Рувре / Rouvray 151, *346*$_{148}$
Ружмон / Rougemont 137
Руль / Roule 221
Румуа / Roumois 32
Руссийон / Roussillon 26, 40, 75, 81, 283$_3$
Руссы / Rousses 27
Руэрг / Rouergue 19, *334*$_{3в}$

Саар, р. 295
Саарбург *337*$_{82}$
Саарлуи / Sarrelouis 295, *337*$_{82}$
Саверн / Saverne 304$_2$
Савойя / Savoie:
Верхняя 40, 50, 95, 132, 156
войны 190, 247, 257, 313, 314, 315$_3$, 317
генуэзские купцы в ней 168
герцогство 247
деревня 115
земли 117
карта 27
края 26
крестьяне 126—127, *359*$_{235}$
литература о ней *336*$_{66, 71}$, *340*$_{179}$, *342*$_{39}$, *359*$_{235}$
присоединение к Франции 242
транспортные маршруты 239
трубочисты в Париже 156
чесальщики конопли 130
Сален / Salins 71, 167, 171$_2$, 172
Салль / Salles 127
Самбра / Sambre 306
Сангине / Sanguinet 127
Сан-Доминго 206
Санкт-Петербург 218, 242
Санлис / Cenlis 90, 269
Сан-Ремо 315
Санс / Sens 225
Сантьяго 42
Сантьягу 327
Сарагоса 277
Саси / Sacy 54
Сахара 274
Севен / Sewen 136
Севенны / les Cévennes, 66$_2$, 67, 315, *339*$_{136}$
Северн 234
Северная Африка 277, 327, 328
Северная Галлия 242
Северная Европа 47, 233, 263
Северная Италия 233
Северная Франция / France du Nord 43, 67$_2$, 69, 74, 80, 85, 115, 179, 267$_2$
Северная Юра / Jura du Nord 172
Северное море 41, 217, 233, 245$_2$, 279, 286, 290, 293, 309, 315, *353*$_{44}$, *354*$_{75}$
Северный Эльзас / Alsace du Nord 26, 46, 291
Севилья 218
Сегре / Segrez 119
Седан / Sedan 13, 122, *337*$_{82}$
«Секванский Бар» / «Bar séquanuis», край, *то же что* Барсюр-Сен, край 19
Сёлль / Seulle, р. 211
Сена / la Seine, р.:
бассейн 267
берега 246

Бриарский канал 181—182, 193, 196_2, 263
в Париже 221_2
главная «улица» Парижа, Руана, Гавра 269
долина 273
дорога к морю 219, 232, 233
земли между нею, Луарой и Соммой 86, 267
излучины 30, 269
исток 277
лута 119
мосты через нее 136
низовья 209
притоки 269
путь Рона — Сона — Сена (Рейн) 234
связь с Европой 263_2
— — Роной и Луарой 181, 182
— Соны с нею 233, 263
соперница Луары 269
судоходство 238
территория между нею, Луарой и Соммой 86, 267
«фр. перешеек» от ее устья до дельты Роны 232
Сен-Бонне-де-Кре / Saint-Bonnet de Cray 176
Сен-Валье / Saint-Vallier 151
Сенгле / Cinglais, лес 211
Сен - Дидье - сюр - Аррy / Saint-Didier-sur-Arroux 125_2—126_5
Сен-Дизье / Saint-Dizier 88, 290, 308
Сен-Жерве / Saint-Gervais 50
Сен - Жермен - Лаваль / Saint-Germain-Laval 179_2
Сен-Жермен-ла-Фейль / Saint-Germain-la-Feuille 277
Сен-Жермен-Леспинас / Saint-Germain-Lespinasse 177
Сен-Жерменский лес / forêt de Saint-Germain 119
Сен-Жуар / Saint-Joire 138
Сен-Жюльен-Молен-Молетт / Saint-Julien-Molin-Molette 127
Сен-Жюст / Saint-Just 193
Сен-Жюст-ан-Шевале / Saint-Just-en-Chevalet 179
Сен-Кантен / Saint-Quenten 38, 88, 294
Сен-Клод / Saint-Claude 27, 171_2, 174
Сен-Кристоф / Saint-Christophe 327
Сен-Луи / Saint-Louis 320_2, 322
Сен-Максимен / Saint-Maximin 317
Сен-Мало / Saint-Malo 113, 205, 206
Сен-Марселен / Saint-Marcellin 156
Сен-Мийел / Saint-Mihiel 145
Сен-Назер / Saint-Nazaire 151
Сен-Никола / Saint-Nicolas 344_{99}
Сен-Никола-де-Верос / Saint-Nicolas-de-Vérace 50
Сенонэ / Sénonais, край 32
Сен-Парду-ла-Круазий / Saint-Pardoux-la-Croisille 50
Сен-Паре / Saint-Paray 246
Сен-При-ла-Рош / Saint-Priest-la-Roche 135
Сен-Пуэн / Saint-Point, оз. 27
Сен-Рамбер / Saint-Rambert 187, 192_5, 194, 195_2
Сен-Роман / Saint-Roman 135
Сен-Ромен-ла-Мотт / Saint-Romain-la-Motte 177
Сен-Семфорьен / Saint-Symphorien 135, 185, 260
Сентайм / Sentheim 136
Сент-Амарен / Saint-Amarin 136
Сент-Амур / Saint-Amour 27
Сент-Андре / Saint-André, скала 252
Сент-Ан-ле-Шатель / Saint-Haon-le-Châtel 179
Сент-Аффрик / Saint-Affrique 136

Сент-Виктуар / Sainte-Victoire, гора, хребет 28
Сент-Илер / Saint-Hilaire 57
Сент-Катрин / Sainte-Catherine 320, 321
Сент-Коломб / Sainte-Colombe 246
Сент-Маргерит / Sainte-Marguerite 320_3
Сент-Мари-де-ла-Мер / Saintes-Maries-de-la-Mer 240
Сент-Мену / Sainte-Menehould 122
Сентонж / Saintonge 285
Сен-Тропез / Saint-Tropez 316
Сент-Этьенн / Saint-Etienne 187, 195_2, 198_2, 254
Сен-Ферже / Saint-Ferjeux 166
Сен-Флорантен / Saint-Florentin 225
Сен-Форжё / Saint-Forgeux 177
Сепе, мыс / la cap Sepet 310, 320_2
Сервьер / Cervières 179
Сердань / Cerdagne 283
Сере / Céret 46_2, 283
Серне / Cernay 136
Серьер / Serrières 238
Сессель / Seyssel 235, 238, 239, 240_3, 241
Сет / Sète 39, 327
Сеттон / Settons, оз. 38
Сеуа / Séois 32
Силан / Sylans, оз. 27
Силезия 208
Симплон / Simplon 172
Систерон / Sisteron 29, 317_2
Сите / Sité, о-в 269
Сицилия 110
Слейс / l'Ecluse 285
Со / Saulx, р. 144
Соважский перевал / le col des Sauvages 182
Соединенные Провинции 304
Солонь / Sologne 269
Сомма / la Somme, р. 38, 43, 86, 264, 267, 293, 294
Сомюр / Saumur $350_{270, 272}$
Сона / la Saône, р.:
берега 61, 138, 162, 174, 177, 235
войны 162
выгоды Лиона от слияния ее с Роной 219
грузооборот 239
долина 27, 179_3, 241
дорога вдоль нее 199
литература о ней 352_8
паводки 238
перешеек Сона — Рона 254
пограничная река 242, 247, 274
пристани 182
путь «Рона—Сона—Сена (Рейн)» 234
связь с Луарой 179, 182_2
— — Рейном 233
— — Роной 219, 238
— — Сеной 181, 233_2, 263
судостроение 238
судоходность 136, 238
судоходство 170, 235, 238, 239
течение 260
транспортная артерия 166, 183, 232, 233, 239, 244_2, 253
Центральный канал 198
Средиземное море / Méditerranée:
бассейн древних торговых путей 286
берег Европы 41, 232
— Франция 232_2, 242, 279
близость Тулузы к нему 218
бретонские моряки на нем 95
взаимовлияние его с Северным морем 233
влияние на Прованс 28
— — Францию 242
галионы Испании на нем 286
и государства Зап. Европы 267
и Лион 240, 242, 257

и Париж 261
литература о нем 332_3, 338_{113}, 354_{75}
миграция с его берегов в доисторические времена 268
порты на нем 309, 327_2, 328
путь в страны Сев. Европы 233, 245
флот Франции на нем 330
См. также Внутреннее море
Средиземноморье / Méditerranée 5, 29, 43, 66, 80, 93, 114, 232, 233_2, 240, 261
Среднероманская средиземноморская зона / Zone medioromane méridionale 78к
Стене / Stenay 295
Страсбург / Strasbourg 169, 170, 171, 182, 208, 216, 217_4, 245, 293_2, 304
Суайон / Soyons 336_{56}
Суассон / Soissons 344_{101}
Суассоннэ / Soissonnais 266
Суже / Sougé 204
Суза / Suse 314, 323, 325
Суйи / Souilly 144
Суринам 327
США 14
Сьета / Cieutat 127
Сюренские холмы / les côteaux de Suresnes 221

Тайе / Taillet 16
Тандский перевал / col de Tende 313, 314, 316, 323
Танн / Thann 136_4
Тарантез / Tarentaise 95
Тараньозское ущелье / cluse de Tarragnoz 162
Тарар / Tarare 174, 182_2, 184, 185_3, 199
Тараскон / Tarascon 74, 153, 246, 312, 338_{112}, 346_{154}
Темза 267, 269
Терне / Ternay, p. 127
Тет / la Têt, p. 39
Тийеруа / Tilleroyes 166
Тионвиль / Thionville 295, 337_{82}, 357_{154}
Тоннер / Tonnerre 128_2
Торхаут / Thourout 234, 352_9
Тоскана 109, 199
Треверe / Tréveray 138, 144
Треву / Trévoux 61
Трегор / Trégor 23
Трегье / Tréguier 71
Тренкетай / Trinquetaille 246
Трешеню / Treschenu 135
Триест 218
Трир 162, 233, 295, 304, 305_2, 306_2
Труа / Troyes 51, 199, 205, 216, 225_2, 234
Тулон / Toulon **309—328**, 29, 69, 288, 289_2, 297, 321к, 324к, 329, 330, 359_{220}, $360_{257, 264}$
Тулон-сюр-Арру / Toulon-sur-Arroux 126_3
Тулуза / Toulouse 31, 39, 58—59, 63, 71, 127, 156, 166, 208, 216, 217_2, 218_2, 252, 254, 270, 277, 312
Туль / Toul 150, 295, 337_{82}, 346_{144}
Тунис 242
Тур / Tours 51, 93, 216, 226
Турень / Touraine 181, 246
Тури / Toury 99
Турин 63, 247, 254, 257, 258_2, 309, 313, 314_2, 315
Турнон / Tournon 235, 246, 256
Тьер / Thiers 133, 184
Тэн-л'Эрмитаж / Tain-l'Hermitage 246
Тюль / Tulle 200_2
Тюрдин / Turdine 182
Тюэт / Thueyts 44

Уаза / l'Oise, p. 219, 233, 265, 269
Уделенкур / Houdelaincourt 138

Ульм / Houlme 32
Уотлинг-стрит 234
Уш / Ouche 32

Фалез / Falaise 32
Фальсбург / Phalsbourg *337*$_{82}$
Фарелон / Farellones 42
Фаронская гора / la montagne du Faron 318
Фекан / Fecamp 136
Фенестрелла 325
Фёр / Feurs 176$_2$
Фермопилы 36
Финистер / Finistère, деп. 110, 268, *341*$_{20, 21}$
Фирмини / Firminy 195
Фламиниевая дорога / voie Flaminienne 234
Фландрия 72, 83, 217, 221, 234, 298, 303, 304, *357*$_{158}$
Фланьяк / Flagnac 124
Флерюс / Fleurus 295
Флоренция 199, 233, 245
Фонтенбло / Fontainebleau 122
Фонтенуа-ан-Вож / Fontenoy-en-Vôge 168
Форез / Forez, край 19, 127, 174, 176, 179, *334*$_{1e}$, *347*$_{194}$, *348*$_{201}$
Форново 62
Фос / Fos 261
Фосий / Fausille, перевал 27
Фосиньи / Faucigny 26, 34, 50, 95, 156, *336*$_{66}$
Франкфурт 170, 245, 305
«Французский перешеек» / L'isthme français **232—234**, 239, **241—246**, 264
Франш-Конте / Franche-Comté 26$_2$, 66, 130, 163, 164, 165$_2$, 167$_3$, 169$_2$, 170$_2$, 171$_4$, 241, 242, 283, 292к, 295, 303, *334*$_{24}$, *347*$_{169, 178}$
Фрежюс / Fréjus 316$_2$
Фроманвиль / Fromanville 119
Фурк / Fourques 260
Фурно / Fournaux 135

Хагенау, лес 26
Хёхштедт 313

Центральная Европа 41, 77, 80$_2$, 114, 268$_3$
Центральная Юра / Jura central 172
Центральный канал / canal du Centre 198, 263
Центральный массив / Massif Central 38, 41$_3$, 42, 45, 48, 49, 65, 110, 119, 130, 132$_2$, 174, 200, 218, 233, 239, 247, 253, 258, 266, *335*$_{49, 51}$, *336*$_{52}$, *343*$_{58}$, *344*$_{83}$
Цизальпийская область / Cisalpine 242
Цюрих 258

Чад 100
Черное море 41, 232

Шабле / Chablais 95
Шайюзский лес / forêt de Chailluz 166$_2$
Шалон-на-Марне / Châlons-sur-Marne 74, 225, 276$_2$, *343*$_{72}$
Шалон-на-Соне / Chalon-sur-Saône 71, 162$_2$, 234, 254
Шамбери / Chambéry 168$_2$, 254
Шамони / Chamonix 34
Шампань / Champagne:
  беррийская 108
  бесплодная 35, 36
  богатство «краями» 32
  Верхняя 35
  выходцы из нее в Версале 225
  — — — — Париже 221
  — — — — Труа 225
  города 136
  границы 149, 295
  деревни 51
  дома 34, 139

дороги 179
доход с гектара земли 222
крестьяне 34_2
литература о ней 335_{43}
название 36
почвы 36_2
пространства 265
ремесленники 129
семья 87
флюгера 34_2
часть зарождавшейся Франции 264
ярмарки 158, 165, 245, 255
Шарлье / Charlieu 179, 180к—181, 182, 348_{205}
Шароле / Charollais 38
Шарольско-Брионские холмы / les collines Charollais-Brionnais 176
Шарсе (ныне Шассе) / Charcey, ныне Chassey 147
Шартр / Chartres 225
Шасс / Chasse 246
Шассе (ранее Шарсе) / Shassey, ранее Charcey 147
Шатильон / Châtillon 135_2
Шато-Гайяр / Château Gaillard 273, 277
Шатодубль / Chateaudouble 94
Шатонеф-дю-Фау / Châteauneuf-du-Taou 110
Шатору / Châteauroux 220, 341_{13}, 351_{323}
Шато-Шалон / Château-Chalon 27
Швайгуз / Schweighouse 136
Шварцвальд 162
Швейцария, швейцарские кантоны 97, 166, 172, 217, 219, 259, 260, 303, 307, 314
Шельда р. 106, 242, 275
Шербур / Cherbourg 119
Шо / Chaux, лес 167
Шоле / Cholet 205
Шомон / Chaumont 144, 149
Штайнбах / Steinbach 136
Шьер / Chiers, p. 295
Э / Eu 113
Эбернбург (ныне Эберсберг) / Ebernbourg, ныне Ebersberg 301, 357_{172}
Эберсберг *см.* Эбернбург
Эг-Морт / Aigues-Mortes 179, 242_2, 244_3, 256, 285, 353_{41}
Этюйет / Eguillette, форт 320
Эзи / Eyzies 67
Экс / Aix 109, 342_{36}, 359_{243}
Экс-ан-Прованс / Aix-en-Provence 93, 154, 155к, 156_2, 312, 315, 317
Эльзас / Alsace:
амулеты 34
арестанты из него в Мецe 306
войны 169, 281_2, 296, 298
граница 291, 295
карта 292
коневодство 302
красота 27
литература о нем 332_{18}
переселенцы из Савойи 50
поставщик хлеба в Безансон 166
присоединение к Франции 217, 242, 283, 290
разнообразие частей 26
Северный 26, 46
семья 83_2
Эльбеф / Elbeuf 136
Эмбрюн / Embrun 339_{131}
Эн / l'Ain, p. 27, 28
Эна / l'Aisne, p. 88
Эпта / l'Epte, p. 273
Эрбенайм / Erbenheim 136
Эрмон / Ermont 125, 128
Эрнвиллер / Ernwiller 136
Эскандорг / Escandorgue 118, 343_{54}
Эспелет / Espelette 52, 336_{74}
Эссекибо / Essequibo 327
Эссон / Essonne, деп. 119
Эстерель / l'Esterel, горный массив 28, 323
Эстрем де Саль / Estrème de Salles 32

Этамп / Etampes 35
Этрише / Etriché 135

Южная Германия 50, 51, 260
Южная Франция / Midi de la France 65—66, 68, 69, 80, 179, 185
Южная Юра / Jura méridional 172
Южное море / la mer du Sud 206
Южные Альпы / les Alpes du Sud 74
Южный канал / canal du Midi 232
Юзес / Uzès 45, 65, *336*$_{58}$, *338*$_{104}$
Юилле / Huillé 135
Юра / Jura, горы 27$_2$, 42, 49, 101, 138, 162$_4$, 166, 167, 290
Юра / Jura, деп. 23, 35, 137, 162, 172
Юра / Jura, плато 27, 35, 127, 174, 239
Юссель / Ussel 50, 200$_2$, *336*$_{67, 68}$
Юст / Juste, исп. монастырь 88

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Алфавитный порядок — «буква за буквой», независимо от того, сколько слов в заголовке рубрики (фамилии лица). Пример: *Лантерик*, за ним *Ла Ну*. При порядке «слово за словом» эти рубрики шли бы в обратном порядке, так как в фамилии *Ла Ну* первое слово содержит меньше одинаковых букв, чем *Лантерик*. При одинаковой фамилии у разных лиц порядок по алфавиту их имен. Имена королей, императоров и т. п., различающиеся номерами, расположены в порядке номеров, а при одинаковом имени и номере — по алфавиту сокращенного прилагательного, образованного от названия государства (например: *Генрих III англ.*, *Генрих III фр.*). Если имена герцогов, маркизов и т. п. совпадают с именами королей, императоров и т. п., то принят следующий порядок: сначала идут имена королей, императоров, различающихся номерами, затем имена королей, императоров, различающихся прозвищами, за ними — имена герцогов, маркизов в такой же последовательности.

Чтобы отделить фамилии от имен, все фамилии или имена, их заменяющие, выделены курсивом. Курсивом выделены и ссылки на страницы раздела «Примечания...»

Имена по возможности приводятся в развернутой форме, за исключением тех сравнительно немногих случаев, когда в оригинальном издании автор ограничился инициалом или привел фамилию вообще без инициала, а по словарям и справочникам сведений о таких лицах найти не удалось. При этом если лицо упоминается в тексте без инициала (инициалов) и имя его не удалось установить, то в подзаголовке рубрики приводится характеристика из текста — должность или занятие этого лица и период, к которому относится упоминание.

Если имя лица упоминается на странице основного текста несколько раз в разных строках, у ссылки на страницу ставится нижний индекс, указывающий число упоминаний; например, 150$_4$ означает, что имя лица упоминается на с. 150 четыре раза.

У ссылок на страницы раздела «Примечания...» цифровой индекс обозначает номер примечания или библиографического описания. Для случаев, когда на странице два одинаковых номера, к индексу присоединяется буква «в» (верхний) или «н» (нижний из двух одинаковых номеров).

В случаях, когда имя лица прямо в тексте не упоминается, в скобках после ссылки на страницу указывается форма упоминания: 10 (очевидец), 75 (король) и т. п. Если имя лица употребляется для обозначения времени, эпохи, то к ссылке добавляется индекс «вр»; если ссылка адресует к карте или ее подписи, к ссылке добавляется буква «к».

Имена редакторов из библиографических описаний раздела «Примечания...» в указатель не вошли.

Не дублируются по-французски имена мифологических героев, а также широко известных не французских деятелей культуры и литературы.

Принятые сокращения:

англ.	— английский	кон.	— конец
в	— верхний	н	— нижний
вр.	— время	нач.	— начало
герм.	— германский	пол.	— половина
исп.	— испанский	сер.	— середина
к	— карта	фр.	— французский

Агюлон Морис / Agulhon Maurice 342_{50}, 346_{153}

Аккерман Эвелин / Ackerman Evelyn 346_{152}

Аллиис Андре / Allix André 249, 353_{55}

Альбер Антуан / Albert Antoine 74, 95 (один историк), 137—138 (цитата из него), 339_{131}, 340_{177}

Альенора Аквитанская / Aliénor d'Aquitaine 278

Альмохады испанские, династия / Almohades 277_2

Анвиль д', маршал / Anville d' 99

Англад Жан / Anglade Jean 42, 119, $335_{49, 51}$, 343_{58}

Ангулемский герцог д' (Карл де Валуа, герцог д'Ангулемский) / Angoulême, duc d' 150

Аниссон / Anisson, лионский выборный 354_{72}

Ансийон Ж. / Ancillon J. 298 (один мецский адвокат), $357_{160, 177}$, $358_{199, 200, 203}$, 359_{217}

Ардуэн-Дюмазе Виктор Эжен / Ardouin-Dumazet Victor-Eugène 346_{142}

Аржансон Рене Луи маркиз д' / Argenson René-Louis, marquis d', 119, 343_{61}

Арибо Мишель / Aribaud Michel 356_{123}

Арманго Андре / Armengaud André 343_{78}

Арндт Эрнст Мориц / Arndt Ernst Moritz 284, 356_{127}

Арнуль / Arnoul, инспектор в Тулоне 326_2

Ашар Ш. / Achard Ch. 224, *352*$_{336}$

Баблон Эрнест / Babelon Ernest *356*$_{117—119}$
Бальзак Оноре де / Balzac Honoré de 8, 172
Баратье Э. / Baratier E. *341*$_{16}$
Барберусс (Каир аль-Дин) / Barberousse (Khayr al-Din) 310
Барер де Вьензак Бертран де / Barère de Vienzac Bertrand de 70
Барский герцог де / Bar, duc de 149
Барт Ролан / Barthes Roland 34, *333*$_{37}$
Бастид Роже / Bastide Roger *333*$_{24}$
Беатрис де Гавр / Béatrix de Gavre 204
Бейль Пьер / Bayle Pierre *352*$_{14, 21}$, *353*$_{34}$
Беллар Андре / Bellar André *357*$_{156, 157, 161}$
Белотт Мишель / Belotte Michel *234*$_{5в}$
Бель-Иль Шарль Луи Август Фуке, маршал де / Belle-Isle Charles-Louis-Auguste Fouquet, maréchal de 309
Бенда Жюльен / Benda Julien 6, 98
Беневан Эрнест / Bénévent Ernest 28 (один географ), *335*$_{25, 26, 29}$
Бенуа А. / Benoit A. *356*$_{120}$
Бенуа Фернан / Benoit Fernand *341*$_{15}$
Бенуа де Туль Ф. / Benoit de Toul F. *346*$_{144}$
Бервик Джеймс Стюарт Фиц-Джеймс, герцог де / Berwick James Stuart Fitz-James, duc de 103, 313, 315
Бержье Жан Франсуа / Bergier Jean-François *354*$_{66}$
Бернадо Пьер / Bernadau Pierre 71
Беррийский герцог / Berry, duc de 240
Берри-Лабарр / Berry-Labarre, семейство 194$_2$
Берри-Лабарр Пьер / Berry-Labarre Pierre 194
Берсе / Berset, семейство 207
Берсе Ив Мари / Bercé Yves-Marie *344*$_{89}$
Берсе де ла Купельер / Berset de la Coupellière, семейство лавальских буржуа 207
Берт Морис / Berthe Maurice *334*$_{2в}$, *335*$_{34}$
Бертен Жак / Bertin Jacques 33к
Бертье де Совиньи Луи Бенинь / Bertier de Sauvigny Louis Bénigne 275к
Берюль де / Bérulle de, интендант Лиона (1689) 58
Бетей Роже / Béteille Roger *334*$_{3в}$,*352*$_{342}$
Бешамей де Нуантель / Béchameil de Nointel, интендант Бретани (1702) 60
Бильякуа Франсуа / Billacois François 183, *348*$_{219}$
Битон Г. / Biton G. 186к—187 (цитата из его соч.), *349*$_{231, 232}$
Бише Робер / Bichet Robert *345*$_{129}$
Блок Марк /Bloch Marc 10, *333*$_{28}$
Блок-Моранж Жак / Bloch-Morhange Jacques 8, *333*$_{21}$
Бо Анри / Baud Henri *336*$_{66}$, *346*$_{163}$
Богрос Э. / Bogros E. *334*$_{9}$
Болан Мишлин / Baulant Micheline 85$_2$, *339*$_{147, 148}$
Бомье Северен / Beaumier Séverin *344*$_{106}$, *345*$_{111, 123}$
Бон Колетт / Beaune Colette *356*$_{114}$
Бонапарт см. Наполеон I
Боннамур Жаклин / Bonnamour Jacqueline 39$_2$, *335*$_{45}$, *342*$_{52}$

Боннен Бернар / Bonnin Bernard 345_{115}
Бонно Пьер / Bonnaud Pierre 8, 30к, 31, 65, 75, 76_4, 77, 78_2, 80_5, 113, 114, 270, $339_{135, 137, 138}$, $341_{2, 14}$, 343_{69}, 348_{215}, 352_{339}, 353_{38}, 354_{65}, $355_{90, 95}$
Бордо М. / Bordeaux M. 333_{27}
Бракенхофер Эли / Brackenhoffer Elie 182, 189, $348_{196, 218}$, 349_{240}
Бранди Карл / Brandi Karl $339_{157, 158}$, 340_{160}
Брантом Пьер де Бурдей / Brantôme Pierre de Bourdeilles 256
Брело Жан / Brelot Jean $347_{170, 173}$
Бренгье Жан Клод / Bringuier Jean-Claude 16
Бродель Фернан / Braudel Fernand 27к, 91к, 332_3, 336_{64}, $338_{102, 113}$, 341_6, 343_{68}, 344_{94}, 346_{158}, 347_{175}, $349_{254, 255}$, 350_{266}, 353_{43}, $355_{102, 110}$, 356_{137}
Бройль Франсуа Мари, герцог де / Broglie François-Marie, duc de 314
Брор Морис / Braure Maurice 357_{158}
Бросс Шарль де / Brosses Charles de 62
Брюн В[иктор?] / Brun Victor $360_{257, 265, 266}$
Буалиль А. М. де / Boislisle A. M. de 351_{332}, $354_{82, 83}$
Буань, графиня де / Boigne, comtesse de 224, 352_{335}
Буйонский герцог де / Bouillon, duc de 119
Бурбон Антуан де / Bourbon Antoine de 99 (король наваррский), 341_{194}
Бурбон Карл III, герцог де / Bourbon Charles III, duc de 89
Бургундский герцог де / Bourgogne, duc de, ум. 1705 258
Бургундский герцог де / Bourgogne, duc de 98
Буржуа Луи / Bourgeois Louis 256, $354_{68, 69}$
Буржуа Эмиль / Bourgeois Emile 287, 356_{136}
Буррико Франсуа / Bourricaud François 340_{192}
Бьерри Рэмон / Bierry Raymond 346_{148}
Бюва Жан / Buvat Jean $341_{3, 5}$
Бюргьер Андре / Burguière André 343_{80}
Бюссон / Busson, семейство 207

Вакье Андре / Vaquier André 344_{91}
Валлерштейн Иммануил / Wallerstein Immanuel 355_{97}
Валло Камилл / Vallaux Camille 357_{145}
Ван Гог Винсент Виллем / Van Gogh Vincent Willem 68, 338_{112}
Вебер Юджин / Weber Eugen 72к, $332_{2, 19}$, 334_{13}
Венсено Анри / Vincenot Henri 32, 335_{36}, 343_{66}, 345_{109}
Верне Жозеф / Vernet Joseph 286
Вернон / Vernon, служащий Лионского интендантства (1765) 195
Верньо Франсуаза / Vergneault Françoise 106к
Видаль де ла Блаш Поль / Vidal de la Blach Paul 39, 230_2, 231, 233, 241, 264, 284, $336_{61, 62}$, 337_{83}, 350_{267}, $352_{1, 2, 10}$, 356_{128}
Виктор-Амедей II, герцог Савойский («господин Савойский») / Victor-Amédée II, duc de Savoie 309 (господин Савойский), 312 (герцог Савойский), 314, 315, 316_2, 317_2, 318_2, 322_2, 323_2, 326

Вили Лоранс / Wylie Laurence 346_{131}
Виллар Луи Гектор, герцог де / Villars Louis-Hector, dus de 294, 315
Виллардуэн Жоффруа де / Villehardouin Geoffroi de 285, 356_{130}
Витар М. / Vitart M., адресат Ж. Расина 338_{104}
Вобан Себастьян ле Престр де / Vauban Sébastien le Prestre de 162, 234, 250, 252_3, 270, 273, 293_2, $295_{вр}$, 296, 297_2, 309, 310, 311
Вовре де / Vauvré de, командующий гарнизоном в Тулоне (1707) 315, 322
Восс, маркиз де / Vausse, marquis de, капитан береговой стражи (нач. XVIII в.) 310
Вьен Жан де / Vienne Jean de 285_2, 287

Габсбурги / Habsbourgs, династия 167, 257
Гадань / Gadagne, семейство, *то же, что* Гваданьи / Guadagni 256
Газье Огюстен / Gazier Augustin $338_{117,\ 119—124,\ 128}$, $339_{129,\ 130,\ 134}$, $340_{178,\ 180}$
Гаксотт Пьер / Gaxotte Pierre 344_{105}
Галлуа Люсьен / Gallois Lucien 104
Ганивет Гарсиа Анхель / Ganivet Garcia Angel 14, 333_{40}
Ганье / Gagnier 289 (хорошо известный наблюдатель), 357_{141}
Гарден Морис / Garden Maurice 354_{70}
Гарнотель Жозеф / Garnotel Joseph 335_{43}
Гаскар Пьер / Gascar Pierre $334_{2н}$
Гаскон Ришар / Gascon Richard 161к, 256, 344_{98}, 348_{223}, $354_{62,\ 67}$
Гашон Люсьен / Gachon Lucien 117—118, 335_{50}, $342_{44,\ 53}$
Гваданьи / Guadagni, семейство, *то же, что* Гадань / Gadagne 256
Гектор 280
Гене Бернар / Guenée Bernard 355_{107}, 356_{122}
Генрих II фр. / Henri II 61, 257, 257 (Валуа), 281
Генрих III англ. / Henri III 278
Генрих III фр. / Henri III 89, 190
Генрих IV фр. / Henri IV 38, 64, $98_{вр}$, 190, 282, 340_{162}
Генрих Трастамарский (Генрих II, граф Трастамарский, король Кастилии и Леона / Henri de Trastamare 285
Гердер Иоганн Готфрид фон 333_{31}
Гёте Иоганн Вольфганг фон 46
Геэнно Жан / Guéhenno Jean 99_3, 340_{193}
Гиар Гийом / Guiart Guillaume 272
Ги Девятый, граф Лавальский / Gui neuvième, comte de Laval 204
Гиз, мадам де / Guise, madame de 57
Гиз Франсуа де, герцог Лотарингский / Guise François, duc de Lorrain 278
Гийерм Ален / Guillerm Alain 286, $356_{133,\ 134}$, 359_{218}
Гийота Режи / Guyotat Régis 348_{204}
Гилдесхаймер Э. / Hildesheimer E. 341_{16}
Гилен Жан / Guilaine Jean 342_{33}
Гитте / Guittet, семейство 207
Гитте де ла Уллери / Guittet de la Houllerie, семейство 207

Гишонне П. / Guichonnet P. 27к
Гоген Робер / Goguin Robert 6
Годфруа Фредерик / Godefroy Frédéric 272, *346*$_{139}$
Голлю Лоис / Gollut Loys 165, 165 (историк XVI в.), *347*$_{169, 171}$
Гониве Марсель / Gonivet Marcel *348*$_{206, 213}$, *349*$_{244}$
Гонон Маргерит / Gonon Marguerite *334*$_{1в}$
Горс Пьер де ла / Gorce Pierre de la *340*$_{172}$
Госсен Фредерик / Gaussen Frédéric 30, 32, *335*$_{31, 32}$
Готье / Gaultier, банкир в Кане (XVIII в.) 215
Готье Поль / Gaultier Paul *341*$_{7}$
Гравье Жан Франсуа / Gravier Jean-François *336*$_{53}$, *352*$_{342}$
Грак Жюльен / Gracq Julien 15, *333*$_{44}$, *335*$_{39}$
Грамон де / Gramont de, президент парламента Гренобля (нач. XVIII в.) 63, 64
Грамон Санше де / Gramont Sanche de 98 (современный литератор), *340*$_{189}$
Гранвель Антуан Перно де / Granvelle Antoine Perrenot de 27, 167
Гранвель Никола Перно де / Granvelle Nicolas Perrenot de 167
Гранжак Мишель / Granjacques Michel *344*$_{99}$
Граппре, или *Дарю де Гран-Пре* Франсуа Жозеф / Grandpré de, ou Darut de Grand-Pré François-Joseph 291
Грансей / Grancey, или *Медави* / Médavy 317
Грегуар Анри / Grégoire Henri 70$_{2}$, 71$_{2}$, 74$_{2}$, 283, *338*$_{117, 118}$, *356*$_{125}$
Грессе Морис / Gresset Maurice *347*$_{178, 179}$
Гримальди, шевалье де / Grimaldy, chevalier de, лейтенант галер в Тулоне, дуэлянт (нач. XVIII в.) 310
Гриньян Франсуа Адемар де Монтей, граф де / Grignan François-Adhémar de Monteil, comte de 312, 318, 323
Гроришар Франсуа / Grosrichard François *354*$_{74, 76}$
Губер Пьер / Goubert Pierre *332*$_{17}$, *337*$_{80}$
Губервиль, сьер де / Gouberville, sieur de, автор дневника сер. XVI в. 119, *343*$_{56}$
Гудар Анж / Goudar Ange 116, 152, 271$_{2}$, 289, *342*$_{43}$, *346*$_{150}$, *355*$_{98—100}$, *356*$_{140}$
Гурвич Жорж / Gurvitch Georges 14, 53, *333*$_{34, 42}$, *336*$_{76}$
Гурстфильд Ж. / Gurstfield J. *338*$_{103}$
Гуру Пьер / Gourou Pierre 29, 244, 287, *335*$_{27}$, *353*$_{42}$, *355*$_{93}$, *356*$_{135}$
Гюттон Жан Пьер / Gutton Jean-Pierre *339*$_{145}$

Давити Пьер / Davity Pierre 266, *354*$_{83}$
Данго Шарль / Dangeau Charles *334*$_{20}$
Дантон Жорж Жак / Danton Georges Jacques 283
Дарвин Чарльз 284
Дардель Пьер / Dardel Pierre 158$_{к}$
Даррагон Эрик / Darragon Eric *338*$_{112}$
Дарю де Гран-Пре Франсуа Жозеф, или Граппре / Darut de Grand-Pré François-Joseph 291
Де Бавиль / De Basville, автор мемуаров 1-й пол. XVIII в. *353*$_{54}$
Дебре Анри / Debraye Henri *334*$_{19}$, *338*$_{111, 116}$

Делапорт / Delaporte, семейство 207
Делеаж Андре / Deléage André 106, *341*$_{8}$
Демадри / Demadrys, интендант (кон. XVII в.) 291
Деманжон Альбер / Demangeon Albert *336*$_{54, 73}$, *340*$_{181}$, *342*$_{40}$, *348*$_{217}$, *351*$_{301}$
Дефонтен Пьер / Deffontaine Pierre 43, *336*$_{53}$
Джонс П. М. / Jones P. M. *344*$_{83}$
Дине Доминик / Dinet Dominique *344*$_{104}$
Дион Роже / Dion Roger 274, 276, *340*$_{174}$, *341*$_{25}$, *342*$_{27, 38}$, *343*$_{79}$, *354*$_{84}$, *355*$_{87, 106}$
Дон Ж. / Dhont J. 267
Донтанвиль Серж / Dontenwill Serge *348*$_{205}$, *350*$_{261, 262}$
Дорник Франсуа / Dornic François *343*$_{65}$, *350*$_{288, 297}$
Дрейфус Альфред / Dreyfus Alfred 98
Друо Марк / Druot Marc *345*$_{125}$
Друэ Т. / Drouet Th., персонаж в дневнике Губервиля 119
Дубровский Петр Петрович *357*$_{170}$
Духар Рене / Doehaerd Renée *353*$_{44}$
Дюби Жорж / Duby Georges 86, 133, 299к, *341*$_{16}$, *345*$_{119}$, *346*$_{162}$, *356*$_{131}$
Дюбуа Анри / Dubois Henri *352*$_{8}$
Дюбуа Пьер / Dubois Pierre 313, *338*$_{100}$, *353*$_{49}$, *359*$_{219, 229}$, *360*$_{254}$
Дюваль Поль Мари / Duval Paul-Marie *339*$_{156}$, *347*$_{167}$
Дюгеклен Бертран / Du Guesclin Bertrand 285$_{2}$
Дюге-Труэн Рене / Duguay-Trouin René 206
Дюлор Жак Антуан / Dulaure Jacques-Antoine 188, 193, *349*$_{235, 251}$
Дюмон Рене / Dumont René *343*$_{64}$
Дюмон Фернан / Dumont Fernand 12 (один социолог), *333*$_{37}$
Дюнуайе Жан Мари / Dunoyer Jean-Marie *346*$_{161}$
Дюпакье Жак / Dupâquier Jacques 96, *340*$_{185}$, *343*$_{78}$
Дюпюи Фернан / Dupuy Fernand *345*$_{110}$
Дюркгейм Эмиль / Durkheim Emile 10, *333*$_{35}$
Дюссур Анриэтт / Dussourd Henriette *340*$_{169}$, *349*$_{230, 232, 234}$
Дюфурне Поль / Dufournet Paul 115, 342$_{39, 46}$
Дюшмен / Duchemin, семейство 207
Дюэм Ж. / Duhem G. *334*$_{10}$

Евгений, принц, или Евгений Савойский-Кариньянский / Eugène Prince, ou Eugéne de Savoie-Carignan 297, 314, 315, 322, 323
Екатерина Медичи / Catherine de Médicis 99, 190

Жамре-Дюваль Валентин / Jamerai-Duval Valentin *346*$_{134}$
Жан-Брен Деламарр Мюриэль / Jean-Brunhes Delamarre Muriel *335*$_{42}$
Жанна д'Арк / Jeanne d'Arc 7$_{вр}$, 98$_{вр}$, 123
Жаннен Франсуа / Jeannin François *343*$_{70}$
Жиль Никола / Gilles Nicolas 280
Жионо Жан / Giono Jean 24, 26, 29$_{2}$, 40, *334*$_{18}$, *335*$_{30, 48}$
Жирар д'Альбиссен Нелли / Girard d'Albissin Nelly 293, *357*$_{146, 149}$
Жоли де Беви Луи Филипп Жозеф / Joli de Bévy Louis-Philippe-Joseph 63

Жолли / Jolly, географ (2-я пол. XVIII в.) 291
Жуан Мари Элен / Jouan Marie-Hélène 336_{63}, 351_{311}
Жуанвиль Жан, сьер де / Joinville Jean, sire de 244
Жувен Альфред / Jouvin Alfred 346_{145}
Журдан Жан Батист / Jourdan Jean-Baptiste 295
Жюж Сен-Мартен Жак Жозеф / Juge Saint-Martin Jacques-Joseph 344_{88}
Жюлиа Доминик / Julia Dominique $338_{118, 127}$

Зарка Кристиан / Zarka Christian 341_{13}
Зеллер Гастон / Zeller Gaston 276, $355_{105, 108}$
Зельдин Джованни / Zeldin Giovanni 97_2, 340_{188}
Зельдин Теодор / Zeldin Théodore 9, 10, $333_{25, 32}$, 338_{106}, 354_{79}
Зигфрид Андре / Siegfried André 33
Зисберг Андре / Zysberg André 113, 342_{32}

Ивон Александр / Yvon Alexandre 196_2
Иоанн Безземельный / Jean sans Terre 277, 278_2
Исаак Жюль / Isaac Jules 8, 333_{22}

Йорга Никола / Iorga Nicolas 6, 332_{12}

Кавалье Жан / Cavalier Jean 315
Кавеньяк Эжен / Cavaignac Eugène 6, 332_{14}
Каз Жорж / Cazes Georges 336_{72}
Кайла Поль / Cayla Paul 345_{117}, 346_{147}
Калло Эмиль / Callot Emile 333_{29}
Капетинги / Capétiens, династия 275
Карл II Лысый / Charles II le Chauve 274, 276
Карл V / Charles V, ou Charles Quint 88_2, 167, 256, 257 (Габсбург), 285_2, 290, 339_{157}
Карл VI Безумный / Charles VI le Fou 247 (король), 247 (король Франции), 353_{52}
Карл VII фр. / Charles VII 42, 57, 181, 281_2
Карл VIII фр. / Charles VIII $93_{вр}$, 190
Карл Великий / Charlemagne 275к, 279, 281_3, 282, 356_{118}
Карл III герцог Савойский / Charles III, duc de Savoie 168 (герцог Савойский)
Карл V герцог Лотарингский / Charles V, duc de Lorraine 306
Карл Смелый, герцог Бургундский / Charles le Téméraire, duc de Bourgogne $87_{вр}$
Карл-Эммануил, герцог Савойский / Charles-Emmanuel, duc de Savoie 190
Карл-Эммануил I Великий, герцог Савойский / Charles-Emmanuel I le Grand, duc de Savoie 282
Карл, эрцгерцог Австрийский (он же Карл VI император Священной Римской империи) / Charles archiduc d'Autriche 313
Карл Мартелл / Charles Martel 267_2
Каролинги / Carolingiens, династия 163, 266, 267_3, 275, 279
Карорги Жак / Carorguy Jacques 134 (очевидец), 345_{121}
Карьер Ш. / Carrière Ch. 158к
Кассар Жак / Cassard Jacques 327

Кассини де Тури Цезарь Франсуа / Cassini de Thury César-François 140к, 246, 248к
Кастера Андре / Castera André 75
Каторз Т. / Quatorze Th., персонаж дневника сьера де Губервиля 119
Кенигсбергер Х. Г. / Koenigsberger H. G. *338*$_{103}$
Кёр Жак / Coeur Jacques 181$_3$
Киммель Ален / Kimmel Alain *338*$_{108}$
Кинаст Уолтер / Kienast Walther 278, *355*$_{110}$
Кине Эдгар / Quinet Edgar, 10, *333*$_{31}$
Клеман-Жанен Мишель Илер / Clement-Janin Michel-Hilaire *344*$_{82}$
Колиньи Гаспар де Шатийон / Coligny Gaspard de Châtillon 38
Колле Ноэль / Collet Noël *356*$_{131}$
Кольбер Жан Батист / Colbert Jean Baptiste 53, 59$_{вр}$, 265, 286, 288$_2$, 329$_{вр}$
Конде, принц де (Бурбон Луи I де) / Condé, prince de (Louis I de Bourbon) 99$_2$
Конде, принц де (Бурбон Луи Жозеф де) / Condé, prince de (Bourbon Louis-Joseph de) 62
Консоли / Consoli 68 (тайный агент Генуэзской республики), *338*$_{114}$
Корбен Ален / Corbin Alain 112, *342*$_{30, 31}$, *344*$_{90, 97}$
Корвизье Андре / Corvisier André *355*$_{101}$, *360*$_{269, 270}$
Корнаэрт Эмиль / Coornaert Emile *344*$_{96}$
Корроже Жиль / Corrozet Gilles 6
Креки Франсуа де / Créqui François de 305
Кресо Жозеф / Cressot Joseph 124—125, *344*$_{86, 87}$
Кридте Петер / Kriedte Peter *333*$_{48}$
Круа Ален / Croix Alain *334*$_8$, *342*$_{26, 28}$, *344*$_{84}$
Крувезье Ж. / Crouvezier G. *335*$_{43}$
Крэдок / Cradock, английская путешественница по Роне 236
Куле Ноэль / Coulet Noël *342*$_{36}$, *346*$_{156}$
Курбе Гюстав / Courbet Gustave 67
Курциус Эрнст / Curtius Ernst 6, 232, *332*$_{13}$, *352*$_5$

Лабасс Жан / Labasse Jean 259, *354*$_{64, 73}$
Лабуре Морис / Laboure Maurice *348*$_{210, 222}$, *349*$_{260}$
Лавальский граф *см.* Ги Девятый
Лаверьер Жан Пьер / Laverrière Jean-Pierre *345*$_{112}$
Лависс Эрнест / Lavisse Ernest 6, 90к, 291, *332*$_{7, 8}$, *357*$_{144, 152}$, *359*$_{233}$
Лавуазье Антуан Лоран де / Lavoisier Antoine Laurent de 22
Лагардетт Пьер де / Lagardette Pierre de 192$_2$, 194, 195$_3$
Лакруа Андре / Lacroix André *346*$_{159}$
Лампрехт Карл / Lamprecht Carl 106, *341*$_{9, 11}$
Ламуаньон де Бавиль Никола / Lamoignon de Basville Nicolas 57
Ланд Д. / Landes D. *333*$_{33}$
Ланжерон, маркиз де / Langeron, marquis de, командующий военно-морскими силами Тулона в 1707 г. 315—316, 319, 325$_4$, 325—326
Лантерик Шарль / Lenthéric Charles 234, *352*$_{12}$, *353*$_{31, 33, 41}$
Ла Ну Франсуа де / La Noue François de 99, 100, *341*$_{195, 196}$

Лапопелиньер Анри Ланселот-Буазен де / La Popelinière Henri Lancelot-Voisin de 280, *356*$_{115}$
Ларан Мишель / Laran Michel *333*$_{46}$
Ларошфуко Франсуа III, граф де / La Rochefoucauld François, comte de 99
Ла Тремуй, герцог де / La Trémoille, duc de 56
Латуш Робер / Latouche Robert 111$_2$, *341*$_{22—24}$
Ла Ферте Анри де Сентер, герцог де / La Ferté (Henri de Senneterre), duc de 123
Лафонтен Жан де / La Fontaine Jean de 66, *338*$_{104}$
Ле Бон Жан / Le Bon Jean *356*$_{120}$
Ле Бра Эрве / Le Bra Hervé 24, 81, 82к, 85, 87, 102, *334*$_{5к, 16}$, *339*$_{142—144, 146, 151, 155}$
Ле Бре / Le Bret, интендант Прованса (нач. XVIII в.) 117
Лебрен Франсуа / Lebrun François *340*$_{168}$
Лебон Жан / Le Bon Jean 282, *356*$_{120}$
Леванье / Le Vanier, канский буржуа 215
Левенвиль Жак / Levainville Jacques *335*$_{46}$
Леви Клод Фредерик / Lévy Claude-Frédéric 7 (один из моих друзей-историков), *332*$_{15}$
Леви Серф / Lévy Cerf 303
Легран д'Осси Пьер Жан Батист отец / Legrand d'Aussy Pierre-Jean-Baptiste père *345*$_{116}$
Лейо Поль / Leuilliot Paul *332*$_{18}$
Леклерк / Le Clercq, семейство 207
Леклерк Полетт / Leclercq Paulette *341*$_{18}$
Леланну Морис / Le Lannou Maurice 232, *352*$_6$
Леметр Николь / Lemaitre Nicole *336*$_{67, 68}$
Лемуэн А. / Lemoine H. *346*$_{133}$
Ле Пле Фредерик / Le Play Frédéric 84
Леридон Ив / Léridon Yves *354*$_{64}$
Леру А. / Leroux A. *336*$_{52}$
Леруа Ладюри Эммануэль / Le Roy Ladurie Emmanuel 113, *342*$_{32}$, *345*$_{118}$, *346*$_{155}$
Леслетт Питер / Laslette Peter 86, *339*$_{149}$
Лестокуа Жан / Lestocquoy Jean *332*$_{19}$
Лефевр Жак / Lefebvre Jacques *349*$_{229, 241}$, *356*$_{112}$
Лефевр Эрик / Lefebvre Eric *357*$_{142}$
Лещинский Станислав 283
Лионне М. / Lyonnet M. *348*$_{219}$
Лиоте Луи Юбер Гонзальв / Lyautey Loeus Hubert Gonzalve 67
Ложени Жан / Laugénie Jean 70, 75
Лоньон Август / Longnon Auguste *356*$_{121}$
Лорен Э. / Laurain E. *350*$_{274, 285}$
Лот Фердинанд / Lot Ferdinand 15, 280, *333*$_{43}$, *356*$_{113}$
Лотарингский герцог / Lorraine, duc de, династия их 296
Лотарингский герцог (Карл V) / Lorraine, duc de (Charles V) 306
Лотарь I / Lothaire I, герм. 244, 274, 276$_2$
Лоу Джон / Law John 60, 219
Лувуа Франсуа Мишель Ле Телье, маркиз де / Louvois François-Michel Le Tellier, marquis de 273
Луи-Филипп / Louis-Philippe 224
Людовик II Германский / Louis II le Germanique 274$_2$, 276$_2$

Людовик I Добрый или Благочестивый / Louis I le Débonnaire ou le Pieux 244, 274, 276
Людовик VIII фр. / Louis VIII 278, 279 (Людовик)
Людовик IX Святой / Louis IX ou Saint Louis 242, 244
Людовик XI фр. / Louis XI $87_{вр}$, 181, 190, 249, 255, 281_2
Людовик XII фр. / Louis XII 190
Людовик XIII фр. / Louis XIII 89 (король), 89, 189, 190, *340_{162}*
Людовик XIV Великий / Louis XIV le Grand 57 (король), 90, $121_{вр}$, 150, 168, 169_2, 170, $214_{вр}$, 217, $227_{вр}$, 240, 271, 272, 286, 294, 296, 297, $308_{2вр}$, $309_{вр}$, 312, 313 (король), 315, 325, 326 (король), 328, *332_8*, *336_{59}*, *355_{101}*
Людовик XV фр. / Louis XV 57 (король), $58_{вр}$, $64_{вр}$, 281, 286, 291, $309_{вр}$, 317
Людовик XVI фр. / Louis XVI $9_{вр}$, 286, $330_{вр}$
Людовик XVII фр. / Louis XVII 63
Люин Шарль, маркиз д'Альбер, герцог де / Luynes Charles, marquis d'Albert, duc de 89
Люйя Дени / Luya Denis 193, *347_{193}*, *$348_{195, 212, 214, 220}$*, *$349_{228, 248, 249, 256, 259}$*, *$350_{264}$*
Люстиже / Lustiger, архиепископ Парижский 23, *334_{11}*
Лютфалла Мишель / Lutfalla Michel *345_{113}*

Мадоль Жак / Madaule Jacques 6, *332_{10}*
Мажино Андре / Maginot André 294_2
Мазанелли Ж. К. / Masanelli J.-C. *336_{59}*
Майфер Жан / Maillefer Jean *339_{154}*
Мак-Нил Уильям Х. / McNeill William H. 267, *355_{89}*
Мак Фарлейн Алан / MacFarlane Alan 86, *339_{150}*
Мале Альбер / Malet Albert 8, *333_{22}*
Малиновский Бронислав Каспар 8
Малуэ Пьер Виктор / Malouet Pierre-Victor 288_2, *$356_{138, 139}$*
Мальборо Джон Черчилль I, герцог де / Marlborougn John Churchil, duc de 313, 315
Мандра Анри / Mendras Henri 227, 228, *333_{21}*, *$352_{340, 341, 343}$*
Мандский епископ / l'évêque de Mende 55
Мао Август / Mahaut Auguste *349_{230}*
Марбо Марселен де / Marbot Marcellin de 90, 93, 236, *$340_{165, 167}$*, *352_{18}*
Маре / Marest, семейство 207
Маре Андре / Marez André *334_{23}*
Мари-Лафон Жан Бернар / Mary-Lafon Jean-Bernard 69_2, *338_{115}*
Мариотт Жан Ив / Mariotte Jean-Yves *336_{66}*
Мария-Каролина, герцогиня Беррийская / Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry 240
Мария Медичи / Marie de Médicis 89, 90 (королева-мать)
Маркс Карл 148
Маро Клеман / Marot Clément 66
Мартель Филипп / Martel Philippe *338_{115}*
Мартен Анри / Martin Henri 280, 284, *356_{112}*
Мартонн Эммануэль де / Martonne Emmanuel de *352_4*
Марьежоль Анри / Mariéjol Henri 90к
Марьон Марсель / Marion Marcel *337_{93}*, *338_{101}*
Массоль де / Massol de, владелец земель в Ашере и др. 119, 120

Медави Жак Леонор Руксель, граф де (Грансей) / Médavy Jacques-Léonor Rouxel, comte de (Grancey) 317
Медик Ганс / Medick Hans 333_{48}
Медичи / Médicis, семейство 255 *см. также* Екатерина Медичи, Мария Медичи
Мейе Э. / Meillet E. 335_{42}
Мейфер Жан / Maillefer Jean 87 (реймский буржуа), 339_{154}
Менаже Никола / Mesnager Nicolas 90
Мериме Проспер / Mérimée Prosper 66
Мерль Луи / Merle Louis 109, $334_{4в}$, 341_{17}
Меровинги / Mérovingiens, династия 163, 279
Метра Андреа / Metra Andrea 351_{322}
Миллу Эдмон / Millou Edmond 321к
Мирер Франсуа / Mireur François 340_{175}, 343_{63}
Мироменил / Miromensnil, интендант 201
Мишле Жюль / Michelet Jules 5, 6, 7, 8, 34, 98, 224, 264, 265, 269, 270, $332_{6, 20}$, 335_{37}, 340_{191}, $354_{78, 81}$, $355_{92, 96}$
Монморанси Анн, герцог де / Montmorency I Anne, duc de 88
Монье Рэмон / Monnier Raymonde 351_{325}
Монревель, маршал де / Montrevel, maréchal de 110
Монфор Симон де / Montfort Simon de 277
Моран Поль / Morand Paul 10, 333_{30}, 336_{71}
Морель Поль / Maurel Paul 360_{264}
Мунье / Mounier, барон 352_{334}
Мутон Лео / Mouton Léo 340_{162}
Мюссе Люсьен / Musset Lucien 355_{94}
Мюссе Рене / Musset René $334_{1н}$, $350_{279, 280}$
Мюшамбле Робер / Muchembled Robert $340_{182, 184}$

Наполеон I / Napoléon I 88_2, 93, $93_{вр}$
Никола Жан / Nicolas Jean 340_{179}
Никола Рене / Nicolas Renée 340_{179}
Ньюкомен Томас 196

Одийяр Мишель / Audiard Michel 70
Омуан Пьер / Aumoine Pierre 334_{20}
Орлеанский герцог (Карл Орлеанский, 1391—1465) / Orléans, duc d' 98
Ортега-и-Гассет Хосе 14, 333_{41}
Осман Жорж Эжен, барон / Haussmann Georges Eugène, baron 224
Осунский герцог д' / Osuna, duc d' 286

Пакье Этьенн / Pasquier Estienne 280
Парде М. / Pardé M. 352_{11}
Пари Венсан / Paris Vincent, лицо из дневника сьера де Губервиля 119
Пари Г. / Paris G. 356_{118}
Паркер Г. / Parker G. 355_{102}
Паске Дезире / Pasquet Désiré 336_{55}
Пеги Шарль / Péguy Charles 5, 99, 332_2
Педро II Арагонский / Pierre II d'Aragon 277
Пеншмель П. / Pinchemel P. 44к
Перпийу Эме / Perpillou Aimé 342_{29}

Перрен Шарль Эдмон / Perren Charles-Edmon 347_{164}
Пьерро Жан Клод / Perrot Jean-Claude 209, 210к, 213_2, 215, $351_{299, 300, 302—310, 312—318}$
Перру Сесиль / Perroud Cécile $352_{19, 20}$, $353_{22, 25, 39}$
Пети Жан / Petit Jean 129—130 (один мой друг), $344_{92, 107}$
Петрарка Франческо 236
Петр Первый 242
Пиатье Андре / Piatier André 158, 216—217, 226_2, 229, 254, 342_{35}, $352_{338, 344—348}$
Пикар Николь / Picard Nicole 85
Пиренн Анри / Pirenne Henri 267
Питт Жан Робер / Pitte Jean-Robert 37к, 143к, $334_{3к, 4к}$, 355_{91}
Пишо / Pichot, семейство 207
Пишо де ла Гравери / Pichot de la Graverie 207
План Э. / Plan E. 357_{142}
Плантагенеты / Plantagenêts, династия 277, 278, 279, 285
Плиний Младший 87
Поми, маркиз де / Paumy, marquis de, инспектор границы в Руссийоне (1752) 283
Пони Карло / Poni Carlo 354_{71}
Поншартрен Луи Фелипо, граф де / Pontchartrain Louis Phélypeaux, comte de 325, 326
Поэт Марсель / Poète Marcel 335_{44}
Приам 280
Пуанкаре Раймон / Poincaré Raymond $227_{вр}$
Пуатрино Абель / Poitrineau Abel 130к, 336_{65}, 337_{97}
Пужоль Жак / Poujol Jacques 338_{108}
Пуссу Жан Пьер / Poussou Sentean-Pierre 344_{97}
Пушно Мариус / Pouchenot Marius 347_{183}
Рамо Анри / Rameau Henri 344_{103}
Расин Жан / Racine Jean 45, 65, 66_2, 336_{58}, 338_{104}
Ревель Жак / Revel Jacques $338_{118, 127}$
Регаззоль Тома / Regazzol Thomas 349_{229}
Регент 286 *см.* Филипп, герцог Орлеанский
Режан Клод / Régent Claude 354_{75}
Рейно Ален / Reynaud Alain 336_{72}
Рейнхард Марсель / Reinhard Marcel 343_{78}
Рекколле / Récollets, владелец (?) дома в Гондрекуре 150
Ренан Эрнест / Renan Ernest 39, 67_2, 335_{47}, 338_{109}
Рене король / René roi, король Неаполя и Сицилии 190, 349_{242}
Ренуар Ив / Renouard Yves 277, 352_7, 355_{109}
Ренюссон / Renusson, семейство 207
Рер Шануан / Reure Chanoine 178 (один священник), 348_{208}
Ретиф де ла Бретонн Никола / Rétif de la Bretonne Nicolas 54, 97, 336_{77}, 340_{186}
Ривас Пьер де / Rivas Pierre de 195_2, 196
Ричард Львиное Сердце 278
Ришар Жюль Мари / Richard Jules-Marie $337_{85, 86, 90}$, $350_{276, 289—296, 298}$
Рише Дени / Richet Denis 343_{67}
Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог де / Richelieu Armand Jean du Plessis, duc de $98_{вр}$, 150, 190, 282_3, 286, 289, $330_{вр}$
Роблен Мишель / Roblin Michel 355_{85}
Родезский епископ / l'evêque de Rodez 124
Роколь, полковник / Rocolle, colonel 292к, 293, 294к, $357_{150, 151}$

Ромон Кристиан / Romon Christian *351*$_{324}$
Ромье Люсьен / Romier Lucien 6, *332*$_{11}$, *345*$_{120}$
Ронсьер Шарль де ла / Roncière Charles de la *356*$_{130, 137}$
Рош Даниель / Roche Daniel 26, *334*$_{22}$, *351*$_{326, 327}$
Рошфор Мишель / Rochefort Michel 228, *352*$_{344}$
Руа, маркиз де / Roye, marquis de, командующий галерами в Тулоне (1707) 319
Рувьер Анри де / Rouvière Henri de 236 (позднейший путешественник), *335*$_{40}$, *352*$_{16}$
Рудольф I Габсбург / Rodolphe I de Gabsbourg 163
Рудорф Рэмон / Rudorff Raymond 13, *333*$_{38}$
Руссо Шарль / Rousseau Charles *356*$_{125—127}$, *357*$_{144}$
Руш Мишель / Rouche Michel *342*$_{45}$

Савари де Брюлон Жак / Savary des Brulons Jacques 170, *350*$_{286, 287}$
Савойский герцог, 282 *см.* Карл-Эммануил I Великий
Савойский господин см. Виктор-Амедей II, герцог Савойский
Сад Донатьен Альфонс Франсуа, маркиз де / Sade Donatien-Alphonse-François, marquis de 122, *343*$_{71}$
Сальи, маркиз де / Sailly, marquis de, комендант Ниццы (1707) 316, 317
Салюс Франсуа (?), маркиз де / Saluces François, marquis de 190
Сартр Жан Поль / Sartre Jean-Paul 5, 10, 15, 102, *332*$_{1, 16}$, *333*$_{34, 45}$, *341*$_{1}$
Севинье Мари де Рабутен-Шанталь, маркиза де (госпожа де) / Sévigné Marie de Rabutin-Chantal, marquise de 93$_2$, 190, 203, 236
Сегье Пьер / Séguier Pierre 121, *343*$_{67}$
Сей Жан Батист / Say Jean-Baptiste 224
Сен-Жакоб Пьер де / Saint-Jacob Pierre de 114, *342*$_{34}$
Сен-Контест / Saint-Contest, интендант Меца (нач. XVIII в.) 300$_2$, 302 (мецский интендант), 304, 305, 305 (интендант), *358*$_{193}$
Сеннит Ричард / Sennet Richard 86
Сен-Патер / Saint-Pater, комендант Тулона (нач. XVIII в.) 313
Сен-Симон Луи де Рувру, герцог де / Saint-Simon Louis de Rouvroy, duc de 313$_2$, 316, 317, *359*$_{240, 242, 248}$
Сенсон / Sinson, житель Орлеана (XVIII в.) 188, 189
Сент-Бев Шарль Огюстен / Saint-Beuve Charles-Augustin 172
Серр Оливье де / Serres Olivier de 132
Серто Мишель де / Certeau Michel de *338*$_{118, 127}$
Сиагрий 266
Сигман Жан / Sigmann Jean *337*$_{98}$
Сиго Франсуа / Sigaut François 81
Симоне / Symonnet, персонаж дневника сьера де Губервиля 119
Со Гаспар де / Saulx Gaspar de 281
Сорель Альбер / Sorel Albert 284
Сорр Максимильен / Sorre Maximilien 45$_2$, *336*$_{60}$, *356*$_{128, 129}$
Спад Анри / Spade Henri 25 (эссеист), *334*$_{21}$

Спеклен Робер / Specklin Robert 79к, 80, *339*$_{139}$
Стендаль / Stendhal 24$_2$, 67$_2$, 68, 69, 70, 93$_2$, *334*$_{19}$, *338*$_{110}$, *340*$_{170}$
Стивенсон Роберт Льюис 75$_2$, *339*$_{136}$
Стуфф Луи / Stouff Louis *339*$_{132, 133}$
Сюго Франсуа / Sugaut François *339*$_{140}$
Сютте Жан / Sutter Jean *343*$_{81}$

Таба Леон / Tabah Léon *343*$_{81}$
Талейран (Шарль Морис де Талейран-Перигор) / Talleyrand (Charles-Maurice de Talleyrand Périgord) 69, 88
Тейсье Октав / Teissier Octave *359*$_{220, 221, 224}$
Те Мари / Tay Marie *341*$_{16}$
Тенёр Жак / Teneur Jacques *337*$_{92}$
Тессе Рене Фруле, граф де / Tessé René de Froulai, comte de 63, 247, 312, 313, 314$_2$, 314—315$_2$, 316, 317$_3$, 318, 322, 323, *359*$_{234, 239, 247}$
Тибоде Альбер / Thibaudet Albert *338*$_{107}$
Тилли Александр де / Tilly Alexandre de 100, *341*$_{197}$
Тодд Эмманюэль / Todd Emmanuel 24, 81, 82к, 85, 87, 102, *334*$_{5к, 16}$, *339*$_{142—144, 146, 155}$
Тойнби Арнольд / Toynbee Arnold 8, *333*$_{23}$
Токвиль Алексис де / Tocqueville Alexis de 6, 8, 61, *332*$_5$
Толлемер Александр / Tollemer Alexandre *343*$_{56}$
Тома Ф. / Tomas F. *348*$_{201, 203}$
Тренар Луи / Trénard Louis *357*$_{158}$
Трирский архиепископ / l'archevêche de Trèves 295
Тулузский граф (Рэмон VI) / comte de Toulouse (Raymond VI) 277
Тульский епископ / Toul l'évêque de 150, 299
Турвиль Анн Иларион де Котантен / Tourville Anne Hilarion de Cotentin 286
Тур дю Пен, маркиза де ла / Tour du Pin, marquise de la 88, *340*$_{161}$
Турен Ален / Touraine Alain 53
Тьерри Огюстен / Thierry Augustin 284
Тэн Ипполит / Taine Hippolyte 6, 8, 54, *332*$_4$, *337*$_{78, 84}$
Тюйе Каролина / Tullié Caroline *351*$_{330}$
Тюнен Иоганн Генрих / Thünen Johann Heinrich von 114, 209, 211, 222, 224, *342*$_{37}$
Тюрго / Turgot, интендант Лимузена 50
Тюрго / Turgot, интендант Меца 303$_2$
Тюрго Анн Робер Жак, барон д'Ольн / Turgot Anne-Robert-Jacques, baron d'Aulne 152, 303, *336*$_{70}$
Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь, виконт де / Turenne Henri de La Tour d'Auvergne, viconte de 293, 296

Уиллс Питер / Wills Peter 227
Унамуно Мигель де 14, *333*$_{39}$
Уссель Жан Пьер / Houssel Jean-Pierre *350*$_{263}$

Фадини Франческо / Fadini Francesco *340*$_{173}$
Фазано Гварини Елена / Fasano Guarini Elena *340*$_{187}$
Февр Люсьен / Febvre Lucien, 6, 7, 23, 34, 66—67, 231, *334*$_{6в, 12, 24}$, *352*$_3$, *354*$_{81}$, *355*$_{103, 104}$
Фейяд Луи де ла, герцог Роаннский / Feuillade Louis de la,

duc de Roannais 56, 196_{2}, 313, 347_{190}

Фелипо / Phélipeaux, интендант Парижа 119

Феррo Марк / Ferro Marc 25, 98 (историк), 340_{190}

Феске Анри / Fesquet Henri 241, 353_{37}

Фийу Жан Клод / Filloux Jean-Claude 333_{35}

Филипп-Август / Philippe-Auguste 277_{2}, 278_{2}, 279, 285

Филипп II исп. / Philippe II d'Espagne 88, 167, 332_{3}, 334_{24}

Филипп V исп. / Philippe V d'Espagne 313

Филипп III Смелый / Philippe III le Hardi 244

Филипп IV Красивый / Philippe IV le Bel 242

Филипп III Добрый, герцог Бургундский / Philippe III le Bon, duc de Bourgogne 281

Филипп, герцог Орлеанский / Philippe, duc d'Orléans 286 (Регент)

Филипп Робер / Philippe Robert 6, 332_{9}, 340_{183}

Филиппини Жан Пьер / Philippini Jean-Pierre 344_{102}

Филлипетти Эрве / Fillipetti Hervé 32, 35, $335_{33, 38, 41}$

Фландрен Жан Луи / Flandrin Jean-Louis 81, 339_{141}

Флери Андре Эркюль де / Fleury André Hercule de 287, 317

Флеше Жак / Fléchet Jacques 263

Флоренн Ив / Florenne Yves 24, 334_{17}

Флоримон / Florimond 354_{82}

Фокс Эдвард У. / Fox Edvard W. 267, $355_{86, 88}$

Фолен Клод / Fohlen Claude 164к, 333_{33}

Фонтен, маркиз де / Fontaine, marquis de, французский посол в Риме 182

Фосийон Анри / Focillon Henri 32

Фоссаэр Робер / Fossaert Robert 9, 11, $333_{26, 36}$

Фоссье Робер / Fossier Robert 223к, 335_{28}, 342_{47}

Фош Фердинанд / Foch Ferdinand 88

Фоше Даниель / Faucher Daniel 246, 336_{56}, $352_{11, 17}$, $353_{23, 24, 26, 28—30, 32, 40, 45, 50, 51, 53}$, 354_{61}

Франкастель Пьер / Francastel Pierre 335_{35}

Франкион 280_{2}

Франциск I фр. / François I $93_{вр}$, 150, 256, 269, 310

Франциск Пауланский / François de Paule 190

Фревиль Анри / Fréville Henri 337_{94}

Фрейсс Жан / Fraysse Jean 349_{237}

Фрейсс Камилл / Fraysse Camille 349_{237}

Фремон Арман / Frémont Armand 30, 335_{31}

Фрер Никола / Fréret Nicolas 281

Фридман Жорж / Friedmann Georges 85

Фридрих II Великий 284, 356_{126}

Фруассар де Бруассиа / Froissart de Broissia 163—164

Фурастье Жан / Fourastié Jean 226, 334_{15}

Фуркен Ги / Fourquin Guy 222, 351_{331}

Фурньяль Этьенн / Fournial Etienne 348_{216}

Фьетье Ролан / Fietier Roland 347_{171}

Фюретьер Антуан / Furetière Antoine 151, 348_{207}

Фюстель де Куланж Нюма Дени / Fustel de Coulanges Numa Denis 111

Хёпке Рихард / Häpke Richard 154, *346*$_{158}$
Хлодвиг / Clovis 85$_{вр}$, 266, 281, 282

Цезарь Юлий 162, 280

Шалан / Chaland, аббат *344*$_{95}$
Шамильяр Мишель де / Chamillart Michel de 313
Шамсон Андре / Chamson André *341*$_{19}$
Шапло Ж. / Shapelot J. *335*$_{28}$, *342*$_{47}$
Шаппе Жозеф / Chappey Joseph 15, 333$_{47}$
Шапюи Р. / Chapuis R. 138, *344*$_{108}$
Шатлен Абель / Chatelain Abel *336*$_{69}$, *353*$_{48}$
Шауб Абрахам / Schaub Abraham 303
Шелль Гюстав / Schelle Gustave *336*$_{70}$
Шеро Клод / Chéreau Claude *345*$_{124}$
Шетарди Жоашен Жак Тротте де ла / Chétardie Joachim Trotté de la 72, *338*$_{126}$
Шлюмбон Юрген / Schlumbohm Jürgen *333*$_{48}$
Шоню П. / Chaunu P. 161к
Шоссар П. / Chaussard P. *349*$_{243}$, *245*, *246*
Шоссинан-Ногаре Ги / Chaussinand-Nogaret Gui *338*$_{102}$
Шошар / Chauchard, фр. географ (2-я пол. XVIII в.) 291
Шреммер Эккарт / Schremmer Eckart 154, *346*$_{157}$
Эбер Мишель / Hébert Michel *346*$_{154}$
Эймес / Heymès, деятель из окружения Луи-Филиппа 224
Экстра Кристоф / Extrat Christophe *348*$_{202}$
Энгиенский герцог / Enghien, duc de, командующий армией Людовика XIV (1674) 168
Эпернон Жан Луи де Ногаре де ла Валетт, герцог де / Epernon Jean Louis de Nogaret de la Valette, duc de 89, *340*$_{162}$
Эрбиньи Анри Франсуа Ламбер д' / Herbigny Henri-François Lambert d' 63
Эриссон, граф де / Hérisson, comte d' *352*$_{334}$
Эрон де Вийфосс Р. / Héron de Villefosse R. *340*$_{164, 171}$
Эстре Жан д' / Estrées Jean d' 60
Этьенн Пьер / Estienne Pierre 253, 264$_{2}$, *353*$_{47}$, *354*$_{63, 77}$
Эчеменди Поль / Etchemendy Paul *336*$_{74}$

Юго А. / Hugo A. 72к
Юмбер II / Humbert II 156
Юнг Артур / Young Arthur 43—44, *336*$_{57}$
Юппер Жорж / Huppert Georges *356*$_{114—116}$
Юре Франсис / Huré Francis 265, *354*$_{80}$
Юрфе Оноре д' / Urfé Honoré d' 174$_{2}$, *347*$_{188}$

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
5

КНИГА ПЕРВАЯ
ПРОСТРАНСТВО И ИСТОРИЯ
17

Предисловие
19

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Имя Франции — разнообразие
21

I. Прежде всего описать, увидеть, изобразить 22.
Провинции как совокупности областей и «краев» 25.— Пуститься в дорогу и собственными глазами увидеть, что такое — разнообразие 34.

II. Оставаясь в пределах возможного: попытка объяснить разнообразие 40.
Разнообразная Европа, разнообразная Франция 41.— Микроклимат, микросреда 45.— Обособленные хозяйства, или Каким образом сохраняется французское разнообразие 47.— Разнообразие и смута сохраняются с благословения государства и общества 52.— Сколько городов, столько и социальных формул 57.— Особость привинций 59.— Окситанский язык (язык «ок») и язык северофранцузский (язык «ойль») 64.— Местный уровень: бесчисленное множество диалектов (XVIII век) 70.— Диалектология и топонимика как инструменты доисторической географии 76.— Культурная антропология, или Семья против единства Франции 81.

III. Расстояние: изменчивая мера 87.
Причина дробности Франции наконец найдена 94.— Разнообразие и история 97.— А что же сегодня? 100.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Населенные пункты: деревни, городки, города

102

I. Начнем с деревень 105.
Разнообразие деревень и их общий знаменатель 105.— Деревня: как она устроена 114.— Лес, «драгоценнейшее из благ» 120.— Лес — мир наизнанку 121.— Лес-странноприимец 122.— Деревенский идеал: произвести все самостоятельно 123.— Неизбежность контактов с внешним миром 126.— Люди трогаются с места 128.

II. Городок: что это такое? 133.
Городок: как он устроен 134.— Гондрекур (департамент Мез) и окружающие его деревни в 1790 году: социально-профессиональная структура 138.

III. Город: что это такое? 150.
Что же такое город? 152.— Наипростейшие примеры 160.— Безансон и проблема первенства в регионе 160.— Край Роаннэ — скрещение дорог 174.— Роанн, или Торжество транспорта 181.— Капитализм и феодализм 193.— Внутреннее устройство города 197.— В XIX и XX веках 198.— Лаваль, или Победный союз промышленности и внешней торговли 200.— Кан: город-образец, или, скорее, опытный экземпляр 208.— На очереди — большие города 216.— Париж — город как город? 219.— Схема «деревня — городок — город» в наши дни 226.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Франция — дитя географии?

230

I. Против переоценки значения «французского перешейка» 232.

Вчерашний день Роны (до 1850 года) 234.— «Французский перешеек» и единство Франции 241.— Рона — пограничная река 246.— Судьба Лиона 253.— В наши дни: от Роны до Рейна 259.

II. Историческая роль Парижа, Иль-де-Франса и Парижского бассейна 264.
Первенствующая роль Парижского бассейна 265.— Но почему же именно Париж? 269.

III. Решающий тест: граница 271.
Нелегкая жизнь порубежья и пограничья 272.— Верденский договор (843) 274.— Четыре решающих года: 1212, 1213, 1214, 1216 277.— «Естественные» границы 279.— Выход к морю — неторопливый и незавершенный 284.

IV. Зарисовки крупным планом: есть ли в них нужда? 289.
Северо-восточная и восточная границы 290.— Чем интересен Мец? 296.— Война в замедленном изображении 297.— А что же война? 305.— Насколько печальна участь Меца? 307.— Второе путешествие — в Тулон 309.— Каковы уроки? 323.

Пространство и история: заключительные замечания 329.

Примечания и ссылки на источники 332.
Справочный аппарат 361.

Список-указатель карт, схем, диаграмм, рисунков 361.— Список цветных репродукций на вкладке 362.— Указатель географических названий 363.— Указатель имен 387.

Бродель Фернан

ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦИЯ?

Книга первая

ПРОСТРАНСТВО И ИСТОРИЯ

Художественный редактор
Е. Воронцова
Технические редакторы
Н. Аврутис, З. Теплякова
Корректор
Б. Тумян

Лицензия № 060446 от 3.12.91 г.
Сдано в набор 05.11.93. Подписано к печати 22.06.94.
Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Бодони. Усл. печ. л. 27,5. Уч.-изд. л. 26,9.
Тираж 15 000 экз. (1 завод). Заказ 467

Издательство имени Сабашниковых
119146, Москва, 2-я Фрунзенская, 7

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16

Фернан Бродель

Б88 Что такое Франция? Кн. первая: Пространство и история — Пер. с фр.— М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994.— 405 с., ил., 16 цв. ил.

ISBN 5-8242-0016-5

«Что такое Франция?» — последний труд одного из крупнейших французских историков XX века Фернана Броделя (1902—1985). Труд этот состоит из двух книг — «Пространство и история» и «Люди и вещи». Эта уникальная энциклопедия дает богатейшие сведения об истории, природе, культуре страны, ее национальном своеобразии и характере.

Б $\frac{0503030000\text{-}007}{Б94(03)\text{-}1994}$ Без объявл.

ББК 63.3 (4Фр.)

«Заглавие книги всегда исполнено особого смысла. Я недаром назвал свой труд «Что такое Франция?» Этот вопрос уже давно завораживает, но одновременно и мучит меня. 〈...〉 Он многозначен, он — задача со многими неизвестными, число которых без конца увеличивается.

Что же такое Франция? Дать ответ на этот вопрос — значит уловить самую суть проблемы, понять Францию с ее собственной помощью, увидеть, как рождается она из тех бесчисленных напластований, которые слой за слоем терпеливо откладывало ее прошлое, подобно тому как мощная земная кора образовывалась из еле заметных морских осадков, накапливавшихся в течение многих веков. Одним словом, исследовать отстой, сплав, сочетания и смеси. Вникнуть в процесс, в нескончаемую борьбу страны с самой собой. 〈...〉 Нация может *существовать*, лишь если она бесконечно ищет самое себя, лишь если она постоянно «волюционирует, лишь если она неустанно противопоставляет себя другим и стремится соответствовать лучшему, главному, что в ней скрыто...»

ФЕРНАН БРОДЕЛЬ

«Что такое Франция?» — последний труд одного из крупнейших французских историков XX века Фернана Броделя (1902—1985). Труд этот состоит из двух книг: «Пространство и история» и «Люди и вещи». Вторая книга делится на две части: часть первая — «Численность народонаселения и ее колебания на протяжении веков»; часть вторая — «Крестьянская экономика до XX века».